23-1-14

Цена 90 коп. Индекс 73293

НОВЫЕ КНИГИ
ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ

Адамович А. **Додумывать до конца.** Литература и тревоги века.— М.: Сов. писатель, 1988.— 1 р. 50 к.

Взгляд. Критика. Полемика. Публикации/Сост. А. Н. Латынина, С. С. Лесневский.— М.: Сов. писатель, 1988.— 1 р. 50 к.

Грифцов Б. А. **Психология писателя.**— М.: Худож. лит., 1988.— 95 к.

Гусев В. Л. **Художественное и нравственное.** Письма о литературе.— М.: Худож. лит., 1988.— 1 р. 20 к.

Иванова Н. **Точка зрения.** О прозе последних лет.— М.: Сов. писатель, 1988.— 1 р. 30 к.

Литвинов В. **Плата за талант.** Идущим в литературу посвящается.— М.: Сов. писатель, 1988.— 1 р. 60 к.

Луначарский А. В. **Статьи о литературе.** В 2-х т.— М.: Худож. лит., 1988.— 3 р. (комплект).

Любимов Н. **Несгораемые слова.**— 2-е изд., доп.— М.: Худож. лит., 1988.— 1 р. 10 к.

Манн Ю. **Поэтика Гоголя.**— 2-е изд., доп.— М.: Худож. лит., 1988.— 1 р. 30 к.

Поспелов Г. Н. **Стадиальное развитие литератур.**— М.: Худож. лит., 1988.— 55 к.

Хакимов А. **Творцы созвучий.** Мотивы восточной поэзии. Пер. с тадж.— М.: Сов. писатель, 1988.— 50 к.

Хмельницкая Т. **В глубь характера.** О психологизме в современной советской прозе.— М.: Сов. писатель, 1988.— 90 к.

ВГО «Союзкнига»

«Октябрь», 1989, № 1, 1—208.

ОКТЯБРЬ

ISSN 0132 0637



1

1989



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

1989

ЯНВАРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АНАНЬЕВ

Скрижали и колокола

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая

I

— Вы спрашиваете об Иване Егорыче Беспалове? Да кто же его не знает здесь. Можно сказать, наш деревенский социолог. Домик его вон, видите, вон, под железной крышей,— сразу же сказали мне, как только я въехал в деревню и остановился возле магазина сельпо.

Тогда я еще мало что знал об этом человеке. До меня доходили слухи, будто он специально сбежал в эту глушь: по одной версии, от непримиримостей жизни, по другой — от своего непокорного характера; одни видели в нем приспособленца и бездельника, каких на разный манер и на разных уровнях достаточно в последнее время расплодилось у нас; другие находили, что Иван Егорыч умен, что обладает незаурядными способностями исследователя, и указывали на его научную (иногда слово это брали в кавычки) деятельность, какую он вел не то чтобы без надежды на успех, но без надежды хоть на какое-либо прижизненное вознаграждение. Смысл этой его деятельности заключался в том, что он собирал материал для книги «Наблюдения за жизнью простых людей». Он исходил из того, что все доныне существовавшие понятия о народе и народной жизни не то чтобы вовсе не отражали естественного положения вещей, но были настолько закниженными, настолько состояли из общих, испокон (и не без умысла) закреплявшихся за народом «истин», что «мы, в сущности, давно уже воображенное принимаем за действительное», и, что не будь этого смещенного восприятия, не было бы совершено то множество необратимых как в нравственном, так и в социальном планах ошибок, какими испещрена наша жизнь.

Надо ли говорить, какой находкой представлялся мне этот человек, отказавшийся от городских условий жизни, бросивший друзей, семью, работу, чтобы заняться тем, чему считал нужным посвятить себя; было в этом нечто вроде подвижничества, столь распространенного среди российской интеллигенции в прошлом веке и безоглядно забытого теперь (от сознания, может быть, что народ, пришедший к власти, мог сам позаботиться о себе), и я, по «молодости», не только романтизировал это воображенное подвижничество, но всей душой готов был присоединиться к мыслям и взглядам Ивана Егорыча. Оснований на это, разумеется, было достаточно, их предоставляла жизнь, та наша действительность, о которой спустя десятилетие будет сказано, что в ней давали о себе знать «застойные явления». Но до подобного объясняющего признания было еще далеко, мы видели лишь, что как в сельском хозяйстве, так и в промышленности происходило что-то неладное, что подвигало всех нас к общему и неотвратимому оскудению. Однако в то время как лица должностные, от которых зависело состояние и движение жизни и которые, не умея (или не желая, может быть) справиться с делом, но и не находя сил признаться в своей беспомощности, продолжали традиционно бить в победные литавры, среди интеллигенции и просто-

го народа нарастало беспокойство, которое так ли, иначе ли должно было привести к действию. Надо было что-то предпринимать, но что? Изо дня в день мы высказывали и печатали столько прекрасных, важных, деловых предложений, что их могло бы хватить на века, возьмись кто-либо реализовывать их; но все они словно уходили в песок, и получалось, что на словах мы все понимаем, а на деле — никто ни к чему не хочет приложить рук. Почему? Что тормозит, что мешает? И не заключено ли все в той нераскрытой будто бы нами народной силе, от которой (в естественном проявлении ее) как раз и зависело все?

Но одно дело — сказать себе, что в природе человека и общества заложена некая сила, от которой зависит если и не все, то по крайней мере главное, что движет жизнью, и совсем другое — найти, понять и объяснить то, чего, может быть, вообще не существует в природе (во всяком случае, в том первозданном виде, в каком хотелось увидеть ее), а является лишь продуктом воображения; как многие мои коллеги, я был заражен этой идеей всеохватного обобщения, и слух об Иване Егорыче Беспалове и его исследованиях, едва дошел до меня, лег, как говорят в таких случаях, на подготовленную почву. «Так вот, оказывается, в чем заключено все», — восторженно сказал я себе, как о чем-то завершенном, в чем нельзя сомневаться. Мне показалось, что мои рассуждения были настолько близки к рассуждениям Ивана Егорыча, что просто грешно было не встретиться и не поговорить с ним. «Да, да, ходим вокруг одного и того же, — продолжал я, все более горячась и чувствуя, что наконец-то найдена дверь и ключ к ней, и остается только насладиться простором, и как ни трудно было отложить московские дела, которых всегда невпроворот, сколько бы ни делал их, я сел в свою красную четырехфарную «Ладу» и отправился в дорогу.

II

В раздумье, что делать, направиться ли сразу к Ивану Егорычу или прежде определиться у кого-либо на постой и затем уже, пообедав и отдохнув, пойти к нему, я стоял теперь возле машины, держась рукой за дверцу и с волнением вглядывался в дом под железной крышей, на который мне указали. Меня беспокоило, смогу ли я найти подход к Ивану Егорычу и захочет ли он с откровением поговорить со мной. Дело в том (и об этом мне было хорошо известно), что он не то чтобы не принимал посетителей, но не любил принимать их; и еще менее любил разговаривать о своем исследовании. Всякий разговор, по его мнению, был лишь праздным препровождением времени, и в доказательство этого суждения приводил спорный как будто, но в то же время и бесспорный аргумент, что мы давно уже всем народом, от министра до мужика, только и делаем, что обсуждаем, как и что н а д о, и что «разве лишь ежу непонятно, что происходит». «Что же возразишь ему», — думал я, хотя и понимал, что разговор разговору рознь. То, о чем мы говорим на наших бесконечных совещаниях, заседаниях, секретариатах, топчась в закольцованном кругу мыслей и без конца призывая друг друга писать объективнее, честнее и лучше (что, собственно, должно само собой и естественно лежать в основе писательского труда, но что, может быть, как раз и говорит о том, что писательский труд давно и прочно заменен у нас ремесленничеством, в котором только и возможны подобные однотипные поучения), — не бессмысленное ли это растрачивание времени, и не есть ли это та самая праздность (видимость дела), какую мы так безоглядно и щедро позволяем себе? «Да, насмотрелся, наслушался, видно, за свою столичную жизнь», — стараясь оправдать Ивана Егорыча, чтобы соответственным образом настроиться к нему, продолжал мысленно рассуждать я. Но, как ни казались мне верными эти рассуждения и как ни оправдывали они Ивана Егорыча, они не облегчали моего положения. Я-то знал, что приехал не для праздного разговора, а для выяснения истины, которой ждут, может быть, миллионы людей и которая (а она есть, во всяком случае, должна быть, я верил) могла во многом к лучшему изменить порядок вещей. Поймет ли Иван Егорыч, и как передать ему это мое чувство? И, как это не раз уже бывало со мной, совершенно другой, параллельный будто ход мыслей подсказывал мне, что надо только держаться как можно естественнее и что искренность всегда есть искренность и она не может не передаваться собеседнику. «Да что же он, не человек, что ли?» — в конце концов решительно сказал я себе и посмотрел вокруг, на людей, толпившихся возле магазина на деревенской площади.

Ведь нынешняя деревенская глушь — понятие относительное. Даже до той «глуши», куда не дотянулись еще нити асфальтированных дорог — а подобных деревень в России еще предостаточно, — с избытком докатывается дыхание быстро разрастающихся современных больших городов. С одной стороны, это радио, телевидение, кино, лекторы, которым несть числа и которые (разумеется, не за бесплатно, ибо они кормятся этим, вместо того чтобы производить хоть что-то, что принесло бы пользу обществу) пересказывают лишь официальные сообщения; вот уж где бессмысленная трата времени, и своего, и чужого; с другой — наезд родственников-горожан, отпускников, которые устремляются на лето, так сказать, в родные места, на природу, чтобы насладиться ею, порыбачить, а заодно и наводнить эту так называемую деревенскую глушь своими, с «политической изюминкой», как модно теперь, городскими сплетнями; и деревня, старая и привычная наша деревня, знавшая только, что летний день год кормит и что, только работая, можно получать и иметь, — деревня оказывалась как бы разделенной на два противоположных разряда людей: тех, кто в поле, на фермах, на тракторах, то есть занят делом, и тех, в широкополых панамах, облепивших берега прудов, рек и речушек, которые отдыхают, вытаптывая луга своими футбольными, теннисными и иными развлечениями, и которые, соря деньгами, заставляют приносить им прямо на луг, к полднику, клубнику, залитую остуженным для этого в родниках молоком. Не нужно быть прозорливым, чтобы понять, какое разлагающее влияние, и прежде всего своим городским достатком, оказывают эти отдыхающие «родственники» на атмосферу деревенской жизни. Но, мне кажется, дело здесь не только и не столько в разлагающем влиянии, сколько в самой возможности подобного явления, когда одни, большей частью не трудясь, а изворачиваясь, то есть извлекая доходы из своих должностей, пребывают в сытости, развращающей их, а другие, чей труд испокон веку связан с землей и по́том, ограничены определенным — и снизу, и сверху — потолком заработка. Что же, возникает вопрос, происходит в нашем справедливом как будто обществе, в котором мы живем? И что это за справедливость, когда одним — все, как это уже было в старину, а другим — ничего; и деревенский человек невольно, не зная и не находя, как изменить или исправить подобный порядок вещей, либо устремляется сам, либо отправляет детей в город, где все словно бы устроено по-другому и где так ли, иначе ли, но всегда можно достичь достатка и благополучия. И хотя представление это ложно и в каждом городе есть свои проблемы и сложности, свои разделения на тружеников, карьеристов, бюрократов и взяточников, но труженики именно потому, что заняты делом, не видны, зато на виду те, кому некуда деть время, и барство их, как магнит, притягивает людей. Мы недоумеваем, отчего народ уходит из деревни? Да оттого и уходит, что существует магнит, и остановить дальнейший отток можно, только решительно перекрыв во многом узаконенные уже (нетрудовые) источники барства.

Деревня Лыково, которую, отыскивая глушь, выбрал для себя Иван Егорыч, была как раз той типичной, то есть развращенной уже, подмосковной деревней (хотя и располагалась она более чем в двухстах километрах от Москвы), в которой с мая по сентябрь постоянно жили отдыхающие. Облюбовав однажды это красивое место с рекой, лугом и лесом, они не только затем каждый год сами стали приезжать сюда, но и привозили друзей, которые тоже и сразу же очаровывались неповторимостью здешних красот и тянули за собой уже своих знакомых; лыковские места постепенно начали обретать популярность, о них заговорили, как о некоем сохранившемся в первозданном будто бы виде уголке России, где все прекрасно: и природа, и, главное, люди, с охотой (и за деньги, разумеется) принимавшие и обслуживавшие гостей. Рыбалка, грибы, ягоды, парное молоко по утрам с клубникой, да что еще нужно! Все, все в первозданной чистоте и свежести (как видится горожанину всякий живой куст на природе), только отдыхай и наслаждайся; и москвичи толпами отдыхали, наслаждались, вытаптывая и уничтожая вокруг то, что вызывало у них восторг. Сначала лыковцам эта любовь к их местам казалась странной, но потом, когда поняли, что из подобной любви можно извлекать прибыль, так пристрасти-

лись к новой статье дохода, что прежняя колхозная жизнь уже не устраивала и не могла устроить их. В поле они выходили только для того, чтобы числиться в колхозе, то есть иметь право на участок и огород, тогда как все помыслы (и в этом вряд ли можно упрекнуть их) направляли на то, чтобы как можно больше за летний сезон принять и обслужить москвичей. Для этого расширялись избы, чистились и оборудовались чердаки, хлевы и сараи; там, где прежде стояла скотина, ютились теперь на деревянных топчанах те счастливчики-москвичи, которым удалось (о цене уже не говорили) снять на лето жилье здесь. Без удобств, но зато на природе; зато потом можно будет как бы невзначай обронить, что отдыхал в Лыкове, и тем причислить себя к определенному, набиравшему силу кругу людей. Примыкать к какому-нибудь кругу было теперь и модным, и важным, и только люди сильные, не боящиеся жизни, позволяли себе еще оставаться личностями; все остальные сбивались в стаи, в своего рода непробиваемые греческие фаланги, с помощью которых поворачивался и направлялся в нужное им русло ход событий. Они и отдыху, этому простому, обычному делу, сумели придать культовое значение, чтобы извлекать свои (для сплочения фаланги) дивиденды. Но лыковцам не было дела до их дивидендов; лыковцы торопились выжать свое, наглели, развращались и свысока уже посматривали на колхозное и районное руководство. Да и что оно могло сделать с ними, что могло вообще сделать с наплывом тех москвичей, для которых не существует шлагбаумов? Увещевания и угрозы, которые нельзя исполнить, никого не пугали, и лыковцы, и москвичи в каждом разбиравшемся случае старались действовать совместно. Разве есть закон, запрещающий принимать у себя в доме родственников, друзей или просто знакомых? Закона такого нет да и не может быть, а что касается совести, так хороша только та совесть, которая для себя, и всякий раз находились предлоги, чтобы доказать недоказуемое.

Но и как было возразить, к примеру, художникам или другим творческим людям, которые приезжали, так сказать, на натуру, с мольбертами и с твердым убеждением в том, что они есть прямые наследники тех художников-передвижников, которые в свое время, двинувшись в глубь России, обнаженно на своих полотнах открыли ее; и хотя то, что повторяется в истории, может повторяться лишь в смешном либо в трагическом виде, но разве эта истина приложима к нам? И как вообще можно посягнуть на то, чем гордится наше искусство и что для всех нас является священным? И пусть мольберты, чтобы не отягощать плеч, брошены пылиться за шкафы и ящики, а владельцы их, забыв о подвижничестве, о котором и слышать-то толком не слышали и к которому не имели отношения, вместе с женами и великовозрастными чадами устремились к речным пляжам (или в лес, или на луг, чтобы погонять мяч), но это являлось уже делом их совести, за ними никто не подсматривал, и праздность их была надежно прикрыта идейным щитом. Натура, то есть природа, была нужна каждому, и каждый без особых на то умственных усилий брал в помощники и союзники ее. Композиторам необходимо было послушать пение птиц или полуденную тишину луга и леса; актерам, певцам, ваятелям, журналистам — всем хоть что-то, да требовалось от нее; хотя бы просто ощутить себя в нетронутом как будто (о чем лучше всего говорили почерневшие бревенчатые избы) уголке прежней России и приобщиться через этот уголок к отечественной истории. Чувство это знакомо мне; оно необходимо и прекрасно, через него мы соединяемся с вековыми традициями народа. Но не слишком ли мы сегодня принялись эксплуатировать это чувство? Возникает даже ощущение, словно мы стараемся приковать себя к прошлому, будто народ может оторваться от него. И по традиции ли или по недостатку ума и неумению найти иной и лучшей мысли для своих творений разрушаем естественный и необходимый баланс жизни? Мы столько (в объеме духовных накоплений) отдаем места прошлому и не всегда лучшему, то есть тому, что могло бы поучить и отрезвить нас, что на будущее уже не остается ни сил, ни времени. Но полагать, что жизнь заключена в прошлом, ошибочно и трагично; если же этот ошибающийся руководит делом, подобный трагизм может обернуться национальной катастрофой.

Вот такие мысли с быстротой, с какой они могут только являться в человеческом разуме,— грудясь и сменяя друг друга, пронеслись передо мной, вернее, во мне, пока я стоял у машины и смотрел на суетившихся в этот непривычный для деревни час утра перед магазином людей. По их широкополым белым панамам, их шортам и майкам с заграничными надписями и эмблемами нетрудно было догадаться, кто они: они имели только то отношение к деревне, что отдыхали здесь; возле магазина же толпились лишь потому, что из райцентра были привезены хлеб и еще кое-какие продукты, которые и разгружались на виду у них. «Как это все типично! — подумал я. — А мы еще жалуемся на «плюшевые» десанты, по субботам и воскресеньям наводняющие Москву. Да можем ли жаловаться, когда сами объединяемся в «панамные» и, как саранча, атакуем деревни?» Может быть, и неверно было думать так, и я даже склонен теперь полагать, что в подобных суждениях наверняка есть преувеличения; но не сама ли жизнь заставляет нас преувеличивать, чтобы разглядеть истину? Хотя между так называемыми «плюшевыми» и «панамными» десантами есть существенное различие: одни — по нужде, другие — от пресыщенности, но, мне кажется, явления эти происходят от одного корня, от условий, в которых возможно трудиться, и едва стягивать концы с концами, и приспосабливаться, ловчить, то есть не работать, но брать от жизни все, что только можно от нее взять; и разве достучишься до совести таких проходимцев? Совесть их чиста настолько, насколько привычна им эта их жизнь, и тысячу раз прав Иван Егорыч, продолжал про себя рассуждать я, беря его в союзники, что не в личностях дело, а в тех наших обобщениях, в которых как раз, может быть, и оказался пробел от неверного толкования понятий «народ» и «народная жизнь».

В эти минуты, пока я с грустью и осуждением оглядывался по сторонам, мне и в голову не приходило, что среди отдыхающей в Лыкове публики я встречу несколько знакомых мне художников и того (с известной и шумной фамилией) литератора, которого в Москве, я знал, все недолюбливали, но перед которым в то же время заискивали, как обычно заискивают перед раздавателем благ. Раздавал он не права на издания, то есть не деньги, а славу, ту, прижизненную (и оттого ложную), которая происходит не от таланта и творчества, а от связей и умения вовремя и кому нужно услужить. Как рубильник в сеть, включал он послушный ему оркестр критиков, и уже не имело значения, стоит или не стоит того призведение,— о нем писали, как о явлении, автор включался в бывшую на данный период в ходу обойму и, как снежный ком, обрастал славой. Откуда, как и почему возможен был такой дирижер, для меня, например, до сих пор остается загадкой. Может быть, в искусстве всегда было так? Во всяком случае, те, кто не хотел подобной славы, за которую, впрочем, надо было платить, и прежде всего совестью, сочиняли для себя утешения и старались удалиться в тень, словно там, как от жары, что-то могло защитить их. Не предполагал я, разумеется, и того, что уже в этот вечер окажусь в обществе этого литератора, встреч с которым всегда избегал в Москве, что он введет меня в круг своих здешних «друзей», частью похожих, частью лишь притворявшихся похожими на него, и что вообще попаду в тот словно перенесенный из Москвы кружок так называемых единомышленников, каких во все времена и во всех, видимо, столицах всегда действует предостаточно и в которых каких только не совершается сделок с совестью и разных прочих сомнительных и порочных предприятий. И что поразительно: совершаются они от имени и во имя народа, тогда как народ, озабоченный жизнью, даже понятия не имеет о том, что вот так нехитро можно обирать и закабалять его; они старались навязать простым людям то, что ни с какой стороны не нужно было им, и своими шумными (через печать) голосами только запутывали общественное мнение и загоняли прекрасные и важные (государственные) идеи в тупик, как эшелон, который предстояло разграбить и который в неразберихе и тупике грабить удобнее и легче, и — в очередной раз обманутая общественность только разводила руками.

Пожалуй, лишь это и знал я о подобных московских «объединениях», в которых, как считалось, собиралась особо одаренная, особо влиятельная, так сказать, «элитная», как они называли себя, публика. Я был далек от этой публики и жил совсем иной жизнью, какой живут тысячи и тысячи простых людей; но быть в пруду и не замочиться нельзя, и время от времени в той или иной степени затрагивала и меня, то есть не могла не затронуть, деятельность этой старавшейся все подгрести под себя «элиты». Я раздражался, нервничал, кидался узнавать обстоятельства; но, кроме то-

го, что было известно всем и скорее походило (по цинизму происходящего) на выдумку, узнать было нельзя, и постепенно все опять успокаивалось, возвращалось на круг, и не с кем и не за что было воевать. Стена была, и в то же время ее как будто не было; но и ни назад, ни вперед невозможно было пройти; и это всем очевидное (и порочное) явление словно бы охранялось законом. Да, может, все это придумано, возникала мысль, и есть только стечения обстоятельств, а не закономерность; есть только наши предубеждения, а не действительность, на которую всегда можно перенести то, чему нет объяснений? Может быть, может быть; говорят, что сомнения есть признак ума и порядочности, но мои сомнения, мне кажется, относились к иному разряду; я, в сущности, искал утешения, а не истины, угнетавшей и страшившей меня; и вот эта-то истина во всей своей оголенности и должна была теперь открыться передо мной.

III

Как ни было забито отдыхающими Лыково, но после некоторых усилий, вернее, уступок с моей стороны, а еще вернее, денежного задатка за неделю вперед, хотя больше чем на три дня у меня не было нужды оставаться здесь, я наконец договорился с некоей Анастасией Федоровной и был введен ею в небольшую, амбарного типа, пристройку со скрипучим деревянным полом, с оконцем вверху, под застрехой, и жестяной, для обогрева, печкой по центру, на которой стояли чайник и миски, очевидно, хозяйские, переданные для использования жильцам. Койки были по-казарменному аккуратно заправлены, пол только что вымыт и дышал сыростью, а оконце, должное давать свет, задернуто дешевой ситцевой шторкой.

— От мух, — сейчас же пояснила Анастасия Федоровна, опережая вопрос. Она затем на многие мои сомнения (относительно устройства жизни здесь) отвечала прежде, чем я успевал спросить у нее. — Где свет, туда и летят, а тьмы боятся, хоть и ума с игольное ушко, — прибавила она с осуждением.

О соседях (по этому сумрачному амбару, как я мысленно окрестил его), которые еще неделю назад обосновались здесь и были теперь на речке, Анастасия Федоровна сказала, что они тоже из Москвы, что рисуют, то есть принадлежат к тому определенному и уважавшемуся как будто бы ею, как можно было заметить по ее лицу, разряду личностей, жизнь которых, по крайней мере для нее, всегда оставалась непререкаемой и значительной; не понимая толк в картинах и находя (лично для себя) бессмысленным подобное занятие, она уважала художников, как выяснилось потом, не за талант, не за порывы души (чего, впрочем, и нельзя было обнаружить в них), а за достаток и умение посорить деньгами; и в то время как она, расплываясь в довольстве, продолжала говорить о них, я заметил этюдники, брошенные под кровать и торчавшие оттуда своими серыми, выщербленными и обляпанными краской боками. «Да, да, рисуют, — подумал я, усмехаясь в душе и не меняя спокойного выражения. — Вот они, наши нынешние передвижники, именующиеся народными и отстранившиеся от него». Для меня не было это открытием; все прежние понятия, я знал, настолько сместились и не соответствовали сути происходящего, что это давно уже никого не удивляло, как не удивляет и не возмущает нас и то обстоятельство, что мы привыкли думать одно, а говорить другое и что правда наша, загнанная в подполье, только и делает, что нагромождает баррикады, чтобы обезопасить себя.

Еще не видя художников и не познакомившись с ними, я уже, в сущности, составил о них представление, и утешало лишь то, что мне предстояло недолго пробыть в их обществе. «В конце концов я приехал к Ивану Егорычу, и что мне за дело до остальных? Рисуют — и пусть рисуют», — сказал я себе и попросил Анастасию Федоровну, если можно, принести кружку молока или что-нибудь молочное, творогу или простокваши, чтобы подкрепиться с дороги.

— Отчего же нельзя, молоко всегда есть. — И она направилась через двор к дому, чтобы приготовить, что я просил.

Несмотря на давно уже изменившиеся условия деревенской жизни, то есть несмотря на потерянную будто, как принято было утверждать тогда, нравственность, а точнее, несмотря на испорченность и развращенность

разного рода современными веяниями, люди в деревне, в большинстве своем, разумеется, по-прежнему оставались доброжелательными и гостеприимными, и Анастасия Федоровна, о которой, хотя она и не являлась участницей развернувшихся затем событий, я все же хочу сказать здесь, была наилучшим и очевидным тому подтверждением. Признаюсь, что так же, как и о художниках, один из которых как раз и оказался моим московским знакомым, я плохо подумал и об Анастасии Федоровне, разглядев в ней лишь поверхностное, что составляло, как мне показалось, смысл ее сегодняшней жизни. Мы привыкли говорить о таких людях, что они не трудятся, тогда как труд, и это надо признать, не может измеряться только понятием государственной значимости; кроме взгляда государственного, то есть кроме деятельности, носящей государственный характер и обеспечивающей как будто бы благо обществу, существует ее сложенная из тысячи мелочей необходимая, ежедневная и ежечасная деятельность на благо каждого отдельного человека или семьи; деятельность эта, стоящая как бы вне государственных интересов и никем официально не планирующаяся, то есть, по существу, поставленная вне закона, вместе с тем занимает (по своим естественным потребностям) огромное место в жизни каждого, может быть, благодаря именно ей, этой неучитывающейся деятельности многое разумное продолжает еще жить и развиваться в обществе. Не строит гостиниц государство, так сдает квартиры частник и наживается и удовлетворяет спрос. По устоявшимся понятиям это осудительно; по общечеловеческим же — вряд ли можно так, не разобравшись, рубить сплеча. Прежде чем Анастасия Федоровна стала такой, какой я увидел ее, она прожила долгую, нелегкую и типичную для многих русских деревенских женщин жизнь. Ведь поступки людей, равно как и народов, не всегда определяются только характером; есть социальные условия, в какие ставятся (или попадают, что, в общем, не меняет сути) как отдельные личности, так и целые народы, вырабатывающие затем либо рабскую, либо господскую психологию, и — надо ли далеко ходить за примером? Разве наша история, в которой не было рабства, но было крепостничество, не говорит нам об этом? Социальные условия жизни, к которым так ли, иначе ли вынуждена была приспосабливаться Анастасия Федоровна, были таковы, что надо бы поклониться в ноги подобным женщинам, что они, пройдя через все, через войну и всякого рода устройства и переустройства, не ожесточились и не очерствели душой.

Анастасия Федоровна не помнила отца, ушедшего на гражданскую и не вернувшегося с нее, и не знала, где он похоронен; росла она сиротой, а сиротство, сколько бы мы ни окружали заботой таких детей, всегда остается сиротством и, как любая, особенно душевная, травма, не проходит бесследно; и дело тут даже не в отцовской или материнской ласке, сколько в той атмосфере жизни, какая создается семьей и только ею, и в том примере для подражания, какой родители всегда подают детям. Как ток по электрическим проводам, именно через семью, через эту вековую цепочку жизни, осуществляется связь времен и передаются традиции и опыт прожитых поколений, и так же, как после разрыва проводов перестает светиться электрическая лампочка, остывает и перестает светиться от разрыва исторических связей человеческая душа. «Только и спасалась, что работой», — уже позднее, в разговоре, вспомнив о детстве, сказала мне как-то Анастасия Федоровна, и я не то чтобы понял, но вполне ясно представил себе ее сиротскую жизнь. Она работала в овощной бригаде, а труд тогда в колхозе был совсем иным, чем теперь. Трактора только вспахивали землю, а все остальное делалось вручную — парники, высадка рассады, прополка, уборка; работали не разгибая спины, и хотя подобный труд был привычен и то, что делается вручную, вознаграждается и сейчас (на приусадебных участках) с лихвой, но, пожалуй, нет более низко оплачиваемого труда, чем крестьянский, и если говорить о семейном достатке, то какой уж тут достаток, когда неясно с весны, что будет выдано на трудодень по осени. Но что поделаешь? Таковы были условия жизни, и надо было жить в этих условиях. И жили, и кормились, и кормили страну, надеясь на лучшее, которое вот-вот должно было прийти в каждый дом и которое затем обернулось страшной и ужасающей человеческой трагедией — войной.

Великие просветители утверждали, что война противоестественна человеческому разуму. Но тысячи и тысячи простых людей в связи с этим

вправе задать себе вопрос: если война противоестественна человеческому разуму, то кто же тогда начинает и ведет ее? Цари, то есть власть имущие, империалисты, как этих власть имущих называют теперь? Но они люди, и противоестественное человеку должно быть, по логике вещей, противоестественно и им. Или тогда следует признать, что они не люди, и выработать и применить к ним (как против волков или иных хищников) соответствующе меры. Казалось бы, что может быть яснее, и надо только приступить к действию; простых людей миллионы, а хищников — сотни, а то и того меньше — десятки, и сила, по известной (все той же) логике, должна быть как будто на стороне большинства, но история, а в большей степени современность не только ставят под сомнение подобный логический вывод, при котором сила на стороне большинства, но и безоговорочно опровергают его; просителями перед кучкою власть имущих выступали прежде и выступают теперь миллионы, и если не разгоняют или не избивают эти миллионы, то в лучшем случае игнорируют и не признают их мнение. Что это, парадокс? Или какая-то совсем иная, чем нам подавали ее, закономерность и логика? Во всяком случае, явление это требует неотложных исследований, к которым, к сожалению, не видно пока, чтобы было готово мировое сообщество. Предлагают лишь, как и предлагали всегда, бороться, бороться и бороться за справедливость. Но почему именно бороться, если разумное (а справедливость разумна) должно быть естественным и обязано существовать и развиваться само собой? Странно, непонятно и необъяснимо; да по разуму ли живем, невольно возникает вопрос, и так ли толкуем само понятие разума? Но вернемся к Анастасии Федоровне, к этой простой русской женщине, жизнь которой мне и теперь представляется примечательной; примечательной не бурными событиями, не страстями, хотя как посмотреть — ведь все в мире относительно, а самыми простыми и ничем как будто не выдающимися деревенскими буднями.

Разумеется, не в первый день и не в первые минуты знакомства, когда она, принеся молоко, сидела напротив меня, узнал я подробности ее жизни, но, мне кажется, именно тогда и зародились те между нами доверительные отношения, которые и привели затем к долгим и откровенным беседам, и я и теперь, когда ее уже нет в живых (она умерла зимой странной и неожиданной, по крайней мере неожиданной для меня, смертью, и я несколько раз затем приезжал в Лыково, чтобы навестить ее могилу), ясно вижу ее входящей с крынкою молока в сумрачную и сырую амбарную комнату. Я обернулся на скрипнувшую за спиной дверь и сначала даже как будто не узнал Анастасии Федоровны. Что-то словно переменилось в ней — то ли во взгляде, то ли в лице, старчески полном и округлом, которое, когда она торговалась со мной за койку, имело одно выражение, а теперь, когда подавала молоко — другое; так ли было на самом деле, или мне лишь показалось; или, может быть, все заключалось даже не в Анастасии Федоровне, а во мне самом, потому что к ее приходу я успел уже и приглядеться к сумраку, и свыкнуться с мыслью, что буду жить здесь, а восприятие окружающего, как известно, зависит от настроения, — я улыбнулся ей той же доброй, с какою вошла она, улыбкой и какая затем во все время, пока сидела у меня, не сходила с ее лица. Она, как я думаю теперь, была в те минуты не квартиросдатчицей, а хозяйкой, вышедшей к гостю, и цель ее будто в том только и состояла, чтобы как можно приветливее, как и водилось испокон на Руси, принять путника; ею руководило уже иное, противное целям наживы то изначальное чувство людского родства, какое заложено в каждом человеке и проявляется или, вернее, не проявляется в зависимости от обстоятельств жизни. Сдавать внаем и торговаться было для Анастасии Федоровны, как я понял (и что вполне подтвердилось потом), делом насильственным, и, как всякое насильственное, то есть по принуждению, дело, пусть даже продиктованное определенной необходимостью, делалось ею (там, на деревенской площади, где мы торговались) равнодушно, с неприятной и холодной расчетливостью. Ближе и свойственней же ее характеру были та душевная раскрытость и доброта, та готовность посочувствовать и прийти на помощь, какая чаще всего замечается среди простых людей и по проявлению которой (насколько вообще добр или недобр каждый человек по отношению к себе и другим) обычно определяется учеными нравственное состояние общества, тогда как, хочу заметить, что это первейший и важнейший признак социального благополучия или неблагополучия общества; на лице ее даже разгладились морщины от удовлетворения, что ей выпала возможность побыть собой, и я не то чтобы сейчас же и с подробностями вот так подумал о ней и изменил к ней отношение, но — мне как будто передалось ее настроение, и я без нужды, потому что если мне и надо было о чем-либо расспросить ее, так только об Иване Егорыче, интересовавшем меня, принялся расспрашивать Анастасию Федоровну о ее жизни, о жизни в деревне вообще и со вниманием и увлечением слушал ее.

IV

Перед войной Анастасия Федоровна вышла замуж, и замужество ее, о котором она вспоминала охотно и с любовью, было хотя и коротким, но счастливым.

Она впервые тогда перешагнула порог этого большого, теперь сдававшегося ею внаем дома со всеми его пристройками: амбаром, скотным сараем, хлевом и бревенчатой, на задах, баней с каменкой, топившейся по-белому, что тогда считалось своего рода богатством; и в соответствии с этим домом и большим (по теперешним деревенским образцам) хозяйством было в нем много подраставшего и старевшего народа. В нем жили, в сущности, три семьи; и Анастасия Федоровна не могла припомнить, чтобы между стариками, братьями или невестками возникали ссоры; ну, не без того, чтобы не прикрикнуть, так ведь и бывало за что, бывало и пошалить умели, а что до дела, то есть до основ жизни, было едино, трудились все и не считались, кто в чем переработал или недоработал, как принято в нынешних куцых семьях, в которых не столько живут супруги, сколько рассуждают о равноправии, чтобы, избави бог, не перетрудиться на мужа или жену. Старики, свекор и свекровь, для Анастасии занимали то свое положение в доме, какое и положено было занимать им; старший сын, Андрей, с женой и детьми, которых было четверо и все они были погодками, имел свое преимущество, признававшееся за ним; средний, Николай, взявший за себя Анастасию, сейчас же, как только женился, обрел свое положение во всей этой не писанной никем семейной иерархии, и только младший, Юрий, ходивший холостяком, пока не претендовал ни на что и готовился к службе в армии. И все в этом трехслойном, как можно бы сказать о нем, семействе, начиная с главы, Семена Петровича, трудились в колхозе: мужчины — большей частью с лошадьми, без которых тогда не могли обходиться хозяйства, и на работах, что потяжелее, каких и теперь в колхозах сохранилось достаточно, женщины — возле коров, на ферме, и в овощеводческих бригадах, а в общем, как, вспоминая, говорила Анастасия Федоровна, на что поставит председатель, то и делали, куда пошлет, туда и шли; жили теми понятиями и той верой, что все происходящее разумно и что председатель да и стоящие над ним хотят только лучшего и не могут ни заблуждаться, ни вредить в результате своих заблуждений, — да именно теми понятиями и той верой, какая, добавлю от себя, и после войны долго еще теплилась в народе, обнадеживая деревенского человека и создавая у людей, наблюдавших за сельской жизнью, то ложное впечатление нравственного благополучия, впечатление постоянно как будто действовавшей силы, которая не то чтобы не могла поубавиться или иссякнуть в народе, но благодаря этим н о в ы м условиям кощунственной представлялась даже самая мысль о подобном повороте событий.

Если же и вносились какие-либо организационные, как их называли, изменения в структуру деревенской жизни, они не затрагивали существа. Хозяйства то укрупняли, то, напротив, начинали дробить, будто лишь в этом и заключалась проблема; то, как на спасительный рецепт, возлагали все на мелиорацию или химизацию почв, только омертвляя их и нанося всему сельскому хозяйству непоправимый ущерб; то вдруг взоры всех обращались на сверхмощную технику, которая еще только разрабатывалась, а когда эта техника поступала наконец в колхозы, она не приносила желаемых результатов. Мы много и научно как будто бы спорили о парах, то отменяя, то опять повсеместно вводя их, а то вдруг принимались распахивать проселки, в то время как основные угодья, веками служившие людям и очищенные ими от кустарников и лесов, заболачивались и зарастали; то выдвигались еще и еще десятки подобных новшеств, но ни у кого даже не

появилось потребности заглянуть в корень вопроса. Дело дошло уже до того, что пришлось принимать специальное (и не одно затем!) постановление о развитии так называемой Нечерноземной зоны России, словно речь шла о каких-то новых землях, а не о тех, что столетиями кормили русского человека и не могли просто так, беспричинно запустеть и не плодородить. И не от обилия, конечно же, в каком, как утверждалось, нам предстояло уже жить, была разработана и объявлена как первоочередная общегосударственная и общенародная задача Продовольственная программа страны. Но странно: в то время, как на выполнение этой программы ежегодно затрачивались новые и новые и немалые как будто средства, в то время, как огромное количество людей, втянутых в осуществление ее, прилагали (из своих оборудованных кабинетов) усилия, чтобы выправить положение,— положение, с точки зрения простого человека, вынужденного бегать по магазинам в поисках даже самых элементарных овощей, огурцов и помидоров, не говоря уже о колбасах и мясе, не только не выправлялось, но лишь сильнее, казалось, запутывалось, и создавалось впечатление, что тот воз с деревенскими проблемами, который не одно уже десятилетие (и всем как будто народом) мы пытаемся вытянуть, так всосался в трясину, что вряд ли только кнутом, окриками или перепряжкою лошадей возможно сдвинуть его; может быть, как это представляется мне, следовало бы изменить сам способ движения или по крайней мере заглянуть вглубь, чтобы попытаться прояснить проблему.

Мысли эти, разумеется, приходили в голову мне и не имели отношения к Анастасии Федоровне. Как большинство людей простых, деревенских, она жила лишь теми заботами, какие возникали из ее быта и окружали ее, ей не то чтобы не хотелось, но некогда было думать о том государственном устройстве, какое так ли, иначе ли отражалось на ней. Думают же там о народе, не могут не думать, полагала она, и так же, как невозможно представить, чтобы после ночи не наступило утро, немыслимым было для Анастасии, как и для мужа, Николая, и для деверя с его чадами, свекра и свекрови, чтобы не по наклонной вверх, а по наклонной вниз могла двигаться общая жизнь людей. Они работали, жили, и все вокруг них жило, цвели травы, наливались зерном хлеба, выгуливалась скотина, и, казалось, нет и не будет конца этому круговороту природы.

Я понимаю, что идеализировать прошлое нельзя, что это своего рода консерватизм мышления, ностальгия по временам, которые ушли, но в силу определенных причин, и прежде всего естественного устремления человека к стабильности и нерушимости жизни, представляются нам в розовом свете. Но что же делать, если у нас,как, впрочем, и у всего человечества, нет другой истории, чем та, что была, и нет другого примера, чем *этот*, на который можно сослаться? Конечно, ничего розового в сельской жизни не было ни в довоенные, ни тем более дореволюционные годы; крестьянская доля потому и называется крестьянской, что она всегда сопряжена с трудом и лишениями; но и нельзя теперь говорить, что, кроме лишений, будто и не было ничего другого в ней, потому что благополучие народа меряется не только или, вернее, не столько сиюминутным (и часто подкрашенным) состоянием общества, а способностью устойчиво и целенаправленно воссоздавать жизнь. Большие семьи в русских деревнях (теперь такие можно увидеть лишь в южных республиках, и возникают они там, конечно же, не от плохой жизни) не только не были редкостью, но, напротив, считалось, что семья с одним ребенком — это уже не семья, а о бездетных и вовсе говорили, что только коптят небо. Да и что за примером ходить, когда у моей матери было девять сестер и два брата, и она не иначе как с теплом вспоминала о своей деревенской жизни. Ее дедушка и бабушка, приходившиеся мне прадедом и прабабкой, дожили до ста одного года и умерли в один день: утром — прабабушка, тогда как прадед еще ходил и даже задавал корм скоту, а потом, к обеду, лег на лавку и скончался. За свою столетнюю жизнь они не только вырастили и поставили на ноги, то есть вывели в люди, как можно еще сказать об этом, своих детей, не только няичили и растили внуков и правнуков, но успели порадоваться и появлению на свет праправнуков и праправнучек и понянчить их, и все это — в одном большом крестьянском доме; и как нечто уникальное и бесценное храню я поблекшую уже старинную фотографию, на которой на фоне дома и телеги с лошадью запечатлено многочисленное, по материнской линии, семейство со стариками, детьми, внуками и правнуками: прадед в папахе, держащий под уздцы лошадь, рядом с ним прабабушка, потом бабушка, сумевшая дожить лишь до девяноста шести лет, потом сестры и братья, среди которых и моя мать, молодая, незамужняя, красивая (за нее еще только сватались тогда из соседней заимки), а перед ними на траве — малышня с удивленными, выпученными глазами. Да и нас у матери было трое, так что я вполне понимал Анастасию Федоровну и представлял, о чем она говорила. Ее слова, что в этом вот дворе и в этом доме кипела тогда совсем иная, чем теперь, жизнь, были для меня не просто словами; они как бы приоткрывали шторку над картиной, которая с детства и в подробностях была знакома мне и вызывала добрые чувства.

Да и много ли нужно было, чтобы вообразить, что здесь происходило тогда и что теперь.

Теперь здесь жили не хозяева, а отдыхающие — дачники, относившиеся ко всему окружавшему их, как к одежде, которую износил и выбросил, потому что то, что обеспечивало им жизнь, находилось не в Лыкове, а в Москве, в тех будто пожизненно закрепленных за ними, служебных кабинетах и квартирах, богато и со вкусом (в большинстве своем) обставленных ими, в которых проходила их так называемая государственная, но подчиненная личным интересам деятельность; они обкладывались и обрастали связями, и эта деревенская неустроенность их после столичных удобств, так как модным было теперь подстраиваться под народ и находить во всем народные корни, воспринималась лишь как своего рода счастливый эпизод, когда без усилий и ущерба для себя они могли не то чтобы приобщиться к благородному, как подавалось теперь, крестьянскому быту, к которому, впрочем, не для чего было приобщаться им, но вполне выказать внешнюю сторону этого приобщения. Пройтись по росе или ощутить непроглядную (чего не удается в городских условиях) темноту ночи, поспать на сеновале и затем, поднявшись и освежившись на речке, понаблюдать издали, из-под руки, как скашивается соседний луг или сгребается и копнится на нем сено,— о, есть ли что-либо одухотвореннее, чем подобное препровождение времени! Не испытавшие тяжести крестьянского труда, но с лихвою наслышанные о его красоте, они с удовольствием созерцали этот труд, путая и подменяя понятия, как они подменяли и путали (по своим московским образцам) деятельность на благо обществу с деятельностью для себя. Разноцветными, в шортах и панамах, стайками они то сходились у хозяйских крылечек, куда выносилось им молоко, то на речном пляже или поляне, еще накануне до желтизны вытоптанной ими, и если что и возбуждало интерес, то отнюдь не природа, которой они будто бы приехали наслаждаться, а те называемые новостями сплетни, которые так ли, иначе ли докатывались сюда из Москвы и обретали здесь (разумеется, среди отдыхавших) еще более отвратительное существование. Здесь продолжалась плестись все та же сеть интриг (против людей талантливых и потому неугодных), то есть вырабатывалось то проверенное и перешедшее словно бы по наследству к ним средство, с помощью которого во все времена убирались с дороги люди инициативные, борющиеся за интересы общества, и выдвигались на передний план истории алчные, жестокие и безликие, способные оставить после себя лишь увенчанный страданиями миллионов след преступлений, разумеется, среди нынешних лыковских завсегдатаев не было столь значительных личностей, которые могли бы основательно повлиять на ход развивавшихся событий, но и того малого, что могли и делали (а целое всегда состоит из частностей), было достаточно, чтобы переломать судьбы многих и многих честных людей и чтобы, как ком, разрасталось и тяжелело то страшное явление — круговая порука, бюрократизм, пьянство, воровство, взяточничество,— которое затем тяжелым недугом поразит всю нашу жизнь. Я и сейчас не могу избавиться от впечатления, оставшегося у меня от Лыкова тех дней. Несмотря на многолюдье, деревня представлялась мне пустым, заброшенным домом, в котором вроде бы все сохранялось на местах: и мебель, и посуда, и занавески, и зеркала, и обои, и даже бра были зажжены, и в то же время от всего словно бы веяло безжизненным, оставленным на вымирание пространством.

Ученые разных стран давно уже говорят нам, что природа разумна и вполне могла бы существовать без человеческого вмешательства и что, пожалуй, для нее было бы лучше без подобного вмешательства. Но у лю-

дей простых сложилось (из их опыта жизни) и живет совсем иная на эту проблему точка зрения, которая состоит в том, что все вокруг цветет и преумножается лишь благодаря неустанным и добрым заботам человека. И если наука, столь же, впрочем, давшая за века миру, сколь (и если не больше) отобравшая у него, если коснуться вопросов нравственных, все еще не признает, пренебрегает или, точнее, не желает по-серьезному обратиться, как к предмету исследования, к этому дошедшему до нас из глубин народному восприятию целей и существа жизни (в чем, собственно, и заключена нравственная связь человека с землей), то это еще не означает, что явления подобного нет в природе или что оно не существенно, а следовательно, не может стать предметом изучения. Меня, например, с детства сопровождает чувство, что все вокруг зависело и зависит от человека, что он поставлен в центре природы и что от того, каков он, добр или недобр, зависит судьба окружающей его жизни. Мне иногда кажется, что еще прежде, чем я начал ходить и говорить, я начал понимать, что всякую живность во дворе надо кормить, так как без определенных забот о ней она не сможет существовать, что огород и поле надо возделывать, что ни дрова, ни сено не заготавливаются сами и что даже птицы нуждаются в человеческой помощи; как и все другие дети той старой деревни, я не по учебникам познавал этот нравственный урок и не по многолюдству или малолюдству судил затем о полноте и красоте жизни, а по радению, вернее, по прилежанию того или иного человека к своему делу. Я знал, что, стоило только крестьянину отвлечься от земли и хозяйства на что-либо другое, как сейчас же все во дворе начинало стареть, оседать, рушиться и зарастать крапивой, некормленая скотина поднимала рев, и полчища тараканов и мышей наводняли избу; называлось это бесхозяйственностью, хотя, как я думаю теперь, слово это — бесхозяйственность, — клеймящее как будто бы людей за нерадивость, в сущности, лишь констатирует явление, но не объясняет его; корнем же, истоком как раз, видимо, и было нарушение тех нравственных (неважно, по какой причине, частного ли порядка, или государственной) связей, которые испокон притягивали деревенского человека к косе и плугу и соединяли в нем понимание целей и назначения жизни с возможностью реализации их. Он был привязан к земле тем, что утверждался на ней, то есть проявлял себя, и разрыв или отторжение от нее вызывало в нем самое страшное, как мне кажется, в человеке чувство — чувство равнодушия. Именно от равнодушия все пустеет, рушится, зарастает, и от него совершаются преступления: большие ли, малые ли, кровавые или бескровные, порядка личной мести или мести народам и государствам, о чем свидетельствует не столько даже история, сколько наша цивилизованная современность. Анастасия Федоровна, разумеется, не думала этими большими категориями и, может быть, вообще не употребляла этого слова — равнодушие — применительно к ее сегодняшним условиям, но в постояльцах, мне кажется, замечала именно эту отчужденность их от истинных целей жизни, и отчужденность эта, воспринимавшаяся ею как признак беды, заставляла вновь и вновь (в поисках решения вопроса) обращаться к тем старым и добрым для нее теперь временам, о которых только и оставалось, что вспоминать ей.

V

Между тем, с чего человек начинает жизнь, и тем, к чему приходит к старости, лежит расстояние, которое можно обозреть либо одним всеохватным взглядом, либо, раздробив на части, то есть на отдельные события, имевшие в свое время то или иное значение для нас и оказавшиеся поворотными, разбирать их по отдельности, вникая в них и извлекая из них уроки. Если посмотреть на жизнь Анастасии Федоровны в целом, как она протекала для нее (и как затем стала известна мне не столько даже по ее рассказам, сколько из встреч и разговоров с ее зятьями, особенно старшим, Юлием Кирилловичем Цыганковым, живущим в Москве и наезжавшим в Лыково), то можно сделать только тот общий вывод, что судьба ее складывалась так же, лишь с небольшими, может быть, изменениями, как она складывалась в те годы для многих и многих овдовевших в войну деревенских женщин. Подобную судьбу можно было бы изобразить линией в виде коромысла, повернутого брюхом вниз, на одном конце которого рушились, а на другом создавались, но уже на иной (и через десятилетия) основе деревенские семьи; и это провисшее (во всем символическом значении своем) коромысло как нельзя лучше было приложимо к Анастасии Федоровне, оказавшейся свидетельницей и участницей самых, может быть, коренных и не осмысленных еще в своем историческом значении перемен в русской народной жизни.

Перед войной Анастасия Федоровна благополучно родила двух девочек. Старшую назвали Светланой, а младшую Ольгой. Младшая была еще на руках и кормилась грудью, когда грянула война. В первую же неделю все три брата — Андрей, Николай, муж Анастасии, и Юрий, то есть вся, так сказать, мужская половина семьи, исключая лишь свекра, который был стар да и в первую мировую и затем в гражданскую отвоевал свое, — были призваны в армию. В два приема более чем по сорок человек увозили из Лыкова на подводах призывников, и провожать их выходила вся деревня: с музыкой, слезами, надеждами (на скорую и блестящую победу), которым не суждено было сбыться. Подобные проводы так многократно описаны в литературе, что они уже как будто не воспринимаются нами. «Да разве в Лыкове только? Так было везде, и что тут нового и необычного?» — невольно задаю себе этот вопрос и я, потому что такой же, в сущности, как и все, читатель, слушатель и зритель, живу в кругу тех же понятий и образов, в той нравственной атмосфере, которая, как принято считать, диктуется социальной потребностью общества и услужливо и всегда или почти всегда поддерживается искусством. Но вместе с тем даже теперь, когда пишу эти строки, и минувшее, и пережитое видится в воображении (меня тоже провожали на фронт, и тоже были и речи, и музыка, и команда «По вагонам!», и полные слез глаза матери), что-то, будто не подчиняющееся сознанию, что живет в каждом из нас, вызывает во мне совсем иное, противоречащее устоявшемуся шаблону чувство. Да, события всюду были схожи, говорит это чувство, потому что беда навалилась на всех одна и одни общие у всех были надежды и переживания; и хотя нельзя как будто не согласиться с тем, что всякая частная судьба, когда речь заходит о судьбе народа и государства, теряет значение и оборачивается столь ничтожно малой для нас величиной, что с ней (по причине именно ничтожности) можно и не считаться, в то же время, с точки зрения отдельного человека, рассуждение это не только не может быть принятым, но вызывает протест и возмущение. Страдания народа, то есть боль общая, может лишь сгладить, но не отменить своей, столь же глубокой и неохватной боли, как, впрочем, глубока и неохватна в нашем восприятии однажды и неповторимо данная нам жизнь.

С грудной Оленькой на руках и со Светланой, которая держалась за материну юбку, стояла Анастасия в тот день, день проводов, среди женщин на деревенской площади, возле сельпо, и что бы мы ни говорили теперь, как бы ни обобщали, сливая чувства каждого в одно общее, о котором и десять, и двадцать, и пятьдесят, и сто, наверное, лет спустя будут писать и писать, поражаясь размаху и тяжести навалившихся на народ событий, многотерпению и упорству его, но перенесенное Анастасией было для нее своим, ни с чем не сравнимым горем. Она смотрела на мужа и видела как будто только его, но в памяти ее, как в кладовой, свежи были и сейчас подробности того дня: она помнила, и сколько было подвод на площади, и какие были запряжены в них кони, кого председатель занарядил в кучера, и кто из призывников и на какой подводе уезжал из Лыкова. Скучившиеся на площади подводы были словно окольцованы многоликой, в основном из детишек и женщин, толпой, и райвоенком в пилотке и с кубиками в петлицах озабоченно прохаживался между прощавшимися и поторапливал их. Не привыкший еще, как видно, командовать, — он был молод, свежеиспечен, и об этом ясно говорило его новенькое обмундирование, — но, может, от понимания и сочувствия происходящему, он лишь увещевательно произносил: «Давайте, давайте, граждане, заканчивайте», — и голос его едва различим был среди гула и говора разволновавшегося деревенского люда. Кто-то уже сидел на телеге (муж Анастасии уезжал на первой, запряженной председательской чалой), кто-то, замешкавшись, как это и бывает, только подходил к определенному для него месту, а кого-то не отпускали, обцеловывая и обнимая, как перед дурным предчувствием (не знаю, может быть, я не прав и все только от преувеличенного воображе-

ния, но что-то будто в проводах этих было от «Утра стрелецкой казни»: что-то будто от трагизма и величия минуты); но вот последний опоздавший умостился наконец со своим мешком на подводе, щелкнули ременные вожжи по крупам лошадей, и под общее: «Н-но, трогай», — дрогнул, заскрипел и пошел вытягиваться по дороге к выезду из деревни весь этот наполненный молодыми, крепкими и сильными мужскими телами тележный обоз.

Толпа двинулась за подводами, постепенно редея и отставая, и среди тех, кто оказался за последними избами, была Анастасия с детьми. Она остановилась на обочине, глядя на удалявшиеся подводы. Они словно плыли над колосьями, огибая пшеничное поле, и устремлялись к березовому подлеску, лесу и тракту за ним, тогда еще не асфальтированному, тому самому тракту, по которому в восемьсот двенадцатом двигались на Москву французы. Как к большой реке, стекались к этому тракту от окрестных сел и деревень те извилистые проселки, по которым не раз и не два в многотрудной нашей истории отправлялись русские мужики на защиту своей земли, и не раз и не два вот так же, как теперь Анастасия, провожали их на околице русские женщины. И, кто знает, может быть, именно лихая эта история и выработала в них столь терпеливый и упорный характер, потому что — Анастасия не плакала. Она хорошо помнила, что не плакала, что слез не было, а было лишь то состояние, о котором, впрочем, как она ни старалась, не могла ничего толком сказать. «То схвачусь за Светланку да к ногам ее, к ногам, а плечики у нее худенькие, то за Оленьку, будто кто отобрать их хочет у меня, а сама все на подводы: где там мой Николай? Дурна была, что̀ понимала. Остановилось все тут, — она показала ладонью на грудь, — и душит, ни вздохнуть, ни крикнуть. Какие уж там слезы, тут бы не упасть», — спокойно, будто не о своей, а о чужой жизни, которую созерцала, проговорила Анастасия Федоровна. И как ни покажутся кому-нибудь примитивными ее рассуждения, но мне они говорят о многом. Я опять вспоминаю о матери, которая тоже была немногословной и не лила слез в трудные минуты жизни. Она понимала больше, чем умела сказать, и чувствовала глубже, чем могла выразить. А письма ее, которые она посылала на фронт и которые я храню, разумеется, не как документы истории, а как частицу той жизни, в которой проходила моя окопная молодость. Из этих писем можно понять только, что все у них там, в тылу, было хорошо, хотя известно, как было х о р о ш о у них там, в тылу, и чего стоило им обеспечивать и кормить фронт: они отказывали себе, страдали, пухли, голодали, и та великая ложь — в с е х о р о ш о, — какую они сообщали (можно и смягчить и назвать неправдой), великая ложь та для нас, солдат, была, может быть, во сто крат нужнее и важнее самой великой правды. А поступок ее перед смертью? Она болела. Болела мучительно, долго, и я так привык к этому ее состоянию, когда все в одной будто мере, не лучше, не хуже (как люди вообще способны привыкать к различным обстоятельствам жизни), что мне казалось: ничего иного уже не может случиться с ней. Я навещал ее, когда бывало свободное время, разговаривал с ней по телефону. И в то утро, как произойти беде, тоже, как обычно, позвонил ей. «Нет, нет, за меня не волнуйся, — ответила она. — У меня все хорошо, занимайся своим и не думай». Она не хотела отвлекать меня от моей важной, как представлялось ей, работы, тогда как сестре Васене, сидевшей в то время у нее, сказала: «Умру, наверное», — и попросила купить новое белье. Уже потом, от Васены, узнал я об этой подробности. Но разве не примчался бы я, промолви она хоть слово, и не побыл бы с ней в последние часы ее жизни! И ведь ждала, знаю, что ждала, но как мы бываем слепы и глухи к истинным проявлениям добра и как казним себя за эти глухоту и слепоту потом, когда бывает уже поздно. И если что и утешает меня теперь, так только то, что я стал по-иному и глубже смотреть на мир и понимать людей; понимать их так же, как я понимал сидевшую тогда передо мной Анастасию Федоровну со всеми ее высказанными и невысказанными воспоминаниями и чувствами.

— Это удивительно, — сказал я (сначала для того только, чтобы поддержать разговор). — Кого ни послушаешь, так все, оказывается, если не знали, то чувствовали, насколько затянется война и кто придет и кто не придет с нее.

— Может, и не знали, откуда знать, но и знали. Знали, народ не обманешь, — ответила Анастасия Федоровна (столь неожиданным словосочетанием — н а р о д н е о б м а н е ш ь, — что я не мог уже не продолжить разговора с ней).

— В каком смысле? — спросил я, хотя, думаю, смешно и глупо было так ставить вопрос.

— А в таком: не обманешь, — подтвердила она, будто речь шла не о чем-то духовном, что производится разумом и не имеет ни формы (зримой), ни оболочки, а о таком (как при покупке лошади, коровы или козы), что можно оглядеть, измерить, пощупать или испробовать в действии. — Народ, он, может, и не все умеет сказать, но понять — понимает. Кто же мне что говорил, а вот было. Вернулась домой сама не своя, из рук все валится. Засело в голове, что не увижу больше свово муженька, да так и не увидела.

Разумеется, есть предвидения, основанные на знаниях и соответствующей государственной и политической информированности, и предвидения, или, вернее, предчувствия народа, который часто совсем иным и необъяснимым путем приходит к тем же, если не более глубоким и точным предположениям. Как это происходит и что лежит в основе таких предположений, трудно понять. Иногда возникает мысль, что между современностью и прошлым и современностью и будущим существует не только та известная нам духовная связь, действующая через память и разум, но и нечто будто материальное, что в определенные периоды истории (как перед грозой в атмосфере) сгущается и начинает действовать на сознание людей. Народы то бывают активны и за какое-нибудь десятилетие создают непреходящие ценности, то вдруг словно впадают в спячку, созерцание и бездеятельность — и тогда чахнут, стареют, разрушаются и уходят в небытие города и державы. Что касается минувшей войны, то вопрос о предвидении ее, а предвидеть — хоть с точки зрения народа, хоть государства — это значит быть готовым к ней, мне кажется, во многом еще остается открытым. Предвидение скорой и легкой победы, то есть предвидение официальное, не подтвердилось; народное же, относящееся к неисчислимым и невосполнимым утратам и бедствиям, не то чтобы оправдалось, но оправдалось с лихвой, и чем дальше нас отделяет время от минувшей войны, тем ощутимее, по моим наблюдениям (по крайней мере если взять русскую, а точнее, нечерноземную деревню), сказываются ее последствия. «Народ не обманешь, — мысленно повторил я слова Анастасии Федоровны. — Да кто же его собирался обманывать? Может быть, она хотела сказать другое: не обманывался и никогда не может обмануться?»

VI

Если в будущем кто-то вздумает обратиться к общественному мнению шестидесятых — семидесятых годов по вопросам деревни, а восстановить более или менее приближенную к истине картину можно будет уже только по книгам и публикациям, не то чтобы искаженно, но по большей части недостоверно и односторонне освещавшим события, он непременно должен будет столкнуться с двумя (по суммированию их) разновидностями суждений: одни — о том, что деревня наша на подъеме и что все в ней, кроме отдельных и, разумеется, несущественных недостатков, может вызывать лишь одобрение, иными словами, как в письмах на фронт, в которых «все у нас тут, в тылу, хорошо» и «не следует волноваться», да, да, та же ложь, только нужна ли была она нам теперь и не мешала ли делу; суждения эти были довлеющими и звучали, как отлично отрепетированный и сыгранный оркестр; вторые — о том, что в сельском хозяйстве далеко не все так благополучно, как принято считать, и что к деревне следует присмотреться, потому что происходящее в ней может привести к печальным и необратимым последствиям. В этих суждениях единства не было, они звучали на разный лад, и если чего недоставало в них, так только определенного и ясного взгляда на будущее; говорили больше о прошлом, и среди причин (существенных и несущественных), породивших недостатки, охотнее всего называлась и признавалась война. Но была ли она главной и не заслоняла ли собой те другие и, может быть, более важные, от которых и зависело дело? Во всяком случае, мне все чаще теперь приходит эта мысль, что за опущенной нами же занавесью, может быть, как раз и осталось то, что являлось ключом к решению назревавших проблем.

Но так или иначе, а в те годы, мне кажется, не было человека, который бы не сочувствовал деревне, хотя, впрочем, были и такие, их немного, кто смотрел на нее раздраженно, даже рассерженно: дескать, «дали им трактора, комбайны, удобрения, паши, сей и убирай, так нет, чего-то еще выжидают», да, были и такие, кто считал, что на стол им всегда и все должно подаваться безропотно. Но к окрикам этим, равно как и к сочувствию, деревня оставалась глуха, потому что из слов, льются ли они тихо, или сотрясают воздух, ничего не построишь; кроме орудий труда, то есть тракторов и комбайнов, ей тоже требовались определенные условия жизни, и то, что прежде в каждом дворе делалось мужскими руками, должно было взять на себя государство, то есть та самая общественность, ради торжества которой как раз и сложили головы отцы крестьянских семей. Когда живешь в городе, да еще таком, как Москва, и лишь наездом бываешь в деревне, то кажется, что вполне достаточно твоего сочувствия ей. Особенно, если оно искренно. Но стоит лишь чуть внимательнее присмотреться к ней, как сейчас же начинает охватывать тебя совершенно иное, безрадостное чувство. Я говорю об этом потому, что и мне однажды и в самый неподходящий как будто момент довелось испытать горькие минуты угрызения совести.

Случилось это в одну из годовщин Курской битвы, когда с группой ветеранов, участников сражения, я отправился по местам боев. Нам предстояло проехать по деревням и селам Курской, Орловской и Белгородской областей, а начаться все должно было в Прохоровке, той самой Прохоровке, когда-то безвестной, но теперь знаменитой, возле которой на огромном пахотном поле (между совхозом «Комсомольский» и железнодорожным полотном) развернулось одно из самых масштабных и ожесточенных за всю войну танковых сражений. Возле блиндажа генерала Ротмистрова, откуда он управлял сражением, был проведен митинг, а затем мы пешком отправились в село на встречу с читателями в местном клубе. Встреча та не запомнилась мне. Она прошла, как и множество других подобных, при полном как будто, но в то же время отсутствующем зале, потому что то, что могли мы сказать этим собравшимся деревенским людям, им не раз и не два говорили уже до нас, и, право же, какой интерес слушать то, что повторяется пусть даже в ином и лучшем, может быть, словосочетании; суть всегда остается сутью, сколько ни приукрашивай и ни облагораживай ее, да к тому же, и я убежден в этом, в страдную летнюю пору им было просто не до нас. Подошли травы, которые надо было косить, и надо было готовить комбайны к жатве, то есть делать то, что никто не мог сделать за них, и каждый праздно проведенный час, они знали, придется восполнять им либо за счет сна и отдыха, либо за счет дел домашних, в которых тоже летний день год кормит. В общем, их можно было понять, как, впрочем, всегда можно понять любого человека, если хоть чуть-чуть войти в его положение, да и не встречей, повторяю, памятен был для меня тот июльский день, а событием совсем иного порядка, никем не предусматривавшимся и не планировавшимся по ходу нашей поездки.

Сначала мне показалось, как только мы втянулись в сельскую улицу, что что-то будто торжественное, праздничное было в ней. Во всю длину ее перед дворами и палисадниками были выставлены столы, накрытые разноцветными скатертями, и возле них стояли и сидели с внуками и внучками пожилые женщины. На столах поблескивали самовары, видна была посуда, закуски на блюдах, рюмки, бутылки с «московской» и «столичной», да и сами женщины, казалось, тоже были как-то странно (траурно, как потом, приглядевшись, определил я) наряжены.

— Х-ха, братцы, как встречают, а! — воскликнул поэт (из нашей группы), взявший на себя роль Теркина, чтобы веселить и забавлять всех (и что, я думаю, было своего рода закономерностью, так как напоминало нам наши фронтовые будни).

— Да нет, это не вас, — не скрывая досады и недовольства, произнес сопровождавший нас представитель райисполкома. Он чуть приостановился, виновато взглянув на нас. — Вот народ, вот народ! Тут сенокос, а они со своими бутылками... И какой ведь уже год, сколько ни говори, свое. — И, мысленно приняв то решение, которое одно, по его понятиям, могло бы исправить дело, энергично двинулся к первому видневшемуся на пути столику.

Но отвратительной той сцены, какая, было видно по всему, должна была разразиться на глазах у нас, отвратительной той сцены не получилось: за несколько метров до столика мы как-то разом, не сговариваясь, пошли тише, тем мягким шагом, каким подходят лишь к могилам или обелискам в честь знаменитых событий, и затем молча и с чувством подавленности остановились, потому что перед тем, что увидели, нельзя было не притихнуть и не остановиться. На столике рядом с самоваром, бутылкой и закусками стояли четыре увеличенных фотопортрета в некрашеных деревянных рамках, объединенные одним белым расшитым полотенцем. «Отец и сыновья», — подумал я. Они были в гражданском, то есть в том, в чем увидел и запечатлел их перед войной наезжий из города фотограф, каких тогда немало (для заработка) промышляло по деревням. Лица сыновей, как и лицо отца, были светлы, полны жизни, и, казалось, ничто, кроме обычных житейских забот, еще не затронуло и не омрачило их; менее чем через год все четверо сложат головы (что откроется нам из похоронных, лежавших тут же, на столе), и эта их обреченность, понятная нам и неведомая им, сейчас же, словно холодком (предчувствий и воспоминаний), обдаст нас. Мы обнажили головы, как когда-то у братских могил, готовые отомстить за товарищей, и хотя я не могу сказать с точностью, что испытывал в эту минуту сопровождавший нас представитель райисполкома (он был намного моложе и, естественно, не участвовал в войне), но, мне кажется, его охватило точно то же, что и нас, чувство, и я хорошо помню, как он, сняв фуражку, комкал ее в ладони перед собой. Он так и прошел затем через всю улицу с непокрытой головой, оглядываясь не столько на столы и пожилых женщин за ними, сколько на нас, сверяя, как видно, свое состояние души с нашим. Но, думаю, только теперь, как это и бывает в воспоминаниях, я способен так хорошо видеть все окружавшее меня тогда и так спокойно говорить обо всем, в то время как в те минуты, когда смотрел на портреты, сосредоточен был только на них, на лицах и судьбах, которые могли состояться, как у нас, живущих, и не состоялись, как у миллионов и миллионов, приходящих на свет лишь за тем, чтобы умереть за свободу и жизнь других. На Западе существует выражение «корни травы», относящееся к народу. Это-то выражение и вспомнилось мне, и я подумал, что, действительно, есть что-то схожее между понятиями «народ» и «трава», которую косят, а она растет, ее косят, а она вновь покрывает луга зеленью, пока не нарушат ее корней. Есть и у народа корни, которые всем нам положено всячески оберегать, если мы не хотим увидеть сухие пролысины на лике русской земли.

Из четырех фотопортретов больше всего поразили меня фотопортрет отца и фотопортрет младшего сына. Это были самые типичные русские лица, то есть те умудренные жизнью (что относилось к главе семьи) и в то же время простые, бесхитростные лица крестьян, при одном лишь взгляде на которые возникает мысль о безграничной доброте мира. Они встречаются нам на страницах газет, журналов, на экранах телевизоров и кино; их преподносят нам то на фоне комбайнов и пшеничной нивы, то в одежде строителей или шахтерской робе, то при полных солдатских доспехах или в ореоле ученого, когда хотят подчеркнуть народную основу интеллигенции, хотя при этом и грешат против правды: из народа поднимаются и достигают вершин только те таланты, которых не успели или не смогли вовремя удержать, тогда как из интеллигенции, порождающей самою себя, не видно, чтобы находились желающие добровольно переместиться на ту ступень, на которой только и оказались бы они в соответствии со своими возможностями и вкладом в общее дело, на месте. Нет, я не преувеличиваю и уж вовсе не хочу преуменьшить то, что есть и всегда, наверное, было и будет в окружающей нас жизни. Одно дело — идеалы, и другое — реальность, с которой так ли, иначе ли, но вынуждены считаться все. «Да, да, вот они, «корни травы», которые подрезать нельзя» — как что-то навязчивое, от чего невозможно избавиться, снова и снова прокручивалось в моей голове, пока я смотрел на портреты этих уже истлевших и возбуждавших определенные (своими непрожитыми жизнями) мысли людей.

За столом (и так, что фотопортреты не заслоняли ее) сидела старая восьмидесятилетняя женщина. Она казалась спокойной и своими маленьки-

ми, ссохшимися, подслеповатыми глазами смотрела на нас. Лицо ее было морщинисто и покрыто старческой пигментацией. Коричневые пятна видны были и на руках, положенных ею на стол перед собой. Они были настолько изношены колхозной работой — всякой, в том числе и мужской, какую приходилось выполнять им, — что на них больно было смотреть. Вздрагивающими пальцами старая женщина долго ловила край косынки, чтобы поправить его, и хотя, может быть, как и многих, ее тоже уже нет в живых, но тем яснее я вижу ее перед собой, и тем острее возникает (но, в сущности, повторяется) чувство вины перед ней и сотнями других, как она, солдатских вдов, которые тоже могли бы прожить полной жизнью, но на которых общественность, занятая собой (или, может, просто по забывчивости, что еще менее подлежит оправданию), не захотела растрачивать сил.

Старость всегда вызывает определенные мысли. Особенно если видно (по этой старости), как человек прожил жизнь. То, что было надето на старой женщине — ее платье, косынка; то, что стояло на столе, — посуда, расстеленная под этой посудой скатерть, да и сам стол и табуретки возле него, и даже полотенце на портретах, объединявшее их, — все отдавало не столько ветхостью, сколько удручающей и застарелой бедностью. Но еще более ветхой была бревенчатая изба с осевшими углами и покосившимися окнами. Не знаю, лежало ли это в самом замысле традиции, или получалось само собой, но именно покосившаяся изба и делала завершенной (печально завершенной, или, точнее, печально целостной) всю эту словно застывшую перед нами картину. У многих из нас, когда мы затем обменивались впечатлениями, было одно и то же чувство, будто перед нами вспороли и вывернули наизнанку старый кафтан, чтобы показать, что он давно уже изношен, непригоден и требует обновления. Прожившая тридцать лет после войны без просьб, жалоб и стонов старая женщина решилась наконец открыться людям и упрекнуть их за их равнодушие к судьбам таких, как она, солдатских вдов. «Смотрите, что было отдано нами на общее благо — жизни! — и чем же вы отблагодарили за эту великую плату?» Да, весь молчаливый облик ее говорил именно об этом, и, если бы я не видел все собственными глазами, не поверил бы в подобное бездушие общества. Здесь не то чтобы нарушен был какой-то конституционный закон, но нарушено было то неписаное, но должное быть священным для нас правило, относящееся к чести и достоинству нации. Мы уходили на фронт с полным сознанием того, что семьи наши не останутся без присмотра, да и без такой веры нет и не может быть солдата; и каково же нам было видеть теперь э т о, на что мы смотрели? «Кто возместит ей эту, в сущности, отобранную у нее жизнь? — подумал я. — И кто и перед кем должен держать ответ?»

Конечно, не везде было так, и это понятно, потому что разные люди, разные руководители. Где-то наверняка (и в соответствии, можно добавить, с принятыми постановлениями) помогали фронтовикам и их семьям, выделяли квартиры и вообще относились со вниманием к их нуждам, но вместе с тем было и э т о, перед чем мы стояли и что не имело оправданий. Тем более, что далеко не все избы в селе были старыми и покосившимися. Кто-то строился, подновлял избы, то есть заботился о себе, что естественно и в чем трудно как будто упрекнуть людей; но это д л я с е б я становится страшным, когда, как вирус, поражает общество. Что было сказать старой женщине (после того, как мы поздоровались с ней)? Посочувствовать ее горю, и это после стольких лет, когда в слепнувших глазах ее, как и в выражении лица, испещренного морщинами, уже нельзя было отыскать никаких желаний; да и понимала ли она глубину того, что заключалось в ее сидении перед столиком и избой с перекошенными окнами? Мне кажется, нет. Если бы понимала, не сделала бы этого. Напрасно полагать, что русские люди не имеют гордости; они горды и не хотят и не будут просить милости у власти, которую поставили над собой и которая называется народной, и уносят в могилу свои обиды и неудовлетворенность жизнью. Спросить: «Как живете, мамаша?» — было глупо, даже оскорбительно, потому что без слов было видно, как она жила все эти тридцать послевоенных лет.

Только одно, мне казалось, было пристойно сделать — подойти и сказать: «Простите, мама». И в то время как я приготовился было уж шагнуть к ней, кто-то из нашей группы, опередив меня (опередив, я думаю, всех, потому что у всех у нас было это желание), выдвинулся вперед и, поклонившись портретам, старой женщине и ее подслеповатой избе, каким-то будто не своим, извиняющимся голосом проговорил:

— Простите нас, мама. Ну что мы еще можем сказать — простите.

И мы, поклонившись, молча пошли от нее.

VII

Известно, что можно часами неторопливо размышлять о прошлом, деталь за деталью восстанавливая в податливом своем воображении перипетии тех или иных событий, продолжающих волновать нас, но не менее известно, что точно те же события и в том же, если не большем, объеме память способна охватить мгновенно и вызвать к жизни о п р е д е л е н н ы е в нас чувства и побудить к действию. Не могу точно сказать, почему именно в ту минуту, когда принесенное Анастасией Федоровной молоко было уже выпито и разговор, не представлявший для меня как будто особого интереса (разумеется, как я полагал тогда), подходил к концу, вдруг возникло это воспоминание о вдовах, выставлявших портреты погибших на войне мужей и сыновей, вернее, не столько даже портреты, сколько свое на общее обозрение забытое всеми существование, — да, затрудняюсь сказать, почему именно в ту минуту, тем более, что, ощутив доброту и порядочность хозяйки, я успел уже проникнуться расположением к ней. Но все-таки был же какой-то повод, и, как я думаю теперь, поводом этим явилась дверь, которую Анастасия Федоровна, войдя, забыла закрыть за собой. Сквозь нее я видел дом с добротным свежевыкрашенным крыльцом и резными наличниками и ставнями на окнах, видел двор, ворота, тоже выкрашенные в традиционно зеленый (традиционный потому, что иных и более радующих глаз красок в деревнях просто не бывает) цвет, видел, в сущности, из своего амбарного пристанища, за которое взято было с меня вперед и немало, тот не свойственный общему нынешнему состоянию деревни достаток, который невольно склонял к определенным сомнительным и осуждающим мыслям (как мы давно уже привыкли осуждать все, что хоть на сантиметр возвышается над общим шаблоном); и эти сомнения и осуждения, бродившие во мне, словно вдруг обнаружив выход, соединились в той одной фразе, которую решительно и резко я произнес про себя: «Эта не выставит, ей незачем выставлять. У нее есть все, и она берет, берет и еще будет брать!» Может, сказано было непримиримее и злее, не знаю, но продолжать разговор с нею я уже не мог и, встав и сухо поблагодарив за гостеприимство, вышел во двор. Если и существовала, как мне показалось тогда, где-либо справедливость в мире, так только там, у Ивана Егорыча; только у него, как мне думалось, и можно было найти объяснение всему, и, захваченный этим новым как будто для себя чувством (хотя, собственно, затем только я и приехал в Лыково), торопливо, не оборачиваясь и не думая уже об Анастасии Федоровне, недоуменно смотревшей мне вслед, зашагал к намеченной для себя цели.

День клонился к закату, но было еще солнечно, светло, весело; было и во дворе, и на улице так прекрасно, как только может показаться в июльский вечер горожанину в деревне, сейчас же после каменных ущелий, суеты, шума, бензинных и иных испарений оказавшемуся в этом уголке света, тишины, сельских красок и запахов. Но я не собираюсь описывать красоты этого вечера, потому что, во-первых, думаю, что на живой площадке романа еще найдутся и место, и время этому, но, главное, потому, что о подобных вечерах у нас уже написано столько — и по делу, и без дела, и красиво, умно и бестолково, — что описания такие уже сами по себе могли бы составить библиотеку; цель же моя состоит в ином и более, как мне кажется, важном, чему я и намерен посвятить теперь свое очередное отступление. Кому-то, может быть, покажется, что отступления лишь затягивают повествование, что за движением сюжета, в сущности, нельзя уследить, что действия, то есть того видимого, что только и привыкли мы (или нас приучили?) воспринимать под этим словом, нет и герой так забаррикадирован горами нужных и ненужных мыслей, что уж его и не видать вовсе; да, вполне допускаю, что у кого-то, может, и возникнет подобное возражение, даже неприятие, но это уже, как говорят, дело вкуса; отступления — лирические ли, философские или публицистические — все суть одного кор-

ня, и важно тут, чтобы они углубляли наше представление о жизни, а не мешали восприятию ее. Один известный прозаик, всю жизнь занимавшийся экологической средой, защищавший ее и пользовавшийся для этого средствами публицистики, вдруг на склоне лет заявил, что в литературе главным должна быть чистая художественность (будто художественность, если она соответствует этому понятию, может быть грязной), что ее-то, дескать, и недостает нам, и каждый должен пересмотреть свое творчество. Заявление в своем роде примечательное, и с ним можно было бы во многом согласиться, если понятие «художественность» трактовать в его истинном, то есть широком значении. Если не выделять таланты, а приложить формулировку, высказанную известным прозаиком, к общему и могучему на сегодняшний день (что мы, впрочем, ставим себе в заслугу как достижение) потоку книг, то иного вывода и нельзя сделать, как только этот, о недостаточности или отсутствии художественности. Но ведь общий поток тем только всегда и отличался, что в нем не было да и не могло быть (по уровню мышления авторов) книг, насыщенных полнотой жизни. Другой, не менее знаменитый прозаик, тоже отдавший дань этой известной проблеме — защите среды — и снискавший на ней себе славу (хочу, кстати, заметить, что хотя проблема эта и являлась важной, даже в какой-то мере первостепенной, но она не затрагивала или лишь косвенно касалась другой и еще более важной — непосредственной жизни людей, то есть той социально-нравственной среды обитания, которая еще острее требовала вмешательства и защиты; но если в первом случае и допускалось быть резким и даже поощрялось определенными кругами, поскольку отвлекало на себя общественное мнение, то во втором — вызывало недовольство, и литераторы такие не только не получали славы, но как нежелательные целенаправленно, последовательно и молча загонялись в тень), — так вот, этот другой известный прозаик, достаточно отягченный уже литературным опытом, не то чтобы выступил против так называемой чистой художественности, о которой уже начали печатно трубить во все трубы, призывая, в сущности, писателей к новому и определенному шаблону, но с саркастической улыбкой на лице заметил, что не пора ли нашей творческой интеллигенции сменить короткие штанишки на взрослый костюм и перейти от слюнявого описания восходов, закатов, стрекоз, бабочек и прочей мишуры к суровой и повседневной правде жизни. Слышу возглас: «Опять крайность!» Да, возможно. Но мне, например, ближе и понятней именно эта крайность, хотя я и не стал бы стеной защищать ее. Литературе, как и женщине на балу, нужно бальное платье, потому что в ином она будет дурна и неприятна, а в будни — обычный и добротный расхожий костюм, иными словами, нужно и полезно все, что есть в жизни и что придает ей благородный оттенок и смысл.

Мало ли мы совершаем самых разных ошибок, и так ли часто раскаиваемся в них, и так ли уж часто докапываемся до сути этих своих ошибок, стóящих иногда жизни миллионам и миллионам людей? Не думаю, чтобы кто-либо мог (без известных в данной сфере науки натяжек и доворотов, то есть лжи) привести сколько-нибудь убедительные примеры. Но так же, как все в природе основано на бесконечно малых величинах, ошибки даже самые большие, влияющие на ход истории, начинаются, в сущности, с тех малых и незаметных будто, которые ежедневно и ежечасно мы совершаем в общении между собой, и одной из распространеннейших таких ошибок (о чем, собственно, и хотелось мне поговорить теперь) является то, что мы называем «поддаться мгновенному чувству». Мы говорим (и верим!), что чувства не обманывают нас, но ведь возникают они не сами по себе и не представляют нечто третье в нас, независимое ни от чего и потому объективное; они суть проявления нашего восприятия мира, а восприятие соответственно складывается из суммы понятий, внушенных или внушаемых нам и признанных нами. Нам внушали (если не прямо, то косвенно), что всякое желание достатка есть желание барства, и в этом отношении мы теперь так безразборно строги друг к другу, что никому (кроме разве традиционно признаваемых над собой) не можем простить не то чтобы возвышения над общим и усредненным образом жизни, хотя ни по темпераменту, ни по устремленности, ни по трудолюбию, то есть вкладу в общее дело, люди никогда не были и не могут быть одинаковыми, но даже желания в чем-то отличиться от других; и эта усредненность, противная естеству человека (и должная быть противной социализму в истинном

понимании его), так прочно, однако, вошла в обиход нашей жизни, что мы уже и не можем представить себя иными и не судить столь категорично обо всех и всем, как делаем это теперь каждодневно и на каждом шагу. Подобная категоричность приводит нас еще к одной и довольно распространенной по нынешним временам ошибке, когда в суждениях даже о ближнем мы не то чтобы не берем во внимание обстоятельства, в каких тот вынужден был действовать, то есть работать и жить, но делаем вид, будто обстоятельства эти (мало ли как повернется жизнь!) никогда не влияли и не могут влиять на человека, а все происходит лишь от какой-то той изначальной натуры, какою или обладает, или не обладает он. И сколько же по этой категоричности и, главным образом, на людей талантливых, понавешено было ярлыков, но что самое удручающее здесь, так это литература, многострадальная и великая русская литература, которая, мне кажется, и не заметила, как отошла от благороднейших своих традиций, когда в суждениях о народе, его характере, нравственных устоях, которым (в массе своей) лишь в столетие раз дается возможность проявить себя, и то только в одной определенной сфере, — в суждениях именно о народе прежде всего обращалась к его (чаще всего насильственным) условиям жизни. Не по внешнему облику деревень, бездорожью, одежде и невежеству, происходившему от безграмотности (чему и зачем было учить крепостных?!), а по тем духовным устремлениям, по которым русский мужик всегда считался кормильцем и защитником отечества, по его жизнелюбию и желанию приложить ко всему ум и руки, то есть той изначально заложенной в нем нравственной красоте и силе, складывался его литературный облик; и уже по нему образ народа, перед которым все мы готовы преклоняться и теперь. Но что же произошло с этим народом (я говорю о русском народе как русский писатель и человек), который, если судить по выходящим теперь книгам (по большинству из них) так развратился, что иных эпитетов, кроме как бездельники, пьяницы и бракоделы, нельзя уже и применить к нему и что ни хозяйствовать, ни жить-то как следует на своей земле он уже не умеет. Вот так, не больше, не меньше — ни хозяйствовать, ни жить, и где уж тут до величия духа. Величием духа тут будто никогда и не пахло, да и вообще была ли история, и были ли хоть какие-нибудь, пусть даже и не великие, дела у этого народа? Нет, не по углубленному исследованию явлений, а лишь по простому неприятию их, то есть по тому мгновенному (и оправданному в наших глазах) чувству, какое всегда возникает при виде пороков жизни, торопимся вынести мы свой скоропалительный о народе суд, тогда как не лучше ли и не справедливей ли было бы просто и ясно спросить себя: «Почему? В чем корень?» Да и не просто спросить, а добраться до сути, как хирург добирается до опухоли, и попытаться устранить ее. Но, к сожалению, и так уж, наверное, повелось, что крепки мы бываем всегда лишь задним умом; да и, открыв ларчик, не до конца понимаем, что и к чему в нем.

Все это я отношу и к себе, вернее, может быть, прежде всего к себе, потому что и теперь, с прошествием времени, не могу простить тех поспешных выводов относительно образа жизни и нравственного облика Анастасии Федоровны, какие сделал лишь по общему (и известному теперь вам) чувству неприятия и с каким, оставив хозяйку во дворе, шагал затем к дому Ивана Егорыча. Ошибка, разумеется, не глобальная, и от нее не могло и не может хоть что-либо измениться в общей нашей жизни, но по каким-то тем соображениям, которые я как раз и пытался суммировать здесь, она представляется мне не только важной и значимой, но нисходящей к корневым явлениям жизни, и, чтобы хоть как-то исправить ее, то есть чтобы не оставить читателя в том же неведении (относительно Анастасии Федоровны), в каком в свое время оказался я и что, разумеется, не могло не повлиять на мои действия, сейчас же и не откладывая хочу рассказать о тех подробностях, которые совсем по-иному высвечивают нам жизнь этой пожилой и доброй от природы деревенской женщины.

VIII

Начать разговор об Анастасии Федоровне важнее всего нужно было бы с описания жизни наших русских деревень пятидесятых — шестидесятых годов, то есть с тех трудных послевоенных зим и весен, о которых не то

чтобы достаточно уже сказано в литературе, но память о которых так свежа еще в народе, что говорить о них — словно резать по живому. Все те годы я сам прожил в деревне, работая то агрономом МТС, то в райземотделе, то в колхозе, куда для укрепления, как говорили тогда, перебросили меня; и когда я слышу сейчас вопрос, что наиболее (из трудных моментов жизни) запомнилось мне, я становлюсь перед дилеммой и не могу точно сказать, действительно ли наиболее запомнилась война, которую довелось прошагать с боями от крайних окопов на востоке, от Курской дуги, до крайних западных, маленького и безвестного городка Пургшталь, что за Веной, или э т и послевоенные зимы и весны, от которых только еще более прибавилось в висках седины; если не кривить душой, то и теперь не решаюсь на какой-либо утвердительный ответ, так как и в том и другом случаях сейчас же встает перед глазами панорама неимоверных усилий народа.

Деревня Лыково не выпадала и, разумеется, не могла выпасть из общих норм тогдашней жизни, ее в полной мере затронули все те «усовершенствования» и «переделки», какие, как снежные лавины, раз за разом обрушивались на сельское хозяйство (и что делалось, видимо, из лучших побуждений, из желания наладить дело, во что хочется верить). Пережили лыковцы и укрупнения, и разукрупнения, и ликвидацию МТС, и продажу старой техники колхозам (случилось же это, словно в насмешку, в год столетия отмены крепостного права, и злые языки тогда же еще говорили, что если в год освобождения крестьян их заставили выкупать землю, то спустя столетие — выкупать тягло), и еще множество тех решающих, как именовали их, поворотов к лучшему, от которых только рвались постромки, тогда как воз с поклажей продолжал увязать на том же месте, на котором, как в наказание, история оставила его народу. Но памятней для лыковцев были даже не эти всеохватные — в масштабах страны — мероприятия; жизнь более измерялась ими той сменой председателей, то есть сменой непосредственной власти, с какой они соприкасались и от которой зависели, и хотя каждый новый рекомендованный, но избранный будто самими лыковцами председатель и брался за дело с благими намерениями, но проходило время, и от намерений тех оставался лишь звук. «Да и что они могли, — говорила мне позднее о них Анастасия Федоровна. — Разве что обеспечить себя и родню? А с остальных только и знали что взять». Она по-своему оценивала их, и важным для нее в этой оценке было, кто, сколько и когда выписал ей (в счет трудодней, разумеется) зерна, картофеля, овощей, дал подводу или разрешил накосить травы для коровы; тот-то был добр, тот-то скуп и умел лишь кричать, потому что на народ издавна привыкли покрикивать на Руси, а тот-то и того крикливее, и пр., и пр., та череда ушедших будто уже в небытие типов, какие в моем, как, впрочем, наверное, и в сознании каждого, кто хоть как-то соприкасался в те годы с деревней, встает и проходит перед глазами. Разумеется, не все, и даже далеко не все были такими, и большинство не по своей вине, но так уж, видимо, и для меня, как и для Анастасии Федоровны и для лыковцев вообще, складывались обстоятельства, что чаще приходилось встречаться именно с подобными (и воинственными иногда) хозяйчиками, чем с деловыми и умными, и хозяйчики те теперь, как частокол, загораживают горизонт. «Неужели так уж и не могли?» — спрашиваю я себя, еще более, чем Анастасия Федоровна, пытаясь найти оправдание; но оправдания нет, и, может быть, лишь история, опираясь на открывшиеся ей высшие цели, ради чего делалось все, способна будет, в будущем, конечно, сказать свое основательное слово.

Жизнь народа давно принято сравнивать с океаном, и я понимаю, что не открою ничего нового, если прибегну к этому сравнению (да и вообще в литературе так много совершено открытий, что только люди малообразованные, берущиеся за перо, могут полагать, что прокладывают путь в неведомое). Если мне не изменяет память, существует даже понятие «океан народной жизни», и я позволю себе воспользоваться этим понятием, во-первых, для того, чтобы не отступить от традиции, и во-вторых, и главное, для того, чтобы зримее представить процессы, не только вчера, позавчера, но и сегодня зреющие и происходящие среди нас. По определенной, разумеется, условности, общую жизнь людей, как и жизнь океана, можно разделить на два взаимосвязанных между собой слоя — глубинный и поверхностный; и в то время как в поверхностном и обозримом для всех то и дело возникают волнения и бушуют страсти, в глубинном и, по существу, скрытом от глаз бесконечно повторяется одна и та же из века в век безотказная, трудная и приумножающая все работа жизни. Там имеются свои течения, свои поля притяжения и отталкивания; именно там время от времени (от разных и непредвиденных неблагополучий) возникают те м а г н и т н ы е возмущения, которые затем, передавшись на поверхность, завершаются никчемной, уходящей в песок пеной. В то время как в верхних слоях тогдашнего нашего общества, то есть в слоях интеллигенции, почувствовавшей неблагополучие внизу, сейчас же и с оглядкою более на себя, чем на общество, началось движение, способное выработать лишь пену и умертвить дело, — те, кто, как и Анастасия Федоровна, волею судьбы был поставлен в нижний, корневой, не то чтобы не обращали внимания на этот то возникавший, то затихавший шум вокруг них, но им просто недосуг было прислушаться, присмотреться и понять, что происходит. Они заняты были своими извечными заботами, в которых только и заключалась для них жизнь, и не то чтобы не жаловались на неблагополучие, но всяческими путями и прежде всего трудом старались выбраться из него. «Да что вы хотите, когда я рада-нерада бывала, как выпишут что, двое ведь на руках, их надо вырастить, определить в люди, да сама, да дом, да мало ли что по дому», — говорила Анастасия Федоровна в запальчивости, словно ей надо было в чем-то обелиться не столько передо мной, сколько перед собой. Она, в сущности, лишь подтверждала ту отброшенную нами условность — что всякое общество делится на два слоя, — по которой одним, в поверхностном, самой будто природой узаконено заниматься страстями и производить пену, а другим, представляющим глубинный, сохранять и воспроизводить жизнь. Она более чем категорично свидетельствовала, что сиюминутные потребности семьи для простого человека, то есть то, что должно обеспечить ему более или менее сносное существование, всегда выше и значительней общественных, вырабатывающих основы движения и цели. Но не в этом ли и заключена историческая ошибка простых людей?

Ни старый, искалеченный гражданской войной свекор, ни свекровь Анастасии Федоровны, износившаяся в своем неразгибном крестьянском труде, не дожили до светлого часа победы. Они умерли не столько от болезней, недоедания и старости (да знаем ли мы, что способен перенести человек, если он крепок духом?), сколько от похоронок, одна за одной приходивших на сыновей. Свекра похоронили в сорок четвертом. Его закопали в мерзлую февральскую землю, и могильный холмик его к утру уже был занесен снегом. Свекровь же дотянула до апреля сорок пятого, ее увезли на кладбище в распутицу, по грязи, и набрякшее тучами небо того дня навсегда запомнилось Анастасии Федоровне. Ушли из жизни как будто не работники, а едоки, но словно что-то надломилось в доме для всего оставшегося еще многочисленным семейства, и весь устоявшийся быт, будто колесо от телеги, лишенное своей привычной направляющей оси, покатилось к обочине, клонясь и виляя, чтобы упасть и рассыпаться там. Старшая невестка, которую звали Марией, и у нас еще будет время поближе познакомиться с ней и ее выросшими и набравшимися «ума» чадами, затеявшими наследственный, после кончины Анастасии Федоровны, процесс, — невестка эта уже через год и по настоянию будто родственников, ходивших тогда в начальстве, перебралась с детьми в райцентр, а затем и в Москву, воспользовавшись лимитным набором, в чем опять-таки, по тогдашней молве, помогли ей те же ее начальственные родственники. Жизнь ее хотя и протекала по иным параметрам, чем оставшейся в деревне Анастасии Федоровны, но мне кажется, заслуживает столь же углубленного анализа, потому что в своем роде представляет собою явление, весьма характерное для минувших послевоенных десятилетий; деревни пустели, города разрастались, и только один бог, наверное, и знает, через какие врата приспособленчества, хитрости и унижений случалось проходить всем этим новоявленным горожанам, прежде чем они достигали хоть какого-то благополучия. И все же достигали, что было примером, и Анастасия Федоровна тоже не раз подумывала о том, чтобы перебраться в город.

Теперь говорят, что остававшиеся в деревне в те годы оставались в ней из любви и привязанности к земле, то есть из тех патриотических

чувств, которые мы всегда так щедро приписываем простому человеку. Возможно, так оно и было, коль скоро мнение это и сегодня имеет хождение и захватывает даже самые беспристрастные, казалось бы, писательские умы. Но я все же позволю себе усомниться в подобной категоричности, потому что патриотизм не есть нечто слепое, раз и навсегда установленное по отношению к чему-то; земля и условия жизни на ней прежде всего должны удовлетворять насущные потребности человека, и если такого удовлетворения нет (по причине ли притеснений, как было в прошлом, или каких-либо иных неприемлемых форм), то люди снимаются с мест и направляются в поисках лучшего, иногда целыми народами, как было, например, с нашими предками славянами, которые, не желая и не умея приспособиться к рабству, уходили от теплых морей на север, в леса, и обосновывались там. Растянутое во времени, переселение то происходило поэтапно, было не всегда заметно современникам, и только теперь, с отдаления, так очевидно предстает перед нами. Люди уходили не от труда и не для отдыха; труд не самоцель, и каждый из нас не только хотел бы видеть, но и на себе ощутить результаты своего труда, и тогда, только тогда, не появится в нас ничего искусственного или насильственно приписанного нам и нас не надо будет агитировать за что-то лучшее или более лучшее, что очевидно и должно говорить само за себя. «Вы думаете, я бы не уехала? Уехала бы,— в одном из все тех же последующих разговоров с Анастасией Федоровной услышал я от нее.— Земля что здесь, что в Москве, она везде русская. У меня просто не было таких родственников, которые помогли бы или посоветовали, как быть, а то ведь бросить дом и пойти куда глаза глядят, не так-то просто. Кто меня ждал, хотя и в Москве? Да и что я умела, с подойником бегать да вилы держать». Взгляд ее был ровен, лицо выражало спокойствие, хотя, может быть, в глубине души и не соглашалась с тем, что произносила; но несогласие ее происходило не от тех патриотических начал, за которые (по известному шаблону) мы и сейчас готовы ухватиться, то есть не оттого, что не смогла удержать детей возле себя, что сиротела земля и пустела деревня; причина этого ее внутреннего несогласия, казалось мне, заключена была в другом, более глубоком и основательном, о чем можно только догадываться и над чем все чаще и чаще начинают задумываться теперь.

IX

Да простит мне великодушно читатель, что я так не тороплюсь подвести его к главным событиям; я и сам страдаю от этого и рад бы поскорее выбраться на простор, где можно свободно взмахнуть руками и зашагать в любом направлении; но воспоминания, живые и ясные, так неотступно (и нескончаемо) окольцовывают меня, что не могу ни уйти, ни отбросить их, тем более что без них, мне кажется, и невозможно будет справиться с этим непростым и нелегким повествованием. Как бы подробно ни рассказывала Анастасия Федоровна о своей послевоенной, в колхозе, жизни, вряд ли бы я смог вполне представить ее, если бы не испытал сам всего, что выпало на долю деревенских людей в те годы; и потому не подворье Анастасии Федоровны, за описание которого было бы самое время взяться теперь, не ее повседневные хлопоты, вдовьи ночи и думы о детях, дочерях, которым она хотела иной и лучшей, чем своя, жизни,— нет, не это, что так просится (по ходу сюжета) на бумагу и доступно воображению, а иные картины, картины своего деревенского детства, сотни раз уже, наверное, повторенные и осмысленные в памяти, вновь встают и разворачиваются, как зеленый простор за поворотом, и стихийно, но властно врываются в текст. Да и зачем придумывать и воссоздавать то, о чем только слышал, но чего не видел и не пережил, когда рядом, под рукой, лежит еще более, может быть, выразительный, во всяком случае, реальный материал жизни, в котором по близости и святости его (потому что свое, пережитое) невозможна, то есть исключена фальшь. Я уже говорил, что в Анастасии Федоровне было что-то от моей матери (в те минуты, когда она подавала мне молоко и лицо ее, расслабленное и одухотворенное, светилось добротой и участием); и если и есть что-то отличительное, что делает всякого человека единственным и неповторимым, то заключалось

оно, во всяком случае, не в духовном, не в нравственном, что вытекает обычно из общих для народа условий, а лишь в том внешнем — предметах, вещах, одежде,— что доставалось тогда по наследству и окружало нас. Дом наш был хотя и бревенчатый, как и у Анастасии Федоровны, но выглядел иначе, более как бы вросшим в землю; и скотный сарай, и амбар, да и весь двор с огородом, обнесенным сухой и сизой уже изгородью,— все выглядело иначе, в меньшем, что ли, если выразиться по-современному, масштабе; но за всем этим, а точнее, во всем этом осевшем и почерневшем билась все та же одинаковая с извечными и непосредственными, то есть по-своему глубокими и примитивными, крестьянскими радостями жизнь.

Я употребил слово «радостями» не случайно, и уж, конечно же, не по ошибке; что для барчука, что для крестьянского мальчика мир детства одинаково наполнен радостным сознанием того, что земля, солнце, воздух, вода, травы — все для всех и для него, и лишь потом, повзрослев, мы с горечью начинаем понимать (кто раньше, кто позже), что мир людской давно и прочно разделен на богатых и бедных, власть имущих и бесправных, удачливых и неудачливых, умеющих и не умеющих приспособиться к данным им условиям жизни, что есть не просто добро и зло, но что зло в силу именно того, что оно зло и не гнушается никакими приемами и методами, гораздо чаще одерживает верх, чем добро, и что о справедливости лишь заявляют, что она есть или будет, тогда как всякий раз (и оправданно будто перед историей) все вновь и вновь заканчивается лишь унижением и оскорблением достоинства прямых и честных людей; да, каждый, взрослея, непременно окунается в этот не стихающий, в сущности, со времен рода человеческого разгул страстей, то есть оказывается в мире грубой и беспощадной (в обход законов и правил) жестокости, в который мы в большинстве своем входим неподготовленными, особенно молодые люди из простых семей; нас, словно слепых щенят, швыряют в водоворот жизни, и если кому и удается (все из тех же простых семей и благодаря своему таланту) удержаться на поверхности, то испытания его и мытарства на этом далеко не заканчиваются; чем шире и значительнее проявляется его талант, тем тяжелее обрушивается на него пресс интриг, унижений, замалчивания, тем больнее и бескровно будто, да, главное, бескровно стараются задеть душу, чтобы согнуть, изломать и в конце концов подчинить ее своему во всем усредненному (кроме методов насилия и жестокости) восприятию жизни. Сколько же произошло трагедий из-за этой нашей простодушной неподготовленности, сколько рухнувших надежд, искалеченных судеб, но если мы и можем кого-либо обвинить в этом, так только самих себя, свою твердолобость и неумение (или нежелание, что еще хуже) извлекать уроки из прожитого и своевременно и в нужном направлении перестраиваться. На русский народ, если хотите, даже наклеили ярлык, будто он испокон не приемлет ничего нового и прогрессивного, и на эту тему сочинялось и продолжает сочиняться (и главное, получать поощрение) множество самых разных теоретических и художественных книг, как будто авторам их и в самом деле был кем-то дан нескончаемо-долгосрочный (относительно воздействия на народ) и высокооплачиваемый социальный заказ. Конечно, ничего осудительного нет в том, что всех нас воспитывают или по крайней мере пытаются воспитать в духе высших идеалов общества (разумеется, в каждой семье на уровне понимания родителей); но в то время как в одних семьях, простых, которых большинство и которые составляют основу, идеалы преподносятся как нечто незыблемое, раз и навсегда данное людям, и надо только следовать им, в других — назовем их более обеспеченными, то есть культурными, как сами они называют себя,— уже в самой семейной атмосфере общения присутствует мысль о том, что все и всякие идеалы вырабатываются людьми, что не боги, а люди сочиняют книги, музыку, ставят балеты, командуют соединениями, руководят стройками, сидят в министерских и иных креслах (по размерам самонадеянности), а поскольку все в руках смертных, то и идеалы можно изменять, переделывать и (в нужный момент) подгонять под свои интересы. Такие вырастающие личности страшны тем, что все знают и на все готовы; и еще тем, что в силу именно этой своей «деловитости» в трудные для себя минуты всегда оказываются в большинстве и ворочают обстоятельствами. Это реальность, и я

предвижу, как ее сейчас же кинутся опровергать представители того самого большинства; но отрицать всегда легче, а главное, безопасней и удобней, чем признать, что и в своем глазу есть что-то, что требует очищения и перемен.

Но вернусь к детству, тому самому крестьянскому детству, из которого выросла вся моя жизнь, как, впрочем, и жизнь многих ныне занимающих посты, от кого зависит если и не все будущее народа, то, во всяком случае, его сегодняшние благополучие и достаток; тут надо быть только честным перед собой и посмотреть, насколько каждый из нас отошел от переданных нам изначальных (от отца, деда, прадеда) идеалов жизни и разменял эти идеалы на приспособленчество, на то ложное достоинство — принадлежать к определенной группе и действовать в согласии с ней, — которое так ли, иначе ли, но всегда только унижает человека и уж наверняка будет осуждено историей. Нет, я вовсе не собираюсь со слезами умиления на щеках вспоминать о детстве, которое, несмотря на трудности тогдашней жизни, было, однако, наполнено для нас (нас, как я уже говорил, было трое у матери) огромным и радостным миром общения и открытий; подобных умилений, оправданных и неоправданных, уже столь достаточно в литературе, что здесь даже свое, личное может вполне показаться повторением, и потому я со спокойной совестью опускаю все, что связано с детской восторженностью, всякий раз охватывавшей меня, когда, к примеру, приносились в дом новые расписные салазки, на которых можно было ухарски прокатиться с горы, или деревянные коньки, или пряники, привозившиеся из соседнего большого ярмарочного села; я помню это; но еще яснее (и в чем, может быть, и заключена как раз вся прелесть детства) помню о том неповторимом теперь для каждого из нас чувстве непосредственности и свободы, какое (по моим теперешним понятиям) могло бы сопровождать человека во все годы его жизни, взрослея вместе с ним, укрепляясь и совершенствуясь, но о котором мы, к сожалению, умостившись, как червяки в коконе, в нитях общественных связей, вспоминаем лишь как о чем-то сказочном, то ли бывшем с нами, то ли приснившемся нам. Да, детство представляется мне познанной и неоцененной свободой, то есть тем естественным ростком жизни, из которого как раз и должен вырастать соответствующий плод. Разумеется, не следует понимать сказанное здесь в том прямом смысле, будто кто-то всю жизнь, как это делают родители для детей, должен обеспечивать нам непосредственность и свободу; речь идет о состоянии души, о той свободе в делах и поступках на благо общества, в которых мы все так основательно стесиены теперь сотнями нужных и ненужных бумаг; мы словно бы согнаны на один пыльный тракт (да простится мне это сравнение), по которому только и можем идти вечно, тогда как рядом и параллельно пролегает множество иных и более, может быть, прямых и ровных дорог; но глаз наш так строг друг к другу, что не позволяет не то чтобы свернуть, но даже помыслить об этом.

Но что говорить о поворотах, когда нас не хватает иногда даже на то, чтобы поклониться матерям, давшим нам жизнь. Они сделали все, чтобы мы твердо могли встать на ноги, и не по незнанию, а по беспредельной вере в торжество справедливости оберегали нас от преждевременных и жестоких ударов жизни. А мы подчас даже не помним их могил и не спешим навестить их, потому что — вечно в бегу, в бегу и, как оправдательным щитом, готовы прикрыться от всего и вся этим нашим безостановочным бегом. Давно покоится на заросшем деревенском кладбище отец, изрешеченный колчаковскими пулями и затем исполосованный кривыми басмаческими саблями, и покоится мать, всю войну шившая гимнастерки для солдат и ослепшая на этой работе, и чем больше отдаляет теперь меня время от той моей молодости, тем чаще и мучительней испытываю чувство вины перед матерью, что не тогда, а теперь вижу и понимаю всю глубину ее родительского подвига. Да только ли ей выпало такое испытание; их были миллионы, таких матерей, великих вдов войны, к которым я отношу и Анастасию Федоровну, сумевшую, какими уж там правдами и неправдами, вырастить дочерей и отправить старшую, Светлану, учиться в Москву, а младшую, Оленьку, в Смоленск. Так есть ли нужда пересказывать подробности ее жизни, которые так просты и так очевидны (и так характерны для минувших послевоенных десятилетий), что каждый

без труда может воссоздать их себе в своем воображении. И только на одно в связи с этим хотелось бы обратить внимание, что мы лишь по инерции продолжаем еще повторять, что сын в семье идет по отцу, а дочь по матери, и приводить в пример некие династии; на самом деле если и сохранилась где эта традиция, так только в хорошо обеспеченных или поставленных в льготные условия семьях; в простонародье же усилия родителей давно уже сводятся к тому, чтобы дать детям хоть какую-нибудь, а точнее, городскую профессию, способную более принести им благополучие и поднять на иную ступень жизни. Хорошо ли, плохо ли это? Во всяком случае, диктуется необходимостью, то есть теми социальными условиями, в каких живем и какие, несмотря на все очевидные неудобства, не хотим или не решаемся изменить. Мы больше плачемся о невозвратно ушедшем, чем смотрим в будущее, тогда как давно бы пора понять, что перевал пройден, он позади, что история не имеет дверей в прошлое и попытка вернуться к тому, от чего ушли, только щекочет (своими ложными приманками) сознание и отдаляет от цели. Пути назад нет как ни у отдельного народа, так и ни у человечества в целом, и если чему и следовало бы противостоять теперь, так это всеохватному и неудержимо надвигающемуся на нас процессу унификации человеческой личности, унификации, точнее говоря, той нравственной среды обитания, в которой национальное, столетиями составлявшее душу народов и оберегавшее их, начинает терять значение, загоняться в небытие (я имею в виду истинные культурные ценности, а не внешние атрибуты: красные сарафаны и рубахи, перехваченные поясами с кисточками; или так называемое хоровое, времен крепостничества, пение, смысл которого заключен лишь в том, чтобы сборщицы не ели барских ягод; атрибуты эти, так щедро подаваемые нам теперь с подмостков, тоже, видимо, имеют свой определенный и негативный смысл), а на смену национальным ценностям выдвигается это новое, что не имеет ни границ, ни корней и лишь красочно обрамлено привлекательным и единым будто для всех — акул и селедки — правом поедать друг друга. С этим ли, или чем-то подобным, столь же зараженным язвой делячества, и столкнулась Анастасия Федоровна, когда вместе с выучившимися и вышедшими замуж дочерьми тихо, даже ласково будто, но властно вошло к ней в дом так ожидавшееся ею новое и лучшее будущее. И это лучшее будущее, то есть счастливое (по признанию Анастасии Федоровны) замужество дочерей, — будущее это так ослепило старую деревенскую женщину, что до конца дней своих она так и не смогла разобраться, что на самом деле произошло с ее дочерьми, с ней самой, с родной ее деревней, в которой от прежнего и основательного осталось только воспоминание, произошло с народом, в котором мы лишь теперь и вдруг будто обнаружили столько несвойственного ему, привнесенного и испортившего его, что уж и кажется, что он и всегда-то был таким и умел только пить, спать и жить в тупости. Но справедливо ли с комком грязи идти теперь на него (опять и опять приходит мне эта мысль), и так ли виноваты зятья Анастасии Федоровны, что тянулись к благополучию и не могли получить его (из-за всеобщей нашей тяги к уравниловке) от вкладывавшегося ими труда? Да и просто ли распознать зло, если оно не то чтобы не осуждается, но, напротив, признается (или становится) нормой жизни и по внешним своим атрибутам являет пример успеха и процветания.

X

Как и должно было, наверное, быть, то есть в согласии с нынешней нашей новейшей традицией, а проще — «по-современному» (и что мы лишь по старинке называем «преподнести сюрприз»), о замужестве старшей дочери, Светланы, Анастасия Федоровна узнала неожиданно, из письма, пришедшего чуть ли не в канун Нового года. Она сейчас же собралась было поехать в Москву, но так как в письме не было и намека на приглашение, на что обратили внимание подружки-соседки, которым она читала его, и так как стояли тогда сильные холода, а, кроме шали и валенок, не было у Анастасии Федоровны ничего приличного, в чем бы она могла, да еще незванно, явиться в дом к зятю, поездка была отложена до весны, а потом и на год и дольше, но уже по иной, задевавшей родительское

самолюбие причине. Заверения дочери (в письмах, разумеется), что «он», то есть ее муж, человек хороший и порядочный, ни о чем не говорили материнскому сердцу; Анастасия Федоровна не то чтобы вполне сознавала, но чувствовала, что имела право на большее к себе уважение, и молча, упорно, терпеливо ждала своего часа. «Пусть приедет сама, если еще не забыла о матери», — говорила она подружкам-соседкам, относя упрек этот не столько к дочери, сколько к зятю, к которому исподволь уже начала копиться у нее неприязнь; и потому, может быть, она больше изумилась, чем обрадовалась, когда в один из теплых августовских вечеров подкатил наконец к ее дому запыленный серого цвета «Москвич», из которого вылез сперва Юлий (Юлий Кириллович, как он, представляясь, назвал себя и как, видимо, хотел, чтобы его величали), а за ним — Светлана с первенцем, розово выглядывавшим из кружевных простынок и одеяльца.

Может, и не стоило вдаваться в детали этой встречи, в которой, если со стороны и обобщенно посмотреть на нее, были словно бы выдвинуты для противостояния на меже два разных (с вековою историей борьбы) начала жизни: остатки некоего будто пошехонства, давно, решительно и, добавлю от себя, безразборно, непродуманно и не во всем справедливо высмеянного и отвергнутого нами, и ростки как будто нового и лишь набиравшего тогда силу, но, в сущности, столь же старого, как мир, и насаждавшегося среди стран и народов так называемого делового, в действительности же деляческого, а еще вернее — потребительского взгляда на все; вдаваться именно в э т о, что всем нам теперь, после известных событий, стало так ясно и очевидно (хотя, судя по литературным памятникам, ясно и очевидно э т о было людям давно и разве только в житейской суете сует, да и в силу создававшихся, видимо, обстоятельств предавалось забвению), если бы, во-первых, Анастасия Федоровна в своих рассказах не возвращалась так многократно к этой важной для нее первой встрече с зятем, поразившей ее, и если бы, во-вторых, сам я не почувствовал, что именно здесь, в ней, в этой короткой, но более чем выразительной сцене, крылась разгадка многого, с чем (по ходу сюжета) придется не раз столкнуться нам. Конечно, я понимаю, что забегаю вперед, что по меньшей мере это непрофессионально и нарушает каноны жанра, призванные создавать и оберегать читательский интерес, — «Что там еще откроет автор?» — но ведь я и не претендую на открытие э т о г о, что давно и основательно открыто классиками и взято из жизни; цель моя куда скромнее и состоит лишь в том, чтобы попытаться уяснить, каким образом в нашем справедливом и должном как будто исключать зло обществе могут не то чтобы зарождаться и существовать, но разрастаться и процветать подобные явления; мне важны именно эти мелкие как будто и незначительные на первый взгляд подробности человеческих связей и отношений, из которых как раз и ткется (на десятилетия иногда) паутина взаимно прикрывающих друг друга больших и малых, часто непредсказуемых по масштабу и последствиям для судеб общества преступлений.

Хочу сразу же заметить (и это показалось мне тогда странным), что в воспоминаниях Анастасии Федоровны не было определенности. Она то принималась рассказывать, в чем зять был одет — черной рубашке, светлых брюках, светлом галстуке и со светлой курткой в руках, — и вся сосредоточивалась лишь на этом внешнем, что, видимо, по мнению ее, должно было выражать ч т о-т о, чего она не понимала и не могла объяснить («Ну как с экрана сошел», — то ли в похвалу, то ли в осуждение, но все же скорее в похвалу произносила она), то называла зятя улыбчивым, мягким, добрым, то холодным и неприступным, с кем не то чтобы век, но и день трудно прожить, то красивым, статным, то худым, в чем только душа, и что сразу будто бросилось ей в глаза: она выдергивала (из общего своего впечатления о нем) то, что по тем или иным соображениям представлялось ей главным, и не замечала, как создавала типичный портрет не очень далекого по уму, но хваткого по мелочам жизни молодого человека, какие тогда только зарождались в обществе и вызывали обнадеживающее настроение и какие (по теперешнему многолюдству их) так узнаваемы не только в московской, но во всякой городской и даже районной толпе. В оценке этих хватких молодых людей (они до сорока, иногда до пятидесяти остаются молодыми) в общественном мнении до сих пор существует

разногласие, и многие именно в этой унифицированной хваткости видят спасительные ростки нового и прогрессивного, тогда как другие, по-иному смотрящие на дело, не то чтобы насторожены, но находят в этом явлении глубокое и личное для себя (что тоже крайность) оскорбление. Желание хорошо одеться они отождествляют с желанием красиво пожить и, отрицая все, вместе с водой, как говорится, выплескивают ребенка. Что же касается меня, то я не могу присоединиться ни к тому, ни к другому, так как твердо убежден, что все наши желания и поступки или по крайней мере большинство из них возникают не сами по себе, не только и не столько из природных свойств и зачатков, сколько из обстоятельств, принуждающих людей к действию, и неопределенность Анастасии Федоровны в рассказах о зяте более чем говорит мне об этом. Старая женщина не то чтобы не умела отличить коренное, основательное в человеке от наносного, продиктованного условиями жизни, но просто ей в голову не приходило, что эти два, в сущности, исключающих друг друга понятия могут так тесно уживаться рядом и по потребности возобладать одно над другим. Она не спрашивала себя, совместимы или несовместимы добро и зло; то, что они несовместимы, было для нее не фразой, а состоянием жизни, и потому, столкнувшись в зяте с этим совершенно новым и немыслимым для нее явлением, не смогла распознать его. Да и кто из нас, окажись на ее месте, не совершил бы точно той же ошибки и не был бы столь же озадачен в суждениях и выводах, если учесть, что имелись еще и дополнительные обстоятельства, путавшие карты, то есть Светлана с первенцем на руках, как выражение семейного достатка, довольства и благополучия; и лишь то преимущественное положение, в каком я нахожусь перед Анастасией Федоровной сейчас, когда знаю если не все, то по крайней мере многое и многое о ее зяте (о, мы еще встретимся с ним, с этим заматеревшим в своей двойственности экземпляром!), позволяет столь безоговорочно и с максимальной как будто приближенностью к истине судить о нем.

Но тогда, в тот первый свой приезд к теще, Юлий Кириллович не был еще ни заматеревшим, ни ожесточившимся (в этом своем заматерении), а представлял лишь юношу, будто волею судьбы оказавшегося на распутье (хотя юноше уже минул тридцать второй, он был на восемь лет старше Светланы), и тот вкус к жизни, который затем возобладает в нем и станет повседневной и незамечаемой нормой, — вкус тот начинал только-только распознаваться им и привлекать его. Суздальский парнишка, воспитанный еще в тех старых русских традициях, в которых понятия о справедливости, добре и жизни всегда и единственно сочетались лишь с понятием «труд» (а теперь и с новейшим добавлением к нему: «учиться, учиться и учиться», обретавшим в простых семьях свою трактовку), лето и зиму игравший в монастырском дворе и постоянно видевший перед собой могучую кладку монастырских стен, церковных и прочих строений, производивших впечатление на него; воспитанный, в сущности, на этих образцах зодчества и желавший продолжить их (разумеется, применительно к новым условиям), и имевший к тому призвание и способности, — в свои двадцать четыре года с дипломом архитектора в руках и мечтой о бескорыстном и великом служении прекрасному, он вдруг и с недоумением сперва ощутил себя в тех реальных условиях жизни, в которых не то чтобы не было простора для полета, простор был, но не было возможностей выйти к нему. Назначенный (благодаря диплому с отличием) на должность чертежника-копировальщика в одно из проектных учреждений Москвы, он сейчас же почти обнаружил, что не только ничего из задуманного не удастся ему воплотить в жизнь, но что вообще он смешон и не нужен никому со своими знаниями и желанием развивать традиции национального зодчества; Москва почти вся от центра до окружной дороги застраивалась однотипными, без излишеств, многоэтажными жилыми коробками, и тысячи специалистов, в числе которых оказался и молодой Юлий Цыганков, на тысячах чертежных досок выводили одни и те же простые и строгие, должные как будто отразить эпоху линии этих коробок, что, разумеется, не приносило им ни духовного, ни материального удовлетворения. На сто двадцать рэ, положенные Юлию как молодому специалисту, он должен был (а) прилично одеться, (б) прокормить себя, (в) уплатить за квартиру, которую снимал тогда в Дьякове, в частном, у одинокой пожилой женщины, доме, и (г) вы-

слать матери, которая не поняла бы и не поверила, чтобы после стольких лет учебы (стольких лет ее материнских усилий, когда все отдавалось сыну) он был не в состоянии заработать на свое и ее обеспечение. Он не мог нанести ей этого удара; у него не поднималась рука написать ей об этом.

Между тем он видел, что большинство сослуживцев, занятых тем же, что и он, делом и получавших столько же или чуть больше его (что в общем-то не меняло сути), были и достаточно хорошо одеты, и сыты, и веселы. Кроме зарплаты, они как будто имели иной, более надежный источник дохода, и этим источником, как удалось установить затем Юлию, являлась та побочная, не подлежавшая будто учету, но обретавшая законность после «дружеских» согласований и виз работа, которая выполнялась не по государственным, а частным договоренностям и даже не на дому иногда, а на службе и в служебное время. Заказы поступали по так называемому «бродвею», то есть цепочке, специально отработанной для этого, как от мелких предприятий и организаций, у которых всегда есть что (и срочно!) перестроить, достроить или построить, так и от частных лиц, состоятельных, конечно же, всегда-то, а в тот год особенно ринувшихся облеплять Подмосковье своими для наслаждений и отдыха палатами и теремами. Особенно же много, что связано было с газификацией дачных поселков, поступало просьб на проектирование газовводов в дома. Заказы были легкими, оплачивались довольно кругло, и к ним-то, к этому неиссякаемому источнику дохода, и предстояло пристегнуться Юлию. А источник и в самом деле, как подтвердила жизнь, оказался неиссякаемым. Сотнями нерешенных житейских проблем, словно непочатый Самотлор, лежал он под слоем нашей официальности, и для открытия его не нужны были ни ученые-геологи, ни буровые (в переносном смысле) установки; достаточно было инициативному человеку чуть-чуть и в определенном направлении пошевелиться, как сейчас же, будто из-под ног, начинал бить всеодаривающий благодатный фонтан. Но как было приобщиться к этому «самотлору», когда и там все было уже как будто освоено и занято; и как было преодолеть то великое чувство служения, с каким глупая молодость обычно старается войти в жизнь (и с чем так болезненно затем приходится расставаться ей)? Есть, разумеется, люди, их единицы, которые за справедливость готовы пойти на костер, как было в прошлые века, но есть и неисчислимое, неохватное большинство, обычно и по традиции лишь презираемое нами, тогда как надо бы разобраться в этом явлении, а не накидываться с меркой, какую мало кто удосуживается прежде приложить к себе, — именно это большинство, которое, оказавшись перед выбором, а точнее, перед тем, что у него нет выбора, толпой устремляется на издавна проторенную человечеством дорогу (чеховский Ионыч, к примеру, из русской действительности), обретая на ней лишь кольца нашейного жира, бесславие и успокоение. «Жаль, конечно, — скажет читатель, и хорошо, если при этом не обвинит автора в своеволии или каких-либо иных подобных грехах, — что у суздальского парнишки не оказалось сил и мужества пойти на костер». Мне тоже жаль, и я с удовольствием написал бы другое, но — как быть, если этого мужества и в самом деле не оказалось у Юлия, как, впрочем, не всегда оно есть и у нас, если честно сказать о себе, так что я лишь следую правде и не то чтобы с одобрением (далек, далек от такой мысли), но с пониманием и участием, если хотите, смотрю на того молодого Цыганкова, которому — да кто из нас не оказывался в молодости в таком положении? — надо было прежде сорганизоваться с житейскими (а), (б), (в), (г) неурядицами, требовавшими решения, а жизнь если что и предлагала для выбора, так только один *этот* путь, на который жестко и властно толкала его. И не ему, видимо, первому сейчас же явился тот услужливый, для оправдания, аргумент, что сперва надо обосноваться, укорениться, а потом уже думать о свершениях, тот самообман, от которого, однажды поддавшись ему, мало кому затем удавалось избавиться.

Как большинство молодых людей, подобных Юлию, обзаведясь деньгами и друзьями, он долго не мог жениться; и не потому, что холостая жизнь нравилась ему; он боялся ошибиться, как будто мог недобрать чего-то, соединившись с той или другой, и, как это и случается потом с такими молодыми людьми, — когда перевалило за тридцать и он почувствовал, что, не женившись теперь, не женится никогда, сделал выбор быстро и решительно, встретившись на одном из вечеров у друзей со Светланой. Не берусь сказать, что привлекло его в этой в общем-то деревенской девушке, тогда только оканчивавшей московский вуз (Светлана училась в педагогическом институте на филологическом факультете); даже при позднейших встречах с Юлием у меня не было ни возможности, ни, откровенно говоря, желания расспросить его об этом, да и прилично ли было бы расспрашивать; но из наблюдений, хотя и коротких, когда я видел их вместе, а было это уже в Москве и много позже описываемых мною теперь событий, могу пусть и не с точностью, но с определенной долей достоверности предположить, что именно их общее деревенское начало и соединило их. Как ни казалась Юлию привлекательной и вольготной столичная жизнь, но то призрачное, что заключалось в ней, чем-то все же еще настораживало и отвращало его в те годы, потому и потянуло к Светлане, живо сохранявшей (тоже именно тогда, в те годы) первозданную как будто и всегда так важную и нужную людям основательность. Было ли так или было чуть иначе, да и в деталях ли дело, потому что, и я глубоко убежден в этом, сколько людей на свете, столько и вариантов любви; во всяком случае, супружество их, как мне и теперь кажется, было удачным, по крайней мере с внешней стороны, хотя ведь как знать, не всегда за оболочкой та мякоть, какую ждешь. Одно лишь бесспорно и ясно, что женитьба только сильнее отдалила Юлия от воплощения его юношеской мечты о великом и бескорыстном служении. Чем больше он решал теперь житейских проблем, тем обильнее, как всходы, они возникали вокруг него и тем больше требовалось средств на решение их. Он уже не говорил себе, что, сделав то-то и то-то, сможет наконец взяться за главное; главное было для него теперь в мелочах, обложивших его, так что даже в день приезда в Лыково к теще он не чувствовал себя свободным от них. Когда Светлана ходила еще беременной, он задумал (потому что с прибавлением семейства вполне получал на это право) обменять свою двухкомнатную, в неудобном районе квартиру, приобретенную, кстати, перед самой женитьбой и не без старания друзей, на трехкомнатную и в более подходящем, что тоже представлялось ему делом нехитрым, когда имеешь деньги. Начав тогда же, до благополучного разрешения Светланы, хлопоты по обмену и *нащупав* несколько более или менее подходящих вариантов, он и в день приезда в Лыково был настолько поглощен ими, что едва лишь вошли в дом и сели за стол, начал с тещей разговор об этом; и можно представить, как протекал этот разговор, если в памяти Анастасии Федоровны, женщины в общем-то по-своему наблюдательной и тонкой, осталась лишь та подробность, что зять говорил о чем-то, что в сознании ее связывалось с понятием «в дом», а не «из дому», и она оглядывалась на дочь и радовалась за нее. И всегда-то потом, слушая зятя, она понимала свое, что соединялось с привычными ей представлениями о жизни и справедливости и оправдывало и обеляло его.

XI

Но как ни была Анастасия Федоровна рада в тот счастливый для нее день приезда гостей, и как ни старалась угодить зятю и дочери, занимая у соседок все, что только можно было для стола занять у них, и влезая в долги, и как ни старались сами молодые поддержать в ней это настроение, восхищаясь тем, что готовилось и подавалось им, восхищаясь, главное (по недостаточности ума, а может, просто от привычки к шаблонному мышлению), тишиной и природой, как неким будто богатством, каким обладают люди деревенские в противовес городским; и как ни было приятно Светлане, выгодно представавшей перед матерью и перед всей деревней со своим первенцем, который был так очарователен, так хорош, несмотря на то, что не умел еще держать головку, что многие прибегали посмотреть на него, со своим элегантным мужем, о котором все только и говорили, — уже спустя сутки после приезда, сходив утром по росе на речку и промочив, то есть испортив, как он выразился потом, свои черные, на тонкой кожаной подошве остроносые туфли, и пройдясь затем днем по деревне и нацепляв репьев на свои белые, японского производства из льна и синтетики, брюки и изрядно запылив их; и разглядев вокруг лишь бедность

и обветшание, угнетающе, даже в чем-то оскорбительно подействовавших на него, как если бы в этом и в самом деле были повинны только люди, а не обстоятельства, он решительно вечером подошел к Светлане, кормившей ребенка, и, оглянувшись на дверь, за которой теща возилась с пустым подойником (он не хотел, чтобы она слышала), заговорил с женой. «Как ты думаешь, не прозеваем ли мы наш котельнический вариант?» — так ли, или, может быть, по-иному и выразительнее начал он, что не поддается теперь уточнению, да и более относится к стилю, чем к существу вопроса; речевая характеристика, конечно, важна для обрисовки героя, и я в дальнейшем постараюсь приобщить читателя к ней, но сейчас куда важнее представляется мне нащупать те изначальные пружины, от которых зависит нравственное или безнравственное (когда ни стыда, ни совести) поведение человека, и пружины эти, как подсказывает жизнь, лежат не на поверхности, а бывают обычно скрыты под толщей самых разных душевных наслоений. «Да, да, не прозеваем ли?» — повторил он, то есть не мог, как мне кажется, не повторить, потому что довольно поднаторел к тому времени в подобных психологических приемах, когда следует *бить* не столько на логику, сколько на чувства, чтобы достичь своего (и я позднее не раз видел, как он пользовался этим приемом).

Котельнический вариант, о котором заговорил Юлий, был хотя и сомнительным и маловероятным обменом, потому что хозяйка трехкомнатной квартиры, год назад трагически потерявшая мужа, уже второй месяц лежала в больнице в тяжелом состоянии, и было неясно, когда ее выпишут, и сможет ли она выписаться вообще, а какой же обмен, вернее, с кем, если умрет, а если все же выкарабкается, как надеялся Юлий, то где гарантия, что не найдется охотников перехватить лакомый кусок, и в то же время самым желанным и заманчивым, потому что, во-первых, одним махом приобретались все преимущества жизни в центре и, во-вторых, самопроизвольно, то есть без усилий, поднимался престиж. Что квартира в высотном доме на Котельнической набережной была добыта в результате обмена, об этом забудется, а останется только, что в *высотном* и что именно на *Котельнической*, и это будет говорить само за себя. Так полагал Юлий, вперед просчитав, что может ожидать его, и несколько раз даже порывался сходить в больницу, чтобы уговорить умиравшую женщину подписать прямо в палате нужные документы. «Ей уже все равно, — думал он. — А мне... Мне еще столько предстоит совершить!» И хотя мысль эта была омерзительной и коробила Юлия Кирилловича, но он не причислял себя к тем, кто сентиментально оглядывается на слова и фразы; так же, как приносили в пакетах ему (за так называемую проектную документацию, а точнее, шаблонные чертежи, выполненные им), он готов был вручить ей свой, тоже с определенною суммой, способной более, чем любой аргумент, как он думал, решить дело. Довольно поистершийся пакет и теперь лежал в кармане пиджака, оставленного дома, и не был пущен в ход лишь потому, что слишком уж неприятно было сознавать, что вынужден вырывать благополучие из рук мертвеца. «Но что же делать, что делать?» — еще в Москве, подталкивая себя на этот шаг, повторял Юлий, и тот барьер, который казался ему неодолимым в столице, где все было как бы на виду у общественности, совсем по-иному начал восприниматься им здесь, словно с него, как с веток, счищено было то унизительное, что как раз и вызывало отвращение и душевную тошноту. Оттолкнувшись, в сущности, лишь от желания поскорее уехать из деревни и обратившись, как к предлогу для этого, к котельническому варианту, Юлий с таким увлечением в тот вечер и на следующее утро говорил с женой, а затем и с тещей, сейчас же, как и во всем, взявшей и *в этом* его сторону, что он и сам уже искренне поверил в возможность и даже необходимость того, в чем убеждал ближних, и тут же и решительно объявил об отъезде.

Но прежде чем распрощаться с тещей и покинуть Лыково, в котором так нежелательно было оставаться Юлию, он все же сперва съездил в райцентр на переговорную, и хотя ему не удалось связаться с теми друзьями, которые были в курсе его котельнического варианта и могли хоть в чем-то, хоть информацией помочь ему, вернулся лишь с большей убежденностью, что как можно скорее надо отправляться в Москву, и в тот же вечер принялся укладывать вещи и готовить машину в дорогу.

Уезжали молодые утром, едва только, подгоняемое бичом, проковыляло по деревне стадо, и пыль, поднятая им, еще держалась в воздухе, нависая над избами и плетнями и оседая на них. Наевшийся блинов со сметаной, то есть довольный и сытый, и в том же наряде: светлых брюках, черной рубашке и светлой куртке (с одной только разницей, что куртка теперь была на нем, а не в руках), в каком в день приезда предстал перед тещей, словно сошедший, по ее выражению, с кино- или телеэкрана, Юлий стоял возле открытой дверцы своего вымытого и блестевшего краской «Москвича» и улыбался не столько теще, вернее, не столько из благодарности ей за гостеприимство, сколько просто — от свежести утра, голубизны неба и бликов по крышам от поднимавшегося над деревней солнца, сколько — от настроения, то есть от той душевной удовлетворенности (и уверенности, что все возможно и доступно ему), какую, может быть, никогда еще он не испытывал так полнокровно, как в эти трогательные для всех минуты прощания. Да и что же, как я думаю, было волноваться ему, когда тот источник дохода, тот «самотлор», на котором строилось его семейное благополучие, — источник тот и в самом деле был неистощим и, как огромное море, сотнями житейских проблем лишь множился и разбухал под толщей официальности («Так было, и так будет всегда», — цинично заявляли ему друзья, и жизнь, он видел, более чем подтверждала их доводы); он не то, чтобы сознавал, но был твердо убежден в это утро в своей удачливости, и с тем внутренним превосходством, с каким только люди сильные, как ему казалось, позволяют себе смотреть на окружающих, смотрел то на жену, то на тещу, то опять переводил взгляд на жену и улыбался ей той же, что и теще, улыбкой.

Может быть, я ошибаюсь, описывая это его душевное состояние, которое в те минуты было либо куда проще и прямолинейней, чем можно предположить, либо сложней и скрытнее, то есть недоступней воображению; и все же думаю, что, касаясь душевных струн Юлия Кирилловича, его тогдашнего настроения, чувств и мыслей, его мировосприятия, если хотите, когда все окружавшее соизмерялось им лишь как приложение к собственной персоне, не ухожу далеко от истины. И на тещу, и на жену он смотрел (от приоткрытой дверцы блестевшего краской «Москвича») именно как на приложение, должное обрамлять его жизнь; но в то время как теща в своей деревенской одежде и со своими деревенскими взглядами могла быть, а могла и не быть, то есть выпасть из этого обрамления, что только упростило бы существование Юлию, и о чем он не то, чтобы не стал печалиться (как оно и случилось впоследствии), но забыл бы тотчас, как забывают об изношенных и выброшенных вещах, — совсем по-иному воспринималась им Светлана, которая не то, чтобы не могла *выпасть* (человеческая жизнь такова, что никто не застрахован в ней), но сама мысль об этом показалась бы противоестественной и возмутила бы его. Он любил ее по-своему — той нежной как будто и сильной любовью, какой люди обычно любят предмет, украшенный или облагодетельствованный ими, и если что и испытывал в то утро в Лыкове, глядя на жену, так только — все то же удовлетворение, какое соединялось в нем с общим наполнявшим его чувством.

Наверное, самое время сказать теперь несколько слов и о Светлане, у которой тоже (на пространстве повествования) откроются еще свои поля притяжения и отталкивания. Если обратиться к ее внутреннему миру, то он только-только начинал тогда складываться — по той классической и самой, может быть, живучей (несмотря на очевидную порочность ее) схеме приобщения к «ценностям», по какой и теперь тысячи молодых людей, обманувшись мишурным блеском, входят в жизнь, стареют и умирают, так и не познав истинного наслаждения от труда и открытий. Э-э, да это же ярлык, чувствую, возразят мне; чуть из народа, так и ярлык на него, да такой, чтобы до гроба не отмыться. Но почему ярлык? Почему же ярлык, когда разговор идет о явлении, то есть о тех условиях, в каких издавна и столетиями оказывались люди из простонародья, особенно деревенские, и в каких в силу разных и вполне иногда объяснимых причин (война и после войны) оказывались теперь, видя вокруг только бедность и тщетные усилия трудом выбраться из нее. Нет, я отнюдь не собираюсь мазать всех только черной краской и выискивать в душах темные пятна. Пятна — всего лишь производное от обстоятельств, и если чем-то и забо-

левает общество, то ни наклеиванием ярлыков на личности, ни наклеиванием их на народ не излечить болезни; зубоскальство есть признак зла, а не участия, и дело тут не в Светлане, не сумевшей по молодости, неопытности или просто доверчивости понять, что и на что она меняла, и какое будущее готовила себе и первенцу; неизмеримо жаль мне все то входившее тогда в жизнь молодое поколение, которое мы не только не научили ни в школе, ни дома распознавать истинные ценности жизни, но, напротив, теплотой родительских чувств (и возможностями) лишь подталкивали на эту ложную, лишенную, в сущности, радостей и будущего стезю, как, собственно, и делала это Анастасия Федоровна. То, что окружало Светлану в деревне, и что затем она увидела в столице, особенно, когда, подружившись с сокурсницами, стала бывать в их роскошных (по крайней мере в ее представлении), с картинами и дорогой мебелью квартирах, было так несоизмеримо и так поразило ее (уже самой возможностью в наше время подобной светской жизни), что весь хрупкий и целостный мир прежде усвоенных ею представлений не то, чтобы дал трещину, но у самого основания был словно подрублен и разрушен в ней. Конечно, я понимаю, мне опять могут возразить, будто я прибегаю к определенному и уже надоевшему всем шаблону, по которому все хорошее и основательное (в смысле нравственности) отдается деревне, а дурное и развращающее — цивилизации и городу. Но ведь и шаблоны, если подумать, не возникают из ничего; а взглянуть посерьезнее, то дело не в нравственных извращениях, которых, к сожалению, хватает и в деревнях; речь идет, повторяю, об уровне жизни, о том очевидном, что и всегда-то было предметом желаний и зависти для простых людей, и необязательно, конечно, чтобы за всякой так называемой роскошью (ведь и роскошь, как и бедность, понятие относительное), то есть за картинами и дорогой мебелью в квартире непременно пряталось нечто нетрудовое, нечестное или порочное; я далек от подобных утверждений, как далек и от утверждений о том, что только крестьянский труд есть труд очистительный и полезный, а беспокоит меня в этом вопросе лишь то, одинаково относящееся и к городу, и к деревне, когда распределяются блага не столько по труду, сколько по чиновному креслу, над чем действительно стоит задуматься, и что — словно бы по конституционной преемственности, как закон, вот уже какое столетие сопровождает человечество, и от чего даже революция, как стало очевидным теперь, не смогла до конца освободить нас.

Но что было Светлане до этих изысканий, сопоставлений, обобщений и выводов, до этих умствований, какими мы так старательно наполняем страницы книг, надеясь кого-то исправить и научить жить; все, что происходило в ней и вокруг нее, было для нее столь же непосредственным, как непосредственна сама жизнь, и точно в том же направлении (мнимых вершин и соблазнов), в каком стремительно и неудержимо уносило течение всех, уносило и ее, счастливую и тем, что мир словно раздвинулся перед ней (в сравнении с впечатлениями детства, которого лучше бы не было, как она заявляла теперь), и, главное, замужеством, открывавшим ей дорогу к «светским» возможностям. Ей хотелось иметь все, что было модно, красиво; было на знакомых, с которых она хотела брать пример, и было трудно достать; и трудность эта, то есть хлопоты по доставанию, отнимали у нее почти все ее время. Она постоянно чувствовала себя занятой делом, и даже появление Николеньки (так они с мужем назвали своего первенца) не только не притушило в ней этой ее деятельности, но, напротив, лишь удвоило ее, потому что надо было теперь доставать не только на себя и на мужа, но и на Николеньку, с которым не могла же она появиться без соответствующих распашонок, ползунков, простынок и одеялец. Разумеется, на все нужны были деньги, но так как Юлий умел раздобыть их (как, впрочем, большинство людей научилось добывать их теперь, каждый из своего «самотлора»), это не беспокоило Светлану; для нее главным оставалось в «дело» потратить их, и весь этот мир своей столичной деятельности она и привезла с собой в Лыково, к матери, сразу же заполнив им все, что только можно было заполнить в доме и в простодушных сердцах родных и близких. Мир этот был привлекателен не тем, что он на самом деле представлял из себя; суть его, если бы вдруг открылась матери, была бы не понятна и чужда ей; но всех ошеломляло то внешнее, то есть наряды Светланы, в каких она, переодеваясь по два, три раза в день (чтобы успеть показать все, что привезла), представала перед матерью. Ей и здесь некогда было остановиться и оглядеться от обилия к ней внимания и ласки, а если что и вызывало беспокойство, так только странный будто, будто от лыковцев зависящий застой жизни. «Господи, да вы как на Камчатке здесь, как в прошлом веке», — несколько раз воскликала она, желая выразить это свое отношение и выражая его лишь теми общими, как принято и модно теперь, фразами, в которых (как они и подаются нам) так много, так много будто иносказательности, то есть намеков и разоблачений, что иначе, как со значением, и нельзя произносить и воспринимать их. Она словно бы на матери, да и на подружках, прибегавших поболтать с ней, перепроверяла все то, что было теперь потребностью и нормой ее столичной жизни, и успех, производимый ею, не то чтобы кружил голову (она вполне представляла, с кем имела дело), но приносил то удовлетворение, какое делало ее счастливой. Потому и насторожилась и возразила она, когда Юлий заговорил о необходимости возвратиться в Москву, и только желание не упустить котельнический вариант обмена, который еще сильнее, чем мужа, волновал ее, — да кому же не хочется пожить в высотном доме! — заставило ее согласиться на столь поспешный (и обоснованный, как она думала теперь) отъезд из деревни.

XII

Не мной, разумеется, замечено, что не только правильные или неправильные черты лица или какие-либо иные приметы, то есть цвет глаз, волос, форма носа, ушей, полнота губ делают человека красивым или некрасивым; внешнее это, если оно освещено глубокой и благородной (пусть хотя бы в согласии со своим пониманием этого слова) душевной работой, оно обретает привлекательность и силу, а если не освещено, если нет в человеке этой постоянной и одухотворяющей работы, все совершенное сейчас же теряется и мертвеет в нем, и от такого индивидуума остается лишь впечатление, как от куска выцветшей материи, оказавшегося рядом с подсвеченным бархатом. Нельзя сказать, чтобы лицо Светланы было красивым или было некрасивым, оно было типично русским (деревенским, как еще говорят иногда о таких лицах, с чем, разумеется, можно было бы вполне согласиться, потому что все мы в конце концов происходим из деревни, если бы не стоящий за этим сравнением унижающий смысл сортности), то есть настолько типичным во всех своих округлых формах, что вряд ли при обычном беглом взгляде можно было бы хоть чем-то отличить его от других подобного типа женских лиц. Я много раз видел Светлану, правда, гораздо уже позднее, в Москве, но все в той же будто поре молодости, в какой она сумела сохранить себя, и потому с бо́льшей, может быть, достоверностью, чем о душевных ее качествах, могу рассказать, как она выглядела, что тоже представляется мне весьма и весьма важным, так как никто еще не отменял (да и в силах ли?) известной (и вековой) традиции в общении людей, когда (как по пословице) принимают по одежке, а провожают по уму. Что касается первой половины этой давно и всеми повторяемой (и осуждаемой, конечно же) истины, то в том замкнутом московском кругу, в каком так ли, иначе ли оказалась Светлана, невозможно было даже помыслить, чтобы кого-либо приняли (и оценили!) иначе, чем по одежке, потому что — раз умеет одеться, значит, этот человек не только со вкусом, но и с возможностями, которые, надо полагать, не приходят сами собой, а даются либо положением, что уже говорит о многом, либо умением жить, что производит свое и не меньшее впечатление. Что же касается второй половины пословицы, то есть ума, как главного критерия, по которому должны оцениваться люди, то, несмотря на всю очевидность и простоту этого критерия, вокруг него, вернее, вокруг всякого умного и порядочного человека сейчас же возникает такое количество всевозможных мнений, суждений, оценок и пр., и пр., вплоть до выяснения, что же вообще представляет собой понятие «ум», что и жизни иногда не хватает, чтобы по достоинству и заслугам были оценены его деяния, и если уж провожают (в смысле признания, как по пословице), так только — следуя за гробом с непокрытыми головами, и сколько тогда раздается похвал в адрес усопшего, сколько искренних сочувствий и сожалений, и так трогательны на глазах у всех слезы.

Но, находясь в доме, нельзя одновременно со стороны наблюдать его, как, впрочем, и было со Светланой — в той среде жизни, какую она избрала для себя. Она видела только, что окружало ее, и то, что мы называем «принимать по одежке», в сознании ее неизменно оборачивалось понятием «по уму», и свой интеллект и интеллект мужа она направляла в это единственно как будто возможное и важное, чтобы достичь положения, русло. Она была от природы кругла, розовощека, и зеленые глаза ее, обрамленные густыми черными ресницами и черными бровями (несмотря на русые волосы, то есть на эту будто бы парадоксальность, встречающуюся в облике русских людей), смотрели на мир с тем постоянным и наивным изумлением, какого так не хватает теперь многим и многим нашим молодым и успевшим уже пресытиться современным дамам. Стриглась она коротко, как и модно было тогда, от чего уши ее красивой и правильной формы были всегда открыты, и в них, словно прилипшие к мочкам, поблескивали то золотые (смотря к чему), то серебряные с жемчужинами сережки. О ней говорили, что все будто в ней соразмерно и пропорционально, кроме, может быть, слегка укороченной и оттого казавшейся некрасивой шеи (что как раз и выдавало в ней принадлежность к простонародью), и чтобы хоть как-то исправить этот недостаток, стеснявший ее, и сгладить впечатление, она старалась иосить не просто открытые платья, но с клиновидными (или сердечком) вырезами, а у кофточек и батников непременно оставляла воротнички расстегнутыми. Тонкость эта, вернее, хитрость или умение предстать не такой, какая есть, а такой, какой хочется выглядеть, как и многое из подобного женского мастерства, доведенного многими до совершенства, было перенято ею все от тех же московских подруг, на которых хотелось походить Светлане, и если следовать откровенности, то надо признать, что не мало удалось ей преуспеть в этом. Но в то памятное теперь уже и для меня лето, когда она приезжала к матери, она еще не обладала этим мастерством, и все естественное в ней было красиво и совершенно не потому, что было обрамлено, подведено или подкрашено; каждой своей черточкой она словно бы дышала той жизнерадостностью, какую, как мир, носила в себе, и стремление подняться на ступень выше, чем жила, и, главное, сознание того, что невозможного нет, и дверь в желанное будущее открыта, — сознание этого, то есть работа чувств и мыслей, поминутно происходившая в ней, была словно бы оголена и делала ее привлекательной. Находясь с ней рядом, нельзя было не заряжаться ее энергией, так что даже суховатый и рассудительный Юлий или пусть уж, для значимости, Юлий Кириллович, — даже он, казалось бы, должный привыкнуть к характеру и причудам жены, всякий раз в те дни с новой будто влюбленностью смотрел на нее. Здесь следует заметить, что было и еще одно обстоятельство, благодаря которому Светлана производила столь благоприятное на всех впечатление. Она была после родов (Николеньке только-только исполнилось три месяца), то есть была в том обновлении, когда все с удвоенной будто силой начало пробуждаться и расцветать в ней, и как ни тяжело было нянчиться с первенцем, как ни уставала она от пеленок, распашонок, от недосыпания и страха за жизнь крохотного и дорогого ей существа, временами вдруг охватывавшего ее, но все это, казалось, только шло ей на пользу и прибавляло сил; в укороченных юбочках, открывавших ее красивые ноги, в почти распахнутых батниках и с прической, удлинявшей ей шею и с постоянной и радостной возбужденностью она как будто одна заполняла собою весь дом, и даже когда занявшись Николенькой, успокаивалась и замолкала, суетной и шумливый голос ее долго еще продолжал звучать в комнатах. Разумеется, я не ручаюсь за полную достоверность этого, что происходило тогда на глазах у Анастасии Федоровны, и о чем она только рассказывала мне; на мой взгляд, так ничего привлекательного в Светлане и не было, и я бы уже через час почувствовал усталость от подобной суетной женщины; но, может, в том и заключены прелесть и смысл жизни, что все мы (люди) разные в ней, и что кому-то и суетность представляется чертой привлекательной и прекрасной; во всяком случае, ясно одно, что Светлана в тот приезд в Лыково была в лучшей поре своей жизни, и такой она запомнилась матери и подружкам, с завистью приходившим лишь только посмотреть на нее.

Особенно же хороша она была в день отъезда, утром, когда со спавшим на руках Николенькой стояла, как и муж, возле открытой дверцы «Москвича», готовая сесть в него, и смотрела на мать. Она была в укороченной, свекольного цвета, юбочке, обтягивавшей ее, и такого же цвета тоже укороченном и модном пиджаке, надетом поверх светлого и расстегнутого (по груди от шеи) батника и казалась почти девочкой в этом своем зауженном и стеснявшем ее, но при взгляде со стороны хорошо будто сидевшем на ней наряде, и если бы не Николенька, на которого, отгибая угол простынки, она то и дело поглядывала, и не Юлий рядом, сейчас же узнаваемый в роли отца и мужа, было бы невозможно даже предположить, чтобы она была замужем, или по крайней мере не воскликнуть: «Так молода, так молода, а уже и ребенок!» Сознавала ли Светлана это свое тогдашнее преимущество, или же, как и все, что происходило с ней и вокруг, воспринимала как нечто само собой разумевшееся, что никогда и ни в чем уже (по крайней мере в худшую сторону) не сможет измениться для нее; понимала ли вообще, что делала, так спешно, не погостив, уезжала от матери, или и тут все было для нее простым и естественным, теперь трудно сказать; то, что она была весела, счастлива и была взволнована лишь самой минутой прощания, видно было по ее возбужденному и улыбавшемуся лицу, словно покидала она не родной дом, а что-то такое, что и прежде всегда усложняло и отягощало ей жизнь, и все серое, бесцветное, старушечье, что она видела на матери и соседках, без которых и проводы не были бы (по деревенским обычаям) проводами, — все это бесцветное, серое и убогое, говорившее лишь о застойной скудости жизни, только подтверждало и оправдывало ее мысли.

Хотя все прощальные объятья и поцелуи были уже позади, и положенное в таких случаях сказать друг другу было сказано, а терпеливо ожидавший Юлий, не выдержав, бросил Светлане: «Не пора ли, а?» — она продолжала стоять в нерешительности, словно что-то еще очень важное удерживало ее. Было очевидно, что надо помочь ей и взять у нее Николеньку. Но когда догадавшийся Юлий взял, наконец, из ее рук сына, Светлана вместо того, чтобы сесть в машину, вдруг и стремительно бросилась к матери и без разбора, куда попадут губы, принялась целовать ей лицо. Что-то будто исступленное было в этом ее порыве, что-то — из того разряда действий, когда подобной взрывной лаской хотят выпросить прощение или замолить грехи; только этим, видимо, чувством, шевельнувшимся в ней (под толщей эгоистических наслоений) и можно объяснить подобное действие, так поразившее тогда Анастасию Федоровну, что до конца дней она в подробностях помнила о нем. «Ты прости, мама, прости, прости», — в слезах и волнении шептала Светлана. Да понимала ли она всю глубину значения этих слов? Если бы понимала, если бы мы умели соотносить слова с поступками, наверное, жили бы совсем в другом обществе, чем теперь; но живем, к сожалению, в э т о м, и Светлана со своей непосредственностью всего лишь — часть общего, то есть типичное, восторженное и ничтожное существо, каких миллионы, и о которых мы то с гордостью говорим, что это народ, и восхищаемся им, то называем толпой, которой и надо всего-то хлеба и зрелищ. Но, может, и не к месту здесь столь высокие сравнения, потому что — что же взять со Светланы, этой жизнерадостной и упоенной счастьем молодой матери, когда столь естественный в ее возрасте эгоизм, в сущности, не имеет границ; слезы сейчас же просохли на щеках, как только она села в машину, и маленький Николенька вновь очутился у нее на руках.

Мокро шмыгая носом, она успела еще крикнуть из машины: «Мы приедем, мама!» — и спустя минуту ведомый Юлием «Москвич» мчался уже по проселку, поднимая валки пыли, которые, как разделительный шлейф, протягивались будто между тем миром, городским, куда уносились молодые, и этим, деревенским, в котором оставалась мать.

XIII

Во второй раз они собрались приехать в Лыково лишь спустя почти пять лет, когда жили уже на Котельнической, в высотном доме (они успели-таки совершить этот обмен, хотя и прокатился тогда же еще между знакомыми слух, будто что-то нехорошее, нечистое было в этом их обмене), у Светланы родился второй сын, которого в честь деда по отцовской линии назвали Кириллом, а Юлий, получив повышение (он заведовал те-

перь отделом в том же проектном учреждении), был настолько согласен со своей и окружавшей его жизнью, что уже и не вспоминал о юношеской мечте, то есть великом и бескорыстном служении (отечественному зодчеству), чему хотел посвятить жизнь; тот денежный «самотлор», тот «самотлор» проблем, мелких как будто, житейских, но требовавших разрешения, на которых строилось его семейное благополучие,— «самотлор» тот не только не истощался, но, напротив (и по той же отчуждавшей все официальности), лишь разрастался, как некий подспудный слой жизни, и не было даже намека в обозримом пространстве времени, чтобы что-то изменилось или осложнилось, по крайней мере, в этом отношении для Юлия. Он привык уже к тому, что всякое творчество начиналось не с открытия чего-то нового, оригинального, что было бы красиво, удобно и полезно людям, а по формуле «улучшай лучшее», то есть от достигнутого, сколь бы иллюзорным и сомнительным ни было оно; Москва своими одноликими коробками уже прорывалась за окружную, проекты застроек микрорайонов, как с инкубатора, сходили с чертежных досок, и в этом стереотипе, в этой творческой (без творчества) атмосфере труда и жизни росла, умножалась и крепла деловая слава Юлия Кирилловича. С каждым годом все больше и больше расширялся круг его друзей, он обрастал такими же (и стоявшими выше) «деловыми» людьми, которые ставили уже для себя целью дотянуться до рычагов власти, и все это было так заманчиво и так затягивало Юлия (словно и в самом деле подобная цель была достижима для них), что исподволь начал и себя готовить к этой новой и не во всем пока ясной ему общественной деятельности. В доме его устраивались теперь приемы с шампанским, чаем и разговорами, далеко выходившими за рамки профессиональных интересов; приходящая домработница в обязательном для нее платье (как это видела Светлана у других) обходила с подносом гостей, собирая опорожненные и подавая вновь налитые рюмки и чашки, и все выглядело настолько благородным, благожелательным и милым, что казалось, будто сам воздух гостиной наполнялся чем-то особенным и возвышенным в эти часы. На этих-то вечерах и прозвучало впервые столь знакомое Юлию Кирилловичу слово «Лыково», то есть название деревни, определенная слава о которой начала к тому времени уже распространяться по «элитной» Москве. Но он не воскликнул сейчас же: «Да у меня теща там!» Жизнь, он знал, не прощает скоропалительности; но мысль о том, что в Лыкове открылось что-то примечательное, чего он не сумел разглядеть прежде, как раз и подтолкнула его к новой поездке в деревню.

«Но что же они нашли здесь?» — с удивлением спросил он себя, пройдясь сразу же после приезда по Лыкову и не увидев перемен. Он был далек тогда от только-только начавшей набирать силу так называемой народной идеи, которая затем захватит и его, далек, вернее, от того обновленного будто взгляда на деревню, когда чем больше в ней застоя и ветхости, тем милее она должна представляться русскому человеку, и тем острее (и слаще) он должен видеть в ней свои нравственные корни. Я бы не хотел сейчас вдаваться в суть этого явления, которое было неоднородным, и в котором не все складывалось однозначно-положительно, как это казалось некоторым, искренне верившим в очистительность и действенность подобной идеи и служившим ей, и не все так однозначно плохо, как писали и говорили противники, не выставлявшие, однако, взамен ничего, что могло бы сравниться по силе воздействия с понятиями «нравственность», «народ» и «корни»; спор этот, имеющий немалую историческую подоплеку, далеко еще, по-моему, не прекращен и теперь, и перешел только в другую стадию с захватом новых понятий и форм, но — не будем отвлекаться, тем более что впереди у нас еще появится возможность вернуться к нему, а пока лишь хочу заметить, что одним только обращением к нравственности (как это, к примеру, веками делала религия) нельзя решить социальных проблем, и потому прекрасная сама по себе идея народности не может быть отделена от всех других институтов жизни. Но, повторяю, Юлий Кириллович не был еще увлечен тогда ни идеей возврата к корням, ни противоположной ей идеей быстрого и безоглядного устремления в будущее, всегда столь заманчивое на словах; он оценивал жизнь пока лишь по той мерке, по которой все разделялось для него на приносившее и не приносившее ему пользу, и в согласии с этой меркой (и несмотря на впечатление, оставшееся после осмотра деревни), — как только внимательней присмотрелся к некоторому будто обновлению ее и будто многолюдью (за счет «панамников», наезжавших теперь сюда из Москвы), с неменьшим удивлением обнаружил, что здесь был свой, сельский, так сказать, «самотлор», то есть источник дохода, к которому можно приложиться. «Так вот в чем дело», — произнес он, ухмыльнувшись своей сообразительности и полагая, что открыл именно то, на что указывали друзья, и что таило в себе определенные возможности; и хотя возможности эти, в сущности, были ограничены, были каплей в сравнении с тем, на что действительно намекали друзья, но для вдохновленного Юлия Кирилловича вполне достаточно было пока и этого, что открыл, и он тут же начал прокручивать, как говорят теперь, или продумывать, как говорили прежде, свой подход к делу. Ни речка, ни лес и поляны уже не интересовали его; он часами простаивал теперь во дворе, осматривая большой обветшалый дом тещи и строения вокруг него и обдумывая, каким образом привести все это в порядок; и первой пришедшей ему мыслью (в решении этого вопроса) была мысль о колхозе. «Работала, работала на него, так почему бы колхозу не взять сейчас и не помочь ей? Ведь говорим же, что все у нас для народа и во имя его, а выходит, как до дела, так и в кусты?» Ему надо было отыскать способ, чтобы, не потратившись, восстановить тещины дом и строения, то есть отыскать лазейку, которая хотя бы по видимости была официальной; но так как сделать это, он понимал, можно лишь, присоединив частное, личное к какому-нибудь крупному общественному явлению (в данном случае порочному), то и старался подвести тещины нужды под общие нужды народа. «Да она ведь еще и солдатка!» — воскликнул он, вспомнив и обрадовавшись этому, что могло стать решающим аргументом в предстоящем деле.

Высказав теще (в несколько заходов) свое возмущение тем, как она живет, и что по закону, соображениям человечности, а, главное, заслугам, если бы учесть их, могла бы жить иначе, в почете и уважении, и что «это же безобразие (со стороны, разумеется, властей) так забывать о тружениках», что было, в общем-то, справедливо по отношению к Анастасии Федоровне и настолько растрогало ее, что она даже всплакнула после такого разговора,— Юлий Кириллович, однако, не стал предпринимать никаких спешных мер, чтобы исправить положение; обратиться в правление колхоза или сельский совет означало бы только — втянуться в долгие и непрестижные хлопоты, чего видный (к тому времени) московский архитектор не мог позволить себе; чтобы более или менее без проволочек решить дело, надо было если уж начинать, то с инстанций, с какого-нибудь начальственного звонка в район (что с помощью друзей и при определенных усилиях вполне можно было организовать), и он сразу же по возвращении в Москву принялся разрабатывать план действий. Он ожидал, что столкнется с трудностями, потому что дело касалось периферии; но, к удивлению его, не прошло и недели, как цепочка связей, по которой был начат путь, привела Юлия в кабинет к нужному человеку. На стол перед этим нужным человеком была положена бумага с изложением жизни Анастасии Федоровны и ходатайство, из которого ясно было, в чем нуждалась старая колхозница, и так как в просьбе все действительно выглядело законно и правильно (кроме разве что корысти, о которой не то, чтобы спросить, но подозревать в которой, что она имеется у столь известного и уважаемого московского архитектора, было нельзя),— на ходатайство была тут же наложена резолюция, и, как и ожидал Юлий, машина закрутилась, набирая обороты и приводя в движение весь прежде будто застоявшийся возле подворья Анастасии Федоровны механизм жизни. Уже с середины зимы начали заглядывать к ней комиссии из района, сельсовета, колхоза, а ближе к весне были даже завезены некоторые строительные материалы, которые пролежали затем под дождем и солнцем всю посевную, и пролежали бы сенокос и уборочную, если бы в тот самый момент, когда надо было подтолкнуть все, не появился бы в районе со всем своим щегольством и авторитетом Юлий Кириллович.

Теперь трудно доподлинно установить, как ему удалось провернуть дело, громким ли стуком по столу, как принято иногда, и что имеет свое воздействие, или, напротив, мягкостью и спокойствием, как поступают бо-

лее опытные, умеющие вползти в душу начальству и растопить ее, — очевидным остается одно, что, несмотря на обычные для сельских районов трудности со строительством, что вполне относилось и к лыковскому колхозу, откуда-то все же была снята бригада столяров, каменщиков, жестянщиков, и до осенних еще дождей дом Анастасии Федоровны, до этого подслеповатый и неприметный, был перекрыт, обновлен, обнесен штакетником и сиял свежею краской. Юлий Кириллович сам принимал работы и подписывал наряды. В день завершения выставил ящик водки на радостях, чем вызвал недовольство и нарекания местного руководства. Но конфликт тут же удалось замять, руководство соответствующим образом было успокоено, и удовлетворенный содеянным и полный уже новых планов устройства и разворота жизни Юлий Кириллович вернулся в Москву. «За всякое дело надо только уметь взяться», — весело сказал он Светлане и говорил затем друзьям, которым доверял, вернее, которые зависели от него и не могли иначе, чем с одобрением встретить его сообщение. Для Анастасии Федоровны же, по ее словам, должен был наступить новый этап жизни, она полагала, что зять с дочерью и внуками теперь чаще будут приезжать к ней и останавливаться не на день, два, а на месяц или на лето, как поступали, она видела, другие, и каково же было ее огорчение, когда вдруг, по весне, словно бы мимоходом и без Светланы (и всего лишь на час, как он заявил тут же) Юлий заскочил к ней и предложил, чтобы не пустовали помещения, сдать их внаем отдыхающим за определенную плату. Затем точно то же повторилось в следующее и еще в следующее лето, Юлий Кириллович заскакивал теперь только, чтобы посмотреть, как протекает налаженное им дело, и снять «урожай». Он действовал умело, осторожно и деликатно, приобретая над тещей власть и подавляя в ней волю, так что Анастасия Федоровна даже не заметила, как из хозяйки дома превратилась, в сущности, в смотрительницу некоего будто пансионата, владелец которого, обосновавшись в Москве, время от времени все же вдруг появлялся перед ней — со своим кошельком, своею улыбкой и горой обещаний и надежд, которым никогда не суждено было сбыться; в этом-то положении смотрительницы, то есть на новом для нее этапе жизни, я и застал Анастасию Федоровну в тот день, с описания которого, собственно, и началось это мое сложнейшее повествование.

XIV

Но в тот день, а точнее, вечер, когда, выйдя от Анастасии Федоровны, я направился к дому Ивана Егорыча, я даже отдаленно, как уже говорил, не представлял себе, что втянусь здесь, в Лыкове, в какую-то невероятную будто по странности своей историю, которая затем возбудит во мне столько разнообразных мыслей: и правильных, и неправильных, и спорных, и бесспорных, способных привести или неспособных привести к истине, и заставит в конце концов взяться за этот, может быть, не столь уж и примечательный, как пока что представляется мне, труд (да и можно ли вообще в безверии творить что-либо?!); то, о чем я хотел узнать у Ивана Егорыча, — о новом толковании понятий «народ» и «жизнь народа», способном если не исключить, то хотя бы оградить от ошибок, загоняющих нас в тупик, — настолько занимало воображение, что уже спустя минуту я не думал ни об Анастасии Федоровне, ни о ее зяте, архитекторе Цыганкове, однозначно понятных и потому неинтересных мне; я ошибочно полагал (в русле тогдашних представлений), что в определение «народ» обычно входят не те люди, которые окружают нас, и с которыми нам постоянно приходится сталкиваться, а какие-то другие, отторгнутые от нас каким-то будто социальным барьером, как в прошлые века (и что не без основания, как полагаю теперь, перекочевало в наше сегодня), и так как Анастасия Федоровна и ее зять находились, по тогдашнему моему восприятию, не по ту, а по эту сторону барьера и не подпадали под категорию «народ», то, естественно, и нечего было, как мне казалось, думать о них. Другое дело — Иван Егорыч с его подвижничеством; со скрупулезным исследованием тех самых пластов жизни, до которых большинство нашей пишущей братии обычно добирается лишь путем логических ходов и умозаключений, то есть по методу «так должно быть», чем существенно искажается истина, а не путем изучения и участия, то есть проникновения в процессы, глубинно (и всегда) происходящие в обществе, до которых, впрочем, пришлось бы снисходить, отказавшись от городских благ; передо мной стоял этот вдохновенный образ подвижника, вызывавший лишь восхищение, и если что-то и представлялось заземленным в нем, то только цель, ради которой совершалось все. «Да, да, я должен поговорить с ним, — думал я, хотя для того только и прибыл в Лыково и шел теперь к Ивану Егорычу. — И если бы он разрешил, я перенес бы его со всей его жизнью (о которой, впрочем, мало что знал тогда и в которой, когда она открылась мне, все оказалось совсем или почти совсем не так, а и сложнее, и проще, и драматичнее), да, именно со всей его жизнью в свой новый роман. Ах, какой бы это был роман, какая была бы книга!» — продолжал я, поддаваясь соблазну, и что дает теперь мне право сказать, вернее, подтвердить прежде (и не раз) высказывавшуюся мысль о том, что в радости человек всегда глуп, и что лишь озабоченность и трезвый взгляд на происходящее способны привести к разумным и последовательным действиям.

«Да захочет ли еще он принять меня?» — минутами, вдруг, насторожившись, восклицал я, зная (из слухов, ходивших по Москве), насколько был избирателен в своих контактах этот человек, и как неохотно, особенно с незнакомыми, шел на сближение и разговор. Я думал о загадочности его характера, загадочности его души, загадочности вообще жизни подобных людей, по судьбам которых (и точнее, чем принято полагать) можно восстановить истинную картину истории. Не покидала меня и та тайная надежда, что он хоть как-то знаком с моим творчеством, прочитал хоть одну из моих книг и если с чем-то не согласился, то, во всяком случае, получил представление о моих суждениях и взглядах и знал, что оба мы идем в одном направлении, что поиски наши пересекаются, и что от объединения усилий могло бы только выиграть дело. «Да, да, именно, дело», — повторял я, уже теперь как бы вызывая Ивана Егорыча на разговор, интересовавший меня. В голове уже складывались вопросы, какие я мог бы задать ему, так как мысленно уже сидел в кресле перед моим кумиром, и, увлеченный этой воображенной встречей, не заметил, как оказался не столько перед домом Ивана Егорыча, сколько перед толпой людей, сгрудившихся возле ворот и оживленно обсуждавших что-то только что, видимо, произошедшее здесь. «Что это?» — подумал я, увидев прежде даже не толпу, а милицейский газик, стоявший на обочине и более чем что-либо, говоривший о характере произошедшего. «Наверное, я не туда попал», — сейчас же решил я, потому что так несовместимы были размышления об Иване Егорыче с тем, что открылось; и хотя я понимал, что не мог ошибиться и пришел именно туда, куда следовало, но милицейский газик так путал воображение, что я сейчас же двинулся бы дальше, если бы не любопытство, обычно заставляющее нас взглянуть туда, куда смотрят все, хотя бы и на труп, обезображенный и страшный.

— Скажите, что здесь происходит? — тронув за плечо стоявшего впереди мужчину в панаме и шортах, спросил я, не решаясь еще протиснуться к центру.

— А что здесь может происходить?

Мужчина повернулся, но еще прежде, чем я увидел его загорелое, со знакомой вечной улыбкой лицо, живо и о многом (из сферы московской жизни) напомнившее мне, я узнал по голосу этого человека. Это был известный более по фамилии, чем по творчеству, московский художник Тимофей Угров, которого, несмотря на его сорокалетний возраст, многие продолжали еще звать Тишей. О нем говорили, что он интереснейший человек и великолепный парень (будто, кроме таланта, существует в искусстве еще и такая мерка), и на основании этого, что «великолепный», был принимаем всеми и всюду, неизменно сидел в президиумах, избирался в жюри конкурсов (на которых, впрочем, не надо было ничего решать, потому что обычно решалось заранее и в других кабинетах); он же являлся членом такого количества всевозможных обществ, комиссий и комитетов, что немыслимо было даже представить, каким образом в его положении можно было одновременно и заниматься творчеством, и поспевать всюду, где он был членом. Хотя и слепому, как говорится, видно, что всякая серьезная деятельность при подобной нагрузке может представлять собой лишь видимость ее, но так как Угров не был исключением (да не при-

вычно ли: заседают как будто разные организации, а в президиуме все одни и те же лица!), то и положение такое признавалось нормальным, а если люди удивились бы чему, то не тому, что Угров или другой кто, к примеру, опять значится в списке, а тому, что по каким-то причинам его вдруг не оказалось в нем.

Не успел я как следует сообразить, что передо мной именно Тиша, который и мне был известен не столько своими полотнами, сколько тем, что «великолепный» парень, как он, всплеснув руками и обратив внимание толпы на себя, и не посчитавшись с этим, весело воскликнул:

— Евгений, Женя, и ты отдыхать сюда?

Я покачал головой.

— Ну все равно, рад, рад!

Я снова спросил его:

— Что тут происходит?

— Да дерево ободрали.

— Не просто ободрали, молодой человек,— вмешался оказавшийся рядом тоже в шортах (из отдыхающих) мужчина, строго оглянувшись на нас.— Разве вы не знаете, что ему сперва могилу в саду вырыли, а теперь вот эту красавицу ель ободрали, а вы — просто. Нет, не просто,— как будто мы возражали ему, подтвердил он и отвернулся от нас.

Мы недоуменно переглянулись. Тиша пожал плечами.

— Какая могила, какая могила? — несколько раз затем повторил он.— Да просто вырыли в саду яму, и все. Как это у нас умеют из мухи слона раздуть.

Он словно был оскорблен тем, что искажалась истина, и я до сих пор не могу отделаться от впечатления, что он был либо причастен, либо посвящен в тайну всей этой и теперь остающейся для меня загадочной истории. Но, может, и не был посвящен, так как думаю, что столь общительному, мягко выражаясь, человеку, каким был Тиша, едва ли осмелился бы кто-либо доверить тайну. Во всяком случае, на вопросы, какие я тут же принялся задавать ему, он не то чтобы отвечал уклончиво или шутливо и неохотно, как было в его манере, но уверял с выдававшей его подчеркнутостью, будто сам ничего не знает, удивлен и не может понять, и потому я не хотел бы воспроизводить этот наш диалог, который только затянул бы действие и не прояснил ничего. Последовательность в изложении, конечно, деталь важная, если не сказать, определяющая, но, мне кажется, будет куда полезней в данном случае (и интересней, смею надеяться), если я отступлю от правила и попробую представить все так, как видится мне теперь, по прошествии времени, когда страсти вокруг этого события достаточно уже поостыли и улеглись.

Дело в том, что Иван Егорыч жил в Лыкове не один. В то время как в Москве у него оставалась семья, с которой он, главным образом из-за детей, видимо, не хотел окончательно порывать, здесь, в деревне, имелась близкая ему женщина (из сельских учительниц) Людмила Сергеевна Никифорова, за которой тоже, как поговаривали, значилась какая-то романтическая история, уходившая корнями в те времена, когда она была еще молода, была студенткой, и жизнь, полная нерастраченных сил и надежд, еще только начинала (и, разумеется, лучшей своей стороной) открываться ей. Она училась вместе с Иваном Егорычем и тогда же была влюблена в него. В какой-то степени из-за него и оказалась в деревне, набравшись просветительских идей, то есть идей прошлого века, когда действительно надо было идти в народ и просвещать его; но просветительством занималось теперь государство, а народ если и нуждался в чем-то, то нужда его (как, впрочем, и во все времена) заключалась не столько в потребности общих знаний, сколько в социальной и нравственной раскрепощенности, в возможности проявить себя на земле, на которой, помоему, нет и пятачка, не политого мужицким потом и кровью. Но Людмила не сразу поняла это, а когда поняла, душа ее уже была надломлена, опустошена, и, чтобы окончательно не разочароваться и не опуститься до равнодушия и безразличия, она принялась день за днем записывать свои наблюдения и мысли о состоянии окружавшей ее жизни. Записи эти, скромно названные ею дневниками, по мнению Ивана Егорыча (она посылала их к нему для ознакомления), были во многом несовершенны и сумбурны; но потому, может быть, он и приехал в Лыково, то есть выбрал эту деревню,

когда решил удалиться в глушь для исследований, что здесь жил человек, который понимал его и мог стать другом и помощником (как, впрочем, и случилось), и если я так коротко рассказываю теперь об этом, то не потому, что не знаю подробностей; они по-своему интересны, и в нужный момент мы еще успеем познакомиться с ними, а пока, мне кажется, достаточно и этого, чтобы хоть как-то представить жизнь Ивана Егорыча в этот его деревенский период и ситуацию, при которой как раз и стали происходить вокруг него странные и невероятные вещи.

XV

По мнению Людмилы, ее догадкам и предположениям, которые она, впрочем, высказывала с неуверенностью, неприятности для Ивана Егорыча (но столь же, думаю, и для нее) начались почти сразу же после того, как он отправил первую часть своего многолетнего труда «Наблюдения за жизнью простых людей» в Москву для издания. Официального ответа долгое время не поступало, рукопись как будто не отвергали, но и не принимали, зато вокруг нее словно по чьей-то команде стали распространяться самые разные нехорошие слухи, которые докатывались до Лыкова и настораживали Ивана Егорыча. Он был убежден, что написанное им не могло никого оставить равнодушным, настолько оно было серьезно и важно для понимания нынешнего состояния жизни, и готов был рассуждать и спорить по существу вопроса; но как было противостоять слухам, которые, смотря по обстоятельствам, всегда можно объявить либо обывательскими наговорами, чтобы отвергнуть их, либо общественным мнением, чтобы сослаться на них, и тот, против кого они бывают направлены, обычно оказывается беззащитен, потому что, с одной стороны, не будешь же воевать с пространством, на что, собственно, и рассчитывают организаторы подобных интриг, а с другой — мыслимо ли вообще подняться против мнения, если оно общественное! Да тебя сейчас же либо причислят к разряду бонапартистов, либо обвинят в таких (антинародных) грехах, что и за жизнь не оправдаться. Не так ли было в недавнем прошлом, когда лишь за талант и смелость многие объявлялись врагами народа (со всеми, разумеется, вытекавшими отсюда последствиями), и все мы хорошо помним об этом; нечто подобное, казалось Ивану Егорычу, складывалось теперь по чьей-то злой воле вокруг него, и яснее всего говорили ему об этом письма, те странные и запугивающие (с надуманными обратными адресами), какие всегда-то, а теперь особенно охотно писались и рассылались у нас.

В них не было как будто прямых угроз; чаще всего лишь на конверте значилось имя Ивана Егорыча, а содержание относилось к кому-то третьему, над кем нависало несчастье, и надо было (тому, третьему) от чего-то отказаться, чтобы избежать неприятности; намек в общем-то был ясен, но в то же время и доказать кому-либо, что это намек, было нельзя; нельзя, главное, было обратиться в соответствующие инстанции с подобными письмами, не поставив при этом себя в неловкое положение, и, чтобы хоть как-то оградиться от воздействия их, Иван Егорыч, вычитав однажды, что даже Толстому кто-то прислал петлю, чтобы великий русский писатель повесился за свое творчество,— Иван Егорыч, а был он человеком чувствительным, несмотря на сильный как будто характер, приняв эту историю, как щит, повторял ее затем всякий раз, как только получал очередное послание. Об этом и рассказала мне Людмила, не раз застававшая его расхаживающим по своей комнате с зажатым в руке конвертом. Глядя на нее, он неизменно восклицал: «Если Толстому, великому Толстому осмелились прислать петлю, то что же мы ждем, чтобы послали нам? На что негодуем?» И словно для убедительности потрясал над собой конвертом, который и бросал затем, смяв, в угол. День его после этого, разумеется, бывал испорчен, он не работал, и не трудно вообразить, какие мысли в эти часы охватывали Ивана Егорыча. Как и все мы, он был человеком ранимым, и его не то чтобы возмущала неблагодарность людей, ради которых, в сущности, он трудился и жил, но ему непонятна была сама та низость, до какой могла опускаться человеческая душа. «Они же уничтожают себя, уничтожают будущее своего народа»,— говорил

он, не находя (по тяге своей к обобщениям), как можно было вразумить людей, открыв им их страшный обман, и остановить их от их низменных деяний. Его беспокоила именно эта мысль, которую он затем высказывал и мне, хотя и по другому поводу. Ложь, говорил он, уже потому, что ложь, постоянно вынуждена рядиться во что-то, а когда в золоченой обертке оказывается в руках фокусника, то целые народы и на десятилетия иногда впадают в затмение. Думаю, что Иван Егорыч тут не совсем прав, прибегая к столь высоким сравнениям, потому что те, кто сочиняет и рассылает всякие пакостные письма, делают это не по обману, а из определенных и ясных корыстных целей, и уж никак нельзя по их действиям судить о народе; для них нет народа (в том смысле, как он существует для нас, вышедших из него), а есть только красивое и емкое понятие, каким можно жонглировать для своих выгод; и жонглируют, и третируют тех, кто пытается за понятием «народ» увидеть людей с их желаниями, нуждами, с их вековой заботой о хлебе насущном. Видимо, Иван Егорыч как раз тем и мешал, что хотел приподнять занавес над понятием «народ», то есть одухотворить, оживить это понятие, которым мы все так привыкли и к делу, и без дела пользоваться, не понимая даже, что берем на себя незаконное право (одним, в сущности, росчерком) распоряжаться судьбами миллионов; да, он мешал именно этим, что грозился приподнять занавес, за которым сейчас же бы обнажилась жизнь и отрезвила людей. Приходили и так называемые «колдовские» письма, в которых главным бывал не текст, а некие (небольшие) колющие предметы в виде разломанных пополам игл или откусанных булавок, должных своим заговоренным острием (и даже не символически) травмировать адресата; и хотя разные подобные оккультные штучки нельзя было принимать всерьез и Иван Егорыч только сильнее подсмеивался в душе над отправителями, но Людмила, склонная (по своему женскому характеру) к суеверию, на всякий случай, как она говорила (и как делали, она знала, в старину в крестьянских семьях, чтобы оградиться от г л а з а или какой-либо иной нечистой силы), вонзала в верхний левый угол входной двери две, по количеству жильцов, швейных иголки и, обезопасив таким образом и себя, и Ивана Егорыча, неделю затем, а то и полторы не вынимала их. Все это было нелепо, глупо; и было бы смешно, если бы не та тяжелая, почти гнетущая атмосфера, какая с весны и на все лето установилась в доме; страшны были, в сущности, не письма, не угрозы, а безнаказанность, с какой они рассылались, и эта-то безнаказанность, когда почти на глазах у всех расправляются с тобой, а ты бессилен защититься, давила и угнетала Ивана Егорыча и Людмилу.

Но письма, как ни третировали они Ивана Егорыча, были, в сущности, цветочками в сравнении с тем, что еще ожидало его. В середине июля он получил наконец из Москвы рукопись с довольно невнятным, как и принято, отзывом, из которого, впрочем, можно было понять только одно, что она отвергалась, и по случайному будто совпадению в ту же ночь на его участке, за домом, была вырыта яма, похожая на могилу и зловеще предупреждавшая, что может произойти с автором, если он не утишится. Яму первой увидела Людмила, вышедшая утром нарвать салата с грядки, и тут же с испугу хотела заровнять ее, но здравый рассудок, какой обычно является людям в критические моменты жизни,— здравый рассудок удержал ее. Она позвала Ивана Егорыча, вся дрожа не столько от негодования, сколько от страха, то есть от воображения, живо рисовавшего ей картину убийства и похорон; Иван Егорыч же только побледнел и молча рассматривал свежевырытую (для него, это он понял, еще подходя к ней) могилу. «Но чего же они, собственно, хотят от меня?» — произнес он, словно и в самом деле не понимал, чего от него добивались, и тут же почти выкрикнул знаменательную, как мне кажется, фразу, которую не раз затем повторял при мне: «Нет, господа, не дождетесь, я не предоставлю вам этой возможности!» — особенно ударяя на слове «господа», должном как будто уничтожить их.

Разумеется, я не могу с точностью описать, что испытывал Иван Егорыч, стоя перед приготовленной для него могилой, потому что, во-первых, не был тогда рядом с ним и, во-вторых, чужая душа, сколько ни проникай в нее, всегда остается потемками; умный и рассудительный человек, он допустил в то утро ряд непростительных, как потом отзывался о них, ошибок, которые только осложнили и без того сложное его положение в деревне. Он позвонил в район и вызвал милицию, вполне убежденный, что дело, по которому вызывал и которое так очевидно было ему, сейчас же заинтересует органы и по нему начнется следствие; ему казалось, как это и бывает обычно, когда желаемое выдается за действительное, что вот теперь-то наконец о н и будут разоблачены и выведены на чистую воду, и не без торжества, понятного в те минуты в нем, представлял, как заворошится все это гнездо г о с п о д, повязанных между собой преступной (против него) связью. Но то, что было простым и ясным ему и основывалось на расхождении взглядов на жизнь, историю, на понятие «народ» и применение этого понятия, не так-то просто оказалось объяснить сотрудникам милиции, приехавшим осмотреть яму и составить протокол. Они исходили из того, что у нас нет и не может быть идейных расхождений в обществе; ревность, месть, хищения, ограбления, жульничество и хулиганство — тут все на месте; тут вполне могут быть и угрозы, и шантаж, и убийство; но чтобы из-за какого-то слова, какого-то понятия, как применить его, тогда как понятие — это всего лишь звук, не больше,— нет, в такое не то чтобы нельзя было поверить, но оно просто не укладывалось в привычное (и узаконенное будто для них) ложе преступлений. Иван Егорыч словно бы столкнулся со стеной, которую невозможно было преодолеть. За Советскую власть и против Советской власти, это они понимали; но как можно одновременно быть и за Советскую власть и противостоять (из-за каких-то там трактовок) тем, кто тоже был за Советскую власть; причем тех, кого Иван Егорыч подозревал (он высказывался только предположительно и не называл фамилий), было много, и все они являлись либо писателями, либо художниками, либо архитекторами, то есть людьми вполне, с точки зрения работников милиции, уважаемыми и почтенными, а он, противостоявший им и считавший себя правым,— он был один, не занимал постов, да еще и неизвестно было, для чего обосновался в деревне и чем промышлял в ней, и это, разумеется, наталкивало представителей власти на определенные размышления. Они смотрели на Ивана Егорыча с такой подозрительностью, что он только еще больше терялся от этого и не находил объяснений.

— Так-так, вы, значит, за Советскую власть и они тоже, и при этом они готовят на вас покушение? — с явной уже иронией говорил оперуполномоченный из района; в штатском, довольно еще молодой, но державшийся так, что ясно было видно, что он старший и что от него зависит дело.

— Да, но вы понимаете...

— Хотелось бы, ну, ну,— еще более (и со значением) улыбаясь и как бы поддерживая Ивана Егорыча, но, в сущности, перебивая его, продолжил представитель власти. Ему, видимо, привычно было подобным образом вести разговор.

— Они смотрели на нас, как на сумасшедших! — уже позднее, пересказывая мне эту историю, возмутилась Людмила, всегда умевшая по-своему просветлить дело.

Так ли происходило все или иначе и объективнее, что, впрочем, не может изменить сути, потому что протокол тогда так и не был составлен. Более того, у работников милиции родилась своя и, может быть, не менее правдивая версия. Скорее всего, как предположили они, кто-то собирался захоронить здесь похищенные вещи, и либо что-то помешало злоумышленникам, либо не удалось само хищение. На вопрос, почему именно здесь, работники милиции отвечали просто, что более подходящего места нельзя было будто бы и придумать. «Кому придет в голову искать здесь? — сказали они Ивану Егорычу.— А замаскировали бы так, что и комар носа не подточил. Видите, как они предусмотрели все: чернозем и дерн в одну кучу, глину — в другую». Как будто подобная предупредительность не могла бы подтвердить и версию Ивана Егорыча. Если можно замаскировать краденое, то почему бы таким образом не замаскировать сброшенный в яму труп? Но работникам милиции ближе и приемлемей все же была своя версия; они решили на некоторое время установить наблюдение за ямой: а вдруг злоумышленники вернутся, хотя бы, скажем, для того, чтобы замести следы? — и, возложив эту обязанность на участкового Гринькова, распрощались и уехали к себе, оставив Ивана Егорыча в глупейшем положении, в каком он никогда еще не чувствовал себя. У него словно бы

выбили из рук тот предмет, которым он мог защититься; и он растерянно стоял перед ямой, совершенно уже не зная, кем и для чего она была вырыта, и затем прохаживался весь вечер по комнате вдоль книжных шкафов, удивляясь тому, как легко разрушаются самые, казалось бы, прочные словесные замки; в душе его и вокруг были словно осколки чего-то только что стройного и целостного, сиявшего хрусталем, и он всматривался в эти осколки, словно что-то еще можно было восстановить из них.

«Может, и в самом деле все гораздо проще, чем мы вообразили себе? — думал он. — Да и кто мы, чтобы покушаться на нас?» Но в то время как он произносил эти слова, взгляд его падал на письма, и весь страшный ход мыслей, болезненно мучивших его, опять и с большей как будто остротой начинал проворачиваться в сознании Ивана Егорыча.

Но жизнь есть жизнь, она не стоит на месте; быстрее или тише, она постоянно движется, и, какие бы события ни происходили в ней (и как бы ни травмировали душу или души), уже на следующий день на них накладываются другие, затем еще другие, хороня под собой и материальное, и духовное, только что кипевшее страстями и отошедшее в историю, и пробуждая у людей новые желания и надежды; природой ли (и от начала) было установлено так или явилось в результате деятельности человека, постоянно стремившегося будто бы к прогрессу, но приходившего только к новому и новому кругу несправедливостей, но так ли, иначе ли, а Ивану Егорычу надо было продолжать жить, надо было успокоиться, чтобы сесть за стол и работать, и сколь ни покажется это странным или парадоксальным, но самым лучшим успокоительным средством явились для него ежедневные (и для надзора будто бы за ямой) посещения участкового Гринькова. Участковый большей частью не удосуживался даже взглянуть на яму, а только спрашивал: «Ну как там, без перемен?» — и проходил на веранду, куда подавали ему чай и где он допоздна иногда засиживался за разговором с Иваном Егорычем. Иван Егорыч вначале осторожничал с ним, но затем, увидев в нем не столько даже собеседника, сколько умного и заинтересованного слушателя, стал рассказывать ему о своей работе, о том, как родилась у него сама мысль взглянуть не со стороны и сверху на потребности и жизнь простых людей, а попытаться проникнуть в гущу этой жизни, в которой так много накопилось наносного и не соответствующего корневым основам ее, что, может быть, не годы, а столетия потребуются теперь, чтобы отделить зерна от плевел. Он как будто старался лишь убедить Гринькова в необходимости подобного обновленного подхода к изучению народной жизни, но, в сущности, проверял (на восприятии этого человека) правдивость и глубину своих убеждений; и по мере того как возрастал интерес у Гринькова, росли уверенность и желание у Ивана Егорыча с новой энергией взяться за дело. «Да, да, надо работать, — говорил он себе. — Но мне нужны новые источники». И, зная, как долго идут в Лыково выписанные из Москвы книги (Иван Егорыч пользовался услугами государственной центральной библиотеки), он, не откладывая, выбрал день и отправился в райцентр, чтобы сделать заказ; и в этот именно день, когда его не было дома, как раз и случилось это второе событие, взбудоражившее деревню и вызвавшее еще более странные предположения и толки.

XVI

Вместе с Угаровым мы протиснулись к центру, чтобы посмотреть, что сделано с елью, простоявшей не один, наверное, десяток лет у ворот и ласкавшей взгляд хозяина и прохожих, и тут-то впервые я и увидел Людмилу Сергеевну, на которую сейчас же указал мне вездесущий и все знавший Тиша. Не могу сказать, чтобы она произвела на меня впечатление (потому, может быть, что я мало что тогда знал о ней); она показалась мне обыкновенной деревенской бабенкой лет сорока, сорока пяти, с загорелым и моложавым, видимо, от природы, лицом, и приятными и округлыми формами; волосы ее были подвязаны косынкой, руки оголены от плеч, и не только ничего от прежнего, городского, нельзя было разглядеть в ней, но и невозможно было даже предположить, чтобы она была учительницей, так все на ней смотрелось просто, даже будто неряшливо, как бывает на женщинах, у которых семеро по лавкам и которым некогда особенно последить за собой. Но впечатление это, как потом выяснилось, было неверно; когда я узнал ближе ее, она оказалась женщиной умной, глубокой и обаятельной, и если и позволила себе чуть-чуть опроститься, то не от неряшливости, лени или безразличия, к какому приходят иногда женщины ее возраста, а по осознанной тяге к простоте и естественности, то есть к той жизни, какую любил, ценил и о какой говорил и писал Иван Егорыч. Она стояла рядом с Гриньковым и какими-то еще двумя, в форме, сотрудниками, разговор с которыми был уже как будто завершен, и все, что требовалось, выяснено и записано (о чем можно было догадаться по раскрытому в руках у Гринькова планшету), но вместо того, чтобы разойтись, они продолжали смотреть на ель, как смотрят иногда на утопленника, вытащенного из воды, которого уже нельзя откачать.

Вокруг ствола, куда я тоже перевел взгляд, на траве, словно одежда, спавшая с плеч, лежала ободранная кора, местами разворошенная и притоптанная уже чьими-то тяжелыми, гриньковскими, видимо, сапогами. Может быть, если бы не сознание того, что стояло за этим, в сущности, хулиганским поступком, то есть не угроза известнейшему по крайней мере для меня человеку — Ивану Егорычу, наверное, все воспринималось бы иначе, ведь рубим же мы лес для хозяйственных нужд; но здесь был совершенно иной случай, и мы смотрели не просто на ободранное дерево, а на оголившуюся будто перед нами человеческую жестокость, выглядевшую особенно бессмысленной и отвратительной в этом своем проявлении. Нет, смысл, разумеется, был (для того, кто совершал это), и заключался он именно в угрозе; дескать, вот что мы можем и сделаем; но так как Ивана Егорыча, кому адресовалась угроза, не было рядом, а все видели только изуродованную ель, которая неминуемо должна была теперь засохнуть и пропасть, то и внимание в основном было сосредоточено на ней, безвинно, словно заложница, пострадавшей от столкновения чуждых ей человеческих интересов. Жаль было прежде всего именно ее, роскошно стоявшую у ворот («Боже мой, боже мой, уничтожить такую красоту, и ради чего!?»), и жалость эта усиливалась еще тем, что по всему оголенному и влажному от обильно (и бессмысленно теперь) подававшегося от корней сока стволу уже проступила капельками смола, и создавалось впечатление, будто ель плакала горючими женскими слезами. Да и во всей белизне ее ствола, как и в этих слезах, мне казалось, было что-то от женщины, над которой только что варварски надругались и которая в ужасе, не имея, чем прикрыться, стояла перед народом, плача всем своим обнаженным телом. «Боже мой, боже мой!», — продолжал кто-то возмущаться в толпе, и я хорошо помню, как странная, но и вполне, может быть, обоснованная, как мне кажется теперь, мысль осенила меня, что деревья, как и люди, могут страдать, плакать и понимать. Конечно, очеловечивать окружающую нас природу, может быть, и глупо, и неверно, но по мне — уж лучше примириться с этой неточностью, чтобы понимать природу и сочувствовать ей, чем с холодным бездушием взирать на неведомые нам и потому не существующие для нас ее муки.

Как и все, из любопытства, живущего в человеке, я начал пристальнее всматриваться в изуродованную ель, стараясь воспроизвести картину, как тот человек, который решился на подобный поступок, мог совершить свое черное дело. Ворота в доме Ивана Егорыча, как мне успел сообщить Тиша, странно знавший всегда и обо всем как будто заранее (как было и с этой подробностью), обычно и днем держались запертыми, и я невольно провел взглядом по тому возможному маршруту от ели к забору и обратно, каким прошел или мог пройти злоумышленник. Я живо представил себе, как он перелез через забор и, оглядываясь, буквально набросился на ель с топориком или чем-то иным острым и начал обдирать ее; по оставленным на стволе следам было видно, как он торопился, но что-то все же, видимо, напугало его, он не закончил работу и, в спешке перемахнув через забор, исчез в глубине улицы. Все это было непостижимо, а главное, не совмещалось с нормальным человеческим разумом, и я не знаю, сколько бы простоял, глядя на ель и раздумывая над случившимся, если бы Тимофей Угров, не терпевший, как он сам говорил о себе, однообразия и начавший уже скучать, не предложил бы пройти в сад и взглянуть на вырытую там яму, по размерам и форме напоминавшую как будто могилу.

К нам тут же присоединилось несколько человек, очевидно, подслушавших наш разговор, и это, как мне показалось, не понравилось Угрову. Он что-то недовольно проворчал, оглянувшись на них, потом посмотрел на меня, словно важно было ему узнать, заметил или не заметил я его беспокойство, и, уловив по выражению моего лица, что мне было не до него (да и как могло быть иначе?), — вновь как ни в чем не бывало вернулся к своему изначальному непринужденному состоянию.

— Те-те-те, — почти пропел он, остановившись у края ямы и носком своих стоптанных сандалий столкнув несколько комочков глины в нее. — Те-те-те, — повторил он, продолжая разглядывать яму, будто и в самом деле видел ее впервые и не мог не согласиться (в противоположность недавнему, у ворот, высказыванию), что яма действительно похожа на могилу.

Кстати, хочу заметить, и позднее я в этом особенно убедился, что Тимофей Угров принадлежал к той широко распространившейся теперь категории людей, которые с одинаковой искренностью и убеждением, как они только что высказывают одно мнение, не моргнув глазом, высказывают затем другое, противоположное первому и тоже будто основательно выношенное ими; и как ни покажется странным, но отчего-то именно эти люди обычно признаются принципиальными и к ним не то чтобы прислушиваются, но их всегда и охотно подключают к решению дел. Услужливо сопровождавший теперь меня и навязывавшийся в друзья московский художник не только, как представляется мне, хорошо знал о подобной снисходительности, то есть потребности общества в нем, но воспринимал это как неизменное состояние жизни, и ему и в голову не пришло теперь хоть как-либо извиниться за свое неверно оспаривавшееся только что у ворот мнение.

Но, откровенно говоря, в те минуты, когда я стоял перед ямой, мне было не до Угрова и не до рассуждений о нем: я все еще видел перед собой ободранную ель и видел могилу, да-да, именно могилу (в том, что вырыта могила, у меня не было сомнений), и так как я не знал тогда истинной причины, кто и за что мог угрожать Ивану Егорычу, и думал только о его подвижнических делах, вызывавших лишь уважение (да и не мог, как Угров, сейчас же переменить свои взгляды на человека), то и все усилия сосредоточиться на чем-то, что прояснило бы ситуацию, завершались ничем и приводили только к еще большей растерянности и недоумению. Может быть, потому, что я с ужасом и пониманием смотрел на дерн, чернозем и глину, разложенные по отдельным кучам (для определенной, разумеется, цели), — Тимофей, чтобы опередить возникновение каких-либо неверных у меня мыслей и навязать свои верные, торопливо заговорил, обернувшись ко мне.

— Сколько же надо было насолить им! — возмущенно сказал он, имея в виду деревенских людей, которые, по его мнению, только и способны на подобную мстительность. — Ты знаешь, Женя, — решительно переходя на доверительный тон и весь даже будто подаваясь ко мне, продолжил он, — когда историки говорили нам в школе, что во многих русских деревнях мужики не приняли народников и били их палками, я не верил. Палками — и кого, народников! Но я думаю теперь — били. Нет, даже убежден — били, — подчеркнуто заключил он. — У тебя есть сомнения? Молчишь?

— Какие народники, что за глупосты! — возразил я, посчитав, что сказанное Угровым было не больше, чем очередной банальностью или претензией на остроумие или оригинальность, если хотите, что одинаково казалось мне неуместным для данной минуты.

Но я напрасно, как выяснилось потом, не обратил внимание на эту его фразу. В ней крылось многое, и прежде всего та не бесспорная, может быть, как полагают, истина (что народники, не знавшие народ и его жизни и осмеливавшиеся сунуться к нему со своими идеалами, всегда были и будут биты палками), которую мы не то чтобы не любим произносить вслух, но которой отчего-то стыдимся, словно и в самом деле что-то нехорошее, порочащее народ заключено в ней. Но разве можно стыдиться правды, тем более если она многократно и убедительно подтверждена историей? Да, были биты; и будут, если кто действительно с чужеродным придет к нам или попытается обманно, манипулируя понятием «народ»,

чему, однако, уже немало прецедентов, устроить свои дела; и могут проявиться иные, всеохватные и молчаливые формы протеста, о которых можно только догадываться (как, например, всеобщее равнодушие и нежелание ни к чему приложить по-настоящему руки); народ есть народ, и с ним нельзя ни заигрывать, ни шутить, проводя великие или малые эксперименты, он всегда найдет, чем ответить, и Угров не случайно затронул именно эту сторону народного характера. Говорливый художник, прикидывавшийся этаким деревенским мужичком-вахлачком, каким он еще по Москве представлялся мне, был на самом деле не так уж и прост, как можно было (с первого взгляда) подумать о нем; он все делал просчитанно и целенаправленно и не просто, в чем я вполне убежден сейчас, упомянул тогда о народниках и палках. К тому, чем занимался Иван Егорыч, более всего подходило слово «народник»; оно было неточным, приблизительным, но это была та приблизительность, против которой, в сущности, трудно, не вдаваясь в подробности, возразить что-либо, а поскольку есть народник, то и действия против него вполне можно отнести к действиям народа. И правдиво, и опорочено имя, и обелены, то есть отмежеваны от участия в черном деле, определенные заинтересованные лица. Все перенесено в область народного возмущения, и тут уж — своя окраска; тут хочешь не хочешь, а не считаться нельзя, каждому не докажешь, что ты не горбатый, сплетня пущена, она работает, терзает душу, нервы и, как болезнь, обессиливает и уничтожает человека. Главное, ведь если бы один Угров высказал это свое предположение, я бы и теперь не придал бы значения его словам; но дело в том, что уже к вечеру того же дня по всему Лыкову, особенно среди отдыхающих, словно ожидавших сенсации, чтобы порадоваться ей, повторялась эта целенаправленная с подкупающей будто правдивостью ложь, и даже моя хозяйка, Анастасия Федоровна, далеко отстоявшая (несмотря на причастность зятя Кирилла к той определенной деятельности, связанной с подъемом так называемого национального духа, о которой еще пойдет речь), — даже она, далеко отстоявшая от всякого рода интеллигентских междоусобиц и знавшая лишь свое деревенское дело, зайдя вечером с крынкой молока ко мне, сказала: «С народником-то нашим как, а? Не лезь не в свой огород». Она удивилась, услышав мое возражение, что народников у нас сейчас нет, потому что они невозможны, и что Иван Егорыч — это известнейший ученый и глубоко порядочный человек, которого, видимо, хотят опорочить; но так как в ее понимании всякий уважаемый и порядочный человек должен занимать пост и жить в городе, то она лишь усмехнулась на мое возражение и заметила, что все говорят, а люди врать не станут. Это-то все и насторожило меня и привело затем к мысли, что мнение вокруг Ивана Егорыча создавалось кем-то специально, что, возможно, был некий центр, откуда исходило все, и что Угров если и не был впрямую связан с этим центром, то, во всяком случае, имел к нему косвенное отношение. Но, повторяю, догадываться об этом я начал гораздо позднее, когда много нового и дополнительного открылось мне, а в тот день в саду, возле ямы (так и хочется сказать «могилы», насколько точно это выражение, но я воздержусь, чтобы не подумал читатель, что специально давлю на его психику), — в тот день в саду я лишь смутно ощутил какое-то будто недоверие к Угрову, будто он знал что-то главное в этом порочном деле, чего нельзя было доверить мне, и я невольно (и внимательно) посмотрел на него.

— Да, шуточки, — произнес я (более для себя, чтобы избавиться от необоснованного, относительно Угрова, сомнения).

— Еще бы, — сейчас же подхватил он. — Еще бы!

XVII

У ворот, когда мы вернулись из сада, по-прежнему толпился народ — все больше в панамах и шортах, то есть из той известной категории, для которой поговорить, удивиться, осудить или высказать свое так называемое компетентное мнение есть наивысшая потребность жизни; одни только подходили, другие, насмотревшись (и насудачившись), удалялись, и все это живо напоминало торговый киоск, вокруг которого люди, суетясь, стремились достать дефицит. Гриньков со все еще раскрытым в руках

планшетом вместе с Людмилой Сергеевной и двумя сотрудниками раймилиции уже отошли от ели и оживленно что-то обсуждали между собой. Мы с Угровым (прежде, разумеется, Угров, примеру которого я тут же и невольно последовал) приостановились, чтобы послушать, о чем они говорят, и, как это и бывает обычно, когда не знаешь начала и вклиниваешься в середину беседы, я не сразу понял, о чем шла речь. Говорили о каком-то Митриче, известном будто бы в здешних местах придурке и пьянице, который имел страсть портить деревья; был ли он на самом деле полусумасшедший, или все шло лишь от недовольства жизнью, то есть порядками, о которых, как говорили, он безбоязненно везде и всюду рубил правду-матку, но после буйства, чтобы до конца отвести душу, непременно отправлялся оголять деревья. Его не раз заставали за этим занятием, приводили в сельсовет, уговаривали, упрашивали, ругали; дело доходило до того, что вопрос о нем должен был разбираться на райисполкоме, но, пока готовили материал, собирались, откладывая, перекладывая и дожидаясь новых фактов, все как-то само собой вдруг поутихало, фактов не поступало, дело положили под сукно, о Митриче стало забываться и забылось бы, если бы не этот новый случай, заставивший вспомнить о нем.

— Не его ли это художество? — после того, как о Митриче было уже рассказано (и в тот самый момент, когда подошли мы), высказал свое предположение один из сотрудников раймилиции, явно склонявшийся к тому, что случившееся у ворот Ивана Егорыча следует рассматривать лишь как хулиганский поступок. — Да, кстати, где вообще этот человек, что-то о нем давно ничего не слышно?

— Да не умер ли он? — вспомнил Гриньков.

Он не был уверен в своей информации и потому с беспокойством оглянулся на всех.

— Когда?

— Года два, если не изменяет память.

— А может, новый какой объявился? — вмешался второй и молчавший пока сотрудник раймилиции. — Вы уточните, Гриньков, это важно. Может быть, тут и сложности никакой нет.

Гриньков наклонился было над планшетом, и в это время толпа зашевелилась, расступилась, и в образовавшийся коридор, под взгляды, устремившиеся на него, вошел Иван Егорыч. Он только что (на попутной колхозной машине) вернулся из райцентра и чувствовал себя еще запыленным с дороги. Настроение у него, как видно, было хорошее, он не только заказал нужные книги, но и сумел поговорить по телефону с друзьями в Москве, с которыми поддерживал связь и через которых узнавал интересовавшие его подробности о дочерях. Разумеется, у нас будет еще возможность глубже познакомиться с личной жизнью Ивана Егорыча, полной противоречий и сложностей (да и я не сразу, а постепенно узнавал ее), но кое о чем все же, чтобы понятней было состояние этого человека, следует рассказать сейчас, хотя это и разобьет текст и утяжелит восприятие. Но что делать, если так складывается ход повествования и если нельзя лишь многозначительными, как в некоторых художествах, намеками объяснить суть и за что так возвеличивают иных авторов; я же привык к естественности и прямоте, и что же тут намекать, если у Ивана Егорыча было две дочери, которым он не то чтобы помогал по отцовскому долгу, но которых любил именно той отцовской любовью, какою мы обычно любим своих дочерей, и, как только мог (несмотря на отдаленность и занятость), заботился о них. В то время как старшая, Катя, была уже студенткой, младшая, Аня, только собиралась поступать в университет, и о ней-то и вел разговор Иван Егорыч. Получив от друзей заверения и сняв таким образом груз, с зимы тяготивший его, он облегченно и весело подходил к дому; и хотя при виде толпы сейчас же догадался, что опять сотворена для него какая-то очередная гадость, но чувство полноты жизни так велико было в нем, что и на побледневшем и помрачневшем лице его, когда входил во двор, можно было уловить это неостывшее (и столь редко испытывавшееся им) чувство.

Что произошло дальше, произошло быстро и решительно, в чем, собственно, и проявился характер Ивана Егорыча. Но прежде чем продолжить о событиях, хочу несколько остановиться на внешнем облике

этого человека, во-первых, потому, что он вполне заслуживает, чтобы как можно больше знали о нем, а во-вторых, хотя и утверждают многие, что будто между внешним видом и духовным миром нет или почти нет общего, но я, напротив, убежден, что облик любого из нас есть не что иное, как проявление культуры и духа, и потому всегда придаю значение первому впечатлению. Оно не во всем объяснимо, но, как подтверждает жизнь, всегда или почти всегда точно, как, впрочем, было и с Иваном Егорычем, и тот портрет, какой я попытаюсь сейчас составить для вас, думаю, не столько будет иметь схожесть с оригиналом, сколько с теми чувствами и мыслями, какие охватили меня тогда, при встрече, и сохранились и волнуют теперь.

Правильно или неправильно, то есть порочно или не порочно (как можно было бы поставить вопрос и как ставят его, забывая, что все, что ни бытует в народе, обусловлено жизнью), но мы уже по традиции будто привыкли разделять людей на два основных типа — интеллигенты и простонародье — и с помощью шаблонов безошибочно, как нам кажется, различать их; и главное тут даже не место жительства или занимаемая должность; бывает, всю жизнь человек проживет в столице, а по виду и духу остается провинциалом, но бывает и наоборот (и что более характерно для нашего времени), живет в деревне, а в мужицком сословии вроде бы и корней нет; и тонкие черты лица, и пальцы музыкальные, и в глазах столько глубины и задумчивости, сколько может возникнуть лишь от неохватного познания мира. Может быть, потому, что Иван Егорыч занимался исследованием жизни простых людей, то есть посвятил себя теме, которая и по духу, и по сословной, если так можно сказать, принадлежности была близка ему (да и потому, что поселился в деревне), — я ожидал встретить в нем человека из простонародья с теми определенными чертами, которые сейчас же бы подтвердили это мое мнение о нем; и как только увидел его, тут же невольным и пристальным взглядом начал отыскивать в нем эти черты. Но я не только не обнаружил того, что искал, а с изумлением увидел, что передо мной был чистейшей воды интеллигент, на которого что ни надень, через все будет проступать эта его глубокая, от корней, и именно русская, то есть подвижническая, интеллигентность. Да, он произвел именно это впечатление, которое я и теперь не взялся бы объяснить, из чего оно складывалось, из внешнего ли облика, что вполне возможно и в чем мне не раз доводилось убеждаться, или от какого-то особого будто благородства, которое, не проявившись, уже передается окружающим, или высокого и, к сожалению, исчезающего теперь в людях достоинства, исходившего от него, вернее, самостоятельности, обычно вызывающей зависть и не позволяющей насмешек над собой, а может, от всего сразу, что мы объединяем в понятие «воспитание»; во всяком случае, думаю, важна здесь не подробность, а суть, которую я и пытаюсь изложить, может быть, не столь красиво и выразительно, но зато с прямотой и правдивостью, как позволяет память. Я тогда ничего не знал о родословной Ивана Егорыча, о которой еще пойдет речь, так как без знакомства с ней многое останется непонятным в его замыслах и поступках, но то, что он нес в себе какую-то глубокую семейную традицию (подвижническую, не боюсь повторить), я почувствовал сразу, вернее, даже раньше, чем что-либо успел разглядеть на нем; и я придаю этому значение потому, что если мы когда и говорим о семейных традициях, то (по непонятной условности) обращаемся прежде всего к семьям крестьянским, тогда как не только в деревне, не только в некоей будто простоте и естественности складывалось, накапливалось и передавалось благородство; оно точно так же складывалось и накапливалось в семьях интеллигентов и оказывало неизмеримо большее влияние на общественную жизнь. И если о чем-то и можно теперь сожалеть, так только о поспешности, с какой теперешние поколения стремятся отнести на свалку богатейший опыт отцов.

Роста Иван Егорыч был среднего; во всяком случае, так показалось мне на фоне коридором расступившейся и пропускавшей его толпы. Ему было около пятидесяти или чуть за пятьдесят, что вполне соответствовало внешнему виду, иначе говоря, он находился (по теперешним нашим понятиям) в самом расцвете творческих сил, когда за плечами уже достаточно жизненного опыта, чтобы начать обобщать его, и достаточно знаний и мудрости, чтобы приступить к сравнению и осмыслению прошлого, настояще-

го и будущего; именно в этом возрасте приходят самые здравые суждения относительно структуры и движения общества и своего места в нем, то есть возможности проявить себя, что вроде бы должно быть делом естественным, но чего, к удивлению и сожалению, приходится всякий раз (и каждому поколению) добиваться с великими и величайшими трудностями, и относительно самих институтов жизни, насколько они совершенны и способны или не способны обеспечить справедливость и равенство, как они должны пониматься в изначальном и истинном значении, и, может быть, в еще большей степени относительно своих собственных сил, на что и на сколько хватит их, чтобы хоть что-то исправить или по крайней мере открыть людям; откровенно говоря, позднее я и сам пережил то, что подумал тогда об Иване Егорыче и теперь приписываю ему и что является несомненной по отношению ко всякому человеку и бесспорной истиной. Но, может быть, читателю покажется странным, что я больше касаюсь не того, что можно видеть, то есть не наружности, не движений, не одежды, а иного, что скрыто и о чем можно только догадываться, что оно есть; да мне и самому кажется это странным, и я охотно переключился бы на обрисовку внешнего, что обычно дается легче и делается быстрее, но не погрешу ли тогда против правды? Ведь я пишу то, что было, а не то, что (и как) по определенным канонам (и логике) должно быть, да к тому же ничего особенного и приметного, на чем задержался бы взгляд, я не обнаружил в Иване Егорыче. Ни тяжелого и выдающегося вперед, «волевого», подбородка, что можно было бы выделить в особую примету, ни густых бровей или сократовского лба, что (по шаблонам художественности) считалось бы уместным и правомерным приписать ему, ни ямочек на щеках или подбородке, ни каких-либо морщин или шрамов, напоминать о которых можно было бы затем на протяжении всей книги (что и делают многие, и не безуспешно); нет, в нем не было ничего выдающегося, несоразмерного, то есть удлиненного или укороченного, он принадлежал к тому типу людей, которые производят впечатление не внешним обликом, а раскрепощенною силой духа, с которой и сочетается все остальное, обретающее окраску и выражение.

Он направлялся к Людмиле, Гринькову и сотрудникам раймилиции, ожидавшим его, но, не дойдя до них, вдруг остановился и, обернувшись на толпу (и затем опять к Людмиле и Гринькову), резко, с заметным и сдерживаемым в себе раздражением спросил:

— Что здесь происходит?

Хотя Иван Егорыч успел уже взглянуть на ель и понять, что собрало сюда любопытных, но так как ему неприятно и трудно было (на виду у всех) признать совершившееся, обратил недовольство на толпу, словно дело заключалось в ней, а не в ободранной (и свидетельствовавшей об ином) ели. Ему нетерпима была, как я узнал позже, жалость, с какой люди смотрели на него, и чтобы не сорваться и не нагрубить им (что только бы унизило его), — не стал дожидаться ответа и так же вдруг и решительно отвернулся от всех и зашагал к дому. Толпа молчаливым взглядом проводила его. Затем таким же взглядом проводила Людмилу, пошедшую следом за ним, и постепенно начала расходиться, освобождая двор.

— Ну вот и все, спектакль окончен, — с тем безобидным будто цинизмом, как он умел (и что, не могу объяснить даже, чем достигалось, интонацией ли голоса или определенным в глазах и на лице выражением), проговорил Угров. — Идемте. — Он потянул меня за локоть. — Надо еще позаботиться об ужине, такие вот здесь условия для отдыха, — затем добавил, искренне как будто жалуясь на судьбу, тогда как, думаю, что и в эту его откровенность вряд ли можно поверить, потому что — никто же насильно не посылал его сюда ютиться по сараям и чердакам.

Мне тоже ничего не оставалось, как удалиться, и я неторопливо направился за Угровым. Когда проходили мимо ели, чуть приостановились, как перед могилой, чтобы проститься с тем, кто похоронен в ней, и затем молча шагали по улице, словно придавленные этим ошеломившим, по крайней мере меня, событием. Я не знал, за что теперь взяться, на что решиться, планы мои были разрушены, я чувствовал себя словно обкраденным, и впору было хоть сейчас же — садись в машину и уезжай. Но уехать, разумеется, я не мог, не выяснив прежде до конца обстоятельств и не оказав помощи Ивану Егорычу, в которого продолжал искренне ве-

рить. С позиции логики или законов искусства (законов художественного построения), может быть, и покажется неверной и неоправданной подобная с моей стороны односторонность, потому что деятельный человек всегда в чем-то и перед кем-то виноват, тем более Иван Егорыч, о котором все или почти все вокруг говорили либо дурное, либо с намеками, а я мало еще что, кроме московских слухов, тогда знал о нем; но я не в силах был разрушить в себе то сложившееся об этом человеке представление, вернее, тот подвижнический образ, который не столько, может быть, соотносился с правдой, сколько был нужен мне для вдохновения и воплощения замыслов и надежд. «Вот он, мой час, я должен проявить себя», — думал я, уже воображая себя спасителем Ивана Егорыча (спасителем некоей великой будто истины или идеи) и возбуждаясь этой выбранной для себя ролью.

XVIII

— Вы у кого остановились? — перебил меня Угров, с удовольствием вступая в новый, не предполагавший трудностей разговор.

— Тут, у одной. — Я кивнул на дом Анастасии Федоровны, к которому мы приближались.

— Н-ну, у вас нюх! — воскликнул Угров, чуть ли не подпрыгнув от удивления или от радости. — Не в пристройке ли? Не в соседи ли ко мне? Ну да, у нас же вчера койка освободилась. — И, не дав мне как следует ответить, тут же и торопливо выложил и про хозяйку, которая, конечно, жим-баба, как и все деревенские, но с пониманием, с душой, да-да, с душой, для чего-то подчеркнуто повторил он, и про постояльца, который уехал: «Чванливый был, дрянь человек, не нашей породы, нет, нет», — словно определение «нашей», «не нашей» должно было само собой и о многом сказать мне и про второго постояльца, начинающего художника Скоркова, фамилия которого хотя ничего пока не говорила никому, но, по определению Тиши, молодой человек был не столько художником, сколько проворным малым, знавшим, для чего нужно приезжать сюда. — Нет, не пожалеете, — затем, переключившись на меня, продолжил он. — Надо только чуть пообвыкнуть и кое на что посмотреть сквозь пальцы, а остальное пойдет. Пойдет, — повторил он, — как по маслу, верьте мне. Федоровна, Федоровна! — крикнул он хозяйку, едва ступили во двор. — Яичницу нам да сливок с клубникой, как вчера. И, пожалуйста, на мой счет, я угощаю.

Яичница тут же была приготовлена, сливки с клубникой принесены, и я не могу не признаться в том, насколько великолепен был этот наш простой деревенский ужин в полусумрачной, с закрытыми дверями, пристройке, напоминавшей скорее амбар, как я уже говорил выше, чем человеческое жилье. Дверь держалась закрытой для того, чтобы не налетали комары, которых здесь, у речки, было предостаточно, а тускло от лампочки в пятнадцать свечей (15 ватт), висевшей под потолком. На просьбу, нельзя ли поярче, Анастасия Федоровна ответила, что рада бы, да других не продают здесь (что было неправдой, но — да пусть простится ей эта ее очевидная хитрость). Угров ел торопливо, неаккуратно, даже, можно сказать, жадно, кроша и отламывая хлеб пальцами и заталкивая его в рот, и от губ по подбородку стекала блестевшая на свету полоска яичного желтка. Но он не замечал этой своей неаккуратности, которая, впрочем, вполне соответствовала обстановке сарая; накупавшись, находившись за день по лугу и лесу и надышавшись, как мы говорим, воздуха (словно во всех иных случаях дышим не воздухом, а суррогатом), он весь отдавался насыщению, то есть удовлетворял ту естественную для всякого живого человека потребность, которая обычно удваивается с приливом здоровья и сил.

— Мы здесь, если хотите, как воины Александра Македонского, — между тем весело говорил он. — Походно, все походно и мило.

Чем больше он насыщался, тем оживленнее становилось его лицо, и он не только не думал жаловаться на что-либо (в этом своем лыковском времяпрепровождении), но, напротив, теперь уже совершенно неподдельным как будто весельем, потому что ни чужая беда, ни чужое горе никогда не трогают этих людей, старался показать, сколько неповторимых удо-

вольствий таится в неприглядной вроде бы с виду, неприхотливой, будничной деревенской жизни.

Прежде, в Москве, я никогда не присматривался к Угрову, потому что ни как человек, ни как художник он не интересовал меня, а люди, не интересующие нас, обычно представляются нам на одно лицо, тем более такие, как Угров, у которых вся деятельность их, то есть членство, членство и членство во всех возможных и невозможных (о чем было выше) обществах и закрепленное место в президиуме,— деятельность их на виду, понятна и осуждаема всеми (правда, в кулуарах, где никто ничего не решает); и в силу именно этого, что Угров был как будто на виду и понятен, по крайней мере мне, то и воспринимался соответственно, и отношение к нему было, как к обветшалому креслу или дивану, которые, казалось, и всегда-то оставались такими и стояли на том же месте. К сожалению, и упрек этот следует прежде всего адресовать себе, мы плохо изучаем жизнь подобных людей; я, например, и теперь почти ничего не знаю об Угрове, хотя по ходу развития сюжета и надо бы рассказать о нем: женат ли, есть ли дети, где родился, кем и как воспитывался и где проживал прежде; и откуда, главное, взялась эта манера — скользить по жизни, беря от общества и ничего не отдавая ему; ведь все в природе обусловлено, взаимосвязано, и ничто не возникает само собой, как не должны, наверное, сами собой возникать и угровы; но возникают, и при определенном, как мне кажется, нашем ротозействе, нашем равнодушии или самообмане, вернее, самоуспокоенности; дескать, на виду, понятны, и что с них взять; пустоцветы эти как будто безобидны, жалки, но так ли уж и безобидны и так ли малочисленны, чтобы не замечать их и мириться с ними? И не от подобных ли типов страдает общество, разрушается и мельчает нравственность, сводится на нет человеческое достоинство? И не они ли, организаторы и разносчики слухов, интриганы всех мастей и масштабов (вплоть до государственных) как раз и создают тот невыносимый климат общения, в котором, как цветы в отравленной атмосфере, сохнут и погибают всякая живая мысль, инициатива или дело? Да, от них, я убежден; и надо, видимо, бить в рельсу и звать народ к очищению, когда количество их (как в этот описываемый период) начинает превышать опасную отметку.

Но тогда, за ужином, я не думал так решительно об Угрове, как теперь, душевный мир его казался мне вполне ясным, и если к чему и присматривался в нем, то лишь к тому внешнему облику, то есть к той присущей только данному типу людей выразительности (в чем убежден и теперь), о которой стоит хотя бы кратко упомянуть здесь. Он был полноват и лыс, несмотря на свой сорокалетний еще возраст, и с короткой, как у коренастых людей, шеей; и был не столько, видимо, от загара, сколько от природы смугл, гладок, жирная кожа его, казалось, лоснилась и на лице, и на груди, и по всей пространной, до макушки, лысине, которая, впрочем, так сочеталась с общим видом его, что, не будь ее, все сейчас же бы изменилось и потускнело в нем. Раньше, в Москве, я встречал его только в костюме и при галстуке, и городская одежда та, всегда аккуратно сидевшая на нем, придавала ему, чтобы не солгать, профессорское выражение; он был словно бы предназначен производить это впечатление, произносил ли умные вещи, что бывало с ним редко, говорил ли глупость, иронизировал, шутил или молчал; профессорская слава, однажды закрепившаяся за ним, по каким-то невидимым будто законам каждодневно и каждочасно работала на него, как надежно запущенная машина, и хотя за спиной Угрова каких только не раздавалось в его адрес реплик (понимали ведь, понимали!), но при нем, как по Андерсену, никто не осмеливался сказать, что король гол. Не говорил и я, и не оттого, что боялся: просто, с одной строны, что же было мелочиться, если Угров не являлся первой фигурой и никому вроде бы не причинял зла, а с другой — я тоже находился под тем же общим (и ложным) впечатлением, которое в одиночку и без соответствующих усилий, на что нас обычно не хватает, трудно преодолеть; да и за ужином я во многом оставался под властью все тех же московских впечатлений, хотя Угров сидел передо мной не в костюме и не при галстуке, а в шортах, сандалиях и клетчатой с короткими рукавами рубашке, расстегнутой почти на все пуговицы, так что в разрезе ее голо, словно лысина, проступал живот. Но и под этой пляжной одеждой, сидевшей на нем, как военная форма на артисте, никогда не служившем в армии, ясно как будто чувствовалась все та же профессорская суть. Когда он наклонялся, на лице его от света, падавшего сверху, сейчас же возникали тени и странно (и неприятно) изменяли его. Я отворачивался, но более всего удивляли меня маленькие, словно от испуга прижатые к волосам уши; они выдавали какое-то будто постоянное беспокойство, вернее, напряженность, которую, несмотря на общее веселое настроение, я то и дело улавливал в нем.

Вполне насытившись и откинувшись (от удовлетворения и благодушия) на койке, Угров совершенно как будто расслабился и принялся не спеша, словно получая от этого удовольствие, говорить о том, о чем в другом случае предпочел бы умолчать или по крайней мере, если уж возникла необходимость, представить не в циничном обрамлении, а в благородном или облагороженном виде. Но разговор складывался именно так, как диктовалось обстоятельствами, и желание покрасоваться перед собеседником, то есть передо мной, и удивить будто бы «малинкой», какою всякий не потерявший вкус к жизни мужчина вполне может насладиться здесь (временами у него даже лысина наливалась каким-то словно малиновым соком от наплывавших воспоминаний),— желание покрасоваться и в определенном геройстве выставить себя было столь велико, что заглушало в нем все иные и разумные доводы. Он не знал, что и на какой срок привело меня в Лыково, и полагал, видимо, что приехал, как все, отдыхать (а раз сюда, то свой или, во всяком случае, сопутствующий, и можно говорить с откровенностью), и, исходя из этого своего предположения, старался во всей притягательной прелести раскрыть лыковские возможности. Лес, луг, солнце, воздух, вода, речная песчаная отмель — не это главное; такое можно найти и в другом месте и даже получше; но где еще собирается столь прекрасное общество людей известных и в своем роде знаменитых и где можно услышать разговоры о Великой России, ее прошлом и будущем, о народе, которому историей как будто предначертано совершить славные и беспримерные деяния? Терпение — это величайшее свойство людей, и оно вознаградится, если верить, верить и верить. «Нет, рассуждать о вечности — это неповторимо и значительно, особенно если под открытым небом и среди лиц, озаренных и светом костра, и незатухающим внутренним, душевным светом»,— в этих ли, иных ли подобных (романтических) выражениях говорил Угров о сборищах, какие в то лето происходили здесь. Но и они, эти сборища, не были, оказывается, по мнению Угрова, главными; разговоры о величии России — это одно, и совсем другое — доярочки, ах, какие доярочки, пальчики оближешь; и он, сладострастно причмокивая, принимался целовать кончики своих сложенных в пучок пухлых пальцев.

— Наивные, милые и глупые существа. Как мотыльки на огонь. А, знаете, в полутьме они все красивы, прелесть, просто прелесть! — И он переключился на какие-то сеновалы и овчинные тулупы, на которых будто бы что-то само собой и со спины подогревало его.

— Но это разврат,— заметил я.

— Зачем же так грубо, Евгений? — Он чуть поморщился, как артист после реплики партнера или партнерши, после которой непременно должна последовать определенная и требуемая режиссером гримаса; но через мгновенье лицо его вновь разгладилось, и в иронично смотревших на меня глазах я уловил то, что и должно было, наверное, для оправдания быть в них. Он не верил в мою искренность и уличал меня, и я хорошо помню этот взгляд, ясно говоривший, что, дескать, мы же одни, не в обществе, так зачем же притворяться?

Видимо, правильно полагают, что каждый человек воспринимает мир через призму своей нравственности, и Угров в данном случае более чем наглядно подтверждал это. То, что было хорошо, важно и приемлемо ему, то есть доставляло удовольствие, невозможно, чтобы отрицалось другими, и разницу между собой и мной он видел лишь в том, что он был откровенен, искренен, а я стеснен условностями и произношу не то, что думаю. Хотя это далеко не так, но стоит ли вступать в полемику, если я тоже смотрю на мир сквозь призму своих понятий и убеждений? Чтобы прервать этот способный лишь осложнить отношения разговор, я спросил

Угрова, что привлекло его, как художника, в Лыкове и что вообще художники пишут здесь.

— Натура, — уверенно проговорил он. — Натура всегда есть натура, и ничего драматичней и прекрасней, чем жизнь, не придумаешь. А конкретно, — лицо его глубокомысленно озарилось, — большинство тянется к двум объектам: старой мельнице, которая, собственно, давно уже и не мельница, а так, что-то вроде от времен Батыя, и массиву с техникой, где трактора и плуги на траве, как кони у коновязи перед сельсоветом. Старое и новое. — Он усмехнулся. — Одно другого стоит, но колоритно, колоритно, — прибавил затем, чтобы выправить впечатление.

Он оглянулся в сторону кровати Скоркова, рассчитывая (для наглядности, видимо) показать работы молодого художника, но так как холстов не было на привычном месте, а вставать и искать их Угрову не хотелось, то он только махнул рукой, как машут на безнадежное дело, и, скептически обронив, что субъекта этого раньше, чем на рассвете, и ждать нечего, опять пустился в свои приятные воспоминания.

XIX

Несколько раз я пытался завести разговор об Иване Егорыче, так как история с елью и ямой, напоминавшей могилу, не выходила у меня из головы, но Угров отделывался лишь шуткой:

— Ну, попугали человека, так что из этого, что он вам дался, этот Иван Егорыч?

— И это называется «попугать»?

— Э-э, Евгений, Евгений, все принимать к сердцу, на себя не останется ни сил, ни эмоций. Пойдемте-ка лучше к старой мельнице и на аллею, там живо забудется все. Нет, действительно, — он даже приподнялся на койке, — я не собирался сегодня, но с вами... Нет, действительно, — повторил он и посмотрел на часы. — Да и для чего мы, собственно, приезжаем сюда! — И он, поднявшись, принялся ходить по сараю, то появляясь в центре, под лампочкой, и тогда, как шар, отчетливо выделялась его обширная, в половину головы лысина (и не было видно лица), то отходил к двери или противоположной от нее стене, и тогда все будто стушевывалось в нем, сливалось, как в неправильно, без резкости, проявленном снимке, и я видел лишь общий контур вроде бы знакомого, но вроде и незнакомого в шортах человека, маячившего передо мной. Половицы скрипели под его ногами, от окна и двери тянуло какой-то подвальной будто сыростью (с примешанным запахом куриного помета), и все это было так странно и так противоестественно привычному (городскому) быту, что мне опять захотелось сейчас же сесть в машину и уехать в Москву.

Но, как видите, я не сделал этого; да и не принять предложения Угрова тоже было неудобно, и в половине одиннадцатого, когда мы наконец вышли со двора Анастасии Федоровны, все вокруг было залито белесым лунным светом. Я не стал спрашивать, почему сборище назначалось на столь позднее время, хотя это и показалось мне тогда весьма и весьма странным. Но странного, в сущности, ничего не было. В то время как замирала жизнь трудовой деревни, пустел клуб и угасали огни в избах, начинала набирать ритм и силу другая, то есть именно эта жизнь, праздная, исполненная своих желаний и страстей и по-своему опустошавшая и выматывавшая ее участников. Но тогда, двигаясь за Угровым, я не знал этого и не думал так; и если несколько забегаю сейчас вперед в своих суждениях, то потому лишь, что не могу удержаться от уже известных общих оценок; отсюда, если хотите, и непоследовательность в изложении, с которой прямо-таки не знаю порой, как быть. Да и то сказать, так ли обязательна последовательность, на которой обычно настаивают критики, исходя в общем-то из верной посылки, что никакие «вдруг» и «неожиданно» недопустимы в художественных произведениях, хотя, на мой взгляд, такая постановка вопроса и противоречит жизни. Люди чаще поступают именно вдруг и нелогично, а если и можно усмотреть в их поступках какую-то логику, то основывается она не на личных, вернее, не только на личных, пусть даже глубоких переживаниях; в действие так ли, иначе ли вступают силы, связанные с общественными явлениями жизни, и тут ни прямолинейностью, ни односторонним подходом не взять вершин. Сборище, куда вел

меня Угров, как раз и было тем общественным явлением, которое нельзя объяснить только личным приятием или неприятием его, и потому я вновь вынужден прибегнуть к излюбленной будто уже мною и не раз на протяжении повествования выручавшей меня непоследовательности.

Как ни пытался я позднее установить, откуда взялась эта среди отдыхающих манера собираться по ночам у старой мельницы и гулять по аллее, никто толком не мог ничего рассказать. С одной стороны, вероятно, сыграла роль известная (от определенных условий жизни) привычка поздно ложиться, и надо было хоть куда-то в деревенской глуши деть себя, а с другой — более удобного, тихого (и не на глазах) места, где можно было бы помечтать или глубокомысленно поговорить о неустроенности жизни, вернее, своей неустроенности в ней, или пуститься в раскрепощенную, безрассудную и безудержную парноинтимность (за что, впрочем, здесь тоже не принято было осуждать), — более удобного именно для подобных занятий места и нельзя было, как я понял, подобрать в окрестностях Лыкова. Прямо из центра деревни когда-то начиналась подъездная дорога к барскому дому, обсаженная молодыми липами. Самого дома с колоннами и пристроек к нему, то есть усадьбы, давно уже не существовало, ее подожгли, как гласит молва, а затем разрушили и растащили местные мужики во время революции (с известной, как и везде, ожесточенностью, словно кирпичная кладка стен или железная кровля тоже имели классовую принадлежность). На исходе столетия нам, людям иного времени и во многом иных понятий, представляется непостижимым и необъяснимым этот и подобные ему акты вандализма, и мы видим в них не иначе как дикость народа (мысль, которая, к сожалению, упорно продолжает насаждаться); у меня нет здесь ни места, ни времени вдаваться в подробности, но, думаю, дело тут не в народе, вернее, не только и не столько в нем, сколько во всей общей атмосфере тогдашних событий. К стогу соломы, готовому вспыхнуть (от социальной неустроенности жизни), поднесена была спичка, и пламя необузданных страстей неминуемо должно было охватить весь стог и спалить его; но в то время как прочные барские строения были разнесены и стерты с лица земли, низкие, полусгнившие и подслеповатые, под соломой, крестьянские избы были оставлены и продолжали (с теми же неудобствами, той же теснотой и нищетою) служить новым будто, то есть обновленным душой, деревенским людям. Так или почти так видится нам теперь то прошлое, и я временами тоже невольно поддаюсь этому скептицизму, в котором, если как следует присмотреться, не все концы сходятся с концами; но Лыково со своими бревенчатыми (от начала века) избами, Лыково как раз и было тем подтверждающим примером, который сильнее, чем все приводящиеся теперь справки и документы, говорил сам за себя. Многие здесь даже не то чтобы не помнили, но и не знали, что возле их деревни когда-то стоял барский дом с колоннами, от которого не осталось теперь даже фундамента; перед войной место то отводилось под огороды каким-то районным организациям, и на прежних цветниках, газонах и клумбах цвел и наливался клубнями картофель; огороды отводились и в войну, и после войны, но уже каким-то дорожникам; потом все было заброшено, заросло крапивой, бурьяном и кустарником, и к этому-то пустырю и вела теперь чудом, видимо, сохранившаяся двухкилометровая дорога или аллея, как ее называли, обрамленная с двух сторон могучими и затенявшими ее липами.

Днем аллея не производила впечатления и казалась даже каким-то неестественным будто довеском к деревне; несколько раз выносились решения спилить липы и распахать дорогу, но никто, видимо, когда дело доходило до исполнения, не осмеливался занести топор над этими вековыми и могучими, как они выглядели теперь, деревьями, и они так и стояли, мозоля глаза колхозному (да и районному) руководству и вызывая определенное, в связи с хозяйственными нуждами, недовольство. Но именно э т о, что мешало хозяйству и вызывало нарекания и недовольство, и было облюбовано наезжавшим теперь сюда из столицы народом. Когда-то посаженная барскою волей (и деньгами) аллея словно бы дождалась своего нового часа и всей своей могучей зеленью (и цветением) готова была с охотой служить явившимся к ней людям. Да, днем аллея выглядела неестественно и нелепо на фоне подступавших к ней бревенчатых изб и огородов; но в ночь, особенно лунную (как было теперь, когда мы

с Угровым направлялись к ней), все словно преображалось и наполнялось той неповторимой таинственностью, которая одновременно и страшна и желанна бывает нам и к которой мы тянемся как к чему-то очистительному и мудрому, способному соединить нас с вечностью жизни. Я не знаю другого подобного чувства, которое бы так одинаково захватывало всех или почти всех людей, вызывая воспоминания, возбуждая надежды и снимая убивающую нас (своим однообразием) тяжесть будней. Чувство это прекрасно и в молодости, когда, радуясь и робея, мы уносимся мечтами в будущее, и в зрелые годы, когда, преодолев подъем, стоим на перевале и впервые нас посещает мысль о неизбежности схождения, и в старости, когда, казалось бы, все позади и ничего, кроме покоя, уже не надо, а душа еще не хочет смириться и ищет волнений; я по себе знаю это, хотя как будто и не дожил до старости; но, думаю, есть же все-таки общие для людей закономерности, от которых никому и никуда не деться, и первой в ряду их как раз, может быть, и стоит это вневозрастное и охватывающее нас в определенные минуты желанное беспокойство. И, в самом деле, как можно было не остановиться и, затаив дыхание, не полюбоваться вдруг и таинственно будто открывшейся не просто панорамой света, теней и красок (поля и деревья были в белесоватой, словно бы растворявшей их дымке, точь-в-точь как на полотнах старых фламандских мастеров), но и всей когда-то шумевшей здесь жизни; не крестьянской, нет, не той, что мы привыкли между собой называть «долей» и которая от рождения и во всех проявлениях и нуждах известна нам, а другой, обеспеченной, благородной и праздной, да, да, праздной, не оговорился, потому что нельзя же только в одном смысле употреблять это слово, к которой во все времена, как и теперь, тянутся люди, с завистью наблюдая ее и не понимая ее смысла и значения. Я ничего не знал тогда о барской усадьбе возле Лыкова, но по тому необъяснимому будто и странному чувству, какое живет в каждом из нас, сейчас же догадался, едва вышел к аллее, кем и для чего она была проложена здесь и куда вела, и даже ясно будто разглядел в конце ее дом с колоннами, парадным подъездом, фонарями, дворней, каретами, запряженными цугом, и слуг в ливреях, и дам в белых и пышных (с корсетами) одеяниях, и вельмож в камзолах, как все это широко и даже с любовью подается нам теперь с экранов кино и телевидения. Разумеется, это было преувеличением; было лишь плодом разыгравшегося воображения и не соединялось ни с прошлой, ни тем более настоящей действительностью; но, главное, было, и с поразительной силой, хорошо помню, словно перенесло в прошлый век, как, видимо, переносило и других, облюбовавших это место для своих ночных прогулок и приходивших теперь сюда потолкаться среди друзей и провести время.

Подъездная дорога, то есть аллея, когда-то подходила прямо к воротам барской усадьбы, тогда как сам барский дом с колоннами располагался чуть в стороне, на возвышении, откуда и открывался из окон его вид на реку и пойменный луг на той стороне, простиравшийся к лесу; все это нетрудно было представить, если учесть, что на Руси всегда умели выбрать место, где поставить дом, церковь или дворец; за усадьбой, справа, живописно сбегал по оврагу к реке небольшой чистоводный ручей, на котором в свое время и все по той же, барской, воле были возведены запруды для услады глаз, как говорили тогда (и в которых водилась рыба), и на одной из таких запруд и была поставлена предприимчивым мужиком небольшая, для нужд деревни, мельница. Стояла она, разумеется, не со времен Батыя, хотя и выглядела (по современным понятиям) сооружением древним и в своем роде даже уникальным, как ее сейчас же объявили любители старины. Но эти же любители, умевшие, когда им надо, узнать все и обо всем, рассказывали мне потом, что ничего старого, собственно, и уникального в этой мельнице не было, что возводилась она после революции и, как они же предполагали, из остатков барского дома. Пока мельница была в хозяйских руках, она исправно служила людям; потом, когда ее передали колхозу, некоторое время, хотя и с перебоями, продолжала работать, но затем начала хиреть, разваливаться и, простояв в бездействии все четыре года войны, была окончательно заброшена, и, если бы не кирпичная (с барского дома) кладка стен и не черепица (все оттуда же), какою в свое время мужик-хозяин старательно покрыл ее, она давно бы превратилась в гниющую груду обломков. Вот эту-то мельницу и открыли (для себя, но как памятник старины) хлынувшие сюда всякого рода знатоки и ценители. Прежде всего они стали добиваться от местного и районного руководства, чтобы памятник был взят на учет и поставлен под соответствующую охрану; но так как руководство не соглашалось и не могло пойти на это (несмотря на всю неотразимость будто бы приводившихся доводов), то все сведено было лишь к небольшому ремонту, после чего мельница и превратилась в своего рода выставочный зал и место для сборищ и разговоров.

Началось же все с того, что кому-то из художников пришло в голову выставить свои лыковские зарисовки в помещении мельницы. Инициатива понравилась, была тут же подхвачена другими, затем в дело вмешались поэты со своими стихами, рассказчики, и «мельничные» вечера, как их сразу же окрестили (сначала это были именно вечера), быстро стали набирать популярность. Слухи о них, во многом преувеличенные, как и обо всем у нас, что носит неофициальный характер, докатывались и до Москвы. Сам я, правда, ничего не слышал об этих вечерах, потому, может быть, что в противовес групповым интересам всегда отдавал предпочтение интересам народа, которые базируются не на предположениях и слухах, а вытекают из потребностей жизни, как она в тот или иной период складывается для людей; но так как действительность всегда шире воображенного представления о ней и между желаемым, как бы мы хотели, чтобы устроен был мир, и реальной расстановкой добрых и злых сил в нем (и равнодушия как пособника зла), то есть как на самом деле устроено все, нельзя поставить знак равенства, — независимо от моих познаний и пожеланий, как и от других отдельно взятых людей, все э т о, о чем пишу, не просто существовало, или, как говорят, имело место в нашей действительности, но процветало, втягивая в свою орбиту новых и новых сторонников. О вечерах на старой мельнице говорили, что только там и может проявиться свободно личность (на что, кстати, ясно как будто намекал и Угров); но что значат слова: «свобода», «проявление», «личность», если большинство произносит их применительно к себе, своей и для себя выгодной деятельности! То, с чем предстояло мне столкнуться, не только не имело ничего общего даже с отдаленным понятием свободы и проявления личности, но происходило в самых откровенных сектантских рамках, где всякий свободен делать и говорить лишь то, что разрешено ему, и не высовываться ни с каким «я» или «но», выходившими за пределы обусловленных идеалов. Здесь, в лыковском обществе, были и свои утвердившиеся авторитеты, гласно и негласно руководившие так называемым общественным мнением и направлявшие его, и свои льстецы и подлизы, готовые услужить сильному, и обласканные, и обойденные, и завистники со своим неизменным комком грязи в руке — в общем, все то, что окружало этих же людей в их столичной жизни; но так как сектантское насилие не может среди сектантов считаться насилием, то и воспринималось оно безропотно и восхвалялось всеми.

Вот в эту-то обстановку «свободы» и «проявления» и ввел меня Угров, продолжая весело и романтично, словно в мире не было, нет и не могло быть ни для кого никаких забот, разговаривать со мной.

XX

Аллея, когда мы вошли в нее, показалась мне на всем протяжении своем немой и безлюдной. С хлебных полей вокруг поднималась молочная дымка, заслонявшая горизонт, где-то рядом наливались овсы, и я сейчас же уловил этот особенный, с детства (и до боли) знакомый шелест метелок и даже приостановился (под удивленным и вопросительным взглядом Угрова). Поразили же меня, думаю, не столько овсы и аллея, сколько весь неузнаваемо изменившийся ночной облик деревни; то, что я видел днем и что открылось теперь, было как бы из двух разных эпох, отстоявших друг от друга не по времени даже, а по какому-то социальному будто срезу жизни, словно то важное и казавшееся утраченным (с появлением и развитием прогресса), было живо и отовсюду проступало и взирало на меня. «Странно», — подумал я, прислушиваясь к тому, что поднималось во мне, и продолжая своей недоуменностью изумлять и настораживать Угрова; несколько раз меня словно потянуло оглянуться на деревню,

оставшуюся позади, как если бы в стушеванных силуэтах изб, плетней и огородов могла заключаться разгадка; но даже площадь перед зданием сельсовета и сельмагом, освещенная довольно яркой, на столбе, электрической лампочкой, — даже она со всеми выходившими на нее фасадами казалась изрезанной жесткими шрамами истории. Конечно, я понимаю, ничего особенного в том, что ночью все смотрится по-другому и возбуждает воображение, нет; об этом явлении знали и писали еще в древние века, а что касается нашего времени, то тут и говорить нечего, все заезжено, превращено в штампы и обескровлено, и если я и рискнул обратиться к этому своему романтическому впечатлению, так только затем, чтобы подчеркнуть, что не все отдыхавшие в Лыкове приезжали сюда из групповых, престижных или иных корыстных целей; их привлекало и это человеческое (ведь все мы люди, плохие и хорошие, но люди, умеющие радоваться, страдать и мыслить), что испытал я и что так редко теперь выпадает испытывать нам.

— Что, пронимает? — спросил Угров, многозначительно усмехнувшись своим плоским на лунном свете лицом.

Хотя слово «пронимает» было не из моего лексикона да и произнесено вдруг и без связи с предшествовавшим ходом разговора, но я так ясно ощутил, к чему оно было сказано, что сейчас же и с прямотой воскликнул:

— Да, да!

Но затем мне захотелось пояснить свое состояние, и я спокойно уже проговорил:

— Мы привыкли полагать, что человек воспринимает окружающее в зависимости от настроения. Но не окружающее ли рождает в нас это настроение?

— Ми-илый мой, — от сознания ли превосходства надо мной в эту минуту или просто страсти к поучительству, которой, как болезнью, охвачены у нас теперь почти все слои общества, фамильярно протянул он. — Пример жизни — пример величайший, и на игре света и теней, если хотите, как раз и основано все мировое искусство. Истина может предстать ложью, а ложь истиной, и весь корень именно в этом известном обмане.

— Не знаю, не знаю, может быть, — уклончиво ответил я, так как спорить с Угровым мне не хотелось; не хотелось, главное, разрушать в себе тот душевный настрой, который, как мне казалось, не имел ничего общего с высказыванием лыковского завсегдатая.

Угров несколько мгновений молча смотрел на меня, не находя, видимо, как отреагировать на мое нежелание на эту тему разговаривать с ним, потом, усмехнувшись и ворчливо сказав, как все-таки мы, люди искусства, боимся правды, открывающей суть нашего ремесла (той самой, уточнил он, на какую решился лишь великий Толстой да и то в конце жизни), — ворчливо произнеся именно это не новое в общем-то, но кем-то и для чего-то вновь поднимаемое на щит суждение, двинулся вперед по аллее, увлекая за собой и меня со всем моим романтическим настроем мыслей. На какое-то время мы словно бы поменялись ролями, он был в действительном, а я в воображенном мире, пока самая банальная, казалось бы, реальность не охладила меня. Дело в том, что аллея не была немой и безлюдной, какой в самом начале показалась мне. По всей ее длине, на обочинах, в тени лип, стояли кучками люди; это были и отдыхавшие в Лыкове москвичи, и местные (те самые доярочки, о которых так сладострастно за ужином говорил Угров), вышедшие приобщиться к наслаждениям жизни, и по словечкам и характерному для подобных встреч хихиканью, доносившемуся от них, как только мы с Угровым подходили ближе, было очевидно, что между желавшими друг друга сторонами разыгрывалась так называемая разминка, то есть преодолевался барьер, за которым все уже бывает разрешено и дозволено. Не знаю, всегда ли и все ладилось у этих сторон и если ладилось, то на какой основе; и как было совместить мораль, которую проповедовали в своем творчестве эти столичные прыщи, с тем, что позволяли себе здесь и, видимо, не только здесь, и деревенскую нравственность, о чистоте и возвышенности которой писалось и пишется столько, что давно уже никто не вправе усомниться в ней? Были в аллее и дамы так называемого столичного толка, которые из любви будто бы к искусству обычно толкутся в фойе, залах и ресторанах Дома журналистов, Дома литераторов, Дома работников искусств; они толклись теперь здесь — со всем своим набором туалетов, сумочек и надежд (тайных, разумеется) на счастливое, то есть устраивавшее их, замужество. И хотя, казалось бы, о каком замужестве при подобном поведении могла идти речь, но чего только не случается в жизни, особенно в наших московских кругах, в которых, смотришь, опять уже такая-то или такая-то успела (и во второй, заметим, раз!) развести такого-то или такого-то известного с бывшей женой и оженить на себе; и, главное, ни протеста, ни возмущения общественности (как в прошлом веке вокруг поступка Карениной), а, напротив, молчание и равнодушие, что, думаю, нельзя отнести только к упадку нравственности, но скорее к общему сегодняшнему состоянию жизни, в которой нет уже будто ни истинных целей, ни достоинства, ни семьи, ни любви. Я живо узнавал этих дам на аллее, и даже не по одежде, сейчас же выдававшей их, а по сигаретам, светившимся в их наманикюренных пальчиках, и спокойному, без ужимок и хихиканий разговору; разминки и заигрывания — это баловство не для них, они точно знали, чего хотели и на что шли, и смотрели на предстоявшее, как на дело, которое брались снисходительно исполнить.

Кому-то покажется, что я опять преувеличиваю и что не все приходили сюда только с подобными порочными целями. Разумеется, не все; как и не все, приезжавшие отдохнуть в Лыково, являлись только ловцами престижа и славы. В обществе всегда есть люди, искренне заблуждающиеся в своих убеждениях. Поверив однажды в какую-либо многообещающую идею (как в сельском хозяйстве, где более всего совершено нами ошибок, но где менее всего мы хотим признать их), они не то чтобы не могут затем отступить от нее, но не могут позволить себе изменить отношение к ней, полагая, что совершат предательство перед обществом. Но можно ли считать предательством то, что пойдет на благо народа и в ущерб, может быть, разве только себе? Не стану навязывать ответ, он ясен, как ясно мне, что и среди лыковских завсегдатаев были и такие, кто искренне хотел добра себе и народу, и если в чем-то и можно упрекнуть их, то лишь в неумении отличить деятельность ложную, в которую они были втянуты, от деятельности истинной, от которой старательно ограждены и в которой не из словесных тирад возводятся башни истории. Я допускаю даже, что для многих из них понятия «народ» и «литература» были столь же священны, как и для нас, и, будучи глубоко убежденными, что именно в споре, то есть в свободном (и беспрерывном!) обмене мнениями, рождается истина, они втягивались, как наркоманы, в эти споры, изощряясь в аргументации и красноречии (краснобайстве, как говорили прежде), ничего, в сущности, не производя и не решая; истина, возможно, и рождается в споре, но утверждается делом, трудом и только трудом, на который подчас как раз и недостает нас. Можно было бы еще и еще говорить на эту тему, но не лучше ли оставить ее для более удобного (на пространстве романа) места и вернуться к тому, с чего была начата глава. Да, весьма вероятно, что я не прав в своих обобщениях и люди, увиденные мной на аллее, были людьми разными, по-своему даже устремленными и цельными, но я ведь, в сущности, говорю сейчас не о них (о них, вернее, о многих из них еще пойдет речь), а о своем впечатлении, которое было именно таким, а не иным и многослойным; да и кто другой, окажись на моем месте, подумал бы иначе? Ведь все в аллее: и молодые, и старые, и городские, и деревенские, — все представлялись на одно лицо и даже на одну, если хотите, фигуру; как шевелящиеся клубки, они ютились в млечной синеве обочин, съеживаясь и раздвигаясь, и я как сейчас вижу всю эту картину перед глазами. Из этих шевелящихся клубков кто-то узнавал Угрова и окликал его, и Угров тут же и весело отзывался на шутки; некоторые спрашивали, кто с ним, и тогда он приостанавливался и представлял меня, неизменно добавляя, что «прозаик» и «друг», будто для оправдания. Слышать это было неприятно, но я не возражал; и не потому, что не находил, чем возразить; просто в сознании поднимался более широкий протест, протест против всякого рода низменных страстей и наслаждений, а точнее, разврата, с которым, если оглянуться на прошлое, тысячелетиями уже (и главным образом с помощью искусства) пытаются примирить человечество, объявляя (и объясняя все) естественной потребностью жизни. Может быть, может быть, и я отнюдь не собира-

юсь выступать в роли запретителя и моралиста; народ, как я уже говорил, не может быть неправ, и если позволяет себе что-то, то надо искать причину и смысл и не торопиться с осуждениями; но для меня тогда был только один смысл — неприятие, потому что это, что видел, не соединялось с мыслью об Иване Егорыче да и со всей той целью, ради которой я был здесь. В то время как общая наша жизнь, казалось мне, требовала раздумий, осмыслений и мер по оздоровлению ее, что можно сделать только общими усилиями и с подключением в первую очередь интеллигенции к этому делу; в то время как частью интеллигенции уже прилагались усилия и велись поиски возможного и приемлемого обновления (Иван Егорыч — вот образец и упрек!); наконец, в то время, как народ, достойный иной и лучшей участи, пытается двужильным, изо дня в день, трудом вывести себя и государство из нужды и застоя, находятся люди, позволяющие себе подобную потребительско-развратную праздность. Я тоже узнавал кое-кого в этих шевелившихся клубках, но не по фамилиям, нет; я встречал их на совещаниях, заседаниях, комиссиях и секретариатах — почтенных отцов семейств, где они казались деловыми, проницательными, умными, произносили назидательные речи, то есть демонстрировали порядочность и безупречность; но они были теперь здесь, в шортах, панамах, были иными, без масок и со всеми своими оголенными страстями и желаниями, которые не от кого и незачем было прикрывать им.

— Угров, ты? — опять и опять раздавалось с обочин. — Кто с тобой? Все приобщаешь?

— К хорошему делу почему бы и не приобщить.

— Двигай к нашему шалашу!

— Нам некуда спешить, поищем получше, — поворачиваясь ко мне и приглушенно произносил Угров.

XXI

— Нет, право, здесь есть чем заняться и вполне можно прилично провести время, — продолжал Угров (в промежутках между окриками, шутками, пожатием рук и прочими знаками внимания и уважения со стороны тех, мимо кого шли). — Но я все-таки должен показать тебе главное, вершину, нашу старую, добрую мельницу. — В голосе его и в самом деле начинала звучать интонация, с какой говорят только о предмете высшего поклонения, красоты и любви.

В конце аллеи мы свернули на тропу, ведущую к мельнице, и, чтобы не обременять текст излишними и, может быть, даже малоинтересными подробностями, хочу сразу же перейти к описанию той общей обстановки, в какой проходили да, видимо, проходят и теперь знаменитые (в своем роде) лыковские мельничные вечера. Они проходили при свечах и зажженных керосиновых лампах, так как электричество не было подведено сюда. В тусклом свете на чурбаках и корягах раскладывались вдоль стен картины, и любители изящного, приходившие на того или иного художника (но более пообщаться, выпить и повитийствовать), толклись возле полотен, мало что различая на них, колебля пламя свечей, дыша копотью и наслаждаясь не мастерством — нет, не тонкостью линий и умением наложить краски, а скорее той атмосферой будто бы старины, к какой они чувствовали приобщенными себя. И то сказать, была ли нужда рассматривать полотна, когда заведомо (по способностям выставлявшегося) было известно, что можно и чего нельзя ожидать от него; да от него и не ждали открытий, тем более шедевра, потому что все оценивалось лишь по тому, насколько щедро после осмотра будет подано питья и закусок. Никто только не хотел признаться, что выставки организовывались отнюдь не из любви к искусству; всякий, кто хотел выставиться (и, заметим, получал право на это), должен был по установившейся традиции прежде позаботиться о том, чем «подсластить душу», как говорили здесь, и начинал готовиться к этому еще в Москве, откуда и везлись в Лыково в багажниках «Волг» и «Жигулей» ящики с водкой, коньяком и шампанским. Тогда всего этого было более чем в изобилии, как будто и в самом деле для того, чтобы спивались люди, и можно было при определенных усилиях раздобыть икры, колбас и консервов. Все это еще прежде, чем расставлялись картины, приносилось и выкладывалось на застеленные газетами жернова, выдвинутые к центру и служившие столом. Вокруг него рассаживались на чурбаках мастера и ценители: знаменитые и признанные в красном углу, остальные ближе к входной двери или во втором, для слушателей, ряду, считавшиеся робкими, заискивающими или молодыми. Еще больше придавалось значения столу, когда вечер посвящался поэзии. От поэта ждали не стихов, которыми он мог или должен был удивить, но все той же, как и от художников, щедрости, по которой только и могли быть по-настоящему оценены его творчество и личность.

Атмосферу этих вечеров создавали, в сущности, два всеми признанных здесь, да и попробуй не признай их, авторитета: искусствовед Сергей Валентинович Соев, известный прежде всего тем, что считался знатоком древнерусской иконописной школы, что будто бы как раз и давало ему особое право оценивать современных мастеров, и тот с шумной фамилией литератор, Игорь Максимович, которого, как я уже писал, с одной стороны, все в Москве недолюбливали и осуждали за групповщину и субъективизм, а с другой — заискивали и преклонялись, чувствуя за ним возможность и силу поднять или придавить любого из нас. Что на самом деле стояло за этим раздавателем славы и благ, никто не знал, но, думаю, прозрев теперь задним, как говорится, числом, что за ним ничего не стояло и деятельность его основывалась не на чьей-то высокой, одного лица или группы лиц, поддержке, а скорее на робости, страхе и безмолвии окружающих: дескать, кого съедают, пусть и защищается, а меня, если промолчу, глядишь, и обойдет стороной; конечно, так откровенно никто, наверное, не думал, но ведь суть не в том, кто и как рассуждает про себя, а в поступках, которые очевидны и по которым только и можно делать правильные выводы; я ведь и сам, если признаться, никогда не вмешивался в дела Игоря Максимовича и старался держаться подальше от него, хотя и не раз на себе ощущал его тяжелое дыхание, и вот теперь судьба словно решила подшутить надо мной и свести с этим, в сущности, страшным, другого слова не подберешь, человеком, который, если судить по его печатным трудам, был демократом и патриотом, а по поступкам — властолюбивым, завистливым и мстительным, умело прикрывая этим недостаток таланта, воспитания и культуры. Я так пространно написал об Игоре Максимовиче потому, что был более наслышан о нем, чем о Соеве, и более понятной и на виду (для меня) была его деятельность.

Оба они в Москве принадлежали к одному и тому же лидировавшему в то время в искусстве направлению, в котором, как считалось, все подчинено было так называемой народной идее. Народ в их толковании, а толковали они это понятие, надо сказать, довольно своеобразно, исключая из него тех, кто не сидел за трактором и не держал в руках лопату, — этот-то низовой народ и объявлялся высшей мерой всему: нравственности, морали, духовного и социального устройства общества; и именно потому, что был мерой, не столько восхвалялся, сколько обвинялся во всех возможных и невозможных (государственных) грехах и упущениях. Восхвалялось больше прошлое, то есть то, что было историей и что многие не раз уже брались приукрасить и перестроить на свой лад; но так ведь недолго и крепостничество объявить благом, а хороводы на лужайке перед барским домом и в усладу барину — проявлением народного творчества и духа, что, впрочем, и прочитывалось уже между строк во многих статьях; но как только дело доходило до изображения современности, тут выдвигались жесточайшие требования реализма, реализма именно по отношению к народу, а не к условиям, в каких он был и от исследования которых только и могла проясниться истина. Народ был виноват во всем: в том, что допустил над собой плохое начальство, которое не способно ни руководить, ни мыслить, в навязывании планов и сроков, то есть волюнтаризме, насквозь уже как будто проевшем общество, во всякого рода установках и ГОСТах, которые нельзя отменить или изменить, какими бы устаревшими они ни были, в прогулах, пьянстве, в проблеме молодых, как она вдруг возникла перед нами, в расхитительстве, во лжи, мздоимстве, двуличии и т. д., и т. п., и пр., и пр., чего ни перечислить, ни пересказать, ни охватить даже самой совершенной статистикой. Со стороны казалось, что направление это — вскрывать язвы народной жизни — было действительно реалистичным, смелым, даже вызывающе будто бы смелым, по отношению к официальности, критика витийствовала, имена

модных (от искусства) деятелей были у всех на устах, и лишь одно представляется мне странным и удивительным (и что заставило бы рухнуть всю эту соломенную пирамиду), что никому и в голову не пришло задаться вопросом, почему, если подобный реализм действительно противостоит (я уже не говорю, чтобы он что-то выдвигал; он ничего не выдвигал) нашему порождающему лишь язвы общественному устройству, как трубила об этом критика и в чем, собственно, и состоял их ореол, — почему в таком случае никто из официальных лиц не остановил и не одернул их? Напротив, создавалось впечатление, что их поддерживают и что они-то со своим реализмом, сваливающим всю вину на народ, и были самыми нужными (и полезными в тот застойный период!) лицами. Так и пусть себе сочиняют, пусть пользуются этим своим ореолом, дававшим, кстати, основание говорить нам о нашей свободе и демократии; и сочиняли, и пользовались, стараясь утвердить свое единоличное право на толкование понятий «народ» и «народная жизнь». Это была своего рода монополия на высказывание истин (тех, разумеется, какие представлялись важными и выгодными им); была та выработанная система взглядов, с которой, ни кормя, ни сея, ни убирая, они доили благо, и любая попытка по-иному взглянуть на народ и общее состояние жизни сейчас же подвергалась нападкам, автор объявлялся бездарной и сомнительной личностью с помощью сплетен, пускавшихся о нем, его вычеркивали из обойм, и вокруг его имени в лучшем случае воцарялась гробовая тишина. Да, любое инакомыслие воспринималось приверженцами этого направления как посягательство на святая святых, то есть на народ, выдвинувший будто бы их как глашатаев правды, и от подобного обвинения уже некуда было деться.

Но в то время как в Москве Игорь Максимович и Соев выступали всегда заодно, согласованно, как и требовалось от подобных единомышленников, здесь, в Лыкове, где не было для каждого из них столь раздольного, как в столице, поля деятельности и никто из вышестоявших (по клановой иерархии) не мог одернуть их, они не то чтобы враждовали, борясь за влияние и власть, что в общем-то само по себе было нелепо и глупо, но вели то тайное будто, но вполне очевидное для всех соперничество, как два генерала, не желавшие идти в подчинение один к другому, которое было предметом для постоянных толков и разговоров. Спорили не по существу, а по мелочам, которые, как комариные укусы, не меняя ничего кардинально, доставляли, однако, сторонам массу неудобств и хлопот. Для Соева важно было выставить кандидатуру для обсуждения из своего окружения, для Игоря Максимовича — из своего, что, по их понятиям, должно было ослаблять или усиливать их; они словно бы брались с разных концов за один и тот же канат, и та сторона, которая перетягивала, получала преимущество, а та, что проигрывала, уходила в оборону и оппозицию; и, как всегда в таких случаях, сейчас же между сторонами возникали посредники, которые, работая будто бы на примирение, на самом деле только сильнее своей деятельностью разжигали страсти между лидерами, и одним из таких примирителей, как я почувствовал в тот же вечер, был наш общий теперь уже знакомый Тимофей Угров. Он одинаково считался своим и в окружении Соева, и в окружении Игоря Максимовича, и оба эти авторитета, несмотря на то, что хорошо знали цену этому человеку, насколько можно и насколько нельзя положиться на него, бывали обычно более чем обходительны, ласковы и доверительны с ним.

XXII

В этот вечер на старой мельнице дебютировал со своими творениями молодой художник Скорков. Он еще днем доставил картины сюда (потому-то Угров и не мог обнаружить их, когда, желая подкрепить свой рассказ, искал их глазами возле койки Скоркова), и они, подсвеченные керосиновой лампой и желтыми мигающими огоньками свечей, как мазки чужеродной на заборе краски, разноцветно стушеванными пятнами выпирали от стен. Жернова были застелены свежими номерами газет, и все, что должно было из пития и закусок быть на этом столе, уже было на нем и ожидало гостей. Но гостей, то есть желающих познакомиться с творчеством молодого и обнадеживающего, как говорили о нем, художника, явилось всего человек десять — двенадцать, они группами прохаживались и стояли возле полотен, не столько рассматривая их, сколько беседуя между собой, и лишь потому, что помещение мельницы было небольшим и ко всем толкавшимся в нем добавлялись их тени, возникавшие от широко и низко расставленных свечей, мне в первую минуту показалось, что было даже многолюдно и тесно здесь. Но Угров, хорошо, видимо, знавший, как бывает тесно на старой мельнице, когда действительно ни повернуться, ни пройти, ни сказать, ни услышать, обратил внимание, как я заметил, прежде всего именно на малолюдство и, произнеся свое «та-та-та», как он умел выражать неопределенность, на секунду задержался в дверях. Мне показалось, что он как будто не ожидал в этот вечер увидеть здесь Скоркова. Молодой художник принадлежал к окружению Соева, и Сергей Валентинович не то чтобы пообещал своему протеже обеспечить успех, но дал слово сам осмотреть полотна и высказать мнение, и все так бы и произошло, если бы с утра еще в этот день не почувствовал себя не вполне здоровым и не остался в деревне. Вместе с ним остались и те, кто должен был развить и поддержать мнение, и Скорков, по существу, оказался один на один с противостоящей стороной. Он выглядел беззащитным, растерянным, и Угров, живо уловивший ситуацию, невольно и от удовольствия будто, как мне по крайней мере показалось, даже воскликнул, обратившись ко мне: «Как удачно, а!» — с той определенной интонацией, когда ждут не триумфа или провала, а зрелища, должного развернуться и позабавить всех.

Пока коренастый и коротконогий Тиша, перекатываясь, как колобок, обходил присутствовавших и пожимал им руки, я от порога смотрел на всех, кое в ком узнавая знакомых и поражаясь бутафорской, с керосиновой лампой и свечами, обстановке, в какой видел их. Я сразу же почувствовал, что происходило здесь что-то неестественное, лживое, и впечатление это вызывалось не чем-то конкретным, что можно было бы заметить, уловить или услышать, а всей той общей, как мне кажется (под старину) атмосферой, которую иначе, чем игру, и нельзя было воспринять. Я понял это так же верно, как если бы знал уже всю подоплеку этой игры, и, думаю, что для меня это был как раз тот момент, когда прежде знакомых мне (пусть шапочно, пусть только по роду занятий) людей, о ком имел вполне сложившееся мнение, вдруг увидел в их истинном свете и положении. «Господи, да чем они здесь занимаются? Детство, детство!» — с наивностью человека, верящего в непорочность и святость общества (или начальства, как в народе), мысленно почти воскликнул я, пока Угров, суетясь и угодничая, что было живо заметно в нем, продолжал репликами и шутками занимать всех. На меня никто не обращал внимания, словно я не входил и не стоял у порога со всеми своими мыслями и неприятием этой открывшейся картины. «Самоотверженность и подвижничество Ивана Егорыча — вот что нужно сейчас обществу, а не эта ваша жажда хоть какой-нибудь, хоть лыковской славы», — думал я уже не с сожалением, а с неприязнью, задетый именно тем, что не замечали. Но в самый тот момент, когда я начал уже, наверное, краснеть от неловкости и возмущения, Угров поднял руку, прося тишины, и представил меня. Он сделал это весело, непринужденно, добавив, как и в аллее, слова «прозаик» и «друг», но веселость его, как сейчас помню, словно повисла в воздухе, и никто не отреагировал на нее. Разумеется, я был чужим для них, им нужна была команда, чтобы определиться в отношении ко мне; и командой такой оказался всего лишь доброжелательный тон Игоря Максимовича, каким из глубины мельничного помещения он поприветствовал меня.

— Нет, это симптом, — добавил он, — когда такие люди тянутся к нам.

Он восседал на пне, за жерновами и сквозь коридор расступившихся людей я хорошо видел всю его с характерной сутуловатостью фигуру, освещенную горевшими за спиной свечами, и если что и поразило меня в этом, в сущности, знакомом мне человеке, так это огромная с седой львиной гривой голова, которая была словно для крепости вдавлена в плечи и могла поворачиваться лишь вместе с туловищем, как у штангистов, держащих над собой вес. Да он и всегда-то был заметен своими крупными чертами. Тяжелый, гладко выбритый подбородок его обычно лопатой лежал на груди, над полными губами мясисто нависал нос, да и глаза, и брови,

и уши — все было мясисто, крупно, как и плечи и руки (от плеч до локтей), и только сами кисти их, то есть ладони и пальцы, отягченные перстнями, являли странную и на первый взгляд даже необъяснимую противоположность; они были короткими и пухлыми, какие можно встретить только у духовного сословия, никогда и ничего, кроме креста и кадила, не державшего в руках, и хотя Игорь Максимович и причислял себя (по родословной) к просветительству, да еще и сельскому, но многие даже из его близкого окружения продолжали полагать, что происходил он все-таки из рода священнослужителей (что, впрочем, говорилось не в осуждение, а создавало даже некий будто ореол загадочности вокруг него). Я знал об этих суждениях, хотя и не придавал им значения, потому что мало ли кто и что распускает о нас, но одно, несомненно, отпугивало меня в Игоре Максимовиче — это причастность его в молодости к кровавой (с поножовщиной) драке. Он ударил, как рассказывали, своего обидчика ножом в спину и убил бы, если бы не счастливая случайность, — нож прошел в миллиметре от сердца, обидчик многие месяцы пролежал в больнице, и Игорю Максимовичу стоило невероятных усилий избежать суда. А раз не было суда, то и нельзя как будто ничего ставить в вину человеку — так полагали многие; в минуты отвлеченных раздумий так полагал и я, тем более что дело было давним, подробностей никто не знал, а Игорь Максимович не любил распространяться о них. Но в то же время меня не покидала мысль о том, что подобную жестокость — ударить человека ножом! — нельзя оправдать никакими обстоятельствами; позволивший такое однажды, мне казалось, вполне мог вновь дать ход своим необузданным страстям, злобе и мстительности, и действия Игоря Максимовича, как их доносила до меня молва, лишь подтверждали это. С годами жестокость в нем не только не сгладилась, но, напротив, заматерела, и если он действовал теперь не ножом, то и не менее острым и ранящим душу оружием; его короткие от локтей и пухлые руки были как будто и теперь в крови, и я так живо увидел эту воображенную на его руках кровь, что невольно даже отступил на шаг к порогу. Мне вдруг ясно представилось, что нож, кровь, ободранная ель во дворе Ивана Егорыча и яма, вырытая в саду, как могила для него, — все это были события одного порядка, звеньями в цепи одной злой и мстительной воли. «Да нет, нет же, не может быть», — попытался я возразить себе, чтобы отделаться от этой страшной догадки. У меня не было доказательств, но я чувствовал, что угодил в цель, в десятку, говоря по-современному, и это только сильнее сковывало и стесняло меня.

Не знаю, заметил Игорь Максимович мое замешательство или, может, сделал лишь вид, что не заметил, но, во всяком случае, с неизменившейся мягкостью повторил приглашение, жестом указав, как на кресло, на пень возле себя, на котором еще сидел кто-то из молодых художников или литераторов; молодой этот сейчас же встал, освободив место, и в то время как я, подойдя, намерился было уже занять его, незаметный во все эти минуты Тиша Угров, а он, как никто, пожалуй, умел, когда надо, уйти в тень, словно вдруг вынырнув из-за спины Игоря Максимовича, весело произнес, что не лучше ли было бы сперва осмотреть выставку.

— Ты так считаешь? — переспросил Игорь Максимович, повернувшись всем своим грузным туловищем к нему.

— Определенно, — подтвердил Тиша. — Новому человеку отчего бы не показать? А то как засядет здесь...

— Ну, покажи, покажи, — согласился Игорь Максимович.

XXIII

Трудно представить что-либо более однообразное и унылое, чем картины, к которым поочередно подводил меня Угров. Они все были — о старой мельнице и назывались: «Время рассвета», «Ранний полдень», «Середина лета» и еще в этом роде, а кроме того, имели одно общее, объединявшее их название: «Русь». Писать и творить циклами, надо сказать, было тогда чрезвычайно модным. Рассказы — циклами; повести, стихи, поэмы — циклами; романы — циклами, чуть ли не сериалами; суть же подобных циклов заключалась в том, что брались однажды найденные жизненные ситуации и под разными заголовками, словно куски приготовленного для шашлыка мяса, нанизывались на шампур и преподносились затем как всестороннее и углубленное исследование темы; авторов подобных созданий критика старалась шумно поднять на пьедестал, хотя, думаю, восторгаться тут было нечем, потому что не от обилия мыслей и широты воображения происходило это явление; если о чем-то и могло оно сказать здравомыслящему человеку, то лишь о творческой скудости и неумении глубоко и с панорамным охватом, как умели предшественники, взглянуть на жизнь. Жизнь неизмерима и неисчислима в своих проявлениях и уж тем более — никогда не зацикливалась на чем-либо одном, пусть сверхважном и нужном. Я чувствую, что опять нарушил повествование, внедрившись в него с этим своим отступлением, однако где еще можно романному персонажу так откровенно высказаться, как не на этих страницах, да ведь и не только поступки, но и отношение к ним, мысли и соображения — это тоже действие, хотя и не всегда (с внешней стороны) заметное нам; оно столь же правомерно и необходимо в тексте для целостного восприятия его, как и все зримое, что происходит с нами и вокруг нас.

Едва я услышал слово «цикл» и название, объединявшее его, и, бегло окинув полотна, понял, что изображена на них одна и та же старая мельница, на которой все мы теперь находились, я не то чтобы сейчас же составил, не зная Скоркова, мнение о нем как о человеке и художнике, но так ясно почувствовал тот подражательный тип современного деятеля от искусства, которого ни с какой стороны не надо характеризовать, потому что он более чем известен и его можно встретить всюду — в издательствах, редакциях, во всевозможных домах творчества, в которых, заполоняя их, типы эти высиживают свои «кукушкины яйца». Ни прическа, ни одежда, ни голос, когда Скорков вступал в разговор, не могли уже сказать мне больше, чем я подумал о нем; да, признаться, и не хотелось приглядываться, он был неинтересен, как скучны и неинтересны были его картины, и если бы не Угров со своей непосредственной будто и невесть откуда бравшейся возбужденностью (и не выпивка и закуски, ожидавшие всех), вряд ли кто, думаю, согласился на подобное испытание.

Люди, умеющие говорить красиво, в сущности, обладают незаурядным (в этой своей, разумеется, области) талантом. Член множества обществ и завсегдатай президиумов, Тимофей Угров был просто великолепен в этот вечер, и мне жаль, что я не смог записать речи, какие он произносил о каждой почти картине, останавливаясь возле нее. Они могли бы стать нагляднейшим образцом того, как можно серое, невыразительное и скучное с помощью словесной эквилибристики превратить чуть ли не в шедевр, что, впрочем, и делается у нас, и не только в литературе или живописи; принцип здесь один: надо лишь говорить не о том, о чем произведение и что есть в нем, но о том, чего в нем может и не быть, но что непременно следует находить и видеть, а тех, кто не способен найти и увидеть, громогласно обвинять в бескультурье, невежестве, отсутствии вкуса. Но кому захочется носить на себе подобный ярлык? Вот и находим, и видим, и трубим о так называемом массовом воспитании вкуса, обделывая тем временем свои дела и делишки. Я понимаю, что не открыл истину, но ведь дело и не в открытии, а в том, что, зная истину, мы все же часто попадаем под определенное влияние и, очаровываясь ложью, многократно затем размножаем ее и передаем в народ. Слушая Угрова, я то и дело ловил себя на том, что смотрю на полотна его глазами и начинаю находить и видеть в них то, что и он. То он указывал, как изображена глубина предрассветного неба («Время рассвета»), что не только зрима, но и осязаема будто прохладная влажность утра; движения еще нет, все статично, даже мертво, но вглядитесь, предлагал он, вглядитесь, как художник сумел уловить это будто преддверие (природы!) перед стартом, еще мгновенье, одно лишь мгновенье, и крыша мельницы, трава, деревья — все покроется всеосвежающей и живительной росой жизни; картина всей своей палитрою красок словно дышит этим преддверием, и мне казалось, будто действительно что-то значительное и таинственное сумел запечатлеть на холсте Скорков. И хотя потом, когда эту же картину довелось увидеть днем во дворе Анастасии Федоровны, она смотрелась уже по-другому, тем поразительней и непонятней остается обман, которому так простодушно поддался я на мельнице, слушая Угрова. Он продолжал восхищаться: то тем, как решена художником проблема света на по-

лотне («Середина лета»), и в словесном обрамлении его, как от линий, сходящихся к одной точке, возникал перед глазами тот образ света, какой был не на картине, а навязывался воображением; то, напротив, тем, как подчеркнуто выразительны были тени, расстилавшиеся по траве от стен старой мельницы, кустов и деревьев вокруг нее («Ранний полдень»); тени словно открывали нам какую-то новую, будто и таинственную страницу жизни, в которой одним дано блистать на солнце, другим — лишь оттенять этот блеск, обнажая (уже самой статичностью своей) скрывавшееся под ним уродство; затем все это ловко переносилось Угровым в область человеческого бытия, что уже и вовсе не имело ничего общего с замыслом картины, и очередная пустышка, отягощенная подобным словесным наполнением, вдруг словно преображалась под нашими взглядами и обретала вес. Нет, явление это удивительное, когда внушенное определенным образом становится явью и ты, как оглушенный (и с глупой улыбкой на лице), готов с доверчивостью принять новую волну льющегося на тебя обмана.

Все находившиеся на мельнице, кроме разве Игоря Максимовича и подсевшего к нему какого-то с плехановской бородкой озабоченного литератора (им был, как потом выяснилось, некий Ефим Корняцкий, и мы еще вернемся к этой оскорбленной и пробовавшей взбунтоваться личности), — все толклись возле нас, не столько прислушиваясь, сколько переглядываясь между собой. Они, видимо, были хорошо осведомлены о краснобайстве Угрова, и весь интерес их, как мне показалось, состоял лишь в том, что они наблюдали за игрой, опасно в присутствии Игоря Максимовича затеянной Угровым в поддержку Скоркова. Пока шел разговор о художественных и эстетических достоинствах, сторонники Игоря Максимовича именно только переглядывались и ухмылялись, потому что подобное восхваление еще ничего не означало для них; они ждали, как заговорит Угров, когда дело дойдет до философских воззрений, и сейчас же словно встрепенулись, как только Тиша, остановившись перед самой, казалось, невзрачной, но с громким названием «Русь» (отсюда и происходило название цикла) картиной, величественно заявил:

— А вот это — позиция. Позиция и убежденность. — И добавил, обернувшись ко всем: — Неправильно полагать, что только в карикатуре и плакате заложена публицистика. Не-ет, — протянул он. — В реализме, в нем и только в нем, она обретает истинную силу.

При этом возгласе мне показалось, что даже Игорь Максимович вместе с Корняцким, выяснявшим что-то у него, сейчас же смолкли и повернулись в сторону Угрова. Но Тиша не торопился обнародовать, что́ по ходу осмотра успел приготовить для завершения и чем хотел, видимо, удивить всех; он с минуту молча стоял перед картиной, словно изучая ее, и давая нам время присмотреться к ней, и выжидая, пока окончательно созреет в нас любопытство, нужное ему для успеха; и я тоже вместе со всеми смотрел то на этот холст в раме, освещенный дрожавшими язычками свечей, то на Тишу, как и все, с нетерпеливым вопросом, когда же начнется представление, то опять на картину, о которой даже не знал, что сказать. На ней изображена была все та же старая мельница, только более крупным планом; та же плотина с заросшей по ней колеей, и ивы, склоненные к тихой глади воды (что и в самом деле характерно для средней полосы России); те же серые облака и воронье над крышей мельницы и лесом, возбужденно, в преддверии грозы, поднявшееся в небо, и еще и еще — знакомые уже по предыдущим полотнам приметы старой русской глубинки, обычно вызывающие в нас чувство причастности к тысячелетней и трудной судьбе народа; но у Скоркова они призваны были лишь оправдать название, и я смотрел на них, как на нечто давно-давно знакомое и не лучшим образом повторенное здесь.

«Что это, былинность времени? — подумал я, полагая, что об этом именно и начнет говорить Угров, потому что никакой иной мысли, мне казалось, и не могло возникнуть при виде этого по определенному шаблону набросанного пейзажа. — Где тут былинность? Тут просто опошлена святая святых!» Да, я был убежден, что ни о чем другом, кроме как о былинности времени, да и то с натяжкой, нельзя было говорить, глядя на полотно, но я ошибался, и жизнь, если хотите, в очередной раз подала пример, что она выше нашего воображения.

То, о чем заговорил Угров, было настолько неожиданным и так поразило меня, что я не раз затем в течение вечера, вернее, памятной для меня этой ночи на мельнице, возвращался к его словам, пытаясь отделить в них истинное от ложного, искреннее от заданного, наносного, чем и без того засорена (выше всякой нормы!) наша суетная действительность. Он попросил обратить внимание только на одну деталь (или фрагмент) в картине — на входную дверь мельницы, срисованную, видимо, еще до ремонта. Она была широкой, двустворчатой, напоминавшей ворота, и в то время как одна из створок держалась на старинных, изготовленных сельскими кузнецами навесах и выглядела основательной и крепкой, другая, висевшая на штампованных, заводских, то есть современных, уже отошла от косяка, скособочилась и вот-вот должна была оторваться и упасть. Все это Скорков тщательно прорисовал, особенно надежность и крепость одной и неустойчивость и хлипкость другой, оттенив и благородные следы ковки (на старинных), и всеразъедающую ржавчину на современных (с торчащими в пазах гвоздями без шляпок), и это-то представлялось Угрову символичным. По его словам выходило, что все старое, примитивное, составлявшее будто бы основу прежней крестьянской жизни и незаслуженно перечеркнутое нами теперь, было исконным и приемлемым, а современное, относившееся к прогрессу (он не говорил: «К нашему строю», а только давал понять это), способное лишь разрушить в человеке то главное и естественное, что природа изначально вложила в него (приманка столь же заманчивая, сколь и старая, на которую, впрочем, как склонны утверждать некоторые, всегда был и будет в народе клев), — современное, относившееся к прогрессу, хлипким, неустойчивым и насильственно будто навязанным деревне и обществу. Вот так, ни больше ни меньше, и предложил воспринять картину Угров, которую, хотя и помедлив прежде, все же назвал шедевром.

— Не надо бояться этого слова, оно придумано людьми и для людей, — заключил он с достоинством генерала, удовлетворенного чистотой плаца и видом войск, выстроенных им для смотра. — Руку, друг мой, браво, браво! — И он вдохновенно (и заметно переигрывая в этом) принялся трясти руку молодому Скоркову.

XXIV

— Что там за шедевр ты открыл, Тимофей? — подал голос Игорь Максимович, не столько слушавший Корняцкого, что-то говорившего ему, сколько Угрова. — Ну-ка, ну-ка. — Он не хотел подниматься со своего не совсем, может быть, удобного, но привычного ему пня и жестом вытянутой руки попросил нас расступиться перед картиной, чтобы он мог увидеть ее. — А нельзя ли свету поддать? Вот так, да, да, — сказал он, когда кто-то из молодых, взяв свечку, поднял ее над картиной.

Все обернулись сначала на Игоря Максимовича, потом на картину, которая должна была представляться нам уже не пейзажем, а сгустком мыслей, полных новизны и смелости, в защиту народа от сил цивилизации и прогресса, тогда как ни новизны, ни тем более смелости не только не было в них, но они лишь шаблонно повторяли те известные, ложные и вредные (именно по отношению к народу) суждения, какие не раз и не два в нашей русской истории пускались определенными силами в ход, чтобы опять и опять на столетия назад отбросить надежды на благо простых людей. Мне трудно было поверить в то, что я слышал и видел. «Да понимают ли они, что делают, предлагая народу отлучиться от цивилизации и прогресса? — подумал я. — Да нас просто хотят навечно закрепить на задворках человеческой жизни». Но в то время как я готов был уже бросить им в лицо эту приготовленную фразу, событие повернулось таким образом, что мне не суждено было сделать это (и, может быть, даже к лучшему, как полагаю теперь); между Игорем Максимовичем, Угровым и раздраженно вступившим в спор с ними Корняцким произошла та знаменательная, иначе и не оценить ее, перепалка, которая только и могла, наверное, произойти здесь, на мельнице, вдали от столичных условностей (и тем самым была словно бы приподнята шторка над деятельностью всех этих собиравшихся здесь светил).

— Шедевр, говоришь? Ну Соев, ну Соев! — произнес Игорь Максимович, покачав (не столько с трудом, сколько с неохотой) своею словно

для крепости вдавленной в туловище головой. Он еще не решил, как оценить картину, но, почувствовав прижатым себя (в известном соперничестве с искусствоведом) к стенке, пытался и в этом прижатом положении найти для себя достойный выход. — Ну Соев, Соев! — повторил он. — А в ней действительно что-то есть. — Что относилось уже к картине. — Надо рекомендовать ее, Тимофей Ильич, — обратился он к Угрову.

— Было бы прекрасно, но куда?

— В журналы, где же еще печатаются у нас цветные вклейки! Разве там нет уже наших людей? И хорошо бы с твоим комментарием.

— За этим не станет.

— Молодость, даже зрелую, должны представлять мастера, иначе кто же ей даст направление.

— Вы!.. Вы!.. И вы после этого смеете говорить о справедливости? Говорить о направлении и талантах?! — в какой-то будто оскорбленной и страшной запальчивости, как человек, долго унижавшийся и просивший и не получивший того, что просил и ради чего унижался, почти выкрикнул Корняцкий, вскочив и отстраняясь от Игоря Максимовича. — Нет, что касается меня, хватит! Как я сразу не раскусил вас, да и раскусил, только не хотел признаться себе, что вы — посредники, да, да, посредники между народом и властью, тысячелетия назад захватившие этот плацдарм и продолжающие укреплять его. Для властей вы представляете народ, а для народа — власти. Вы, вы... Вы — стена, о которую разбивается все, что может поколебать ваше избранное положение, и вы готовы...

— Ты что себе позволяешь? — перебил его Игорь Максимович тем спокойным как будто и в то же время уничтожающим тоном, как умеют говорить только глубоко скрытные, жестокие и решительные (в этой своей скрытности и жестокости) люди. — Я спрашиваю, ты что себе позволяешь? — еще более уничтожающе в установившейся тишине почти прошептал он, глядя будто бы на Корняцкого, но, в сущности, мимо него, в пространство, в котором полагал, видимо, что был властелином, и никто не смел перечить ему. Лишь на мгновение (в промежутках между словами) метнул взгляд в мою сторону, как на нежелательного свидетеля, и я так ясно ощутил его затаенное, закоренелое и беспричинное, как мне казалось тогда, недоброжелательство, что и теперь невольно охватывает дрожь от одного только воспоминания об этом взгляде. — Еще бутылки не открывали, а у тебя уже язык до колен, — добавил он, иронически усмехнувшись.

— Я не пьян, не-ет, я не пьян, и вы не поили меня, — возразил Корняцкий, сейчас же почувствовавший, что его хотят выставить в определенном свете и заставить защищаться.

— Проспись сперва, а потом уж и в гении.

— Я не пьян!

— Проспись, тебе говорят. Вон! — И он короткою, в перстнях, рукой решительно указал на дверь.

Но Корняцкий не собирался уходить. Он вдруг побледнел всем своим помятым от бессонницы лицом, как бледнеют только от какой-либо страшной догадки, и, словно в подражание Игорю Максимовичу, но с нотой трагизма и безысходности, прошептал:

— Да вы же бессмертны в этой своей роли, боже мой, как я не сообразил раньше, бессмертны, вас легион, и вы бессмертны.

— Вон!

— Бессмертны, бессмертны, с кем я связался, боже мой! — И, как слепец, шаря впереди себя руками и бормоча эти слова, направился к выходу.

— Извечная борьба за извечный пряник, — тихо и только для меня будто проговорил Угров, едва за Корняцким закрылась дверь.

— Ты что там наушничаешь? — сейчас же спросил Игорь Максимович, продолжавший (по грузности и неповоротливости своей) смотреть все еще перед собой, но замечавший все, что происходило в помещении мельницы.

— Я говорю, извечная борьба за извечный пряник, — видя, что нельзя уклониться и солгать, отозвался Угров. — Между прочим, ваши слова, Игорь Максимович, — тут же льстиво заметил он. — Да и что двигало им, как не желание получить для себя пряник?

— Нынче столько с протянутой рукой, что если начать раздавать, никаких пряников у народа не хватит.

— Вот именно, — подтвердил Тиша.

— Собственно, кого мы ждем, друзья, почему не начинаем, где именинник? — неожиданно громовым и веселым голосом, словно не он только что спорил с Корняцким, проговорил Игорь Максимович, задавая тон веселью и приглашая (этим своим новым настроением) следовать за собой.

— Скорков! Скорков! — раздались тут же услужливые возгласы.

Молодого, растерянного и счастливого Скоркова подвели к Игорю Максимовичу, Угров принялся откупоривать бутылки и разливать по стаканам коньяк, водку, вино (кому на какой вкус и привычку); Игорь Максимович произнес небольшой, как всегда, и выразительный, по общей и тоже неизменной оценке, тост, все подняли стаканы, чокнулись и выпили; потом выпили за самого Игоря Максимовича, за Угрова; потом, раскрасневшись и повеселев, говорили уже все, кто что хотел и о чем думал, не переступая, однако, той черты (как только что Ефим Корняцкий), за которой так или иначе подстерегало наказание, и я на время был забыт всеми и предоставлен себе. Я стоял позади Игоря Максимовича и Тиши, ошеломленный случившимся (да и вообще, думаю, не многовато ли в один вечер на одного человека: Анастасия Федоровна с подворьем да и все Лыково со своей этой странной по меньшей мере судьбой, ободранная ель и могила в саду для Беспалова, барская аллея с хороводившимися в ней людскими клубками, мельница, картины Скоркова и Тишины философствования по поводу их, Корняцкий со своим страшным разоблачением и, наконец, эта гудящая в самоупоенном хмелю толпа л и ч н о с т е й?); нет, я не то чтобы не мог собраться с мыслями и дать оценку всему (происходившее было для меня однозначным и неприемлемым), но не мог поверить, чтобы все это было со мной не во сне, а наяву и являлось самой правдивой, хотя и ужасной и немыслимой как будто у нас реальностью жизни.

Прежде всего я подумал о Корняцком. Откровенно говоря, я недолюбливал людей такого типа, которые, обладая хоть каким-то, хоть малым, но все-таки талантом, вместо того чтобы развивать эти свои способности и проявлять себя, ищут так называемых сильных личностей и липнут к ним, добровольно ставя себя в зависимое и унизительное положение, в котором, как им кажется, они будут надежно защищены от возможных литературных превратностей; и хотя, в сущности, они не столько бывают защищены, сколько ограничены творчески, потому что нельзя, то есть не положено, быть умнее признанного тобой светила, и приобщены к инстинктам — куда вожак, туда и все, но точно так же, как растения и животные привыкают к определенной и не всегда удобной для них среде обитания, привыкают и корняцкие, искренне полагая затем, что нет и не может быть иной, независимой и действительно достойной человека деятельности. Я никогда прежде не видел Корняцкого, а тому, что слышал о нем, не придавал значения; но именно из тех разрозненных сообщений и слухов, припоминая и выстраивая их, как раз и пытался составить для себя образ этого незаурядного, каким он показался мне теперь, человека. Он, видимо, не мог до конца смириться с отводившейся ему ролью и местом при Игоре Максимовиче и время от времени, желая получить большее, то есть достойное его, возмущался, требовал, бунтовал, позволяя себе высказывать разные (о своем покровителе) нелестные отзывы, о которых почти тут же доносилось Игорю Максимовичу, и тот своею железною, как он умел, волей все плотнее с каждым разом и плотнее перекрывал для Корняцкого кислород, как принято говорить теперь, то есть возможность не то чтобы широко, но хоть как-то печататься в издательствах и журналах. Фамилия его сразу же исчезла из привычных обойм и, словно по волшебству, все реже и реже появлялась в обзорных статьях; роман его третий год переносился в издательских планах, и, чтобы снять с себя эту опалу, он и приехал в Лыково и третью уже неделю жил здесь. Он искал пути объясниться с Игорем Максимовичем, просил, заискивал, унижался, но тот был неколебим, и Корняцкому ничего не оставалось, как вновь и уже решительно взбунтоваться и сжечь (как ни тяжело было, видно, пойти на это) мосты, чтобы уже никогда не возвращаться сюда. Так ли происходило

в действительности, или, может быть, сложнее, или проще, потому что жизнь и логическое представление о ней не всегда совпадают, но, во всяком случае, я и теперь думаю, что близко к этой выстроенной мной схеме, и я не то чтобы с жалостью и сочувствием подумал о Корняцком, но как-то больно и страшно стало за общее состояние жизни, в которой, как и тысячелетия назад (и несмотря на все благие призывы к добру и справедливости), творятся подобные насилие и унижение над человеком.

Застолье между тем продолжало набирать силу, передо мной и вокруг галдели и суетились со стаканами в руках все эти посредники, как я мысленно называл их теперь, поразившись этим простым, глубоким и емким, точнее не скажешь, определением; что двигало их весельем и лежало в основе удовлетворенности, для меня и теперь остается загадкой, потому что, я знаю, никакой, даже самой красивой ложью не может довольствоваться человек; в нем всегда живет хоть маленький, хоть крохотный огонек справедливости, который начинает разгораться и жечь, если не накрывать его новой и новой порцией обмана и лжи, и в этом хмельном угаре они как раз, видимо, и черпали очередную для себя порцию. Я не мог оставаться здесь и стал незаметно продвигаться к выходу.

Но у самой двери меня неожиданно громко окрикнул Тиша:

— Евгений, ты куда? Не-ет, у нас так не положено, нет-нет, давайка сюда, сюда, в круг.

XXV

Меня подвели к Игорю Максимовичу, и я не представляю, чем бы все закончилось, если бы в это время с характерным женским хихиканьем и шумом не вошла компания молодых (преимущественно молодых) людей, предводимая известной и обаятельнейшей, как ее называли в московских кругах и здесь, Антониной Стригуновой.

В белой, обтягивавшей бедра юбке с модно высоким (по одному боку) разрезом, удлиненно-просторном белом пиджаке и с белой сумочкой через плечо (и под локтем, как носит большинство молодых современных женщин), она, бросив всем с порога: «Салют», прошла к Игорю Максимовичу и села рядом с ним на сейчас же услужливо освобожденное ей место. Затем достала из сумочки сигареты и с той продуманной, я бы сказал, эффектной небрежностью, даже некоторым вроде бы шиком вложила в губы сигарету и принялась работать зажигалкой, которая странным как будто образом не хотела загораться в ее руках. Ей, видимо (из ее женских амбиций), не хотелось затевать разговор первой, и она, оттягивая время, невольно принуждала к этому светило и предводителя, но Игорь Максимович (тертый калач, как сказали бы о нем в народе), сейчас же приняв предложенную ему игру, только молча поднес почти к самому ее лицу свою вспыхнувшую огнем зажигалку и, ответив «пожалуйста» на ее короткое «благодарю», продолжал из-под бровей выжидательно смотреть на нее. Он не то чтобы не любил женщин, нет, напротив, бывал обычно более чем уважителен с ними, но он не признавал (по чрезмерному, может быть, властолюбию своему) за ними никакого иного права, кроме как быть женщинами, и в этом плане у него был свой, вечный спор с тоже решительной и властолюбивой Стригуновой. Она упрекала его в черствости и отсутствии души и говорила, что с рабством женщин давно и навсегда покончено и что только он один не хочет еще признать это, на что Игорь Максимович со свойственным ему умением подменять (в свою пользу) понятия отвечал, что если укрепление семьи и воспитание детей считать рабством, то еще неизвестно, во что обойдется человечеству отмена такого рабства. Подобная перепалка возникала почти всякий раз, как только они сходились вместе, и в то время как им казалось, что они испытывали лишь неприязнь друг к другу, все остальные видели в этом некий завязывающийся интимный романчик, который, как всякая подобная связь, должен был к чему-то да привести. Устоит ли Игорь Максимович перед обаятельнейшей Стригуновой или не устоит — вот вопрос, который, я сейчас же почувствовал, занимал если не всех, то по крайней мере большинство из присутствовавших, и от возникшего общего напряжения стало даже как-то сразу тише и спокойнее вокруг. Меня опять оттеснили в сторону, и я снова невольно оказался в роли вынужденного наблюдателя или, точнее, свидетеля всех этих описываемых здесь событий.

Не берусь судить, насколько оправданным можно считать общий взгляд Игоря Максимовича на женщин, но что касалось Стригуновой, то тут, мне кажется, он был более чем прав или, во всяком случае, понятен в своей иронической снисходительности к ней. Она являлась не просто одной из тех литературных дам, коих достаточно уже числилось по Москве и о которых говорили, что они куда беспощадней и злей в оценках, чем сильная и должная определять направление половина мира, и не просто из тех, кто жаждал подобрать удобного, для пользования им, мужа («С меня достаточно, нажилась, насмотрелась», — заявляла она, как, впрочем, заявляло большинство подобных дам), но все эти свойства настолько целостно и даже будто гармонично объединялись и проявлялись в ней, что многие находили ее своего рода личностью и преклонялись перед ней. Она не скрывала ни своего прошлого, ни настоящего, ни будущего, как оно (в достаточно бойком ее воображении) представлялось ей. В свои тридцать с небольшим лет она успела не только многократно побывать замужем, но и объехать почти половину столиц мира, о чем любила сказать с гордостью, и даже несколько лет, когда была за дипломатом, прожила в какой-то африканской стране, из которой и привезены были все те золотые (с камнями и без камней, работы негритянских мастеров) кулоны, серьги и перстни, то есть ценности, которыми, когда они были еще внове у нас, любила удивить всех. Разойдясь с тем дипломатом при каких-то загадочных будто и странных обстоятельствах и вернувшись в Москву, она вдруг вспомнила о своем покойном уже отце, участвовавшем до войны еще в разработке отечественных буровых установок, и написав несколько довольно невнятных очерков об этих установках и роли отца в создании их и объявив при этом печатно, что вся жизнь ее с тех пор, то есть с младенческих лет, надо полагать, неотрывно связана с теми установками, — вошла в литературные круги с этими своими (как равная будто) разрекламированными «трудами», с африканским на себе золотом, молодившим ее и без того моложавые лицо, шею, руки, и с понятием сброшенного будто бы с себя (с женщин вообще) рабства и всем тем, что должно было вытекать из подобного раскрепощения. Что было ею создано после тех очерков и чем (в творческом плане) дама эта занималась теперь, вряд ли кто мог ответить; одни считали, что поэзией, другие — критикой, но истинная известность ее, насколько я знал, заключалась в ее так называемом хобби, то есть пристрастии к антикварной мебели, которую она, неизвестно как и где доставая, охотно перепродавала друзьям, знакомым и через знакомых тем, кто горел желанием приобщиться к старине. У нее всегда были под рукой: то секретер Беллы Ахмадулиной (которых она, как утверждали злые языки, сумела за год сбыть около восьми или девяти штук), то письменный стол Юрия Нагибина (разной ветхости, величины и формы, они покупались начинающими литераторами, которым дóлжно было, видимо, казаться, что талант бывшего «хозяина» стола непременно передастся им), то любимое кресло Катаева, то лежак Пастернака, стулья Маршака или вешалка из прихожей какого-либо живущего или усопшего классика, что тоже с благодарностью забиралось у нее; она, в сущности, сбывала не вещи, а имена знаменитостей, прикрепленные ею (по произволу) к вещам, и хотя многие только иронизировали и подсмеивались над ее занятием, но находились и такие, кто не жалел средств на подобное «приобщение».

Эта-то литературная дама в белом и модном, оттенявшем ее золотистый речной загар, и сидела теперь перед Игорем Максимовичем с тем видом превосходства, что она — женщина и может позволить себе быть ею, какое не то чтобы было искусственным или наигранным в ней, но вытекало из ее жизни, убеждений, привычек, и не знаю, как на самом деле воспринимал ее Игорь Максимович, что действительно думал о ней (в какую-то минуту мне показалось, будто он был увлечен ею), но передо мной не было никаких завес; я смотрел на происходившее реалистично, и Стригунова со всей этой своей вызывающей дерзостью представлялась мне только что вышедшей из спальни (после близости с любовником), и хотя была причесана и одета, но подробности пережитого, то есть подробности удовлетворения, были на ее лице и выдавали ее. Мне было все ясно,

я не искал иных подтверждений и все же чуть не воскликнул, увидев стебельки травы, запутавшиеся в ее волосах. «Это же она в белом встретилась нам в аллее, — вспомнил я. — Она с кем-то в обнимку уходила к стогам и даже не обернулась на приветственный оклик Тиши, и вот теперь, не остыв и не обобрав сена с себя, явилась сюда для общественных дел!» Я подумал, что, видимо, и тот, с кем уходила, должен быть здесь, и сейчас же, как только обвел взглядом вошедших, обнаружил его, но, разумеется, не по расстегнутой ширинке, что было бы верхом всякого неприличия, и не по смятому воротничку или невпопад застегнутым на рубашке пуговицам, а все по той же неостывшей возбужденности, и сытости на лице, и по застенчивости, с какою старался держаться в тени, возле картин, уже никого, в сущности, не интересовавших, кроме него.

Но внешне — внешне все казалось пристойным: и телесное, и духовное, составлявшее для каждого мир его истинных страстей и желаний, тот самый мир, какой, впрочем, мы все носим в себе, не допуская к нему никого и не позволяя выворачивать его наизнанку, — все было благонравно прикрыто одеждами, приличествовавшими месту и времени, и обернуто тогой чистоты и нравственности.

— Так кого вы тут без меня решили обсудить сегодня? — спросила Стригунова, не выдержав молчания и нарушив его. — Надеюсь, не поэта?

— Как можно без вас, Тоня? — возразил Игорь Максимович.

— Ах, от вас всего можно ожидать.

— Ну, не скажите.

— Так кого же? — перебила она и, так как при этих словах ее все посмотрели в сторону Скоркова, продолжавшего счастливо переживать свой успех, тут же понимающе протянув: «А-а», с язвительностью, как и положено, наверное (как она думала), критику, заметила: — Русь мельничная (что было стопроцентным, если так можно выразиться, попаданием). Пепел старины на лике республиканской молодости...

— Но вы же еще не видели картин, — удивился Угров. Выпад был не против Скоркова, а против него, и он ясно почувствовал это.

— Для чего их смотреть, о них достаточно услышать.

— Браво. Браво, браво! — Игорь Максимович даже несколько раз хлопнул в ладоши от удовольствия. Он дал понять, что умеет, когда надо, оценить тонкость женского остроумия.

— Но позвольте, — опять вмешался Угров и со свойственным ему темпераментом принялся излагать все то, о чем только что говорил нам.

Но рассказ его был теперь еще более не о картинах, а о воззрениях, заложенных будто бы в них и представлявших ценность, и неизвестно, как долго бы он проговорил и что ответила бы ему Стригунова, настроенная, что было видно по ней, решительно и жаждавшая деятельности, если бы вдруг, именно вдруг, не распахнулась дверь и в проеме ее все не увидели бы худощавую и взъерошенную фигуру Ивана Егорыча.

XXVI

Не знаю, что лучше, прямая ли, как стрела, дорога, по которой, начав движение, можно вести и вести героя без остановок и задержек по задуманному сюжету к завершению, или эта, которую рискнул выбрать я и в которой — одни только препятствия, только завязки, завязки и не видно, чтобы хоть над одной из них забрезжило прояснение. Но ведь если созданное в литературе начать действительно соизмерять с жизнью, то придется признать, что только в книгах (да еще в театрах и на экранах кино и телевидения) возможны так называемые простредьные сюжеты, очищенные от сучков и задорин, и эффектные к ним (и в нужный момент) концовки, когда, смотришь, а герой уже бежит вешаться, топиться или грохается наземь от сердечного приступа (но что, впрочем, критика преподносит, как величайший драматизм, до которого будто бы смог подняться автор); однако у жизни свои законы, и она не подчинена условностям; в ней, если хотите (разумеется, я основываюсь лишь на своих наблюдениях), куда больше очевидных завязок, чем очевидных развязок; каждый день и час люди что-то да затевают — в личных ли, государственных или глобальных масштабах, и не всегда там и в тот момент, как того требуют условности искусства, наступает развязка, а главное, не по той логике и не с тем, а с иным, непредсказуемым и более глубоким драматизмом. Мне кажется, что одновременно придерживаться художественности, то есть литературных канонов, и при этом не отступать от правды жизни нельзя; такая формулировка только звучит красиво, а по сути — как бы мы ни хотели того, но жизнь невозможно вогнать ни в какие условности и рамки, не обеднив и не обескровив ее при этом; она свободна в своем течении, и я не могу сказать, чего больше в ней: последовательности и прямоты или поворотов и взрывов. Может быть, по логике событий и можно было предсказать появление Ивана Егорыча на старой мельнице, но чтобы именно в эту ночь и вот так?! Все были настолько удивлены, что даже дрожавшие язычки свечей, казалось, на мгновение застыли в изумлении.

Возможно ли, чтобы в стаю волков вдруг явилась овца за объяснением? И дело не в том, что подобное ни овце, ни волкам не придет в голову; волкам — свое, овце — свое, сколько драли с нее шкур, столько и будут драть, а в том, что отношение волков к овце всегда однозначно — она для того только и существует, чтобы ее съесть; вот это-то стадное (волчье) отношение к овце я и почувствовал сейчас же у всех к Ивану Егорычу, едва он появился в дверях. Он молча обводил всех глазами, как бы отыскивая, кто здесь главный и с кем следует говорить, и взгляды всех тоже и пристально были обращены на него с тем угрожающим недоумением: «Как он посмел?», и вопросом: «Что ему от нас надо?», которые читались на их лицах. Меня прежде всего поразило именно это общее недоброжелательство, почти враждебность по отношению к человеку, которого (за малым, может быть, исключением) никто, в сущности, не знал, никогда не вел с ним откровенных бесед и не знакомился с его трудами, а лишь по наговорам и слухам создавал для себя определенный демонизированный образ. Да возможна ли, скажут, в наше время подобная демонизация? Я тоже считал, что невозможна; невозможна прежде всего, как мне казалось, по уровню культуры, какого достигло наше общество (и о чем продолжают неустанно твердить нам); но, оказывается, я ошибался, и точно так же, как несколько столетий назад достаточно было, указав на женщину, произнести слово «ведьма», как толпа тут же бросалась тащить ее на костер, — достаточно в наше время слуха, пущенного о человеке, чтобы вокруг него сейчас же создалась нетерпимая обстановка жизни. Я не наблюдал отдельно за реакцией Игоря Максимовича, Стригуновой и Тиши, как восприняли они появление Беспалова, и не хотел бы придумывать для них позы и выражения; помню лишь, что в спокойном как будто, из-под бровей, взгляде Игоря Максимовича было что-то от мясника, осматривающего перед разделкой тушу, но, возможно, и это — всего лишь плод воображения; что же касается общей напряженности и враждебности (по отношению к Ивану Егорычу), то я и теперь словно чувствую ее вокруг себя, так ясна и очевидна она была для меня в ту памятную ночь на старой мельнице.

Пройдя к центру, Иван Егорыч еще раз при общем молчании огляделся, затем вдруг, странно расслабившись (во всяком случае, мне так показалось, как если бы именно в ту минуту он ясно понял всю бессмысленность своего появления здесь) и обращаясь сразу ко всем, произнес так запомнившуюся мне тогда свою первую фразу: «Так вот кому я обязан своим спокойствием!» — с которой и начался скоротечный, иначе не назовешь, полный откровенного неприятия разговор его с Игорем Максимовичем, который я и хочу привести полностью или почти полностью, как он протекал тогда на самом деле.

— Кто вы такой? — спросил Игорь Максимович, слегка выпрямляясь всем своим грузным на пне туловищем, чтобы видеть стоявшего перед собой Беспалова, и для чего-то выдвигая вперед свои короткие, лежавшие на коленях руки. — И что вам от нас надо? — словно чувствуя общее настроение, добавил он. Ему, видимо, ловчее было выражать общее мнение, то есть выдавать свое за общее, ставя тем самым в определенное, без тылов, положение собеседника.

— Это вы-то не знаете, кто я, и не имеете понятия, зачем я пришел к вам? — вздрогнув и делая усилие, чтобы не раздражиться, вопросом на вопрос ответил Иван Егорыч. — И вам непременно нужно, чтобы я представился вам?

— Извольте, сделайте милость.

— Человек. Мыслящий человек, сын отечества. — Но он не докончил, что намеревался сказать, лицо его побледнело, он как бы запнулся и замолчал, осмысливая что-то открывшееся в себе, и можно только предположить, что стоило ему не наговорить теперь глупостей; от расслабленности его уже ничего почти не осталось, он весь собрался, словно для удара, и эта готовность его, передавшись окружающим, только еще более накалила общую обстановку. — Нет, — наконец справившись с собой, снова заговорил Иван Егорыч. — Я пришел к вам не за тем, чтобы ругаться. Ругань бессмысленна, мы бы только оскорбили и унизили друг друга. Давайте к делу: до каких пор, скажите, вы будете травить и преследовать меня и что я должен сделать, чтобы получить возможность нормально жить и работать? Я же не вмешиваюсь в ваши дела и не отравляю вам ваше существование.

— Логика, — Игорь Максимович усмехнулся. — Прямо-таки с прокурорским замахом.

— Мы не мальчики и давайте напрямоту.

— Вам роют могилы в саду, обдирают ели у ворот, и вы пришли обвинить нас, так надо понимать?

— Не ели, а ель, не могилы, а могилу.

— Может быть, не считал, не знаю.

— Так давайте, я пришел к вам, я стою перед вами.

— Да вы провокатор, однако, — вдруг наливаясь весь краской, возмущенно проговорил Игорь Максимович. Ему тоже, видимо, стоило усилий сдерживать себя. — Как вы смеете?!

— Но вы же позволяете себе.

— Нет, как вы смеете?! — снова возмутился Игорь Максимович. — Да вас не приемлет народ, если хотите, народ, а не мы, так и идите к нему объясняться. К нему, да, да, к нему. — Он оглянулся на Угрова и Стригунову, заметили ли и оценили ли они его умение вести разговор, и, убедившись, что заметили и оценили, приободрившись этим, спокойнее уже добавил: — Могу лишь посоветовать: никогда и никого не пытайтесь обвинить беспочвенно, а тем более огульно, это всегда дурно кончается.

Он повернулся к даме, давая понять этим, что разговор окончен, но Беспалов некоторое время продолжал еще стоять перед ним и смотреть на него. Он не ожидал, видимо, такого поворота событий и был в замешательстве: что предпринять, попытаться ли продолжить выяснение или, проявив гордость, повернуться и уйти, бросив что-либо резкое и оскорбительное всем? Но он не сделал ни того, ни другого, а поступил как истый интеллигент, всегда умеющий и вовремя сдержать себя, и с достоинством выйти из положения. Во всяком случае, мне так показалось, да и теперь, когда все вновь проходит перед глазами, думаю точно так же и восхищаюсь стойкостью и выдержкой этого человека. «Я и сам не могу объяснить, зачем тогда пошел к ним, — говорил он мне позднее об этом своем ночном посещении мельницы, — Людмила была категорически против, да и я понимал, что, кроме унижения, нечего ждать от этих людей, но вот — пошел! Все-таки веришь в добро, в порядочность...» Как всякий культурный человек, он был воспитан именно на этих понятиях, и тем больнее, конечно же, воспринималась им всякая даже малейшая несправедливость (и не только по отношению к себе). Я не могу с достоверностью сказать, что испытывал и о чем думал Иван Егорыч, когда увидел, что с ним не хотят говорить и выпроваживают его, но по выражению лица, менявшегося почти каждую секунду в зависимости от возникавших и сменявшихся чувств и мыслей, по сгорбленности и придавленности (что особенно было заметно по его спине, когда он выходил из помещения мельницы) можно было представить, что творилось у него на душе. В проеме дверей, взявшись за косяки, он остановился и обернулся; но лишь обвел всех смутным, не столько даже злым, сколько насмешливым взглядом и, произнеся «извините», шагнул за порог и скрылся в непроглядной (луны уже не было) черноте ночи.

— Он, наверное, полагал, что мы сейчас же все тут кинемся избивать его, — сказал Игорь Максимович, презрительно бросив взгляд в опустевший проем. Затем грузное тело его вдруг затряслось от внутреннего тяжелого смеха, и уже сквозь этот смех, даже вытирая как будто проступившие на глазах слезы, проговорил: — Да он же, братцы, масон, чистейшей воды масон!

Никто сразу не понял, что смешного (но скорее трагичного) заключалось в его высказывании, но словно по разрешению все молчавшие разом заговорили, спеша высказать возмущение и враждебность.

— Как он посмел? Кто его звал? Это нас-то, нас-то обвинять?! — еще и еще нечто подобное раздавалось со всех сторон, и голоса эти, сливаясь, наполнили гулом прокопченную и пропахшую свечной гарью мельницу. Лишь Игорь Максимович, словно не слыша никого, продолжал трястись от не отпускавшего его смеха, происходившего, видимо, оттого, что он придумал какую-то новую и неотразимую для Беспалова гадость. «Попрыгаешь теперь у меня, как лещ на сковородке», — было словно написано на его смеющемся лице, и я не могу забыть того впечатления, какое произвело на меня это непривычное, не сразу понятное и объяснимое сочетание смеха и зла. Мы привыкли лишь к состраданию и сочувствию, но в людях, оказывается, есть и другое, когда несчастье ближнего вызывает злорадство и смех.

Вдоволь, видимо, насмеявшись и окончательно сформулировав для себя то (по отношению к Беспалову), что как раз и вызывало смех и злорадство, Игорь Максимович поднял руку, прося успокоиться, и в наступившей тишине четко и ясно проговорил:

— Этот человек — масон, и все идеи его — масонские и против народа.

— У нас есть масонство?! — удивленно воскликнул Угров.

— Не обязательно знать, важно слышать, — в подражание Стригуновой, то есть с явным намеком на недавно высказанную ею остроту, ответил Игорь Максимович. — Народ не обманешь, люди чувствуют в нем масона, потому и не приемлют. Масон — ого-го что стоит за этим!

— А вы страшный человек, — заметила Стригунова как бы между прочим; между тем, что она доставала сигарету и прикуривала ее.

— Вы разве только узнали? — перевел на шутку Игорь Максимович.

Обменявшись еще несколькими остротами со Стригуновой, он заговорил о масонстве как о явлении хотя и страшном, но неизученном и высказал предположение, что не масонство ли надо считать прародительницей партий; он словно бы швырнул что-то лакомое в толпу, чтобы полюбоваться дракой, и вокруг этого лакомого и «потек» разговор, полный «удивительных» домыслов и сравнений, какими в изобилии будто бы напичкана вся обозримая история человечества. Мне хотелось возразить им, но я чувствовал (по настроению, охватившему всех), что невозможно и бессмысленно вступать в спор, и, воспользовавшись этой общей суматохой и занятостью, продвинулся к двери и наконец вышел из помещения мельницы.

XXVII

Было настолько темно, что я не помню, как удалось мне выбраться на аллею. Несколько раз я останавливался и оглядывался на дверь, оставшуюся открытой, из которой одиноко и мирно будто (от догоравших свечей) продолжал вытекать свет и растворяться в ночи. Свет этот и дверь то и дело заставляли меня вздрагивать, хотя я и отдаленно не представлял, от чего действительно уходил и чему был свидетелем. Я возмущался более эмоционально, чем осмысленно, да и можно ли было всерьез предположить, что родившийся в злом смехе ярлык «масон», то есть этот придуманный для устрашения и насилия прием, сможет затем получить столь широкое (в определенных московских кругах) распространение, что не только неугодных литераторов, художников, композиторов, но и тех из высшего руководства, даже партийного, кто рискнет хоть словом противостоять им, начнут объявлять масонами и третировать, и что славянофильство как течение, то самое славянофильство, о котором еще Достоевский сказал, что оно никогда не было русским, тем более народным, а являлось на свет лишь как барская затея барствующих людей, — славянофильство это организуется в определенную силу и, взяв как лозунг проблему защиты памятников старины и восстановления национальных традиций и духа, примется развивать совсем иную, не совместимую с означенной программой деятельность. Присвоив себе единоличное право говорить от имени народа,

славянофилы, в сущности (в согласии со своими целями), начнут работать против него, движение их, в конце концов обнаружив себя, получит оценку, но все это лежало еще впереди и было недосягаемо воображению; я верил в здоровые силы общества и в этой своей слепоте возмущался не явлением, которое, как болезнь, пускало корни во все (надо сказать, была и почва для этого, и точно был ими выбран момент для действий), а лишь встретившимися мне этими типами: Угровым, Игорем Максимовичем, Стригуновой и теми, кто поддакивал им, которые, как живые, возникали передо мной. Я то вглядывался в Угрова с его лоснящейся лысиной, животиком, округло выпиравшим из-под рубашки, с его шортами, панамой, стоптанными сандалиями, в которых он, видимо, вполне чувствовал раскрепощенность и свободу ног, и постоянная возбужденность в нем (от чего-то?), улыбка и умение пройти мимо чужой беды, не заметив ее, — все, все, соединившись, воплощалось в одном отвращающем образе. То в Игоря Максимовича с его словно для крепости вдавленной в туловище головой, мясистым носом, мясистыми губами и укороченными (от локтей) руками; он был менее понятен мне и потому казался страшнее, будто вместе с пнем, на котором сидел, прорастал из земли, чтобы затмить и задавить все живое на ней. «Что им до литературы, до искусства, — думал я. — Искусство им нужно только для того, чтобы ощущать себя в нем». Пусть не упрекнет меня читатель, что я вроде бы карикатурно изображаю их; что делать, если они такими представлялись мне, и если от романтических контрастов Гюго: за внешним уродством красивая душа, а за внешней красотой и лоском лишь жестокость и бездушие, — если от этих романтических контрастов жизнь отказалась, как от условностей, предложенных ей; конечно, и лысину, и животик, и мясистый нос можно представить по-другому, в иных оттенках и красках, но тогда я должен отступить от того, как все действительно (хотя и со скидкой на настроение и субъективизм) воспринималось мной. Исключение, может быть, составляла Стригунова со своей кукольной красотой. Что и говорить, поездив по загранчцам, она умела нарядиться и подать себя; в меру пухленькие щечки, красивый носик, уши с серьгами-кольцами и подкрашенные до черноты короткие (по моде) волосы — все это выглядело мило, даже привлекательно; но, кроме соблазнительной (смазливой, как когда-то говорил отец) внешности, она обладала умом живым, цепким, даже не по-женски цепким, была образованной и начитанной и, окажись в других условиях, могла бы принести немало пользы обществу; но жила она именно в **этих**, была развращена модной и теперь, к сожалению, идеей раскрепощенности и вседозволенности и, тоскуя в глубине души по настоящей семейной жизни (что иногда и с искренностью прорывалось в ее разговорах, как я узнал позднее) и тайно стремясь к ней, продолжала вести свою развратную жизнь даже с каким-то будто вызовом, словно ей надо было доказать что-то всему человечеству. Во всяком случае, мне показалось, что интеллектуально она была выше Игоря Максимовича и знала цену той игре на старой мельнице, в которой принимала участие, и ее выпады против Скоркова и Тиши говорили об этом; она, видимо, сама до конца не сознавала, насколько глубоки были бросавшиеся ею реплики, и забывала о них тут же, как только освобождалась от них. Но такой Стригунова стала представляться мне гораздо позднее, а тогда я видел перед собой лишь ее кукольное личико и с презрением повторял: «Не остыв, не обобрав сена с волос, явилась для общественных дел!»

Временами внимание переключалось на Ивана Егорыча, и тогда все связанное с ним, соединяясь в одно, вставало перед глазами и я видел его одновременно и у ворот, перед ободранной елью, и на мельнице, перед Игорем Максимовичем, Угровым и Стригуновой, к которым он пришел объясниться, и обе эти по-разному поразившие меня встречи представлялись одним, глубоким и ясным по расстановке позиций и сил событием; я чувствовал себя теперь еще более на стороне Ивана Егорыча, и как ни покажется это странным, но после этих реальных встреч с ним во мне словно вновь начал оживать тот созданный воображением еще в Москве романтический, если хотите, образ этого человека, согревавший мне душу, с каким я и приехал в Лыково для встречи с ним. «Нет, я не могу не увидеться и не поговорить с ним», — мысленно произносил я, проникаясь желанием и готовностью помочь этому человеку; во мне поднимались силы, каких я прежде не ощущал в себе, и с этой рождавшейся смелостью я шел к аллее уже не по тропинке, а напрямик, через кусты, раздвигая их руками и грудью. Минутами вспоминался и Ефим Корняцкий, этот взбунтовавшийся против своих покровителей литератор («Посредники, посредники», — несколько раз повторил я), но потому, может быть, что он годами позволял себе служить и заискивать перед ними, он не вызывал ни сочувствия, ни доверия; своим этим маленьким бунтом он лишь приподнял завесу над той обстановкой подчинения и насилия, какая всегда сопутствует сектантству и групповщине.

В аллее, куда наконец я выбрался, мне показалось, было светлее. Я остановился, чтобы оглядеться, и с трудом узнал то место, по которому проходил с Тишей, направляясь сюда. Аллея была теперь действительно пуста, безлюдна и оставляла впечатление какого-то заброшенного задворья с одичало-черными стволами деревьев, черными, заросшими провалами обочин и таким же мутновато-черным, уходившим к горизонту овсяным полем. Я понял, что оказался рядом с этим полем, но теперь не столько по долетевшему до слуха шелесту созревающих метелок, сколько по тому особому (от овсов) запаху, каким пахнуло в лицо с этого расстилавшегося за обочиной простора. Но ни знакомый с детства запах созревающих овсов, всегда так живо возвращавший к милым деревенским годам, ни эта подступавшая когда-то к барскому дому аллея, только что, казалось (при лунном свете), возродившая столько живых впечатлений, не вызывали теперь никаких воспоминаний; между корявыми, обросшими по низу мхом стволами лип струями сочился сырой предрассветный сквозняк и холодил лицо, спину, ноги, так что я даже невольно приподнял воротничок рубашки, будто это могло обогреть и защитить меня. Стоять было бессмысленно и зябко, и я, съежившись, двинулся по аллее, погружаясь в темный ее створ и погружаясь во все те мысли об Иване Егорыче и событиях, происходящих вокруг него, что не заметил, как на востоке, по горизонту, прорезалась первая полоска зари, сначала как будто робкая и нежная, придавленная мешавшими разрастись ей облаками; но вот, пробив в одном, другом, третьем месте эту хрупкую пленку облаков, розовый свет зари устремился в небо, сейчас же охватив всю огромную половину его, и, когда я на выходе из аллеи вновь остановился (уже от этого ударившего будто в глаза света), передо мной открылась та неповторимая картина скованной еще сном утренней деревни, которую при любых теперь, мне кажется, обстоятельствах я уже не смогу забыть. Деревенская площадь и улицы, по-старинному просторно расходившиеся от нее со всеми своими избами, плетнями, палисадниками и огородами, с поленницами заготовленных на зиму дров и летними печками во дворах, — все это, безжизненно начинавшееся у ног, было еще как бы окутано чернотой ночи, не желавшей уступать рассвету и пробуждению, и сгустки этой черноты, словно бы притаившиеся у оснований плетней, под стенами и в застрехах, лишь сильнее выдавали происходившее теперь (и каждое утро) в чем-то даже символическое в природе противоборство. Ни крыш, ни фасадов нельзя было пока еще различить, все вырисовывалось лишь в контурах и силуэтах, и за этими контурами и силуэтами угадывалась — не деревня, нет, это разумелось само собой, а та наша вековая (крестьянская) жизнь, та в трудах и борьбе за землю и хлеб история народа, в которой или из которой и складывался наш характер, наши традиции, понимание добра, свободы, чести, достоинства, справедливости, сочувствия и братства. Я стоял, в сущности, не перед деревней, а перед той жизнью, которая была вечной и без которой нет и не может быть ни народа, ни традиций, ни государственности, и конец аллеи представлялся мне водоразделом, отделявшим **эту**, к какой я причислял и себя, трудовую, крестьянскую жизнь от той, протекавшей праздно и в ложных страстях, с которой впервые так близко, лицом к лицу, столкнулся на мельнице. «Да ведь и она вечна», — подумал я, живо представив Угрова, Игоря Максимовича и Стригунову во всей той праздной откровенности, в какой только что видел их, и сама мысль эта, что, несмотря на тысячелетнюю борьбу с ложью, богатством и праздностью и несмотря на революцию, казалось бы, под корень подрубившую эти человеческие пороки, они оказались нетленными и живучими, — сама мысль эта заставляла холодеть меня. Я говорил себе, что вот куда надо идти — в народ, в народ — и писать, писать о нем, но

в то же время другой и тоже ясный голос предупреждал, что нельзя без внимания оставлять тех, кто на мельнице, потому что они начнут множиться и еще более подавлять и подминать под себя все. «Но в чем же тогда правда?—спрашивал я себя, как спрашиваю и теперь.—И есть ли она вообще в том законченном виде, в каком нам хотелось бы видеть ее?»

XXVIII

Так ли, иначе ли, свежий ли воздух с полей, деревенская ли тишина или просто наивысшая потребность человека, как сказано было первым из первейших наших классиков,—едва я добрался до кровати, как сейчас же заснул тем коротким глубоким утренним сном, на какой все мы бываем так способны в молодости, когда без оглядки растрачиваем силы и жизнь, как нечто неистощимое и вечное, и какой так редок и дорог становится нам потом, когда вдруг обнаруживаешь, что вот уже и седина в висках, и душевная усталость—все от той же жизни и от бесконечной борьбы в ней лишь за право быть на плаву, не говоря уже о том, чтобы совершить что-либо достойное, положенное от рождения человеку. В Москве с ее суетой, гулом и газами я только бы промучился после подобной возбужденности и на неделю, если не больше, был бы выбит из колеи (ведь не зря говорят, что творческая интеллигенция только и держится на снотворном), но здесь, в Лыкове, хотя я и спал-то всего, может, час или два, но когда поднялся, чувствовал себя отдохнувшим, бодрым, и пережитое за вечер и ночь не представлялось уже чем-то страшным и необычным. «Они и там, в Москве, постоянно играют в великих»,—подумал я, обернувшись на спавших Скоркова и Тишу (я не слышал, когда они пришли с мельницы), но имея в виду всех, кого видел вчера, и прежде всего Игоря Максимовича, который представлялся мне теперь не иначе как сидящим на пне в окружении свечей, словно в окружении славы, с младенческих будто бы лет сопровождавшей его. Правда, он еще не написал о себе, что, будучи в чреве матери, видел лес, дым, пальбу и ров с окровавленными в нем человеческими телами (или, к примеру, что в пятилетнем возрасте уже знал, что станет писателем), но ведь и то сказать, признания подобного рода уже существуют, а на новые, чтобы придумать их, нужны усилие и смелость. С иронической, в душе, усмешкой я опять посмотрел на Тишу и молодого Скоркова, на их безмятежные во сне лица и, чтобы не втянуться в размышления о них и не испортить с утра настроение себе, торопливо оделся и вышел во двор.

Есть десятки описаний ясного летнего утра, каким оно бывает у нас, в средней полосе России, и, думаю, вряд ли к тем десяткам стоит прибавлять еще, чтобы показать, что вот и ты тоже умеешь найти краски и выражения; но, как мне кажется, дело не в красках, а в том душевном состоянии, в каком человек смотрит на мир, и если говорить обо мне, то, как ни покажется странным и даже, может быть, необъяснимым (ведь столько было увидено, пережито и передумано за прошедшие вечер и ночь), у меня оно было вполне созвучно утру, то есть теплу, свету и солнцу, заливавшему двор и округу, и мне даже в голову не приходило выяснить, отчего так свободно и легко дышится, я лишь наслаждался той минутой душевного покоя, какие так редко теперь, по суетной нашей жизни, выпадают нам и осчастливливают нас. Да мне и сейчас не хотелось бы прерывать эту минуту объяснением—отчего и как было, а заключалось все, видимо, только в том, что точно так же, как для природы естественна смена дня и ночи, для человека естественной и необходимой является смена настроений, и как ни тяжело бывает горе, как ни мрачны мысли, но уже в самих тех мыслях зарождается надежда и, ширясь и раздвигая мрак, зовет к свету и деятельности. То, с чем я столкнулся на старой мельнице, я понимал, не было жизнью (в том широком толковании, как мы обычно привыкли воспринимать ее); ложь, обман, насилие, жестокость—да совместимо ли все это вообще с понятием «жизнь»? Жизнь—это заботы и труд народа, это хотя и слепая, но неизменная вера в торжество справедливости, так по крайней мере внушали нам со школьной скамьи, и соотношение между мирком мельницы и неохватным миром народной жизни, и неизменная, главное, вера в то, что силы добра всегда сильнее сил зла (иллюзия, ах, какая иллюзия!), как раз и образовывали

тот душевный свет, который, соединяясь со светом утра, отзывался гармонией и покоем. Так что не красками, не видом двора или деревенской улицы, уходившей к полям, реке и лесу, а свободой и легкостью чувств запомнилось мне то утро в Лыкове, когда я вышел во двор.

Я еще не знал, чем займусь, надо было прежде найти хозяйку, чтобы позавтракать, и в то время как, щурясь и пытаясь ладонью прикрыться от солнца, я смотрел на крыльцо, со стороны огорода вдруг послышались женские голоса, один из которых я сейчас же узнал, это был голос хозяйки, и почти тут же, обернувшись, увидел самою ее, входившую через калитку во двор с лопатами в руках. Лопаты были новые, и несла она их как-то странно, словно дрова, взятые с поленницы. За ней семенила старушка в длинной выцветшей юбке, которую Анастасия Федоровна, представляя мне, назвала Дусей. Обе женщины были возбуждены и говорили о какой-то находке, обнаруженной будто бы ими за сараем, в крапиве, то есть о тех самых лопатах, что были в руках у Анастасии Федоровны, но, увидев меня, как-то неожиданно смолкли, остановились и переглянулись между собой. Я не придал тогда значения этой их растерянности, даже испугу, словно и в самом деле в чем-то мог уличить их, как и лопатам и топорику, который тоже был в руках у Анастасии Федоровны и выглядел новеньким, только-только будто приобретенным в сельмаге или вынесенным со склада, и если чуть забежать вперед, то скажу, что я и теперь не могу простить себе этой беспечности. Ведь то были не просто лопаты, не просто топорик, странно затем исчезнувшие со двора, так что, знай Анастасия Федоровна классику, вполне могла бы воскликнуть: «Да были ли они? Может, их и не было вовсе!» То была улика, был ключ к разгадке всего, что нагнеталось вокруг Ивана Егорыча, но, как это и случается часто с людьми,—именно в тот момент, когда нужно, нас нет с нашими общественными целями; у меня и в мыслях не появилось спросить, что за лопаты и откуда они, тем более соединить эту находку с ободранной елью и ямой в саду у Ивана Егорыча, я был бодр, хорошо настроен, хотел есть, и ничто, кроме этого самоощущения, не интересовало меня. День только начинался, впереди предстояло что-то главное, на что надо было сберечь силы, и что мне было за дело до Анастасии Федоровны, ее лопат и соседки.

— Как бы насчет завтрака подсообразить!—весело и даже, может быть, заискивающе проговорил я, желая не столько выказать свое расположение к ней, сколько заручиться ее расположением к себе.—Было бы в самый раз, а?

Анастасия Федоровна опять переглянулась с соседкой и, сказав затем ей: «Ну ты ступай пока»,—направилась в дом, чтобы покормить меня. Лопаты и топорик оставила у крыльца, и когда, позавтракав, я выходил из дома, они еще лежали там, словно приготовленные для дела. Но, повторяю, мне было не до лопат, а запомнились они лишь потому, что на них была свежая ржа, и я обратил на нее внимание. Отсюда, от крыльца, они и исчезли потом, породив у Анастасии Федоровны немало нелепейших (по неосведомленности) догадок и предположений. Она заподозрила даже меня и смотрела на меня с недоверием, пока мы не объяснились. Но произошло это спустя уже дня два, когда она вдруг заговорила со мной о пропаже; тогда-то, слушая ее, я и понял, что это была улика, и прежде всего против Угрова, которого мне почему-то особенно хотелось уличить; но что же было терзаться, если в нужный момент не хватило ума; в полном неведении и с надеждой лишь на случайность, которая могла свести с Иваном Егорычем, я вышел от Анастасии Федоровны и невольно зашагал через площадь к привлекавшему меня дому.

XXIX

Но чем ближе подходил я к дому Ивана Егорыча, тем яснее сознавал, что бессмысленно было даже думать теперь, чтобы попасть к нему. Во-первых, было хотя уже и позднее (по деревенским понятиям), но все же утро, то есть то не подходящее для визитов время, когда можно вызвать лишь недовольство или раздражение у хозяев и уйти ни с чем (тем более что Иван Егорыч вполне мог еще спать после своего ночного похода

на мельницу), и, во-вторых, что, несомненно, представлялось мне главным и сдерживало меня, были обстоятельства — ободранная ель, яма, сплетни, угрозы и общее почти, на основании этих угроз и сплетен, недоброжелательство к нему, — при которых, я понимал, было ему не до встречи и разговора со мной; мне кажется, я даже чувствовал его раздражение и не только был солидарен с ним, но испытывал даже нечто, может быть, более агрессивное, что обычно подвигает людей к крайним мерам. «Кто они и кто он? — спрашивал я себя. — И откуда у них такое право?» Но мысленная храбрость, как думаю теперь, — это еще не храбрость; да, может, потому только я и позволил себе разгорячиться, что не было перед глазами ни Угрова, ни Стригуновой, ни Игоря Максимовича с его тяжелым, словно прокалывающим (из-под бровей) взглядом, улица была пуста, вокруг не раздавалось ни звука, а то, что возникало и жило в воображении, было управляемо и не страшно. Возле дома Ивана Егорыча я чуть замедлил шаг и приостановился. Ворота и калитка были заперты, но сквозь штакетник открывался двор, показавшийся мне странно безлюдным (наверное, и в самом деле хозяева еще спали), и видна была ель с белым, оголенным стволом; она так живо напомнила о вчерашнем, что я даже оглянулся, не стоят ли позади меня люди; но людей не было, все было тихо, как и минуту, и две назад, и чтобы не навлечь излишних на себя подозрений, а, главное, получить время еще и еще раз основательно продумать все, я двинулся дальше, к выходу из деревни, к полям и лесу, где наедине с собой в тени и прохладе как раз и можно было предаться столь необходимым для меня тогда размышлениям.

Но, думаю, вряд ли стоит теперь вдаваться в подробности той, в общем-то, примечательной прогулки, по-своему запомнившейся мне и оставившей массу впечатлений. То я стоял перед овсяным полем и воображение уносило меня в забытое как будто, но живое, живое в душе деревенское детство, в годы, когда мир, полный таинственности, добра и надежд, только лишь начинал открываться мальчишескому сердцу, и шелковистое море метелок, уходившее от ног к горизонту, точно так же, как оно завораживало тогда, завораживало и теперь, и не столько красотой и величием (для меня, например, нет ничего более впечатляющего, чем вид созревающих овсов), сколько той неизмеримой и могучей жизненной силой, какую так щедро, из века в век, дарит земля всему живому на ней. То вдруг, уже в лесу, на полянах, попадались стожки свежесметанного сена, и неказистый вид этих стожков, придавленных жердями, тоже заставлял останавливаться, как перед дверью, уводящей в историю, через которую надо же было пройти народу со всей своей самобытностью (и чтобы теперь ни за понюх табаку, как говорится, так безрассудно и безоглядно начать отказываться от нее); то за стожками уже и за поляной открывались могучие, саженно разбросавшие ветви дубы, то березняк, ситцево рябивший в глазах, и за частоколом этих белых в черную крапинку стволов, за высоким, густым и цветущим по опушке травостоем, ждущим косы, вдруг начинал поблескивать поворот реки, как зеркальце в руках наводящего зайчик мальчика; зайчик то слепил глаза, то исчезал по мере того, как углублялась или поднималась тропинка, и вместе с зайчиком исчезала река, а на смену березам опять уже выдвигались дубы, ели и сосны. Ну и что ж тут такого, может сказать читатель, подумаешь, невидаль: стожки, дубы, березы, сосны; да они повсюду у нас, куда ни пойди, и овсы — экая редкость, растут себе и растут, зреют и зреют, и что уж так умиляться ими? Не спорю, что ж умиляться, есть места и покрасивее, чем окрестности Лыкова, да и любой москвич, стоит лишь прокатиться ему на электричке до Апрелевки, или куда-нибудь за Люберцы, или в направлении Клязьминского водохранилища, как он сейчас же окажется среди дубов, берез, полян и стожков с их трогающей душу красотой (и историей), трогающей уже самой той жизнью, которая всегда, как и теперь, то с большими, то с меньшими, но с неизменными для простого человека трудностями протекала здесь. И, может быть, это и хорошо, что всюду и с детства сопровождают нас эти поля и леса с дубами, березами и елями и что, сколько бы мы ни присматривались к ним и ни привыкали, не можем привыкнуть так, чтобы не замечать; напротив, всякую весну, лето или зиму, когда все заметено снегом, они как будто обновленной красотой поражают нас и вызывают те самые чувства, какие пробудились во мне в этот летний день, когда, бродя по лесным тропинкам, я то выходил к созревавшим овсам, то к реке. Да и что еще, хотелось бы спросить, может так привязывать нас к отчим местам и роднить с историей, как не всемогущая красота земли (она у каждого народа своя), и я глубоко убежден, что до тех пор, пока не перестанем мы восторгаться ею, любить и обихаживать ее, пока не прекратим писать о ней как неизменной спутнице нашей жизни, мы будем оставаться людьми русскими, с русским характером, русской (для других) загадочностью и открытостью нашей души.

Трудно теперь сказать, как долго ходил я по лесу и какие в точности думы одолевали меня. Они были разными. То я с горячностью принимался рассуждать об Иване Егорыче, его подвижнических устремлениях и подвижничестве вообще, то переключался на Игоря Максимовича с его компанией, состоящей из угровых и стригуновых, которых, казалось, надо было еще разоблачать и разоблачать, то вдруг (и по неизъяснимой будто логике) все это, не получив завершения, обрывалось, и я начинал думать о жизни, как она протекала в народе, о той ее, в трудах и заботах, повседневности, из которой вышли мы, как выходили до нас и будут выходить после, чтобы вкусить от извечного людского плода трудов, надежд и обмана. Ничего нового, разумеется, в этих рассуждениях не было, так думали и думают многие, особенно когда что-либо не ладится в семье или в отношениях с людьми или просто от усталости, когда в изматывающей нас борьбе с трудностями мы начинаем ощущать недостаток сил; но так ли, иначе ли, а мысли эти, по-своему убаюкивающие сознание (причастность к общим страданиям всегда облегчает свои), в конце концов так захватили меня, что я не мог уже ни остановиться, ни изменить их. «Да нет же, нет, — как о чем-то только теперь вдруг открывшемся мне, говорил я, глядя на лес, поле и дорогу, уходившую одним концом к спуску к реке, другим — к избам деревни, навевавшим сочувствие и грусть. — Если и достойно писать о чем-то, то только об этой жизни, какою живет народ, о людях труда, которым все дается пòтом и кровью, а остальное — ложь, накипь, ржа, разъедающая общество, от которой тысячелетиями ищут и не могут найти спасения». Но что же тут нового, говорю себе теперь, и не кроется ли здесь (и не только за красивой фразой, но и за красивой мыслью) тот страшный обман, на который поддавались и поддаются одаренности из народа? Конечно, спору нет, народ достоин, чтобы о нем писать, но если только о нем, только о его труде, заботах, о величии его души, да не усугубляем ли мы этим то искусственное разделение общества на богатых и бедных, на народ, жизнь и устремления которого прекрасны и потому он должен (вечно!) замыкаться в себе, и на так называемые *свет и полусвет*, кто (по праву ли, не по праву ли) держит богатство, власть, чинит беззаконие, насилие и потому недостоин внимания; не закрепляем ли мы на века это вопиющее неравенство, воспевая только народ и, в сущности, оставляя его в неведении о той, другой сфере жизни, где только, как принято считать, пресыщенность, праздность и развращенность, и не создаются ли при этом как бы особые, парниковые условия для приумножения как раз этих омерзительнейших пороков (если не считать главного, что именно из того круга вожжами направляется жизнь)? «Нет, нет, — говорю я себе теперь, — все, что окружает нас, все должно рассматриваться в сочетании и взаимосвязи, и только тогда каждому будет отдано свое». Но, признаюсь, в Лыкове я думал иначе, и мне казалось, что не было ничего спасительнее для меня, чем обратиться к народной жизни. Жизнь та была рядом, была в этой же деревне, то есть в тех самых избах, на которые я смотрел, и стоило только принять решение, как сейчас же все эти игори максимовичи, угровы и стригуновы со всей их игрой на старой мельнице перестали бы существовать для меня; и когда я останавливался теперь, я останавливался уже как будто перед вопросом, принять или не принять это разом освободившее бы меня от ненужных забот и волнений решение.

Может быть, я так бы и поступил, если бы, прогуливаясь, не столкнулся на одной из полян с Игорем Максимовичем, разговор с которым настолько взволновал и ошеломил меня, что я и теперь, передавая его, не могу оставаться спокойным. В какие-то полчаса я услышал от него столько и такого (требующего осмысления), о чем прежде и понятия не имел, что подобное может существовать и руководить людьми. Передо

мной был совсем не тот Игорь Максимович, каким я видел его при свечах на мельнице, а словно подмененный, с иными, более откровенными и потому, может быть, более циничными мыслями, даже с иным будто выражением лица, но... лучше по порядку.

XXX

Он сидел с теневой стороны стожка, на пне, что, наверное, было его привычкой или по крайней мере показалось мне, что было привычкой (и на мельнице, и здесь все в одной позе); грузное туловище его со втянутой в плечи головой представлялось, как и вчера, чем-то будто единым с пнем, выраставшим из земли, и сколь бы ни выглядело неправдоподобным или преувеличенным это сравнение, но оно именно таким закрепилось в памяти, и я не могу уже вообразить Игоря Максимовича иначе, как на этом пьедестале с давно омертвелыми и разве что не до конца еще сгнившими (что тоже символично) в земле корнями. Но ведь в данном случае правда не в том, каким он представлялся другим (каждому по симпатии или антипатии к этому человеку), а в том, каким видел его я; и тут уж — не хочу ни пристраиваться, ни изменять что-либо; по общему, когда он окликнул меня, виду он показался мне еще более неприятным, чем накануне, и все отталкивающее в нем: крупный, мясистый нос, мясистые губы, копна плохо расчесанных седых волос на ушах и руки, укороченные от локтей и с пухлыми, как у духовного чина, пальцами, — все проступало еще отчетливее и характеризовало его. Рядом с ним, поминутно наклоняясь и что-то, видимо, объясняя ему, стоял Ефим Корняцкий, которого я тоже тут же узнал. Как и всегда бывает с такими людьми, привыкшими прислуживать и не мнившими себя вне этой роли (лишиться объекта преклонения, то есть защиты, как они думали, им было, наверное, страшнее, чем оказаться бездомным), Корняцкий не то чтобы сожалел о вчерашней своей дерзости, но был перепуган ею и, видно, не сомкнув глаз и обдумав все, объяснялся теперь с Игорем Максимовичем, каясь и заверяя его в своей преданности и любви к нему, о чем нетрудно было догадаться по лакейскому изгибу его спины и подобострастному взгляду. Я сейчас же понял, что тут происходило; и даже прежде, чем понял, ощутил отвращение и к Игорю Максимовичу, и еще более к Корняцкому, из-за чьей так называемой услужливости лишь и возникают всевозможные и на разных уровнях опекуны, благодетели и меценаты.

У меня не было желания разговаривать с ними. Поклоном головы поприветствовав их, я направился было дальше, но Игорь Максимович остановил меня.

— Погодите, — сказал он, — есть разговор к вам.

Затем как-то резко, как показалось мне, оборвал Корняцкого, даже слегка оттолкнул его и с проворством, не свойственным грузности, поднялся и подошел ко мне.

— Сперва натворят, а потом лезут: Игорь Максимович, Игорь Максимович... А что Игорь Максимович? Игорь Максимович никому не бог и не судья, а человек. Просто человек, — повторил он, обернувшись на Корняцкого. Но слова его явно были обращены ко мне и имели, как я понял, два предназначения: с одной стороны, он как бы жаловался на свое лидерство, как тяжело было нести ему это бремя, а с другой — чувствовал потребность обелиться за неучтивость к Корняцкому, и нападение в таких случаях, как известно, бывает лучшим способом защиты и оправдания. — Ведь знаем, что все бренно, все прах, тлен, а бьемся, хотим, ну не удивительно ли это? — переходя на откровенность, будто я был уже союзником его, проговорил он.

— Почему же? Пока хочу, живу, — невольно возразил я, перефразировав известное (то ли из латыни, то ли откуда-то еще, не помню) выражение.

— Все хотим, именно все, да и не помалу.
— Но разве можно упрекать человека за желание?
— Упрекать — нет, но императорское кресло всегда одно.
— А лучшей жизни?
— Разницы нет. Дело лишь в том, что нам всегда почему-то хочется поднять планку выше наших возможностей. Вы в деревню или к реке? — вдруг, перебив себя, спросил он.

— Да мне, собственно, все равно.

— Мне тоже, — сказал он, и мы, оставляя позади себя, у стожка, Корняцкого, зашагали не спеша в сторону деревни, то есть как раз в том направлении, в каком я только что шел, и куда, по-видимому, надо было и Игорю Максимовичу.

Некоторое время мы двигались молча, словно примериваясь к предстоящему разговору, в котором я даже отдаленно не представлял, какая роль отводилась мне; но какая бы ни отводилась, я опасался не спора с ним, потому что знал, что на всякое его слово имел свое, правдивое и убедительное, а опасался последствий, какие могли обрушиться на меня, если повздорю с этим человеком. Сколько бы я ни восторгался судьбой Ивана Егорыча, но очутиться в его положении мне не хотелось, и как ни покажется это читателю странным, но я не только не испытывал желания высказать Игорю Максимовичу, что знал и думал о нем (как полчаса назад, прогуливаясь, когда ничто реальное за подобное желание не угрожало мне), но, напротив, искал повод, чтобы, обменявшись какими-либо незначительными фразами, любезно распрощаться и разойтись. Но у Игоря Максимовича, как это и подтвердилось потом, были на сей счет свои планы; вопреки, может быть, всей своей предубежденности ко мне (и ради цели, о которой можно было лишь подозревать) он вдруг дружески взял меня под локоть и, сказав, что вполне догадывается, для чего я приехал в Лыково, и о мыслях, которые не разделяет, но и не собирается будто бы оспаривать («Не в моих правилах, да и вообще нельзя неволить творческую личность», — фарисейски заявил он, как если бы всю жизнь следовал только этому правилу), заговорил об интеллигенции, ее исторической роли и положении в мировом сообществе, как эти роль и положение виделись ему и из чего, как он полагал, каждый должен был сделать для себя вывод.

— Ведь это только красиво звучит, что все течет, все изменяется и в одну реку дважды войти нельзя, — после того, как определено было им, что никакой прогресс был бы невозможен без выдающихся личностей (а выдающиеся личности — это, по его мнению, и есть интеллигенция, вернее, лучшие представители ее), проговорил он, словами «дорогой мой» как бы подчеркнув ту особую доверительность, с какой обращался ко мне. Он не раз затем прибегал к этому приему, останавливаясь и приглядываясь ко мне; ему важно было, видимо, уловить действие, какое высказывания его производили на меня, так как я большей частью слушал, не возражая и не ввязываясь в спор. Да и возражать, в сущности, было пока нечему, он говорил логично, стройно, и минутами я даже ловил себя на том, что с интересом слушаю его. — Да, вполне возможно, что и нельзя дважды войти, — продолжал он, — потому что вода по какому-то там невидимому нам элементарному или химическому составу будет не та, как, впрочем, и века разделяются по своим социальным микроукладам, ну а если посмотреть примитивней, погрубей, что ли, реалистичней наконец, то есть ближе к истине, — все повторяется, именно повторяется, и вода точно так же либо освежает и бодрит нас, либо холодит, либо подхватывает и бросает на валуны, либо доставляет удовлетворение своим спокойным и ровным течением, и что нам до неизмеримо малых химических величин, когда элементарная, видимая, грубая, если хотите, по отношению к народу, к людям вообще, жизнь остается по основным своим параметрам столь же неизменной, — потребность любви, труда, свободы, власти, жестокости и прощения, — как и вода в любой реке, в какую, как хотел заверить нас философ, дважды войти нельзя. Не оттого ли, что мы слепо приняли это изречение и поверили в него, мы на протяжении всей обозримой истории только и делаем, что ищем, как бы открыть новую, в социальном и нравственном планах, Америку, тогда как и всего-то надо лишь оглянуться и усвоить соответствующие уроки. Все было, все, все, и даже это, о чем говорим, не раз повторялось и в прошлом, и в еще прошлом столетиях, как и во времена Плутарха и, наверное, за тысячу лет до него. Но к чему я это? — Он опять остановился, чтобы посмотреть на меня. — А к тому, что и мы с вами, да, да, мы — мы находимся в том же пространственном измерении, в той же, если хотите, реке жизни, что текла и тысячи лет

назад, может быть, лишь с несколько иным составом примесей, и все человеческие достоинства, пороки, страсти, наклонности, как они проявлялись тогда, проявляются и теперь. В то время как одним, как Цицерону, отрезали за филиппики головы...

— За правду,— поправил я, почувствовав, что затрагивалось что-то важное, относящееся и к нашей жизни.

— За филиппики...

— За правду,— вновь и настойчивей произнес я.

— Ну хорошо,— согласился Игорь Максимович и при этом не без удивления взглянул на меня, потому что в его представлении я ломился, наверное, в открытую дверь; и все-таки я почувствовал, что подобное вмешательство мое было приятно ему, он слегка усмехнулся той внутренней усмешкой, какою обычно усмехаются лишь люди, обманно и с легкостью добившиеся успеха, и, чтобы не снижать темпа разговора, главное же, думаю, чтобы сгладить впечатление от этой своей усмешки (чего, впрочем, вполне удалось достичь ему), торопливо продолжил: — Ну хорошо, хорошо, скажем так: за справедливую критику, чтобы уж совсем по-современному, устраивает? Так вот, одних за эту самую критику заставляли умолкать навсегда, как было и до Цицерона, и при нем, с ним и после, во все века, не исключая и наш, двадцатый. Вы понимаете, конечно, о чем я?— добавил он, многозначительно обернувшись ко мне. Тогда не принято было еще во всеуслышание произносить имена писателей и деятелей, насильственно (в тридцатые годы и позже) отторгнутых от литературы и политики, и мы лишь переглянулись, чтобы сверить ход наших мыслей.— Другие же,— выждав и удостоверившись именно, что понимаем одинаково, снова начал Игорь Максимович,— творили и процветали...

— На лжи,— опять уточнил я.

— И на ней, разумеется, но и не только,— все так же мягко возразил он. Надо сказать, он дал мне тогда прекраснейший урок выдержки и умения вести разговор.— Разве наша да и мировая классика, все мировое наследие основано на лжи? Не-ет, дорогой мой, нет и нет, мне кажется, ни у кого не повернется язык утверждать это. Но тогда в чем же, задаю себе вопрос, причина, что одни не смогли, а другие создавали и оставили нам шедевры? Да потому, наверное, что эти другие знали, что, входя в жизнь, они входят в ту же реку, в какую входили до них и будут входить после; они, может быть, с пеленок уже были сориентированы в пространстве времен, нравов и поколений, вам не приходило подобное в голову? Конечно же, нет,— подтвердил он, вполне убежденный, что сказанное им было для меня открытием и что я не мог иначе, чем отрицательно, ответить ему. Но он и в самом деле был недалек от истины, и если когда-либо я и думал об этом, то лишь в том общепринятом плане, что только народ и время выдвигают таланты, как мы привыкли думать вообще (и обо всем!), прибегая к этим всеохватным и потому будто бы неопровержимым понятиям.— Нет,— повторил он.— Мы не то чтобы с пеленок, но и у последней черты, оставшись без зубов и без волос, пребываем все в том же неведении, как слепцы, не сумевшие найти должного поводыря. Но чтобы сориентироваться в этом пространстве времен, нравов и поколений, а пространство таковое, повторяю, есть, как бы мы ни пытались опровергать или отрицать его, надо по крайней мере хоть как-то представлять его. Я тоже, разумеется, всего не знаю, да и у разных категорий людей, видимо, своя ориентация. Но что касается интеллигенции... Вот послушайте, что я вам расскажу,— сказал он, совсем уже остановившись и со вниманием посмотрев на меня.

XXXI

Интеллигенция, насколько верно я понял из того, о чем начал говорить Игорь Максимович, всегда находилась, как, впрочем, находится и теперь, между двумя постоянно вращающимися жерновами, один из которых — народ, требующий (в большинстве своем) внимания лишь к сиюминутным, то есть повседневным проблемам жизни, и второй — не верхá, нет, не власть, а поставленное властью начальство руководить всем и вся, которое обычно жестче, чем сама власть, бдит ее интересы; и чтобы нагляднее представить это, он сослался на письмо болгарского царя Фердинанда своему сыну Борису, унаследовавшему престол, написанное будто бы еще в начале века, которое показали ему историки в Софии и в котором царь-отец, излагая неслыханные по откровению и цинизму свои наставления, прямо ссылался на общепринятый, по крайней мере в европейских монархиях, опыт власти. Исходя из этого опыта, вернее, из того, что опасны в государстве не дураки служаки, умеющие лишь поддержать в казарме порядок, а люди умные и деятельные, то есть мыслящая интеллигенция, молодому царю предписывалось назначать на узловые посты в армии ли, в сфере экономики, в науке или искусстве лишь людей ограниченных, с тупым, прямолинейным видением мира; уже в силу своей посредственности и тупости (и верности службе, разумеется) они не позволят развернуться мыслящей интеллигенции, начнут притеснять ее, интеллигенция кинется искать защиты, и тут-то в роли заступника и благодетеля и должен выступить царь. Он для видимости журит служак, которых, в сущности, надо бы гнать с постов и отдавать под суд за их деятельность против народа и государства, для видимости же принимает и выслушивает тех, кто хочет добиться справедливости и правды, и даже пытается (в меру возможностей, потому что закон, дескать, выше носителя короны) помочь этой стремящейся попасть в приемную публике, и чем чаще будет повторяться «пожурил-поддержал», «пожурил-поддержал», тем надежней (среди защищенной именно таким образом интеллигенции) будет укрепляться за молодым царем слава защитника, отца родного, и тем больше появится у него возможностей поставить все мыслящее и деятельное в стране под свой контроль. Служак можно время от времени заменять — одних на других, столь же ретивых, тупых и жестоких; к интеллигенции же — неусыпно и каждодневно присматриваться, умных и покладистых поощрять, приближать, а непокладистых оставлять в забвении, пусть пишут, сочиняют, творят, но без выхода на общественную арену жизни они никто.

— Вот уж воистину цинизму предела нет,— проговорил он, опять дружески беря меня под локоть и продолжая движение.

— Наверное, написать все можно, бумага вытерпит,— невольно вставил я, не вполне еще понимая, для чего была рассказана мне вся эта история с монаршим письмом и что следовало извлечь из нее.— Если бы мы готовились к власти...

— Нет, нет и нет, вы не поняли меня,— перебил Игорь Максимович.— Дело не в наставлениях, а в той страшной сути, которая... Разве она не открылась вам? Ведь царь Фердинанд изложил только то, что существовало и существует и чего нельзя изменить. Одно — для власти, если она хочет держаться и укреплять себя, другое — пятачок пространства для интеллигенции, на котором ей лишь и разрешено действовать. Ужасно? Да, согласен. Ужасно тем, что такова жизнь, которую нам предстоит осознать и принять. Но ведь мы всякую реальность прежде встречаем в штыки и лишь потом, когда уже нельзя не принять, идем на жертвы, принимаем и теряем во стократ больше, чем могли бы. Я не уговариваю, нет, и не навязываю, а только констатирую: вот он, пятачок пространства, и если мы действительно хотим чего-то достичь в этом мире, мы не можем не считаться с его реальностью,— заключил он.

Не могу сказать, насколько Игорь Максимович был искренен со мной в эти минуты (и способны ли вообще подобные люди на искренность?), хотя что-то человеческое, может быть, и пробудилось в нем, когда он заговорил о неизменной реальности мира; видимо, более чем кто-либо, он сам чувствовал себя на этом означенном «пятачке», на котором, по его мнению (и во все времена!), так неуютно жилось мыслящей интеллигенции, но возможно, это был всего только ход, только предисловие к чему-то, о чем собирался сообщить мне и что должно было произвести на меня определенное, нужное ему впечатление; скорее всего, что так, наверное, все и задумывалось и получило бы завершение, если бы разговор наш вдруг не принял совершенно иной характер и растерявшийся (от такого поворота) Игорь Максимович не наговорил бы тех резкостей, на которые я тоже должен был ответить столь же резко, со злой и непримиримой откровенностью. А началось все с того, что я совсем по-иному воспринял рассказ Игоря Максимовича. В то время как он говорил о некоем будто бы пространстве времен, нравов и поколений и приводил (для подтверждения своих доводов) письмо царя Фердинанда, то есть в то время, как

я должен был, по представлению Игоря Максимовича, думать о той (во вселенском масштабе) ориентации, которая одна лишь способна привести творческую личность ко всемирной известности и славе, — по странной, может быть, случайности, мысли мои получили совсем другое направление, и я думал не о достижении славы, а о том, что вся эта выстроенная (с помощью монаршего письма) система жизни и в самом деле была близка к действительности. «Властное, но дурное начальство; дельные, но придавленные подчиненные; да мне кажется, сколько я живу и помню, столько и твердим об этом и задаем наивный вопрос: отчего так происходит и кому это выгодно? — с каким-то будто даже удовлетворением подумал я. — Власти, власти, чтобы держаться и утверждать себя!» И я даже как-то поиовому будто взглянул на ту же самую жизнь, которая окружала меня теперь и окружала прежде, когда служил в армии и когда затем, работая иа гражданке: в райземотделе, в тресте, в газете, — сталкивался с одним и тем же явлением, ныне именуемым чиновным чванством и бюрократизмом (как будто раньше и само явление это было иным и называлось по-иному), которому и впрямь с точки зрения здравого смысла трудно найти объяснение. При намечавшемся уже в то время общем и неуклонном оскудении в стране, когда любое живое дело или даже просто мысль могли бы принести пользу и оздоровить экономику, а вместе с ней и общество, — в начальственных кабинетах почти на всех уровнях царило то страииое, если не сказать больше, благодушие, словно лицам, занимавшим высокие кресла, не то чтобы не было дела до народа (такое в истории случалось, и не раз), но не было дела до будущего страны, которой они взялись управлять; лжецы, подхалимы (даже в партии) шли по служебной лестнице вверх, образуя круговую поруку, а кто пытался хоть как-то проявить себя, обкладывался глухой стеной умолчания (это в лучшем случае) или, доведенный до инфаркта, попадал в больницу и выходил оттуда уже сломленным, немощным, иеспособным ни на что. Мне могут возразить, что не все было так однозначно, что и в начальственных кабиметах находились такие, кто радел за общее дело; ио исчислялись они единицами, да и усилия их тонули в застое и затхлости, тогда как э т и, что в большинстве, — эти стояли не только над мыслящей интеллигенцией, ио и иад народом, поучая и понукая его и придавая целостность и законченность общей картине жизни.

Разумеется, было бы неверно полагать, что именно вот так стройно и складно, как написалось теперь, я думал тогда, идя рядом с Игорем Максимовичем; возможность усилить и обобщить всегда приходит позднее, большей частью — в кабинетной тиши и перед чистым листом бумаги; тут и конкретное, и общее — все перемешивается и соединяется во всеохватный (выношенный и выстраданный, как могут затем сказать о нем критики) образ социальных и нравственных отношений, какой создается не днем, не часом, а годами раздумий и событиями и явлениями, происходящими вокруг. Но тогда, на тропинке, мне представлялось все в совершенно конкретных столкновениях и лицах, я мысленно перебрал всех тех начальииков (с характеристиками их), с которыми судьба так ли, иначе ли сводила меня, и если не вдаюсь теперь в подробности, то лишь потому, что, во-первых, один перечень методов, какими они действовали, занял бы не менее полусотни страниц и затянул действие, и, во-вторых и главное — от убежденности, что нет у нас человека (а по отношению к рукописи, то читателя), который бы хоть раз в жизни не столкнулся с комчванством или бюрократизмом и не вынес бы своего мнения об этом перекосе жизни. Если хотите, я даже как-то по-иному будто взглянул и на наш творческий союз, на творческие союзы вообще, на издательства, редакции, всевозможные комитеты, подкомитеты, секции и комиссии, вокруг которых, как это кажется многим, только и сосредоточена жизнь и в деятельности которых, может быть, яснее, чем в какой-либо еще, видны и теперь белые нитки монарших наставлений; искоса посматривал я и на Игоря Максимовича, одного из главнейших, как мне представлялось, носителей столь откровенно изложенного им порока, и что-то тяжелое и неотвратимое в эти мгновенья поднималось во мне против этого человека, против зла и насилия вообще, отравлявших жизнь справедливым и честным людям. Я чувствовал себя словно опущенным в какую-то зловонную жижу, не столько даже в мнимую, сколько в действительную, и хотя, если быть откровенным, Игорь Максимович всего лишь чуть приоткрыл занавес над тем, что реально существовало и действовало и его не в чем было как будто ни обвинить, ни упрекнуть, но именно потому, что приоткрытое было жижей, которую мы обычно обходим стороной, чтобы не замараться и не растревожить ее, недовольство и возмущение возникало против него, словно, не будь его высказываний, все в жизни и на душе оставалось бы спокойным, приемлемым и тихим.

Да, хотелось возразить, но я не видел зацепки, на что именно, и чувствовал, что теперь любое неосторожно оброненное с его стороны слово могло вызвать во мне бурю негодования; и этим неосторожным словом явилось слово «народ», которым (после молчания) и начал свой новый разговор Игорь Максимович.

XXXII

— У народа, кстати, и подобного пятачка нет, — сказал он. — Да в чем, собственно, ему ориентироваться?

— У народа? — спросил я, остановившись и отстраняясь от него. — У народа есть то, что ему нужно для жизни, и ие надо только ничего отнимать у него.

— Да полно вам: «есть, есть...» В историческом плане у народа только одно предназначение: всегда оставаться народом.

— То, чего не дано понять нам, нельзя трогать, — возразил я, видимо, тем не оставлявшим сомнения (относительно своих убеждений) тоном, который не мог не почувствовать Игорь Максимович и не отреагировать на него.

— Вы что хотите этим сказать? — произнес он, кладя на меня тяжелый, из-под бровей, взгляд и как бы примериваясь (этим своим взглядом), с какой стороны вернее (словом, разумеется) уничтожить меня. — Если не дано понять вам, то держите это при себе и не распространяйте на других. Для вас народ — это идеал, и весь ваш материализм по отношению к предмету разговора, — четко, как он умел, когда видел необходимость защитить свои интересы, заговорил Игорь Максимович, споря уже, в сущности, не со мной, а с тем не принимаемым им направлением в изучении иародной жизни, какое (неофициально, конечно же, а лишь по его предположению) возглавлялось Иваном Егорычем и к какому, как я сейчас же понял, Игорь Максимович причислял и меня. — Весь ваш материализм по отношению к предмету разговора основан на фразерстве, иллюзиях и представлениях и не имеет ничего общего с реальным положением вещей. — Он нападал на Ивана Егорыча, на все э т о направление точно с тех же как будто позиций, с каких Иван Егорыч и согласные с ним, в том числе и я, готовы были предъявить свои претензии ему, то есть тем, кто стоял за Игорем Максимовичем, и это было так неожиданно и настолько изумило меня, что я несколько даже растерялся и не сразу нашел, что ответить известному критику. Между тем, видя мою растерянность и желая еще сильнее придавить меня, он продолжал: — Стоя на земле, вы хотите найти пашню в небе. Но это смешно, поверьте мне, если не сказать больше. Вы же не слепцы, чтобы не видеть истории. — И он опять повторил понравившееся, как видно, ему выражение об извечном предназначении народа.

— Значит, если я вас правильно понял, — сказал я, — вы не оставляете народу ничего, кроме как быть чернью?

— Не я, голубчик. История! Да углубитесь в нее, углубитесь, — сказал он. — Что вы на меня так смотрите? — И с ехидцей человека, обманно одержавшего в споре верх (будто об ином исходе не могло быть и речи), он примирительно похлопал меня по плечу и добавил: — Сориентированность — великая вещь, да, да и да, великая и необходимая.

Жестом пригласив продолжать движение, так как «дружески» взять под локоть было теперь уже, наверное, выше его сил, он пошел чуть впереди, переваливаясь туловищем с боку на бок на своих коротких ногах, и все то неприятное, что так остро поразило меня накануне на мельнице, когда я увидел его сидящим на пне перед жерновами в окружении горевших свечей, вновь было словно бы обнажено передо мной; и хотя я видел лишь спину, затылок и шею с наплывами жира и не видел выра-

жения лица, но и этого было достаточно, чтобы испытывать то глубокое к этому человеку отвращение, которое, если рассудить разумно, основывалось, конечно же, не на внешнем облике, а на так называемой литературной деятельности, которую он вел в Москве и проводил здесь по отношению к Ивану Егорычу. Все, что знал я и что доносила молва о нем, все с живостью предстало перед глазами, и было мгновение, когда я готов был уже, бросив ему что-либо резкое и оскорбительное, повернуться и уйти, но не решился и, думаю, правильно, что не решился, иначе бы разговор наш так и остался неоконченным и я не узнал бы еще многое и многое, что только одно могло раскрыть истинную сущность этого человека. Мне не раз приходилось слышать о целительном свойстве природы, будто бы она действует сильнее, чем любое успокоительное лекарство. «Может быть, может быть», — отвечал я, как отвечают, наверное, обычно скептики, не желающие выказать свой скептицизм, да ведь и о чем только не говорят теперь и каких только не предлагают средств для защиты от обилия информации, перегрузок и стрессов, тогда как, если оглянуться, жизнь, как она текла прежде, течет и теперь — в жалобах на темп, суету и в склонностях к лени и праздности; но, как я полагаю теперь, у природы действительно-таки есть великое лечебное свойство, и заключено оно, как ни покажется это странным, в ее безучастности к людским страданиям, заботам и распрям; лес, по которому мы шли с Игорем Максимовичем, был как раз наполнен этой своей и безучастной к нам жизнью, и в то время как я поднимал взгляд на листву, или опускал на тропинку, или оборачивался на полоску реки, открывавшуюся с откоса, вдруг и словно бы совершенно ясно начинал слышать музыку этой замкнутой в себе лесной жизни, и вместо только что обуревавших злых мыслей, вместо недовольства и желания оскорбить оскорбителя (как там по Библии: око за око, зуб за зуб), — вместо этого примитивного, хотя и естественного и по-человечески понятного чувства возникало другое, располагавшее к спокойствию и раздумьям. «В конце концов кто он? — спрашивал я себя, вновь и вновь переводя взгляд на затылок и спину Игоря Максимовича, но теперь уже словно бы не видя ни его грузности, ни жировых наплывов, а стараясь как бы раскрыть для себя его душу и заглянуть в нее. — О чем он думает, и что вообще движет этим человеком, какие цели и убеждения? Неужели ложь, обман, жестокость, насилие никогда не тяготили его и он не испытывал радости от содеянного добра людям или восстановленной справедливости?» Тем временем безучастная к людским судьбам природа, то есть лес, по которому мы продолжали идти, был весь словно дождем пронизан струями цедившегося сквозь листву солнца, и все живое на ветках и внизу, на земле, — все тянулось к этим струям, и мне вдруг показалось, что не так ли и мир людской, охваченный своими заботами, всегда остается глух и безучастен к отдельным судьбам, сколь бы ни была велика заслуга перед обществом этих отдельных личностей. «Да, да, разобщенность и безучастность — вот в чем наша беда и слабость!» — восклицал я про себя, незаметно переходя на этот новый и еще более волнующий (уже общими проблемами) виток мыслей при совершенном внешнем спокойствии и умиротворении.

Мы продолжали шагать, как поссорившиеся, Игорь Максимович не оборачивался и не начинал разговор, у меня тоже не было желания окликать его, и, не знаю, сколько бы еще мы прошагали так, в молчании, если бы вдруг не вышли к развилке и если бы со стороны реки к этой же развилке (одновременно с нами и словно бы по договоренности) не подошли прогуливавшиеся, видимо, здесь, Стригунова и Соев, тот самый искусствовед — соперник Игоря Максимовича вправе главенствовать среди лыковской (мельничной) публики, — о котором несколько раз вчера и лестно, и нелестно, как слуга двух господ, упоминал Тиша; и хотя я никогда прежде не видел Соева, но по какому-то тому странному чувству, сейчас же охватившему меня, которое не поддается объяснению, я не то чтобы догадался, а точно понял, что это был именно он, негласный (и соперничающий) лидер достаточно большого, разветвленного и по-своему могущественного клана. Он был худ, как худы бывают язвенники или страдающие каким-либо еще хроническим заболеванием, и в этом смысле являл собой полную и будто нарочитую, как может подумать читатель, противоположность своему противнику; лицо его, сухое и морщинистое, украшала распространенная теперь плехановская бородка, уши были завешены клочками редких и седеющих уже волос, но, несмотря на эту очевидную (по внешнему виду) несхожесть с критиком, он был в то же время (по тем же внешним признакам) чем-то похож на него, так что человеку незнакомому они вполне могли показаться если не братьями, то очень и очень близкими по крови родственниками. Над крупными соевскими глазами нависали черные и по-молодому густые еще брови, и посмотрел он на меня из-под этих своих бровей столь же тяжело и с пытливостью, как только что Игорь Максимович, когда преподносил урок об историческом предназначении народа в общих масштабах жизни.

Слегка поклонившись Соеву и обменявшись рукопожатием с ним, Игорь Максимович поцеловал затем руку Стригуновой и, не без намека заметив ей: «Гуляем, все гуляем», — вновь повернулся к Соеву и сказал:

— Жаль, что вы не пришли вчера.

— Да вот разыгралась...

— Плюньте вы на вашу язву, — в то время как Соев еще хлопал себя ладонью по животу, возразил Игорь Максимович. — Но ваш протеже? Хорош, хорош, — чтобы переменить тему, произнес он. — Хотя я, правда, не успел как следует рассмотреть его картин, но... некоторые полагают, что их не обязательно смотреть, о них достаточно услышать. — Что относилось уже к Стригуновой и было тем утонченным упреком (что, дескать, вот он помнит и ценит все, о чем она говорит), какой именно сейчас и именно здесь уместно было, как он считал, высказать ей.

— А вы сегодня в ударе, — заметила Стригунова, улыбнувшись ему.

Как и в минувшую ночь на мельнице, она была всё в той же узкой с разрезом на боку белой юбке, но без пиджака и сумочки; волосы ее были аккуратно причесаны, и я обратил на них внимание потому, что мне живо представились вчерашние былинки сена, которые были в ее волосах (и при виде которых я так раздраженно произнес: «Не остыв, не обобрав сена с себя, явилась для общественных дел!»); мне так захотелось повторить эту фразу, что я невольно принялся искать на ней те вчерашние былинки и, увлекшись, не заметил, как Игорь Максимович, что-то сказав Соеву о нашей беседе (что-то, видимо, в оправдание свое), решительно и всем туловищем повернулся в мою сторону и вкрадчиво и с язвительностью, желая как можно сильнее унизить меня, как раз и начал произносить то, чему я не только тогда, но и теперь не могу найти полного и ясного объяснения.

XXXIII

— Достоевский, — произнес он, — если вы помните его знаменитых «Бесов», предрекал, в сущности, два направления в развитии русского народа и России. И хотя оба они носят несколько религиозный характер, но смысл, заложенный в них, смысл этот выше всякой религии. Так вот, первый путь: все мы настолько погрязнем в пороках, что уже не пороки из нас... в свиней, как там по Библии, а мы сами вместе с пороками будем «проситься войти» в этих животных. Да, да, «мы, мы, и те, и Петруша... et les autres avec lui», то есть и другие вместе с нами, заметьте, я почти цитирую это место. Цитирую, — для убедительности подтвердил он. — И второй: вера в Великую Мысль и великое предназначение русского народа и России. Ну, может, несколько и не так, тут я по памяти, — заметил он, оберегаясь от упрека, что высказывает не столько мысли автора «Бесов», сколько свои. — Да и кто только не пишет сегодня о великом предназначении русского народа и России, — добавил он. — Так вот, что касается первого пути, то есть поголовного и всеобщего освинячивания, не знаю, не берусь судить, хотя, думаю, надо бы присмотреться к пророчеству, но относительно второго, которому, как я понял, поклоняетесь и вы, могу сказать, что никто и никогда не отводил русскому народу и России некоей особой роли, кроме как быть задницей Европы.

— Как, как ты сказал? — удивленно переспросил Соев.

— Задницей Европы, то есть тем мягким местом, в которое можно было бы постоянно пинать. И пинают кому не лень, столетиями пинают и будут пинать, пока стоит мир, потому что — иначе нельзя! Какой же это мир без «стрелочника», без козла отпущения? А вы: «народ, предназна-

чение...» Извините, — чтобы не сказать большего, проговорил он и, взяв под руки Стригунову и Соева, направился с ними вниз по тропинке, к реке, продолжая еще что-то произносить, не относившееся уже, видимо, к только что сказанному и вызывавшее возгласы и смех у Стригуновой и Соева.

Лишь несколько отойдя, он обернулся и крикнул:

— Мы еще вернемся к нашему разговору! — И почти сейчас же все трое скрылись за поворотом тропинки, словно их и не было вовсе: ни Игоря Максимовича, ни Соева, ни Стригуновой с их странно веселым, загадочным и чуждым мне миром, который, как и в ту минуту, остается непостижимым для меня и теперь; непостижимым в самой основе их бытия, их устремлений и целей по отношению к усилиям народа и государства.

Раз за разом оглушенный дважды, я стоял среди леса, на тропинке, и не знал, что предпринять; ведь, в сущности, я не успел даже подумать, что ответить Игорю Максимовичу на его «освинячивание» и «мягкое место», как он уже удалился вместе со свидетелями этой унизительной для меня сцены; унизительной тем, что даже не соизволил выслушать мое возражение, показав тем самым свое полное, перед друзьями, пренебрежение ко мне. Разумеется, слова — это еще не дело, да и мало ли о чем не говорят теперь у нас; но в данном случае, то есть в случае с Игорем Максимовичем, я понимал, было иное, тут, как ни странно, слово менее всего расходилось с делом и за каждым высказыванием стояло какое-то определенное явление, которое и хотелось мне увидеть, разгадать и предупредить. «Всеобщее и полное «освинячивание»... — вгорячах еще повторил я. — Да от кого оно? От вас же, от вас!» Но высказать это вслух было некому, и я двинулся дальше, в сторону деревни, испытывая лишь одно желание: поскорее где-либо присесть и разобраться в мыслях. А разобраться и в самом деле было в чем. Во-первых, Игорь Максимович (по наивности ли, или по убеждению) исказил самую суть беспаловских исследований и приписал им то идеалистическое направление, против которого как раз и боролся ученый-энтузиаст, и, во-вторых, довольно странные, если не сказать больше, рассуждения его (с привлечением «Бесов») о том, какая роль (и кем, главное, кем?) была отведена будто бы русскому народу и России вообще в мировом процессе истории. Хочу заметить, что люди обычно редко когда думают столь высокими категориями, а если и думают, то упрощеннее, чище, доброжелательней, что ли, и с непременной надеждой на справедливость и верой в нее; то, о чем думал я не только перед этой встречей с Игорем Максимовичем, но вообще перед приездом сюда, хотя и носило некий масштабный будто характер, но, по сути, было приземленным, было — о том конкретном, то есть повседневном и будничном, что тревожило и продолжает тревожить всех и заключено в общем и неуклонном (особенно в последние годы) оскудении жизни; причина же, как и Беспалову, мне представлялась в том, что мы неверно трактовали понятия «народ» и «народная жизнь» и не знали ни о его действительных нуждах и чаяниях, ни о тех естественных в нем началах, от которых только и зависит предприимчивость и активность (иногда приходил в голову и такой вывод, что не по этой ли нашей слепоте нарушилась нравственная связь человека не только с землей, но и с жизнью, всегда прежде осуществлявшаяся через дом и семью); но эту свою приземленность, я чувствовал, не к чему было приложить, и в то время как мне казалось, что я искал место, где бы присесть и отдохнуть, в сущности же, останавливаясь и оглядываясь, искал выход из того тупика мыслей, в каком так неожиданно и так оглушенно и нелепо оказался.

Перед березняком, на поляне, я наконец остановился. Где-то недалеко, за частоколом стволов, я знал, начиналась деревня, но мне более чем когда-либо не хотелось теперь являться нá люди, хотя, сказать к слову, кого можно было встретить в этот поздний послеобеденный час на деревенской улице? Но, повторяю, мне казалось, что там, где избы, там непременно народ, а по беспорядочности и разбросу мыслей я напоминал себе человека, только что поднявшегося с постели, и, естественно, в таком взъерошенном виде мне не хотелось представать перед кем-либо, особенно перед Иваном Егорычем, мимо дома которого так ли, иначе ли предстояло пройти. Я полагал (по какому-то словно предчувствию, в которое верил), что непременно встречусь с Иваном Егорычем у ворот его дома и что именно с этого и начнется наше знакомство, однако скажу, что произошло все, конечно, не так и, к счастью, не в этот сложный для меня день. Но наберемся терпения. Я тоже ничего еще не знал, стоя тогда на поляне, перед березняком, и лишь невольно поддавался тому исцелительному воздействию природы, какое она, то есть лес, трава, небо, солнце и тишина, оказывала на меня. Недалеко от тропинки лежала когда-то давно, видимо, поваленная бурей береза; она была так стара, что не только кора, изъеденная всевозможными червями, но и большинство ветвей подгнили и опали с нее, так что надо было еще осмотреться, чтобы безопасно умоститься на ней. Умостившись же, я принялся бездумно смотреть перед собой на мир цветов, шмелей и бабочек, летавших вокруг, во всяком случае, мне так запомнилось, что бездумно, тогда как та работа мыслей, которая происходит в нас всегда, лишь чуть затормаживаясь или, напротив, набирая ход, продолжала происходить во мне, и в какое-то мгновение, вдруг, как случается, может быть, только с действительно прозревшими людьми, я даже вскочил от изумления: так просто, оказывается, открывался ларчик! «Да он шулер, — сказал я себе, имея в виду Игоря Максимовича. — Он знает и понимает действительность не хуже Беспалова, а может, даже лучше и только подтасовывает факты. Это мы-то идеалисты, а он реалист? Это мы-то за существующий порядок вещей, а он против? Какое кощунство, какое шарлатанство, на что он рассчитывает? — продолжал я. Я действительно воспринял это как открытие, хотя всего лишь стоял возле лестницы, по которой восходила вся зловещая летопись его дел; но для меня и первой ступени, возле которой оказался, было достаточно, чтобы возмущаться и негодовать. «Шулер», — повторял я, застопорившись на этом всеохватном будто понятии, каким только и можно было охарактеризовать Игоря Максимовича. Он представлялся мне чудовищем, от которого надо было спасать людей, и прежде всего Беспалова. Вспоминал я в эти минуты и о Корняцком, которого было откровенно жаль, но душевный запал, как думаю теперь, был лишь пустым выстрелом. Я, в сущности, открыл лишь то, что и прежде знал за Игорем Максимовичем, и только, может быть, не испытав на себе, не придавал значения, как, впрочем, не придавали значения многие, кто смог уберечься от соприкосновения с ним. Но ведь дело было даже не в Игоре Максимовиче, вернее, не столько в нем, сколько во всем том многочисленном и далеко не литературном в литературе движении, опиравшемся на писателей так называемой средней руки, которым, во-первых, несть числа и которые, во-вторых, лишь за одно обещание поддержать их готовы кому угодно и сколько угодно набросать при голосовании «за» и «против», — в этом именно многочисленном, разветвленном и поражающем по скоординированности действий движении, которому силам разумным не то что трудно, но иногда просто невозможно противостоять.

«Вот жук, ну жук, ну делец», — уже чуть остывая, продолжал я, прохаживаясь мимо изъеденного червями ствола березы, приминая траву и не замечая ни времени, ни того, что происходило вокруг; когда Угров, направлявшийся вместе с молодым Скорковым на речку, с тропинки окликнул меня, я долго не мог сообразить, откуда он здесь и что ему от меня нужно.

XXXIV

Все, что произошло дальше, было второстепенным, и, мне кажется, нет нужды подробно описывать, как Тиша буквально уволок меня на речку, неумолчно рассказывая то анекдоты, которых (в чем, в чем, а в этом память никогда не изменяла ему) он знал массу, то какие-то истории, случавшиеся непонятно с кем: с ним ли, с кем ли еще, кого нельзя было назвать по определенным соображениям; как ели малину, а затем черную смородину, принесенную по чьему-то заказу прямо на пляж, а вечером, уже при электрическом свете, — сидели у Анастасии Федоровны, и она кормила нас (по просьбе Тиши и за особую, разумеется, плату) варениками с творогом, облитыми густой сметаной; она приносила их прямо в дуршлаге сцеженными и дымящимися и вываливала на блюдо перед нами. Тиша и особенно Скорков, не переживший еще, как видно, вчерашнего своего успеха, были возбуждены, веселы и то и дело старались подшу-

тить над строгой и не желавшей принимать их шуток Анастасией Федоровной. Мне казалось, что она была чем-то недовольна; недовольна как будто нами и с особой подозрительностью посматривала на меня, но мне настолько безразлично было все, что происходило вокруг, и я минутами так погружался в свои мысли, что это, наверное, как раз и вызывало подозрение и настораживало ее. Она была, как я узнал позже, озабочена исчезновением топорика и лопат, найденных ею утром на огороде, и из нас троих я, наверное, по мрачному виду своему больше всего вызывал у нее недоверие.

Несмотря на увещевания Тиши отправиться с ним на аллею и затем на мельницу, где должно было в этот вечер состояться чтение стихов одного из тех современных поэтов, которые, еще не создав ничего, умеют поставить себя известными, я решительно отказался; даже когда, желая то ли сильнее заинтриговать, то ли в очередной раз блеснуть осведомленностью, заискивающе прошептал на ухо, что, дескать, Игорь Максимович берет тайм-аут, и у Соева будет шанс, и что в этом-то, собственно, и заключена вся пикантность положения, я опять только еще решительнее покачал головой, и, едва они вышли, выключил свет и, умостившись в проеме дверей, на пороге, стал с грустью смотреть в густую — луны еще не было — черноту деревенского двора и улицы, таких по-крестьянски привычных и так отчужденных будто бы от меня теперь. «Но почему? — думал я. — Почему так неузнаваемо, за какие-то, в сущности, полстолетия переменился мир, что все, что было близким, родным, вдруг словно обрыдло людям, обессмыслилось, потеряло ценность и стало чужим, ненужным, как поизносившаяся в хозяйстве вещь, которую и выбросить вроде бы жалко, и применить некуда, вот и перекладываешь с места на место, и хранишь (по известной из гоголевских персонажей скупости, доведенной, как умеют только у нас, на Руси, до пределов маразма и глупости)? Но почему? — опять и опять задавал я себе вопрос. — Для чего тогда делалась революция, и в чем ее высший смысл? В этом, с чем я столкнулся здесь, сталкиваюсь в Москве и что можно встретить повсеместно: празднословие и развращенность элиты и отупляющая безысходность тех, кто пашет, сеет и не находит выхода из своих повседневных забот? Так что же все-таки переменилось, в какую сторону и с кем? — словно бы выбиваясь из логики и противореча себе, продолжал я. — Как было разделено общество на сословие праздных и сословие тружеников, так разделено и теперь». Мысль эта не в первый уже раз возникала у меня, как возникала, наверное, у многих, и только никто не решался высказать ее вслух; да и как было высказать, если даже теперь, когда я знал, что вокруг никого нет (да и в чем, собственно, можно заподозрить молча приткнувшегося в темноте к косяку человека?), — время от времени я оглядывался по сторонам, не подслушивает ли кто. Да, так было, и тут осуждай не осуждай — за трусость ли, еще ли за что, — инстинкт самосохранения, он есть в каждом человеке, и не от него ли и происходит то молчаливое (среди огромных иногда масс людей) согласие, при котором совершаются преступления и против личности, и против народа, и против человечества? Но, прошу извинить, что опять поддался искушению и принялся излагать не тогдашние, а теперешние свои мысли; тогда же, в темноте и одиночестве, они были проще, яснее, эмоциональней, что ли, если хотите, и чем осудительнее я думал об Игоре Максимовиче и компании, которой он верховодил, то есть об этой давно (и незаконно!) узаконенной праздности, тем контрастнее представлялась другая, более могучая сфера все той же общественной жизни, близкая мне и соединявшаяся (как бы выразиться точнее?) с опоэтизированным трудом прошлой русской деревни.

С теми привычными для нашей литературы преувеличениями, основанными не на знании деревенской жизни (но я-то знал, знал, потому что шел от низов к тому, чего смог достичь), а на традициях в описании ее или, если точнее, на прочно усвоенном нами еще со школьной скамьи просвещенно-барском восприятии, столь же отдаленном от правды, как и сама жизнь барина от жизни мужика, — я рисовал себе если не идиллическую, то, во всяком случае, близкую к этому картину жизни лыковских колхозников. Мне нужно было что-то противопоставить Игорю Максимовичу и иже с ним, что обнажило бы их праздность и духовную нищету (как я думал), и труд, и быт деревенских людей были самым подходящим для этого примером. Я, в сущности, впадал в ту же ошибку, размышляя о современной деревне, которая родилась как ошибка не вчера и даже не в прошлом столетии, а в тех изначальных славословиях о красоте и значимости крестьянского труда и быта, за которыми уже тогда невозможно было разглядеть истинное положение дел. Взять хотя бы сенокос, ведь он красив только издали, а ну-ка изо дня в день да от зари и до зари? Или, скажем, мужицкая изба, так притягательно смотрящаяся издали и вызывающая в нас столько эмоций, а ну-ка поживи в ней! И т. д., и т. п., стократ усложненное еще колхозными отношениями; но в какую-то минуту, а для меня как раз и была теперь та минута, — все сложное, негативное вдруг словно затушевывается, отпадает, и жизнь в том очищенном виде, как она должна бы протекать на самом деле для людей, с ясностью предстает в воображенном пространстве, как воплотившаяся уже мечта человечества о всесилии справедливости и добра. Мимо калитки в темноте прошли несколько лыковских мужиков, возвращавшихся, видимо, с какого-то собрания, состоявшегося то ли в клубе, то ли в сельсоветской избе (о чем нельзя было не догадаться по возбужденности их голосов), и я сейчас же мысленно представил себе это собрание — не таким, разумеется, каким показал его нам Яшин в своих «Рычагах» и как оно могло протекать здесь на самом деле, а с той въевшейся уже в нас псевдореалистичностью, с какой подобные собрания гуляют по кино- и телеэкранам, будто, кроме забот как можно больше вырастить, убрать и сдать затем государству, не оставив ничего или почти ничего для себя, ничто не волнует и не беспокоит деревенских людей; будто нет у них ни семьи, ни дома, ни желания вкусно и сытно поесть, ни потребности одеться по-современному и т. д., и т. п., что с легкостью названо у нас (людьми обеспеченными) мещанством, потребительством, бытовизмом, но что, по моему глубочайшему убеждению, является естественной потребностью человека, без удовлетворения которой он теряет интерес и к работе, ничего не приносящей ему, и к жизни. Но, повторяю, размечтавшись в проеме дверей, я отбрасывал это реалистическое, что было — жизнь и могло лишь сильней и драматичней проявить разрыв между праздностью и трудом, и, приняв лакировочно-условную формулу, что противопоставлять дурному возможно только хорошее или лучшее, словно между этими двумя величинами никогда не было и нет ни зависимости, ни связи, думал о лыковских мужиках с теплотой, как можно думать только о людях, целиком отдающих себя общественному делу. Им надо было прокормить не столько себя, сколько страну, которая, как им внушалось, была одновременно и обществом развитого социализма и испытывала те странные и временные будто трудности (странные тем, что неведомо из чего брались, когда народ только и делал, что создавал богатства и ценности), количество которых с годами не уменьшалось, а нарастало и осложняло жизнь. «Разве эти мужики чего-то не понимают? Понимают, еще как понимают, но терпят и вкалывают, — с неким будто торжеством, грустью и протестом мысленно произносил я. — И это у них-то нет в истории пространства для сориентированности? Они-то — задница Европы?!». Мимо калитки прошли еще какие-то люди, тоже (по голосам и говору) явно деревенские; может быть, возвращавшиеся даже с сенокоса, так как была самая пора этой деревенской страды, и, живо оттолкнувшись от виденных днем стожков на лесных полянах (и по впечатлениям крестьянского детства, которое до последней, видимо, черты будет оставаться со мной и согревать душу), я живо представил приречный луг, косцов с их размеренностью и красивостью движений, молодух в косынках, копнящих и ворошащих сено, мальчишек на конных граблях и снующих верхами волокушников: охватил веревкой копну — и к стогу, охватил — и к стогу; этот дедовский труд, знаю, ушел в прошлое и на смену лошадкам, граблям и волам пришли механизмы; но мне представлялась именно эта, старая и ушедшая картина сенокоса, полная достоинства и смысла, с помощью которой без каких-либо усилий легко и просто обнажалась вся духовная нищета и бессмысленность деяний Игоря Максимовича и иже с ним, так любящих (и теперь!) выставить себя единственными защитниками народа, над которым (только неизвестно кем и когда) считают поставленными себя. «И это они-то, они, — думал я о косарях и молодухах в косынках, — они-то — задница Европы?! Как можно, как только поворачивается язык!»

Я представлял еще и еще нечто в этом роде, что наполняло меня гордостью за людей труда перед мелочной и тщеславной, как мне казалось, элитой наподобие Игоря Максимовича, Тимофея Угрова или Соева со Стригуновой, готовых заложить родного отца за свои сиюминутные интересы; и как ни чувствовал я себя тогда усталым, как ни хотелось мне спать, но я долго не мог унять в себе этих простых, ясных и поражающих в своем откровении мыслей. Лишь когда над деревней взошла луна, в окнах погасли огни и все вокруг словно подернулось голубовато-холодной молочной дымкой, усталость наконец взяла верх, потребность физическая возобладала над умственной, и я как сидел на пороге, прислонившись к косяку, так и заснул — тем мертвецким сном, что даже не слышал, как вернувшиеся со своих мельничных бдений Скорков и Тиша подняли меня, внесли в наш амбар и уложили на кровать.

— Вот что значит лыковский воздух, — весело шутил утром Тиша, словно он и в самом деле жил у Христа за пазухой и ничто в мире (кроме удовольствий, которые он получал будто бы от всего) не заботило и не могло заботить его. — С ним осторожно, как с лекарством, опиум, да-да, своего рода опиум, его надо сперва дозами после нашей московской гари. Эка тебя сморило вчера, а? — И что-то даже от детской будто непосредственности прозвучало в его голосе.

Но я чувствовал себя больным и разбитым. Несмотря на теплую вроде бы ночь, сырость и сквозняки все же сделали свое дело, и я с трудом поворачивал шею, ломило в пояснице, в плечах, и от этой ломоты, чтобы унять ее, я до полудня почти провалялся в постели, и только когда, послушав совета Анастасии Федоровны, выпил кружку приготовленного ею горячего молока с перцем и затем горячего чаю, пока не проступил пот, — только после этой нехитрой житейской процедуры, просто и незаметно поднявшей меня, я вновь ощутил способность к размышлению и действиям. Решительно сказав себе, что надо либо идти к Ивану Егорычу, либо, бросив все, отправляться в Москву (словно и в самом деле можно куда-то уехать от переживаний и памяти), я остановился на первом и спустя полчаса, свежий, и подтянутый, и готовый к любому исходу, уже шагал к знакомому, под железной крышей, дому.

XXXV

Откровенно говоря, я нахожусь в затруднении: начать ли сразу со встречи с Иваном Егорычем, которая произвела на меня глубочайшее впечатление, или прежде рассказать о судьбе этого человека, его родословной, уходящей корнями как по отцу, так и по матери к 1812 году и сожжению Москвы, что само по себе уже вызывает немалый интерес; ведь любые человеческие поступки дают представление лишь о завершенности характера, но не объясняют его, и я, разумеется, не для того только стараюсь теперь, чтобы сюжетно увязать те или иные явления жизни; любым явлениям предшествуют первопричины, порождающие их, а человеческому характеру — обстоятельства и традиции общественной и семейной жизни, в каких этот характер складывался. Иван Егорыч (может быть, он и преувеличивал несколько) первостепеннейшее значение придавал именно семейному воспитанию, хотя и оговаривался при этом, что он не знает более устойчивого носителя как общественных добродетелей, так и общественных пороков, чем семья, эта изначально призванная свободно как будто проявить себя, но поставленная теперь почти в полную зависимость от государства ячейка жизни. Он не писал о себе в анкетах: «из рабочих» или «из крестьян», как иные, стремившиеся к чинам и обогащению (и что, как ни странно, срабатывало и приносило плоды), но говорил, что происходит из семьи старых московских интеллигентов, то есть причислял себя к интеллигенции, но не к той, о которой только и знают в народе, что она есть и прожигает жизнь, а к другой, что трудом и примером утверждает достоинство человеческой личности. Он считал, что точно так же, как неоднородно крестьянство — труженики, лодыри, мироеды, неоднородна в своей массе и интеллигенция и что рядом с воспетым в литературе укладом деревенской жизни, началом начал, как нам предлагают воспринимать все и теперь, складывался не менее насыщенный традициями уклад жизни истинных русских интеллигентов, который, однако, мы не только не удосужились принять как образец для подражания, но, соединив его с праздностью, как позволяют себе жить лишь чиноискатели, интриганы и льстецы, то есть, приписав несвойственные ему чужие пороки, поспешили решительно отмежеваться от него. Но ведь жизнь крестьян и жизнь истинных интеллигентов всегда шли рядом, и, по мнению Ивана Егорыча, ценнее было бы сейчас обратиться не к тому, что разъединяло, а что объединяло и обогащало эти уклады. Изучение истории и многолетнее изучение жизни простых людей привели его, как он сам говорил об этом, к мысли, что главной проблемой человечества, из которой проистекают все остальные, является проблема земли и землепользования и что извечная борьба между бедными и богатыми, бесправными и власть имущими, не прекращающаяся в веках, в сущности, тоже есть не больше, чем производное от главного, питающего ее. Для людей простых, живших трудом, земля нужна была не только как источник пропитания, но и как возможность проявить себя на ней; владение даже самым малым клочком пашни давало человеку основательность, независимость и вырабатывало в нем определенный свободолюбивый характер, тогда как власть имущим именно эти черты — основательность, независимость и свободолюбие — менее всего были желательны в управляемом ими народе, и они изобретали новые и новые способы отторгнуть его от земли; даже в тех случаях, когда борьба заканчивалась как будто в пользу народа, вдруг, по прошествии лет, обнаруживалось, что он, то есть народ, попадал в новую и еще более беспросветную кабалу. Насколько все это соединялось с современностью, Иван Егорыч не пояснял; он как будто рассуждал вообще, но я тогда же и с очевидностью почувствовал, что состояние народной жизни он ставил в зависимость прежде всего от решения земельного вопроса и по отношению именно к этому вопросу, то есть признанию права на землю тех, кто не скупает и продает, а обрабатывает ее, делил интеллигенцию на истинную, которая была, есть и будет с народом, и ложную, развратную и праздную, для которой существует лишь понятие «народ» и которой нет дела до самого народа. «В этом весь корень вопроса, — утверждал он. — И корень зла, если хотите», — добавлял тут же, чтобы яснее представить суть излагавшегося им. Слушать его было интересно, и я с трудом удерживаюсь от соблазна сейчас же передать весь тот наш разговор; но, может быть (а в данном случае — особенно), лучше не забегать вперед, чтобы не лишить будущего читателя основательности, на какую тот, конечно же, вправе рассчитывать, да и не стеснить себя каким-либо укороченным пересказом, пригодным лишь для изложения побочных сюжетных линий. Но об одном, что может в дальнейшем затеряться среди обилия других материалов, хочу все-таки упомянуть здесь. Я не заметил у Ивана Егорыча ни озлобленности на всех и вся, на что, впрочем, имел причины и право, ни обиды на то, что не находил среди тогдашней общественности понимания и поддержки своим суждениям и взглядам, и занимала его, казалось, не критика как таковая (как делают теперь многие, и что приносит им видимый успех); он предлагал программу возможного решения этой застарелой проблемы человечества, и в умении отмежеваться от личного, обременявшего его (как это личное, к сожалению, обременяет всех нас и влияет на поведение и поступки), и сосредоточиться на большом, общественно значимом и важном, как раз и сказались его глубочайшие, основанные на семейных традициях воспитанность и интеллигентность.

XXXVI

Так что это за традиции, столь много давшие Ивану Егорычу для жизни (на которые он отчасти ссылался сам и в которых мне так хотелось бы разобраться теперь)? Сказать по правде, я и сам не знаю до тонкостей их, потому что никогда не стоял у их истоков, а только старался приблизиться к ним. Родился будущий подвижник-исследователь народной жизни, как мы уже знаем, в семье именно потомственных московских интеллигентов, а точнее, в одной из тех редкостных теперь интеллигентских семей, о которых, как и о крестьянских, говорят, что они вымирают, как вымерли некогда целые народы, оставив после себя лишь памятники величия человеческого духа. Мне трудно судить, насколько верна эта людская молва да и правомерно ли вообще так категорично говорить об обществе,

которое, если взглянуть на него с высоты исторических эпох, пребывает еще в младенчестве; но и отгораживаться от людской молвы тоже нельзя, потому что их и в самом деле осталось уже немного, этих потомственных московских интеллигентов, разбросанно живущих своей давно уже приглушенной жизнью по разным уголкам Москвы, и пусть не осудит меня читатель за минутный возврат к высказанной уже мысли, что если в старокрестьянском укладе жизни, к которому так привлечено сейчас (и не случайно!) всеобщее внимание, мы ищем корни наших национальных народных традиций, то и в укладе городской жизни, в семьях интеллигентов складывались свои и не менее благородные, которые, если мы действительно стремимся к национальному самосознанию, должны безоговорочно отнести к народным.

Беспаловы не вели родословной. Но по старинным портретам, украшавшим их московскую квартиру, в которой постоянно жили теперь мать Ивана Егорыча Мария Викторовна и сестра Луиза (и был прописан Иван Егорыч с дочерьми Екатериной и Анной), даже человеку непосвященному нетрудно было если не с точностью, то с достаточной приблизительностью выстроить все генеалогическое дерево рода. Первый из Беспаловых, о ком сохранились, правда, лишь смутные воспоминания, был, по одной версии, известным среди московской знати каретным мастером, а по другой — держал будто бы в отстроенной после восемьсот двенадцатого года Москве каретную мастерскую; но сыновья не стали продолжать дело отца, старший пошел по духовной линии, и след его впоследствии затерялся где-то, а младший — по линии просветительства и достиг на этом поприще немалых успехов. Он составил ряд учебников, знал латынь, сделал даже несколько переводов, и портрет его, написанный в самые счастливые, как видно, для него годы, висел на самом видном месте в гостиной и считался достопримечательностью. Возле него задерживались, когда случалось теперь кому приходить в дом, его рассматривали, и шутка Георга Афанасьевича, произнесенная по поводу этого портрета: «Еще не князь, но уже и не мужик» (отец Ивана Егорыча от рожденья был наречен Георгом и лишь позднее и для упрощения, как это подавалось им, стал именоваться Георгием, затем Юрием, а затем уже и вовсе Егором), — шутка эта, как нельзя лучше отражавшая замысел художника, повторялась Луизой, но уже в тоне серьезности, как она вообще любила говорить обо всем, что хранилось в доме и имело отношение к прошлому. Она произнесла эту шутку и мне, когда после Лыкова уже (и по приглашению Ивана Егорыча, к тому времени перебравшегося в Москву) я был у них в доме. Пожалуй, точнее и нельзя было ничего сказать об этом портрете, в котором лукавостью художника словно бы нарочито были соединены в одно и вельможное, и простонародное, причем вельможное заключалось главным образом во внешнем облике — высоком стоячем воротнике, манишке и бакенбардах, простонародное же — в том иронически веселом, умном взгляде, каким всякий, не имеющий что терять, смотрит на жизнь. Гости обычно, как рассказывала Луиза, начинали искать сходство Георга Афанасьевича с портретным изображением его дальнего родственника, и, хотя никакого сходства между ними не было, все говорили, что было, и намекали на выражение глаз, то есть на то (от простолюдина), что должно было как будто приподнять Георга Афанасьевича до высот народа, но в то же время сказать ему, что хвастаться-то нечем: манишка манишкой, да что под ней?

Георг Афанасьевич обычно не возражал, слушая подобные разговоры. Он знал, что сходства не было, но ему приятно было, когда его находили, и он переносил это сходство (по свидетельству Луизы) в область подвижничества, в которой ясно видел, что роднило его с изображенным на холсте предком. Просветительство даже в том первоначальном чистом виде, как оно возникло во Франции и затем в России, воспринималось им не как нечто разовое и скоротечное — просветил народ, образумил, пусть даже в течение столетия, а дальше само пойдет, — но как фактор, находящийся в прямой зависимости от состояния жизни и должный действовать постоянно. Георг Афанасьевич полагал, что передовая мысль, если она действительно передовая, всегда опережает уровень общественного восприятия, и ему казалось, что деятельностью своей он служил именно этой цели — подтягиванию общественного восприятия до понимания передовых идей времени; он, в сущности, считал себя продолжателем тех просветительских дел, которыми обуреваем был его прадед, и это-то не внешнее, а глубинное, духовное сходство и составляло его гордость, тогда как остальные портреты, а их было шесть и два из них женских, не представляли для него такого интереса, хотя и написаны были как будто более искусно, особенно женские с их прическами и оголенными, по тогдашней моде, плечами и шеями. Рассказать что-либо значительное о них ни Георг Афанасьевич, ни Луиза, усвоившая уроки отца и стремившаяся во всем, особенно в э т о м, подражать ему, не могли, и гости должны были довольствоваться лишь тем (как в музее), что им предоставлялась возможность познакомиться хотя и не с шедеврами живописи девятнадцатого века, но с тем средним уровнем мастерства русских художников (что уже само по себе было любопытно и поучительно), который, оказывалось, был настолько высок, что нельзя было не выразить восторга и удивления.

— Но чему удивляться? — любил заметить Георг Афанасьевич (как затем говорила об этом Луиза, со слов которой я и описываю все здесь). — Разве что нашей забывчивости? И мастерство было, и традиции, и, если хотите, Россия тогда по многим и многим параметрам опережала Запад. Потому-то там и пеклись так о нас, боялись, что станем могущественными, и напускали на нас кровавые волны.

Говоря о кровавых волнах, он непременно взглядывал на портрет морского офицера, висевший среди других в гостиной. В семье Беспаловых, как, впрочем, во всякой русской семье (и что диктовалось исторической необходимостью), имелось немало военных; но, может быть, оттого, что они, с одной стороны, не являлись прямыми родственниками Георгу Афанасьевичу, а с другой — не проявили доблестей, достойных славы России, о них не то чтобы не любили или не хотели вспоминать, но просто нечего было вспомнить, кроме разве того, что тот-то или тот-то участвовал в таком-то или таком-то сражении и был убит или ранен. Морской офицер этот, доводившийся дядей отцу Георга Афанасьевича, командовал линейным кораблем в эскадре адмирала Рожественского и погиб в Цусимском сражении во время русско-японской войны. В семейном архиве хранилось несколько писем о том, как он погиб. Очевидцы, бывшие во время боя рядом с капитаном, свидетельствовали, что он держался храбро и что, будучи дважды ранен, не покинул командного мостика; но Георгу Афанасьевичу казалось, что весь этот рассказ о храбрости имел только личностное значение и не мог быть приложен к тому во многом воображенному и преувеличенному стержню подвижничества, вокруг которого, как зерна в початке, легко укладывались им все остальные и дальние, и ближние (не военные) родственники. «Они были просветителями», — с гордостью восклицал он, имея в виду не только тех, что были запечатлены на холстах, но и тех, которые не были запечатлены, но о которых можно было сказать, что они тоже жертвовали собой во имя высокой цели. Иногда Георг Афанасьевич употреблял вместо слова «просветители» слово «народники», что было ближе к истине, хотя и звучало не столь возвышенно, как хотелось. Несправедливо осужденное, по его мнению, к которому присоединялась и Луиза, движение подвижничества он склонен был рассматривать как подвиг русских интеллигентов. Какова на самом деле была польза от их деятельности и действительно ли э т о, что они делали, было нужно народу, он не уточнял, и ему не казалось странным (как, впрочем, не казалось это странным и Луизе), что почти никто из почитавшихся ими родственников-просветителей, спокойно смотревших теперь из резных (черного и красного дерева) рам, не примкнул к революции, когда дело действительно коснулось народа. «Но ведь и не выступили против», — было аргументом отца. Он не доискивался, в чем и сколько было правды, потому что не мог даже помыслить, чтобы миф о подвижничестве, надежно служивший ему и оправдывавший по крайней мере перед самим собой его поступки и замыслы, — что миф этот, всегда так красиво подававшийся им и возвышавший его, вдруг перестал существовать; это было бы равносильно потерять под ногами почву; потерять авторитет и уважение коллег по науке, которые считали его человеком верным и цельным в своих воззрениях и делах.

XXXVII

Дом Беспаловых был домом открытым и гостеприимным. Два сына Георга Афанасьевича: старший, Петр, и младший, Иван (тот самый н а ш

Иван Егорыч, о котором или ради которого, собственно, и ведется этот рассказ), сумевшие благодаря заботам и, конечно же, связям отца неплохо устроиться в жизни, были удачно, как считалось тогда, женаты, у Петра, ушедшего в примаки, подрастали уже два сына и дочь, да и у Ивана вот-вот должна была появиться вторая, и не было праздника или даже просто воскресенья, когда бы вся эта веселая, радующаяся жизни молодежь не собиралась в дедовском доме. Приходили обычно к обеду. В красной гостиной, которую называли так по цвету обоев, штор, обивке стульев и кресел и чехлов на них, накрывали большой овальный стол. Из буфета доставался старинный английский сервиз со множеством лишних по теперешним временам предметов (упрощаются, к сожалению, не только одежда, но, в силу различных причин, и блюда), вынималось из ящиков серебро, ставились фужеры, рюмки и рюмочки для крепкого, правда, лишь в случаях исключительных, и общий вид накрытого таким образом стола к обеду, как и всей гостиной, невольно вызывал у всех чувство возвышенной, праздничной торжественности. Готовились как будто не поесть и пообщаться друг с другом, а отдать дань уважения одному из необходимейших ритуалов жизни.

За столом обычно бывало шумно и весело. Кроме сыновей Петра и Ивана, были у Георга Афанасьевича с Марией Викторовной еще две дочери: Марианна, вышедшая замуж за дипломата и жившая в Австрии, и Луиза (да, да, та самая, что теперь вместе со старой матерью пребывала в квартире и была ревностной хранительницей семейной старины), успевшая уже развестись со вторым мужем и вновь вернувшаяся в родительский дом, и две эти разные по характеру, достатку и положению в обществе молодые женщины по-своему дополняли большое и разноликое семейство Беспаловых. Луиза была постоянно на глазах, примелькалась и казалась незаметной, но Марианна, когда из своей заграницы приезжала в Москву с мужем-дипломатом Виленом Аркадьевичем Каргопольцевым и дочерьми-школьницами Инной и Ритой (девочек пора было уже оставлять в Москве для продолжения учебы), — Марианна вносила в общую атмосферу дома столько новизны, вернее, суеты и говорливости, что все и всё невольно начинало вращаться вокруг нее и обращаться к ней. Мария Викторовна не могла насмотреться на свою старшую дочь и внучек, восхищалась их нарядами, говорившими ей о семейном благополучии Марианны и ее заграничных возможностях. Старой женщине казалось, что Инна и Риточка больше, чем другие внучки и внуки, похожи на нее, и в их по-детски наивной еще манере держаться и говорить, перенятой, несомненно, от родителей-дипломатов, она обнаруживала ту природную будто интеллигентность, какую всегда с гордостью чувствовала в себе. В представлении Марии Викторовны, по-своему видевшей жизнь и судившей о ней, все упрощенное, прямолинейное и грубое, что было в свое время привнесено во взаимоотношения людей и подавалось как достоинство, неминуемо должно будет вновь замениться интеллигентностью; для такого заключения у нее были основания, сводившиеся к фразе: «Все идет к этому», и она считала долгóм подготовить внуков и внучек к этим надвигавшимся переменам.

Но перемены переменами, и пока они только еще намечались где-то в отдаленном будущем, ежевоскресные застолья, без которых ни Георг Афанасьевич, ни особенно Мария Викторовна не могли представить себе жизни, надо было собирать, а собирать их с годами становилось труднее и труднее. Не в том смысле трудностей, что дети или внуки предпочитали заняться своим, хотя было и это, и не в средствах, которые приходилось затрачивать, хотя и здесь возникали определенные неудобства; главное же заключалось в том, что все скуднее становился выбор продуктов, прежде в изобилии имевшихся на прилавках, и Мария Викторовна, на которой (несмотря на домработницу Клашу, постоянно жившую в доме) лежали хозяйственные дела, — Мария Викторовна с тревогой и недоумением присматривалась к этому необъяснимому как будто и невесть с чего начавшемуся оскудению. То необходимое для дома, касалось ли это постельного белья, полотенец, байковых пижам для девочек или иных обиходных вещей, что можно было в любое время пойти и выбрать по вкусу и желанию, теперь все чаще приходилось искать, простаивать в очередях и в конце концов покупать не то, что было бы красиво и создавало уют (и согласовывалось бы с тем уровнем интеллигентности, какой Марии Викторовне хотелось поддержать в доме), а то, что выбрасывалось в продажу и причислялось (злыми языками) к дефициту. Точно то же происходило с одеждой, и зимней, и летней, которую не то чтобы надеть, неприлично было, казалось, взять в руки, и Мария Викторовна, имевшая средства и привыкшая к определенному образу жизни, была в растерянности. У нее, как и у домработницы Клаши, собиравшей и пересказывавшей всякие московские сплетни, складывалось то преувеличенное будто, но похожее на правду впечатление, словно в хозяйственный аппарат власти пробрался некий штирлиц и вредил делу. В легкой промышленности и пищевой (с иными же она не сталкивалась и не могла судить, как обстояло там) был свой штирлиц, потому как те практичные (наподобие порошка «Новость») товары, которые получали спрос по своим качествам, вдруг и в силу как будто именно этого спроса снимались с производства, исчезали и заменялись худшими; в сельском хозяйстве был свой, о чем можно было, к примеру, судить не столько даже по количеству, сколько по качеству мяса, словно нельзя было откармливать бычков иначе, как гнилью, называемой силосом; в заготовительных организациях, торговле, обслуживании сидели точно такие же с в о и; как удавалось действовать этим штирлицам, никто толком не мог сказать, тем более не могла этого сделать Мария Викторовна, воспринимавшая жизнь лишь с той ее стороны, с какой можно было брать от нее, но ее удручала эта осложнявшаяся из года в год обстановка, и вместе с тем как она соглашалась, что кто-то будто умышленно или, может, неумышленно работает на развал экономики, склонна была находить объяснение еще и в том, что теперь все почему-то хотели (и могли, главное) иметь то, что прежде доступно было только людям ее круга. «Разве напасешься на всех?» — думала она, искренне полагая, что богатство, разделенное на всех, становилось уже не богатством, а бедностью.

Всегда любившая поговорить о воспитании, она все настойчивее теперь переводила разговор на состояние жизни, и разговор этот представлялся ей настолько важным, что нельзя было начинать его второпях, за завтраком, обедом или при чужих людях; основательность темы, казалось ей, требовала (для обсуждения ее) основательности обстановки, и, несмотря на запреты и недовольство мужа, отрывавшегося ею от работы, она с тем правом, будто важнее ее дел нет ничего на свете, решительно направлялась к нему в кабинет.

Она устраивалась обычно на диване напротив стола, за которым восседал Георг Афанасьевич, и красивое в старости лицо ее, обращенное одной стороной к свету, другой — к ореховым шкафам и темным обоям, выражало то странное как будто, как это по крайней мере казалось Георгу Афанасьевичу, беспокойство, которое нельзя было объяснить только домашними заботами.

— Что происходит? — холодно спрашивала она. — Нет, ты ответь мне, что происходит? И как мне теперь быть?

Застаиваемый врасплох и не склонный (и не приспособленный) к подобного рода разговорам, Георг Афанасьевич, недовольно морщась, выходил из-за стола и принимался молча вышагивать по кабинету. Чтобы не смотреть на жену, он поглядывал на корешки книг за стеклами, будто они могли в чем-то помочь ему. Хотя упрек жены относился вроде бы к жизни вообще, Георг Афанасьевич чувствовал, что было в этом упреке что-то касавшееся его, что как раз и вызывало протест и раздражение.

— Не понимаю, чего ты от меня хочешь! — наконец, останавливаясь перед ней, произносил он. — Что-либо изменить я не могу, не в моих силах, да и вообще всех все устраивает, все как-то обходятся в жизни, а нам, видите ли, вынь да подай. Но есть же чувство меры! Что для всех, то и для нас, и в тысячу раз важнее, — он поворачивался к столу и тыкал пальцем в рукопись, — э т о, чем все остальное.

И сколько затем ни доказывала Мария Викторовна, что в с е о с т а л ь н о е и есть то важное, что нужно людям для жизни, и что научными трудами, то есть книгами, сыт не будешь (хотя и не отрицала необходимости подобных трудов), разговор обычно заканчивался тем, что озабоченность делами оборачивалась в ней недовольством на мужа, она покидала кабинет и обрушивалась на Клашу, которая, как оказывалось, не умела

ничего сделать по-настоящему, то есть сделать то, что не зависело от ее ума и расторопности.

XXXVIII

Но так ли, иначе ли, а все необходимое к воскресному обеду в конце концов доставалось и приносилось, Клаша принималась готовить заливные, бульоны и соусы, картофельные рулеты, запеканки, тушила мясо в горшочках, что было по-русски и потому особенно нравилось всем, и кушанья эти, разложенные и разлитые затем по тарелкам и блюдам, аппетитно смотрелись на столе. На завершение обеда обычно подавались фрукты, мороженое с вареньем или чай с клубничным или яблочным пирогом или ватрушками, начиненными черносмородиновой пастой. Дети бывали в восторге, довольными оставались невестки, освобождавшиеся таким образом от своих кухонных забот и получавшие возможность вдоволь наговориться; они подолгу засиживались за столом, то прерывая, то возобновляя чаепитие, тогда как мужчины, тоже сытые и довольные, удалялись покурить и поговорить о своем. Излюбленным местом их был кабинет Георга Афанасьевича, где все, казалось, дышало историей и располагало к разговорам. Человечество прошло долгий и сложный путь развития, и как ни считалось, в официальной, разумеется, науке, что все главные этапы этого пути многократно изучены и объяснены, как ни доказывалось все той же наукой, что все подчинено так называемому объективному закону развития и что стоит только приложить этот «закон» к тем или иным историческим событиям, как все сейчас же станет простым и ясным, — ясного и простого, какой бы период истории ни брался ими, было так мало и так не прикладывался иногда (к этим бравшимся периодам) известный «закон», что и Георг Афанасьевич, и оба его сына, Иван и Петр, тоже имевшие отношение к исторической науке, приходили, в сущности, к одному и тому же выводу, что неоткрытого в истории больше, чем открытого, но что как раз к главному, что могло бы прояснить истину, издавна и надежно баррикадируются пути. Кто-то с дальновидной и последовательной предусмотрительностью старался держать народы в неведении, потому что лишь в неведении (именно главного, к чему баррикадируются пути) люди могут принимать за истину то, что не является таковой.

Георг Афанасьевич по своему научному и семейному, конечно же, авторитету обычно начинал и вел разговор. Он любил произносить монологи, стоя позади кресла и опираясь на него, фигура его при этом подавалась вперед, и он казался настолько сосредоточенным на предмете, о котором говорил, что ни младший сын, Иван, сидевший распахнуто, откинувшись на спинку дивана, ни старший, Петр, со своей постоянной иронической улыбкой, словно он и в самом деле стоял неизмеримо выше той жизни, в какой жил, не осмеливались перебивать отца. Они слушали и не торопились вступать в разговор. У каждого из братьев был свой взгляд на историю и будущее, и сходились они лишь на том, что с одинаковой категоричностью, хотя и с разных позиций: Петр — с ортодоксально-нигилистических, Иван — с левацких, как мы сказали бы теперь, — осуждали отца. Для Ивана, уже тогда задумывавшегося над исследованием народной жизни, было недостаточно того, что делал отец, и в устремлениях его находил более игру, чем подвижничество; Петр же вообще отрицал подвижничество как таковое и, пользуясь своим старшинством и уже достигнутым (в некотором роде) положением в науке, позволял себе более резкие высказывания в адрес отца. «Он выдумал для себя бога, — говорил он, — и разве сможет теперь, на закате жизни, признать, что бога этого нет?» Он видел ошибку отца в том, что тот не учитывал произошедших в стране перемен, исключавших подвижничество; радеть за народ, которому принадлежит все и который сам властен распорядиться своей судьбой, нелепо и глупо, и к тому же есть теперь новые формы деятельности на благо общества. Суть этих новых форм (та известная суть, которую не принято подвергать сомнению) была настолько как будто очевидна старшему брату, что он даже не пытался пояснить ее; ему достаточно было в разговоре о том или ином событии сослаться на общественную значимость его, как все сейчас же само собой выстраивалось в определенный ряд и не требовало доказательств. Но Георгу Афанасьевичу с его устаревшими будто бы взглядами, с его заблуждениями в противоположность бесспорным суждениям сыновей представлялись неприемлемыми и неубедительными подобные доводы, он горячился, возражал, особенно старшему, Петру, и, обвинив его в конце концов в ненаучном, демагогическом подходе, прекращал спор.

«Что он за человек, что за ученый?» — рассудительно на другой день спрашивал он себя, думая о старшем сыне и неторопливо вышагивая взад-вперед по опустелому кабинету с тем чувством неудовлетворенности, недоумения и досады, которое в любую минуту готово было замениться в нем родительским всепрощением. Старый Беспалов любил истину, как он сам понимал ее, любил справедливость и, считая себя человеком непреклонным и твердым, особенно в делах научных, где всякая, даже малейшая, уступка невозможна без погрешения перед совестью, не мог осуждать сыновей; но он так же, как истину и справедливость, любил то семейное, что составляло для него быт, любил дом, детей, внуков, и желание видеть в них продолжение себя, то есть продолжение традиций, носителем которых он был, как раз и удерживало его от ссоры и разрыва с сыновьями и не давало (всякий раз после определенных раздумий) угаснуть отцовским надеждам. Он не мог признаться себе в том, что не знал сыновей и что воспринимал их по тем прошлым впечатлениям, по которым они все еще оставались для него детьми, нуждавшимися в совете и опеке, и, удивляясь теперь их самостоятельности, удивлялся, в сущности, их образу мыслей. «Откуда они только набираются их?» — думал он, замечая в сыновьях перемены, которых более всего опасался, что они затронут их. Сыновей захватывало то поветрие скептицизма — ко всему, даже к своим трудам, — которое казалось теперь модным и которым поражена была уже немалая часть московской и провинциальной интеллигенции. Что порождало этот скептицизм, Георг Афанасьевич не знал; как и от всего, что не относилось к его научным занятиям, он отгораживался и от этого явления, требовавшего усилий, чтобы разобраться в нем, и по тем привычным представлениям, что скептицизм всегда осудителен и может служить лишь прикрытием безделью и праздности, безоговорочно отвергал его. «Отрицать, высмеивать, но кто же будет созидать? Надо же и созидать кому-то, то есть иметь идеал и верить», — полагал старый Беспалов.

Но, кроме скептицизма, этой болезни, парализующей деятельность, признаки которой так очевидны были ему в сыновьях, настораживало Георга Афанасьевича еще одно обстоятельство, которому он сперва, узнав, не придал значения, но которое, чем больше затем думал о нем, сильнее вызывало тревогу. Как-то в разговоре (речь шла об одаренности и призвании ученого) старший сын то ли в шутку, то ли всерьез, что трудно было понять, глядя на него, рассказал о неких услышанных им будто бы от коллег трех правилах одаренности. Во-первых, не следует никогда открывать и заново формулировать то, что было открыто и сформулировано до нас; надо только поглубже изучить старое и забытое и по мере необходимости прикладывать это забытое к той или иной исследуемой эпохе, равно как и к современности, и такой работе всегда будут обеспечены основательность и новизна. Эпохи разнятся между собой лишь названиями или, вернее, формой господства, угнетения и насилия, но в сути своей, если брать общие страдания людей, одинаковы, и потому не только возможно, но и закономерно подобное (произвольное, разумеется) соединение и сопоставление идей и мыслей. Прием этот вполне укладывался в известное изречение: все новое — это хорошо забытое старое; но ведь и само изречение, как заметил Петр, — это тоже хорошо забытое старое. Вторым правилом он назвал умеренность и сдержанность, что на деле означало — не выходить за рамки тех научных трактовок, которые на тот или иной данный временной отрезок бывали в ходу; их не надо особенно защищать, но и не следует опровергать, а, приняв как определенную емкость, рассматривать, передвигать и расставлять события в этой емкости. И хотя подобный метод ничего не давал для исследования, но зато самому исследователю приносил успех, славу и положение. «Историзм? Пожалуйста, — вытягивая перед собой руки, словно он подавал что-то, произносил Петр. — Какое же историческое исследование может обойтись без упоминания исторических имен и фактов! Диалектика? Пожалуйста. Ведь суть вся-

кого исследования есть движение: от плохого к хорошему, когда о тех временах, от хорошего к лучшему, когда о нашем. Оценки? Но они есть на все и про все, бери и прикладывай. И берут, и прикладывают, и преуспевают», — как бы желая подтвердить высказанное, заключил он. К третьему правилу он отнес непременное соблюдение элемента народности — не в том смысле, чтобы та или иная работа отвечала потребностям народа (или государства, что было не одно и то же), но в том, чтобы она была причислена к таковым. Выходило (по третьему правилу его), что мысль о служении народу приложима ко всему как в науке, так и в искусстве и что если предварить свой труд этой высокой идеей или хотя бы вкрапить ее в отдельные главы, то можно не сомневаться, что при определенных условиях и с помощью определенных деятелей, коих во всех сферах всегда предостаточно и кои объединены между собой именно на почве подобной деятельности и представляют силу, труд будет непременно занесен в обойму общественно значимых. «А мы говорим об одаренности. О какой одаренности может идти речь, когда тысячи и тысячи только и делают, что добиваются чинов с помощью этих правил, и все дело лишь в том, кто ухитрится искуснее применить их?»

— Ты это серьезно? — спросил тогда Георг Афанасьевич, внимательно выслушавший сына.

— Всерьез не всерьез, но это существует, — ответил Петр с той своей категоричностью, которая более всего смущала и настораживала старого Беспалова. — Нельзя же упрекать океанских рыб, что они живут в соленой воде, это их среда обитания, — добавил он, довольный неожиданным и удачно как будто найденным сравнением, на которое, казалось ему, трудно было что-либо возразить.

— Подменой понятий не заменить истины, — однако нашелся Георг Афанасьевич. — Ты берешь нравственную среду обитания, а ее создает человек.

— Э-э, отец, океан все равно соленый, и либо будешь преуспевать в нем, либо затрут, хоть наизнанку вывернись со своей справедливостью. А в общем, — чтобы перебить разговор и сгладить впечатление, произнес Петр, — какой смысл спорить? Каждый живет по своим правилам, они есть и у нас. Свои, но есть, разве не так? — заключил он этим утвердительным вопросом.

Он не стал спорить с отцом, потому что смысл высказанных им правил был настолько очевидно порочен и так ясна была приспособленческая (желание выгод для себя) суть их, что их нельзя было защитить; но то, что названные им правила были в ходу, ими вовсю пользовались, несмотря на их безнравственность, и что это было состояние жизни общества («Океан соленый, да-да, отец, соленый», — несколько раз повторил он), в этом Петр был убежден и не хотел тут ни в чем уступить отцу. «И это мой сын, это ученый?» — воскликнул тогда Георг Афанасьевич, возмутившись не столько упорством Петра, вполне возможным в споре, сколько позицией, которую усмотрел за этим упорством.

— А ты что молчишь? — спросил он присутствовавшего при этом разговоре младшего сына. — Или ты тоже... заодно с ним? Скажи, возрази, ответь!

XXXIX

Из всех человеческих достоинств старый Беспалов наиболее ценил непреклонность и волю и гордился тем, что у него доставало твердости не изменять однажды, в молодости, избранной цели. Целью же этой было то дело, которое (по логике вещей) предполагало забвение личных интересов во имя общественных. Но в то время как Георг Афанасьевич был искренне (и счастливо!) убежден, что работал на общество и не требовал ничего для себя, он аккуратно, однако, получал все причитавшиеся ему гонорары, и при определенном желании можно было бы совсем иначе, чем он, взглянуть на его деятельность и усмотреть в ней известное стремление к карьере и славе.

Как ученый он начал свой путь, казалось, с главного — с исследования переломных для России эпох Ивана Грозного и Петра Великого. Находить созвучие тех эпох с современностью было в те годы не то

чтобы модным, но считалось потребностью: от науки ожидали не открытий, а угодничества, когда одна цель, истинная, должна была подмениться другой, подготовленной будто бы временем, и в соответствии с этой потребностью времени, согласной с потребностью народа, как еще говорили об этом, и был сделан Беспаловым выбор. Он блестяще, по тогдашним официальным оценкам, справился с темой, жестокость правителей была оправдана им, то есть подтверждено важное для того периода суждение, что цель оправдывает средства, идея преобразования признана народной, а сам Георг Афанасьевич (по этой официальной оценке) — талантливым молодым ученым. Но общественное мнение, которое не всегда совпадает с официальным, сложилось бы не в пользу Георга Афанасьевича, если бы вдруг (как это и позднее не раз случалось с ним) не обнаружились в его работе неожиданные и смелые по тем временам мысли. Как бы между прочим, вскользь, он упомянул о том, что простому народу преобразования не дали ничего, кроме тягот и страданий. В то время, как имущие выдвигали идеи и обогащались, неимущие, то есть народ, равно должный как будто представлять общество, нищали и разорялись. Георг Афанасьевич заметил даже, что для русского мужика (за которого мы всегда так радеем) годы преобразований были самыми невыносимыми за всю историю России. Высказывание было, разумеется, спорным, потому что русскому мужику всегда тяжело жилось на Руси, но оно было о страданиях народа и потому вызывало уважение. Тогда как весь многостраничный труд Георга Афанасьевича о царях-преобразователях был положен на полку и пылился на ней, фраза о народном страдании продолжала жить и работать на его авторитет; и чем дальше уходило время написания этого труда и, главное, чем больше совершалось в стране перемен, тем значительнее (и свежее будто) представлялась всем эта мысль о народе и тем очевиднее возникала потребность продолжить ее. Георг Афанасьевич обратился к стрелецким бунтам и крестьянским волнениям, прокатившимся тогда по России, и тема народного протеста становится для него главной. Он еще глубже проникается идеалом подвижничества, желание деятельности и деятельность сливаются в нем воедино, и он пишет, издает и снова пишет, не оглядываясь и не воспринимая происходящего вокруг: ни официальных лозунгов, концентрировавших в себе суть государственной политики, ни официальных действий; то, что делали для народа другие, и прежде всего государство, было само собой разумеющимся, но то, что делал он, казалось не сравнимым ни с чем. Внимание его начали привлекать народники, и он написал ряд исследований и биографических очерков о них; затем не удержался и написал об отце и родственниках-просветителях, которые в воображении его представлялись подвижниками, а когда и эта неохватная как будто тема, более чем два десятилетия приносившая ему успех и кормившая его, была наконец исчерпана, он не задумываясь переключился на исследование материалов о Великой французской революции.

События тех лет, хотя они и происходили во Франции, а не в России, давно уже привлекали внимание Георга Афанасьевича; они представлялись ему семенем, из которого выросло все разветвленное дерево современного мира, и представлялись корнями, питавшими это дерево. Разговоры о том, что все в тех событиях (равно как и в деятельности вождей, совершивших великие подвиги и великие ошибки) было семикратно исследовано, доказано и объяснено, не смутили его; всегда придерживавшийся мнения, что всякое исследование, если оно действительно научно, лишь увеличивает количество вопросов, а не снимает их, он был убежден, что и в этой новой работе перед ним откроются неограниченные возможности проявить себя. «Чего стоит только вопрос о роковой бездеятельности Робеспьера в последние часы его жизни, — говорил Георг Афанасьевич сыновьям и тем из коллег-ученых, которым надо было объяснить свой неожиданный и странный как будто интерес к истории Франции. — А его оценка революции? — продолжал он о Робеспьере. — Нет, вы только вдумайтесь. — И он приводил известные драматические слова вождя якобинцев: «Уж лучше было бы нам вернуться в леса, чем спорить из-за почестей, репутации, богатства; из этой борьбы выйдут лишь тираны и рабы». — А если бы он проявил активность, если бы разгромлен был Конвент, а не якобинцы, что было весьма и весьма возможно, — добавлял

он,— то история человечества, во всяком случае Европы, пошла бы по другому пути».

Мысль о том, что история человечества (победи Робеспьер, не было бы Наполеона, а следовательно, и его кодекса о собственности) или по крайней мере история Европы пошли бы по другому пути,— мысль эта, казавшаяся Георгу Афанасьевичу неожиданной и новой, была настолько заманчивой и открывала такой простор для воображения, что старый профессор, взволнованный и возбужденный этой возможностью, часами иногда не мог сесть за стол и ходил по кабинету, с увлечением и наслаждением перекраивая карту мира и социальные устройства народов и государств; и делал это тем с большим наслаждением, чем яснее вырисовывалась перед ним перспектива иного, более совершенного устройства жизни. Рассуждения его были просты, он задавал себе вопрос, могло ли произойти такое-то или такое-то потрясшее мир событие, если бы верх оказался за якобинцами и Робеспьером, и самая элементарная логика подсказывала ему, что событий тех быть не могло и что если бы они возникли, то протекали бы по-другому и не в ущерб, а во благо народам; он не то чтобы вычислял (из этих своих простых и ясных как будто построений), но чувствовал ту упущенную историческую возможность, которая позволила бы народам без приложения теперь новых усилий создать на земле общество справедливых и равных прав. «Мы недооцениваем уроки истории,— думал он,— тогда как на их примерах надо учиться». И хотя он знал, что он не был первым и единственным, кто пришел к такому заключению (в мире все известно и все старо), и он не раз слышал, как по случаю и без случая повторялась другими эта фраза, но теперь — это была для него не фраза, а глубоко продуманный и обоснованный довод, к которому привели его научные изыскания; он как будто стоял перед открытием, о котором надо было поведать людям, и ему казалось, что этим последним своим трудом он совершит, может быть, самое значительное (из всех прежде совершенных им) подвижническое дело.

Но в то время как Георгу Афанасьевичу казалось, что все в так называемых «упущенных исторических возможностях» было ясно ему и оставалось только упорядочить и изложить на бумаге роившиеся в голове мысли, и в то время как он с сознанием ответственности и важности предпринимаемого дела и с предчувствием удивления и успеха («Всем было доступно, все могли взять, а не взяли»,— восторженно думал он) приступил к делу, он даже отдаленно не представлял себе трудностей, какие чем больше он будет углубляться в исследование, тем значительнее будут вырастать перед ним. Он сразу же столкнулся с тем, что надо было установить и объяснить причину бездеятельности Робеспьера, то есть из множества уже известных науке версий по этому вопросу, а иного пути не было, выбрать ту, которая наиболее отражала бы правду и могла бы уже сама по себе служить объяснением; и после множества колебаний, на чем остановиться, на общем ли разочаровании якобинского вождя, на его усталости или на том, что Робеспьер не хотел, как утверждают некоторые историки, преступить законность в борьбе с Конвентом, в котором обосновались баррасы, билло-варены, килло д'эрбуа, вадьены и амары, узурпировавшие власть, или же на том, что он разуверился (даже не в последние часы, а в последние месяцы своей жизни) в самой возможности достижения цели революции,— после множества колебаний, вызывавших лишь раздражение на домашних, словно они мешали принять решение, остановился наконец на четвертой и главной как будто версии, которая вернее всего могла приблизить его к истине. Но принятие этой версии, что Робеспьер разуверился в достижении цели революции, не облегчило, а только усложнило задачу. Чтобы объяснить поведение вождя революции, недостаточно было сослаться на трудность (и бесконечность будто бы) борьбы то с эбертистами, то с дантистами, то с другими подобного рода движениями, возникавшими на пути к цели, или на интервенцию и мятежи, требовавшие усилий, чтобы подавить их, или на разногласия, неустойчивость и зыбкость Конвента; Георг Афанасьевич чувствовал, что здесь должно было быть что-то более основательное и веское, и он постепенно начал приходить к выводу, что причину надо искать не в *этих* лежащих теперь на поверхности явлениях, неизбежно сопутствующих борьбе, а в нравственных процессах, устойчиво и скрытно всегда происходящих в человеке и обществе.

Робеспьера должно было удивить, а затем и поразить то обстоятельство (как это все больше прояснялось Георгу Афанасьевичу), что люди, верные революции, идеалам свободы, равенства и братства, как только получали власть, сейчас же начинали обогащаться, употребляя для этого самые разные преступные способы, как было, например, с комиссаром Конвента Тальеном в Бордо, где он с помощью жены маркиза Фонтене, которую сделал любовницей, установил связь с богачами города и за взятки освобождал врагов революции от гильотины, отправляя (вместо них!) на казнь патриотов, которые могли донести на него; почти то же происходило в Марселе, где действовали комиссары Баррас и Фрерон, считавшийся учеником Марата, и в других городах республики. Зло это, воспринятое вначале как исключение, казалось, можно было остановить определенными мерами, и в ход была пущена машина возмездия; но сколько ни работала гильотина, сколько ни заменялись одни комиссары Конвента другими, коррупция, то есть желание обогатиться, противоестественное целям революции, продолжало разрастаться и захватывать новые слои, и явление это не могло в конце концов не вызвать у Робеспьера того чувства, что естество человека переделать нельзя и что так ли, иначе ли, а все возвращается на свой круг. «Вот откуда разочарование и бездеятельность!» — воскликнул Георг Афанасьевич, как только эта простая как будто и ясная мысль осенила его.

Возбужденность старого профессора была настолько велика, что он не мог долго носить в себе это открытие; но когда, в порядке доверительности, поделился им с одним из коллег-ученых, с кем всегда прежде находил понимание и близость,— вместо радости и поздравлений, что было естественно ожидать, услышал слова, которые изумили и потрясли его. «Если хочешь знать мое мнение,— ответил коллега-ученый, хмуро и прямо глядя на Георга Афанасьевича,— изволь, скажу. Ты сделал не открытие, а изготовил, попросту говоря, бомбу под наше общественное сознание, но, во-первых, вряд ли тебе позволят подложить ее, а во-вторых, человечество никогда не расстанется с мечтой о возможности совершенствования мира. Правда не всегда нужна такой, какая она есть на самом деле». И как затем старый Беспалов ни оспаривал это высказывание, как ни горячился, доказывая, что у него и в мыслях не было создавать и тем более подкладывать подо что-то бомбу, сомнение было заронено в нем, и он опять принялся мучительно искать выход уже из этих новых трудностей.

Но завершить работу, как видно, не суждено было Георгу Афанасьевичу, потому что как раз в это время произошли в доме его события, которые затем коренным образом изменили весь ход жизни беспаловского семейства.

XL

Замечено, что сердечные приступы у людей возникают большей частью от тяжелых душевных травм; с Георгом Афанасьевичем же случилось это, можно сказать (да так, собственно, и считают Луиза с матерью), от прилива сильных и радостных волнений. Он с группой общественников выезжал в Новгород для обследования состояния памятников старины, и надо же было случиться такому, что давно искомое и считавшееся уже навсегда утраченным, то есть следы той второй ветви рода Беспаловых, происходившей от ушедшего по духовной линии брата, вдруг и совершенно случайно были обнаружены в Новгороде. А началось все с портрета, который показался Георгу Афанасьевичу знакомым. На холсте, считавшемся музейным экспонатом, был изображен точно тот же будто (по облику и выражению глаз) преуспевающий молодой человек, какой в дорогой раме висел у Георга Афанасьевича в гостиной,— то же соединение, но не вельможного с простонародным, а духовного с мирским, словно оба портрета были написаны одним и тем же мастером. При выяснении, однако, оказалось, что они действительно принадлежали кисти одного и того же художника прошлого века, и обстоятельство это как раз и подтолкнуло профессора Беспалова к поискам. Вместо того чтобы делать то дело, ради которого он был командирован в Новгород, Георг Афанасьевич, отбившись от группы, то есть забыв об общественных обязанностях, с таким рвением

принялся за свои разыскания, что на другой уже день сидел в доме у незнакомых ему пожилых людей и, возбужденный до предела, разговаривал с ними об их находке — свернутом в трубку холсте, — которую они случайно обнаружили на чердаке своего дома, купленного ими после войны у каких-то хозяев, которые, впрочем, тоже не были хозяевами, а просто после ухода немцев заняли чудом уцелевший на окраине города дом и прижились в нем. Вместе с холстом был еще найден ящик с бумагами, но работники музея, полистав бумаги и охарактеризовав их как не представляющие будто бы интереса и ценности монастырские счета и записи, отказались принять их, и вот этот-то ящик, отнесенный в сарай и пылившийся там вместе с разным прочим хламом, которого в хозяйствах обычно всегда набирается предостаточно и который по скупости ли, бережливости или от бедности десятилетиями затем хранится по чердакам и в сараях (но ведь и нет худа без добра), — этот-то ящик с бумагами и оказался самым бесценным и роковым для Георга Афанасьевича подарком. Из-под вороха действительно никому не нужных монастырских счетов и записей он извлек несколько довольно объемных тетрадей и при первом же и беглом ознакомлении с ними понял, что в руках у него был чрезвычайной важности труд, создававшийся в течение десятилетий и по меньшей мере тремя поколениями одареннейших и умных людей. «Боже, да ведь это Беспаловы! Три поколения Беспаловых, наша кровь, наша!» — восклицал он, то возбужденно топчась перед распотрошенным ящиком, то принимаясь еще более возбужденно (и с заложенными за спину руками, словно у себя в кабинете) вышагивать по избе. Мне думается, что на хозяев он произвел чудаковатое, если не сказать больше, впечатление, и они охотно отдали ему весь этот «хлам», совершенно ненужный им и только занимавший у них место. Но для Георга Афанасьевича это было богатство, неожиданно и так удачно подвалившее ему, он перенес все нужное в гостиницу и всю ночь до утра, не смыкая глаз, просидел за тетрадями, читая их.

Я не видел этих тетрадей, а только слышал о них — от Луизы и Марии Викторовны, а затем и от Ивана Егорыча, у которого они хранятся и теперь, так что, если и буду в чем-то неточен, пересказывая содержание их, то не по своей вине; с пересказа, то есть из вторых источников, вообще писать трудно, да ведь и рассказ о жизни Георга Афанасьевича, как я изложил его, и жизнь всего семейства Беспаловых — тоже лишь плод писательских домыслов; если что и верно и за что могу поручиться, так это события и факты, которых изменить нельзя, а что касается переживаний: так ли глубоки они были, в этом ли, другом ли направлении развивались? — и что касается внешних атрибутов: сидел ли, ходил ли или лежал в данном случае герой, — все это могло быть иначе, и я готов даже поручиться, что было иначе, и каждый вправе домыслить все по-своему, усилив или, напротив, ослабив какие-то места; но как бы читатель или критик (ох уж мне этот критик!) ни переиначили внутренние монологи и сколь ни усердствовали в доказательствах, мне и теперь остается только одно — не обрывать начатого, потому я позволю себе хотя бы в нескольких словах, так как к подробностям мы еще успеем вернуться, пересказать содержание тех объемных тетрадей, склонившись над которыми Георг Афанасьевич провел ту бессонную и бурную (для своих чувств) ночь.

Перед ним, во-первых, открылась романтическая история любви, бегства из монастыря и женитьбы на монастырке[1] архимандрита Иоахима (до пострижения — Василия Беспалова) и, во-вторых и главное, — аккуратно записывавшиеся день за днем наблюдения: сначала за иноками, чернецами и просто работниками, причисленными к монастырю, а затем (и тоже день за днем) уже наблюдения за жизнью крестьян, как она, ничем не приукрашенная и без литературных восторгов и жалости, оскорбляющих эту жизнь, протекала на самом деле. Можно представить, какое удивление охватило Георга Афанасьевича, привыкшего по-современному смотреть на мир, одна только романтическая история, которая, впрочем, по скупости изложения ее более давала простор воображению и чувствам, чем разуму; кроме того, что в ней названо было имя монастырки, девушки, как видно, красивой и рассудительной, с живым и ясным взглядом, автором записок сказано было еще, что архимандрит спустя два года был изловлен

[1] Монастырка — жительница, воспитанница монастыря.

церковниками, возвращен в монастырь и, уличенный (с помощью подставных свидетелей) в краже монастырских ценностей, был заточен в одну из сырых и темных келий монастыря. Там при свечах и начат был им этот обширнейший труд, который иначе и не назовешь, как подвижничество во имя народной правды. Неясным оставалось лишь, каким образом труд этот был затем, после его смерти, передан монастырке, с которой он когда-то бежал из монастыря, и сын этой монастырки, родившийся от него и названный в честь его Василием, войдя в возраст и получив образование, продолжил труд отца. Но наблюдения его относились уже не к монастырским работникам, к которым он не имел отношения и с которыми не соприкасался, а к окружавшей его крестьянской жизни, то есть к жизни народа, и потому представляли главную ценность. После него вел записи его сын, Андрей Васильевич Беспалов, которому довелось наблюдать самые смутные годы в истории России. Одно время он даже примыкал к организации «Земля и воля» и встречался с Квятковским, позднее казненным за покушение на царя; он пережил и первую мировую войну, и революцию, и коллективизацию, и репрессии тридцать шестого — тридцать седьмого годов и девяностолетним почти старцем встретил новое грянувшее над страной бедствие. Это он спрятал на чердаке, среди хлама, и холст, и рукопись, которая, может быть, только для него в то время и представляла интерес и ценность и которая теперь наконец, попав к Георгу Афанасьевичу, могла обрести новую жизнь.

Будь эта рукопись у меня, я бы, наверное, не стал пересказывать ее, а привел здесь полностью как документ (с твердым знаком и ятью), открывающий истинное, в пространстве и времени, житие народа. Но вместе с тем думаю, что, может быть, этого и не стоило бы делать, так как, кроме скучного чтива, ничего бы не вышло из подобной публикации. Да ведь и в самом деле, а ну-ка — изо дня в день, изо дня в день об одном и том же, когда жизнь вокруг так стремительна и в ней столько возникает сиюминутных и волнующих проблем, что где уж тут подумать о непреходящем и вечном; а думать о непреходящем и вечном все-таки надо, и полстолетний почти труд трех поколений Беспаловых (даже в том сокращенном виде, как он был изложен мне Иваном Егорычем) более чем говорит об этом. Вторая и главная часть этого труда (вслед за романтической историей, как все должно было открываться Георгу Афанасьевичу), если обобщенно сказать о ней, в свою очередь, была разделена как бы на два совершенно четких, взаимоисключающих будто, но и взаимосвязанных раздела: народ как понятие, вбирающее в себя все слои общества и должное уравнять их, и власть как собственность на людей, словно на землю, скот и пр., и т. п. Авторы записок утверждали (в тех философских отступлениях и комментариях, которыми как раз сопровождались их конкретные и многочисленные наблюдения за непосредственной жизнью людей), что по необходимости любви, труда и блага, потребностям свободы, справедливости, славы и власти и, наконец, желанию возвыситься и подмять под себя ближнего, что особенно распространено в среде интеллигенции, — по всем этим достоинствам и порокам все люди на земле от пастухов и до царей изначально равны, и только условия, в каких рождается каждый — в нищете или богатстве, — только условия, ставящие одних в скотское, других в привилегированное положение, делают их неравными по глубине и восприятию жизни; в одном из обобщений была высказана даже такая мысль, что ответственность за то состояние нищеты и бедности (в том числе и духовной, потому что нищета и бедность чаще всего способны родить лишь бедные мысли), до какого доведены простые люди, лежит прежде всего на интеллигенции и что вина ее так тяжела, что уходит корнями глубоко в историю; интеллигенция виновата и в том, что творила зло, и в том, что не пошла вся на эшафот за правое дело, и только признание этой вины и искреннее и глубокое раскаяние смогут исправить дело. Не пощадили авторы записок и Карамзина с его «Бедной Лизой», в свое время вызвавшей более чем сенсацию у московской читательской публики. «Эка, нашел топор под лавкой» — так и было записано про него. Открытие Карамзина, что и простая крестьянская девушка способна на глубокие чувства, оценивалось как унижающее достоинство барская снисходительность к своей дворне; да она, то есть крестьянская девушка, девушка из народа, всегда умела любить так, если еще не сильнее и глубже, и о каком

открытии здесь может идти речь? Это не открытие, а лишь подтверждение того, насколько власть имущие оторвались от народа, что даже и обычных человеческих чувств не могли признавать за ним, подтверждение, если хотите, величайшей и всеобщей вины интеллигенции перед простыми людьми. Мысль эта — о вине интеллигенции перед народом — сама по себе, может быть, и не новая, но я услышал о ней тогда впервые и не то чтобы сейчас же восторженно принял ее, но мне показалось, что все же что-то очень важное заключалось в ней, что применимо не только к истории.

Еще большее любопытство и удивление должны были вызвать у Георга Афанасьевича рассуждения о власти как о собственности на людей (словно на землю, скот и т. п.); так же, как человек распоряжается у себя в доме, где все по праву принадлежит ему, распоряжаются правители в своих странах, навязывая простым людям тот образ жизни (и образ мыслей), какой, по их произвольному заключению, должен приносить людям благо; и хотя и ребенку ясно, что он не приносит никому этого обещанного блага, но ведь правитель — собственник, он так положил, и все должны из кожи лезть, но оправдать его правоту. Корни этого зла тоже уходят глубоко в историю, и все казавшиеся прежде точными определения, что власть есть аппарат насилия, созданный для подавления свобод (и что само по себе уже является безнравственным по отношению к человеку), не идут ни в какое сравнение с тем, что высказали авторы записок; по их понятиям, власть, какой бы она ни была, не только явление безнравственное, но и противоестественное человеческому существу и потому не имеет права на существование. Но рядом с этим, казалось бы, логическим доводом выдвигался второй и не менее логический, что как только ослабевает центральная власть (заметим, лишь ослабевает), для народа это оборачивается еще большими бедами, в действие сейчас же вступает произвол мелких чиновников и всякого рода наполеончиков, удельных властителей и князьков, и произвол их куда хуже, изощренней и страшней, чем воля одного лица. Из подобных суждений выходило, что и власть не нужна, и без власти плохо (как в деревенском вопросе: и владеть землей противоестественно, и только собственность на землю рождает инициативу к обработке ее), так как же быть? Авторы записок не предлагают никакого решения, они не видят его; они только ставят вопрос перед людьми, перед всем человечеством — нормально ли то, что существует, и не украден ли и не спрятан за семью печатями тот, другой путь развития цивилизации, который привел бы ко всеобщему благоденствию? «Конечно, они не могли знать, — скажет нынешний просвещенный читатель. — Но мы-то с вами знаем!» Да так ли уж и знаем, и — не та ли медаль, только обратной стороной? «А демократическое правление, не в нем ли выход?» — подсказывают мне. Может быть, может быть, но знает ли мир подобное демократическое правление, при котором были бы удовлетворены все истинные потребности простых людей? Где пример, кто может привести его на всем обозримом пространстве истории? Все эти конгрессы, сенаты начиная с древнегреческих времен, все эти партийные и иные плюрализмы, дующие в одну дуду... нет, нет, тут не только Георгу Афанасьевичу, тут и каждому впору задуматься над этими простыми как будто, но самыми сложными в сути своей вопросами жизни.

XLI

С этой своей находкой, можно понять, в каком радостном возбуждении вернулся Георг Афанасьевич из Новгорода в Москву. И Луиза, и Мария Викторовна рассказывали мне, что они просто не узнали его. Как мальчик, он носился по кабинету, вскидывая руки и выкрикивая: «Нет, вы не понимаете, нет, нет, Беспаловы!.. Подвижничество!.. Кровь!..» — и нужны были усилия, чтобы разобраться, что же произошло с ним в поездке, то есть из его восторженных фраз создать более или менее стройное повествование, как все было на самом деле, как он наткнулся на портрет, а затем на эти вот (он потрясал ими) тетради, исписанные старинной вязью, которые, как тут же определила Луиза, и читать-то надо было, набравшись терпения и с лупой. Но так ли, иначе ли, а весь дом был взбудоражен этой сенсацией, тут же был приглашен старший сын Петр с женой, чтобы разделить общую радость, а Марианне и ее мужу Вилену

Аркадьевичу была послана в Вену телеграмма. «Мы все были так взволнованы, — уже теперь, рассказывая, поясняла Луиза, — что никому и в голову не пришло побеспокоиться об отце, а ведь он был не только возбужден, он был бледен, болезненно бледен, я помню, как я заметила это. Знать бы, где упадешь, соломки бы подстелила». Ах, как часто нам не хватает именно этой соломки, мы терзаемся, корим себя, тогда как, кори, не кори, дела не исправишь, да и человек в конце концов не машина, он и в радости — слеп, и во гневе и горести — не лучше. Беда грянула на другой день и неожиданно, когда, казалось, все уже успокоились и жизнь семьи вошла в привычную колею. Уйдя с вечера в кабинет и сказав, чтобы его не беспокоили и что он наконец всерьез займется находкой, в которой многие и многие страницы еще надо как следует расшифровать, — Георг Афанасьевич закрыл за собой дверь и, сев за стол, принялся за работу. Он не любил, когда его отвлекали, и эта-то привычка, то есть установленный им в доме порядок, в сущности, и погубила его. В этот вечер особенно никто не осмелился войти к нему, даже Мария Викторовна; лишь перед тем как лечь спать она только постояла возле его двери, прислушиваясь, а когда утром, спохватившись, что мужа нет рядом, вошла наконец к нему в кабинет, он был мертв, и тело его, успевшее уже затвердеть, было холодным.

Врачебное освидетельствование и вскрытие показали, что его можно было бы спасти, если бы кто-то вовремя вошел к нему и оказал элементарную помощь, но этого не было сделано, и Петр как старший в семье, читавший врачебное заключение, никому тогда (главным образом из-за матери, тяжело переживавшей горе) не сказал о нем, и оттого у всех так и осталось убеждение, что отец просто-напросто не перенес радости и поплатился за свою непосредственность и преданность подвижническому делу. Но мне как человеку постороннему и свободному от каких-либо родственных пристрастий к беспаловским семейным делам, — мне несколько иначе видятся и смерть Георга Афанасьевича и, главное, мотивы его волнений. Не столкнулись ли здесь два разных подхода к основополагающей концепции жизни: только (а) имитация правды, то есть видимость ее в своих деяниях, и (б) сама правда, выраженная местами даже будто неуклюже, оголенно и дерзко, но с искренностью, не вызывающей сомнений; и в самом деле: в Новгороде, пока Георг Афанасьевич лишь поверхностно знакомился с работой трех поколений своих бесследно вроде бы пропавших родственников, он видел только некое будто единство духа и целей, и это радовало и волновало его, и даже, как мне кажется, прибавляло сил, потому что найдено было подтверждение правоты его жизненных устремлений; но когда в домашней обстановке (и несколько поостыв уже) начал вчитываться в привезенный им труд, не мог не увидеть различия между тем, чем занимались они, вернее, на что они положили жизнь, и тем, на что положил ее он со своими исследованиями лишь книжных версий. Искренне веривший, что работает для народа и во имя его, Георг Афанасьевич вдруг увидел бессмысленность своего труда (тут, я думаю, не исключено было и преувеличение, потому что какой-то все-таки смысл в его трудах, разумеется, был), и это в своем роде страшное открытие, сделанное им, и явилось тем неотвратимым ударом, который и подкосил его. Не знаю, метался ли он возбужденно по кабинету (согласно темпераменту и натуре), хватался ли за голову, или заламывал руки, или делал еще что-либо подобное в том ошеломленном состоянии, в каком был, но скорее всего, как это представляется мне, тихо сидел в кресле, глядя перед собой и не видя ни рукописи, ни других на столе предметов, так привычных его глазу, а только обломки того подвижничества, которое было смыслом и целью его жизни и было разрушено теперь. Признаться, что он не в то верил и не к тому прикладывал усилия, к чему надо бы прикладывать их и что одно только могло принести народу пользу, он не мог, и так и скончался с этим испуганным (перед обнажившейся действительностью) выражением, которое было заметно даже в гробу, когда тело покойного профессора было выставлено в зале института для прощания.

Так по крайней мере рассказывали мне люди, относившиеся вполне доброжелательно к старому Беспалову, но я не хотел бы теперь обращаться к подробностям похорон; они проходили, как проходят все похоро-

ны подобного рода людей, чего-то будто заслуживших (тем более что о покойных не принято говорить плохо) то ли перед наукой, то ли перед народом и государством или даже просто перед семьей и друзьями, в чьей памяти надолго будто (по известным заверениям) должен сохраниться его светлый образ; были и гражданская панихида, и крематорий, и урна с прахом, врученная затем сыновьям и помещенная ими в нише колумбария, — да, все, все это было, и цветы, и слезы, и речи на поминках, и опустевший в квартире кабинет отца, где долгое время все оставалось так, как было при нем, даже привезенные им новгородские тетради так и лежали раскрытыми на той странице, на которой Георга Афанасьевича застала смерть, но общая жизнь семьи не могла остановиться на этом; для нее лишь наступил тот намечавшийся еще при жизни отца водораздел, действие которого при всех усилиях Луизы и матери нельзя было ни приостановить, ни избежать. Прежде всего несогласие обнаружилось между братьями — по взглядам на жизнь, науку и достижение целей в ней. Петр не то чтобы принял, но действовал согласно той самой теории из трех правил, о которой в свое время (и не без определенного намека) рассказал отцу. Он взял почти все архивы отца, особенно его последнюю, не публиковавшуюся нигде работу о деятелях Французской революции, и сначала, как и обещал брату, собирался и в самом деле обнародовать ее под именем отца, но то ли что-то действительно помешало ему сделать это, то ли по каким-то соображениям, возникшим в последний момент, работа не получила огласки, но зато сам Петр вскоре стал значиться в числе ведущих специалистов по французской истории эпохи революционных свобод и наполеоновских сражений. Он был горд этим положением и почти не встречался с братом, тогда как у Ивана (Ивана Егорыча по-теперешнему) возникли свои осложнения и трудности. Он занялся новгородской находкой отца, изучил и написал комментарий к этой уникальнейшей, как он охарактеризовал ее, рукописи и затем в течение многих лет безуспешно пытался опубликовать ее; именно тогда, к несказанному своему удивлению (и огорчению, конечно же), он обнаружил, что у нас в стране нет такого научного заведения, которое бы непосредственно занималось исследованием человека как личности, способной (как, почему и при каких условиях?) с наибольшей отдачей для общества проявить себя, и что из всех естественных человеческих начал, вызывающих инициативу к труду и жизни, мы удосужились взять лишь самое неестественное — принуждение, способное вызвать только нежелание и протест (или, как теперь, уход в глухую защиту бездеятельностью, развратом и пьянством), и где уж тут было и кому до живой мысли и слова? Историкам работа трех поколений Беспаловых не подходила тем, что она представлялась им не то чтобы малоисторичной, но посвященной каким-то никому не ведомым и не представляющим общественного интереса монастырским работникам, крестьянам и простым людям вообще, тогда как, по их мнению, в это же время происходили величайшие события и рождались великие идеи; почти по той же причине отвергали и философы, потому что собственно размышлений, которые можно было бы отнести к общественным наукам, было так незначительно по отношению к подробнейшим описаниям жития народа, что никто (хотя это был только повод, а причина крылась в другом) даже и слышать не хотел о возможности публикации подобной работы; не подходила она и просвещенцам, и сельхозникам, потому что была не об исследовании клубов и не об исследовании почв или результатов мелиорации или химизации, наконец, не о преимуществах коллективного труда, то есть не о колхозах (многие из которых, к слову, даже не могли прокормить себя), а «черт-те о чем», как заявили Ивану Егорычу, и в этих своих мытарствах по кабинетам и приемным он настолько поиздержался и нажил такое количество врагов — и в доме, и на работе, и по всей Москве, — что вынужден был поневоле искать иного прибежища и уехать из столицы.

Не знаю, не берусь судить, что было для Ивана Егорыча огорчительнее, общественные ли его неудачи или размолвка с женой, только усугубившая дело? Но, может, было бы правомерно, а, главное, согласно с канонами жанра (и что вполне бы и прежде всего удовлетворило литературоведов и критиков) как раз теперь и заговорить о семейных перипетиях Ивана Егорыча, тем более что такой разговор был обещан читателю; но я все же вновь рискну отложить его до другого случая, так как, по моим понятиям, он имеет совершенно самостоятельное значение и уже сам по себе занял бы несколько глав. К тому же опасаюсь, что в спешке можно неверно расставить акценты, несправедливо обелив одного и осудив другого, тогда как мне хотелось бы не осуждений, а истины, особенно когда дело касается женщины, ее материнских прав и требований к жизни. Могу лишь сказать, что не Иван Егорыч ушел от жены и дочерей, от ангельской души Лии, или Лии Алексеевны, как она любила, чтобы ее называли, а она оставила его, то есть, забрав дочерей, ушла к матери. О мотивах можно было только догадываться, и злые языки, а они у нас всегда на стороне видимо пострадавшего, говорили, что будто бы ее не устраивал подобный муж, обреченный быть вечным неудачником, живя за которым разве что с сумой не пойдешь. Но на самом деле, думаю, было здесь что-то другое, более глубокое и важное, что разделило их и о чем знали только они сами, как это и положено между порядочными людьми. Перебрался же Иван Егорыч в деревню не только от этих своих неудач, разладов и неурядиц; не имея возможности опубликовать новгородскую находку отца, он решил продолжить ее на современном уже материале, то есть решился на то бескорыстное подвижничество, пример которого более чем наглядно был перед ним.

XLII

Между жизнью, какой мы наблюдаем ее со стороны, и той, что протекает для человека на самом деле, часто лежит глубочайшая разделительная черта; нам кажется иногда, что такой-то или такой-то по внешним признакам должен быть удручен и несчастен, а он процветает и благодушествует, и, напротив, процветающий с виду оказывается душевно надломленным и подавленным. Лыковская жизнь Ивана Егорыча (когда в тот день наконец я попал к нему) вовсе не была так однообразно безвыходна, какой представлялась мне, и я встретил не раздраженного, желчного и обезверившегося человека, а личность сильную, светлую, устремленную. Кроме тех общественных интересов, где его постоянно преследовали неудачи, была у него домашняя атмосфера жизни, создаваемая Людмилой и так понятная (в семейном плане) и близкая мне, что спустя уже полчаса я чувствовал себя в их доме свободным, раскованным, чуть ли не своим человеком, как будто век был знаком и с Иваном Егорычем, и с Людмилой, женщиной, как я уже говорил, умной и обаятельной, умевшей, несмотря на всю внешнюю простоватость, создавать вокруг себя обстановку непринужденности, теплоты и гостеприимства.

Она работала на цветочной клумбе, когда я от ворот окликнул ее. В простеньком платье, от плеч оголявшем руки, в каком я уже видел ее, когда (в день приезда) вместе с Угровым стоял в толпе, наблюдая за происходившим, в косынке, теперь прикрывавшей от солнца ее вспотевшее лицо, она подошла ко мне и, узнав, к кому и зачем я, провела во двор, и, предложив посидеть в плетеном кресле, ушла в дом за Иваном Егорычем. Ходила она недолго, но у меня все же было достаточно времени, чтобы осмотреть двор, клумбу и усыпанную речной щебенкой дорожку вокруг нее. Может быть, оттого, что я волновался и надо было чем-то отвлечься, чтобы успокоиться (ведь я тогда не знал еще, как буду принят здесь и захочет ли вообще Иван Егорыч разговаривать со мной?), но, может, просто потому, что всякий известный человек интересен не только в общественных проявлениях, — я старался заметить и запомнить как можно больше и был рад, что находил все вокруг чистым, подметенным, убранным, как в примерном крестьянском дворе, где есть кому и есть для чего приводить все в порядок. Разумеется, все здесь было таким и в тот день, когда вслед за Угровым я проходил через двор в сад, чтобы посмотреть вырытую там в форме могилы яму; но тогда внимание было сосредоточено лишь на ободранной у ворот ели и яме, которую шли посмотреть, а теперь я будто старался понять самого Ивана Егорыча, насколько (по этим обозримым деталям) воображенный образ его мог соответствовать действительности. Еще у ворот, оглянувшись на ель, я заметил, что оголенная часть ее ствола была аккуратно залеплена глиной. Подсохшая, потрескавшаяся и местами обильно уже пропитавшаяся смолой, глина напоминала кору, и общий вид ели не вызывал уже того чувства сострадания (словно

к человеку, безвинно осужденному на смерть), какое теперь лишь отголоском чего-то сильного и пережитого шевельнулось во мне. «А ведь выживет, — подумал я. — Какая могучая цепкость жизни! Обольется смолой и выживет. Выживет!» — повторил я, невольно перенося всю эту жизнестойкость на Ивана Егорыча, на людей вообще, способных выносить, казалось бы, невыносимое и жить, жить, жить, залечивая и свои, и общественные раны.

— Вы ко мне? — в то время как, занятый общими мыслями, я продолжал смотреть на ель, спросил Иван Егорыч.

Он так неожиданно появился на крыльце, что я оторопел и не сразу нашелся, что сказать; все прежде продуманное и приготовленное, весь будто словарный запас словно иссяк, и я оказался как перед чистой тетрадью и с тем заданием, смысл которого лишь в общих чертах представлялся мне. Да, так бывает, когда простое, обыденное вдруг кажется неодолимым, и, напротив, в ситуациях сложных начинаешь чувствовать прилив сил; в ту минуту я, разумеется, не знал, отчего явилась во мне эта скованность, да было и не до выяснений, а впору лишь справиться с собой; но теперь, когда все позади, и у меня, как при всяких воспоминаниях, есть время осмотреться и поразмыслить, я понимаю, что иначе и не могло быть или было бы неестественным, ложным, исполненным не достоинства, а наглости, которую сплошь и рядом так цинично выдают ныне за достоинство, что уже и не знаешь, может ли быть вообще что-либо авторитетом для нас или нет. Иван Егорыч был подвижником, и уже потому являлся для меня авторитетом; я видел в нем взлет человеческого духа, хотя, может быть да и наверняка, видимо, суждение это преувеличено, но ведь и без преувеличений нельзя; любой идеал, даже идеал социального устройства жизни, поданный нам, разве это не преувеличение? Но, надо сказать, было и обычное, приземленное в моем состоянии, и заключалось оно в том, что я знал, какие силы противостояли этому человеку; он нуждался в заступничестве и помощи, и я со своим потребительским желанием поговорить с ним, — я не мог чувствовать себя перед ним иначе, чем виноватым, а вернее, чем не в том ложном положении, в каком обычно всякий сытый предстает перед голодным со своими нравственными поучениями жизни.

— Слушаю вас, — повторил Иван Егорыч, сойдя с крыльца и остановившись передо мной.

Да и я уже не сидел, а стоял, все еще не находя, с чего начать, и замешательство мое было, наверное, столь искренним, что, привыкший к бесцеремонности, с какой большинство приходивших, видимо, обращались к нему, Иван Егорыч смотрел на меня с удивлением и даже будто с сочувствием, словно ветеран на новичка, с которым бок о бок придется работать ему; именно в эту минуту я понял, что весь разговор о нелюдимом и замкнутом характере его был лишь той распространявшейся фальшивкой, цель которой — отпугивать и отторгать от него людей.

Представившись и сказав, что я только что из Москвы, что было неправдой, но так просилось на язык, что нельзя было удержаться и не произнести этого, я тут же торопливо добавил, что наслышан о его творчестве, то есть исследованиях народной жизни, и хотел бы поговорить с ним на эту важную и волнующую теперь всех нас тему.

— Наслышаны?! — с какой-то нехорошей будто усмешкой переспросил он, собрав, видимо, всю горечь своих неудач в это неприятно прозвучавшее для него слово. — От кого, каким образом? Разве кто-то еще помнит обо мне там, в Москве?

Я назвал несколько литераторов.

— А-а, да-да, хорошие люди, — сейчас же подтвердил он. — Так что же мы стоим здесь, пройдемте в дом, — пригласил он. — Ляля, Лялечка, — хотя никак нельзя было произвести от Людмилы — Ляля или Лялечка, обратился он к женщине, стоявшей тут же. — Надо что-нибудь приготовить, человек с дороги.

— Спасибо, я сыт, я только погоорить, — попробовал было возразить я.

— Вы что же думаете, русские люди разучились гостеприимству? Раз уж пришли, будьте добры. — И, попросив жестом следовать за собой, направился в дом.

Пройдя через прихожую и гостиную, мы вошли в его небольшой рабочий кабинет, в котором все показалось мне уютно расставленным и прибранным; и вообще, должен сказать, что замеченный еще во дворе порядок чувствовался во всем доме и невольно вызывал уважение и к хозяину, и к хозяйке, так сумевших внести интеллигентность в свой обыденный деревенский быт. И хотя за интеллигентностью, как и в большинстве наших квартир, проглядывала тщательно скрываемая бедность, но — это уже относилось к другому и не могло бросить тень на обитателей дома; то, что зависело от их возможностей, вкуса и рук, было безукоризненным, о чем могу засвидетельствовать и теперь, и, может быть, на этой-то педантичной безукоризненности, которую мы еще называем н е м е ц к о й и над которой каждую минуту готовы позубоскалить, или, говоря иначе, строжайшей к себе требовательности, как раз и держалась, по-моему, вся нравственная и физическая сила этого человека. Письменный стол его не был загроможден бумагами и томами с закладками и тем более не был обсыпан табачным пеплом, как у большинства коллег-писателей, у которых приходилось бывать в домах; под рукой у Ивана Егорыча находилось лишь то, над чем он работал, а все подсобное, как и книги, привезенные из отцовской библиотеки сюда, хранилось в шкафах. Высокие, с остекленными дверцами (чьей-то самодельной работы), они занимали почти всю, от окна, стенку и придавали кабинету как бы особую строгость и деловитость. На противоположной же от них стене висел портрет священнослужителя в багетной раме, и я сейчас же обратил внимание на него. Тогда я еще ничего почти не знал ни о жизни Ивана Егорыча, ни тем более о его родословной, и меня поразило именно э т о, что на холсте был священнослужитель в архимандритском клобуке с фиолетовой (знак отличия для белых монахов) камилавкой под ним и с позолоченным, в драгоценных камнях, крестом на груди поверх одежды. «Что это, уж не верующий ли Иван Егорыч?» — подумал я. Портрет был явно чужероден в кабинете. Чужероден шкафам, книгам, да и самой, казалось, подвижнической натуре Ивана Егорыча, какой она рисовалась мне; но чужеродность чужеродностью, а нельзя было исключать и другое, что если бы Иван Егорыч действительно оказался верующим, это бы, думаю, не изменило моего отношения к нему, а только, может быть, прибавило бы интереса. В тот период (и об этом говорили все) от трудностей ли жизни или оттого, что обессмыслились идеалы, вернее, что между идеалами и жизнью образовался разрыв и никто уже почти не верил, что можно преодолеть его, — по всей стране вдруг обозначилась некая будто приливная волна религиозности; и старики, и молодые (и не только ради любопытства, как было прежде) потянулись к церквям, на богослужениях заметно поприбавилось люду, а в обрядах крещения и венчания стали находить некий даже будто бы горделивый вызов обществу; и хотя большинством (в общественном мнении) не одобрялась эта приливная волна, но и не осуждалась в той степени, как в прошлом, чтобы что-то насильственное предпринять против нее. Разумеется, я тоже не мог идти против этого общего течения жизни и, оборачиваясь то на портрет, то на Ивана Егорыча, то снова на портрет, старался лишь уяснить себе, насколько религиозность его могла быть модой, увлечением или же носила какой-то иной, принципиальный характер.

— Я вижу, вас заинтересовал портрет. Всего лишь копия с картины девятнадцатого века, — сказал Иван Егорыч. — А вы пройдите сюда, — попросил он, указывая место, откуда лучше всего смотрелась картина. — Священнослужитель этот стоит того, чтобы на него посмотреть.

Он хотел добавить еще что-то (видимо, о родственных связях с этим священнослужителем и его подвижнических делах), но, не желая разрушить, как я подумал, моего любопытства, лишь молча принялся прохаживаться за моей спиной.

XLIII

— Вы знаете, я человек крайних взглядов, не пугает вас это, вы не боитесь? — спросил Иван Егорыч после того, как было уже переговорено о некоторых (главным образом литературных) новостях и произнесены имена историков, писателей, критиков, интересовавших хозяина дома. Я давно заметил, что люди, отдаленные от столичной жизни и только лишь

издали наблюдающие за ней, знают обычно о ней больше, чем москвичи, и Иван Егорыч в этом отношении не был исключением. — Хотя, — усмехнувшись, добавил он, — мы вдвоем, третьего нет, так что все равно подтвердить никто ничего не сможет.

Он стоял позади кресла, опершись руками о спинку, то есть в той позе, в какой некогда отец его любил произносить свои монологи; но Иван Егорыч не копировал отца, вернее, не думал, что копирует, а поза эта, как я заметил позднее, была его привычкой, он не мог говорить сидя, тем более если нужно было что-либо разъяснять или отстаивать; лицо его, освещенное с одной (правой) стороны дневным оконным светом, было особенно, как мне казалось, выразительным, как у человека, готовящегося, может быть, к главному делу жизни, и потому не отдельные детали, не утонченный профиль носа или разрез губ, с которых каждую минуту словно готово было слететь что-то язвительное, или прическа с пробором, выдававшая в нем всю даже будто заматеревшую педантичность, запомнились мне и поразили меня, а именно эта характерная решимость, вдруг и ни с чего будто охватившая его. Сколько затем я ни встречался с ним, не видел на лице его такой одухотворенности, как во время этой первой встречи, будто от нашего разговора действительно что-то зависело или могло измениться в жизни.

— У человечества есть только одна проблема, от которой происходят все большие и малые беды, — это проблема землепользования. Либо мы отдадим землю крестьянам, как это и было записано на скрижалях революции, либо — еще более обречем себя на голодный социализм. Другого пути нет, нет и нет, и все рассуждения о том, что крестьянский двор всякую минуту рождает капитализм, то есть вносит элемент буржуазных отношений, — это пугало, выставляемое для устрашения, тогда как известно, что, работая на земле, пуп надорвешь, а капиталистом не станешь. Социализм, который не способен обеспечить нормальную жизнь обществу, — это не социализм, а подделка под него, революция делалась для свободы и счастья человека, а не для закабаления его. А как же иначе, как иначе, скажите мне? — уже в запальчивости произнес он.

Необъяснимых поступков, я убежден, нет, ведь для чего-то же открываются (на вокзалах, в поездах, самолетах) друг другу незнакомые люди; видимо, у Ивана Егорыча тоже была подобная потребность исповедаться новому человеку, и если что-то и характерно здесь, так разве лишь то, что говорил он не о себе, не о своих заботах и бедах, как происходит обычно с пассажирами-попутчиками, а о делах общественных, которыми жил и которые, видимо, подавляли в нем все иные, то есть мелкие, личные интересы. Разумеется, лишь теперь, с отдаления, все это столь отчетливо видится мне, но тогда откровение его явилось настолько неожиданным, что в первую минуту я подумал, что он либо шутит, либо проверяет, готов ли я вообще к серьезному разговору с ним. Да и в самом деле, если вспомнить мое тогдашнее представление об Иване Егорыче, ведь я воспринимал его лишь как исследователя понятий «народ» и «народная жизнь», насколько они в нашем сегодняшнем толковании отклонены от действительности, и соответственно рисовал себе ход предстоящего разговора; но передо мной предстал совсем другой человек — с государственным диапазоном мышления, что было у нас тогда в редкость, чуть ли не в диковину, и само желание поставить себя так уже казалось невероятной, недозволенной дерзостью.

— Вы так смело беретесь опровергать ленинское положение о крестьянском дворе? — принимая этот полушутливый, полусерьезный, как мне показалось, тон, каким начал Иван Егорыч, заметил я, с улыбкой глядя на него.

— Нет, в том-то и дело, что нет, — ощутив не столько собеседника сколько оппонента во мне, что как раз, наверное, и требовалось Ивану Егорычу, возразил он, отклоняя всякую возможность шутки. — Ленин ввел нэп, и он предостерегал от всяких поспешных действий в отношении крестьян. Он сомневался, да, да, не смотрите на меня так, сомневался в правоте своих же высказываний, и это было великое сомнение. А мы?! Мы, как истые догматики, отбросили все его сомнения и в конце концов что же получили?

Тогда еще не принято было так откровенно говорить о состоянии нашей жизни, как все мы говорим теперь, и я искренне не понимал Ивана Егорыча; мне казалось, что если и можно было что-либо изменять, то только в рамках существующего, а тут — затрагивалось что-то корневое, чего затрагивать было нельзя, и я испытывал уже естественную потребность возразить своему новому знакомому.

— Так ведь можно и коллективизацию — под нож! — воскликнул я.

— А вы боитесь, боитесь? — Тонкие губы его даже как будто чуть побледнели при этих словах. — А чего боитесь? Благополучия народа? Что вековое желание его будет наконец исполнено? — Он смотрел на меня и обращался как будто ко мне, но, в сущности, слова его направлялись к кому-то третьему, с кем он не раз, наверное, полемизировал мысленно и готов был открыто полемизировать теперь; и были это не Игорь Максимович, Стригунова, Угров или Соев, которых он не воспринимал как силу; они были для него как бумажки, гоняемые ветром, а наивысшим злом он считал то общественное мнение, какое издавна и по определенной злой воле складывалось вокруг крестьянского вопроса и какое за столетия, как ему казалось, не претерпело почти никаких изменений. Как считался крестьянин закоренелым собственником, так считается и теперь, и против него, то есть против этой собственнической его натуры, бесконечно выдвигаются опасения, тогда как интеллигенция, столь же, если не больше, подверженная этому разврату, — она, как жена Цезаря, оказывается вне подозрений, против нее не выдвигаются подобные опасения; взяв на себя роль Фемиды, она старается формировать и направлять общественное мнение, и никому и в голову не приходит распространить на нее действие этого же естественного (и, повторяю, многократно усиленного в ней) закона о собственности, так пугающе будто бы (для интеллигенции и по определению ее) способного проявиться в крестьянских семьях. — Странно, странно и странно, — говорил Иван Егорыч, глядя на меня, но видя ту воображенную общественность, с которой полемизировал теперь. — За себя не боимся, что обуржуазимся, превратимся в капиталистов, да и превратились уже, превратились, вон их сколько по Москве, уголков «развитого социализма». Метко, не правда ли? А-а, народ прилепит, не отлепишь. Так за себя, значит, не боимся, что обуржуазимся, а за деревенского человека — ах, ах, как бы не разбогател да не обрел самостоятельность! Это мысли крепостников, но мы-то, слава богу, не крепостники, так чего нам бояться? Я спрашиваю, чего? — повторил он, до белизны вдавив пальцы в спинку кресла, за которым стоял.

Он был настолько поглощен тем, о чем говорил, что я даже не успевал возразить ему. Но как это и бывает в таких случаях, после вспышки искренности, то есть сумбура, как я позволил бы заметить себе (или обмана, когда подаются не блюда, а только перечисляются названия их), он вдруг на мгновение смолк, пристально вглядываясь в меня, и затем начал вновь излагать все, но уже в иной последовательности и с доводами, с которыми, как ни казались они неожиданными и спорными, трудно было не согласиться. По его предположению, на мировой арене всегда действовали и действуют три (помимо производных от них) основные силы: народ, правители и общественное мнение, которое всегда может усилить либо позицию народа, либо позицию правителей. Когда общественное мнение, «а мы знаем, кем и как оно формируется», добавлял он, становится на сторону народа, хотя история почти не помнит подобных случаев, то одерживает верх народ, когда же на сторону правителей, а на стороне правителей оно всегда, как домашняя служанка, то миллионы и миллионы простых людей оказываются одураченными и бросаются искать (и ищут, главное, ищут!) истину не там, где она есть. Чтобы начать войну, готовят общественное мнение; чтобы отменить или провести какую-либо реформу в стране, готовят общественное мнение; необходимость религии, государства, необходимость насилия, жестокости или милосердия — все-все бывает объяснено, сформулировано, названо нормой и закреплено в общественном мнении, которым, как длиннохвостым пастушеским кнутом, подгоняют затем народ в нужном будто бы ему направлении и не позволяют отойти или оглянуться. Конечно, согласен, сказано резко и с обобщениями, к которым мы не привыкли; куда понятней, когда речь идет просто о борьбе классов; но ведь и здесь не отрицается, а только ясней обнажается эта

борьба (с привнесением третьей и немаловажной силы), то есть открываются те действенные пружины, которые в определенные моменты истории определенными личностями и всегда скрытно от народа пускаются в ход. Иначе — чем объяснить, что республиканская Франция, свергнувшая монархию и отправившая на гильотину ненавистного ей короля, вдруг, в какой-то момент, словно обезумев, закричала: «vive l'empereur!»; или Германия, внявшая гласу нацизма, ради внушенного ей lebensraum бросается покорять мир? — или еще и еще: что ни историческое событие, то и пример общественного мнения как хлыста в руках одного или группы возомнивших себя гениями и властителями людей. Но еще страшнее то общественное мнение, которое носит не временный, а долгосрочный, как выразился Иван Егорыч, характер. Ученого, например (или художника, литератора, артиста), не заподозришь по его уровню жизни, что он капиталист, потому что, во-первых, заработано трудом, а во-вторых, на его стороне общественное мнение; ученый (или художник литератор, артист) не может жить иначе, чем в достатке и среди красоты, и кого ни спроси, каждый не только знает, но и убежден в этом. Крестьянин же, тоже должный получать по труду, как только достигает определенного уровня, сейчас же объявляется кулаком, собственником, его начинают подозревать в разного рода ухищрениях, и против него поднимается общественное мнение; неважно, что мнение необоснованно, несправедливо, но оно есть, оно общественное, и его нагнетают, как нагнетали прежде, всегда, и в результате — теперь трудно даже сказать, с каких времен, — образовались и существуют два (и естественных, главное, как это кажется всем) уровня жизни: интеллигенции и крестьян. Они несоизмеримы, эти уровни, и на страже, чтобы ничто не могло измениться в этом заведенном порядке, прочно, как часовой, стоит общественное мнение. Менялись правители, менялись социальные системы, но неизменным оставалось мнение, что деревенский человек — это собственник и его следует бояться и держать в узде, а интеллигент, он должен сполна получать за свой труд, потому что он всегда привык получать сполна и по-иному не мыслит жизни.

— Нет, я не за то, чтобы что-то урезать ученому или заподозрить его, нет, поймите, — говорил он. — Но я за то, чтобы общественное мнение было одинаково справедливым и одинаково действенным, да-да, именно одинаково действенным как по отношению к интеллигенции, так и по отношению к крестьянству. Конечно, его просто так не изменишь, если учесть, что оно складывалось веками, — продолжал он. — Нужны исследования, доказательства, наконец, гласность, — сказал он не в том широком понимании, как мы произносим это слово теперь, но с тем изначальным значением, что всякий труд сперва должно обнародовать, а уж затем выносить суждение о нем.

XLIV

В соседней комнате, было слышно, как Людмила накрывала на стол. Она несколько раз заглядывала в кабинет, особенно когда Иван Егорыч начинал возвышать голос, но, чуть постояв в дверях, уходила, и я заметил лишь, что она успела уже переодеться и выглядела совсем по-другому, чем во дворе, когда работала на цветочной клумбе. На ней было теперь голубоватое, прямого покроя платье, какие только-только входили тогда в моду в Москве, символизируя естественность и простоту, что как раз и нравилось Людмиле и шло ей, волосы ее, освобожденные из-под косынки, волнисто спадали на плечи, обрамляя молодое еще, слегка загорелое (и с признаком здоровья и женской силы) лицо, придавая ему выразительность, в ушах светились сережки с бирюзовыми глазками, и вообще надо сказать, она производила впечатление женщины, вошедшей в ту пору зрелости, в какой они надолго затем остаются неизменными, удивляя, радуя и привлекая своей неувядаемой женственностью мужчин. Сознавала ли она вполне, как выглядела и чем обладала, или и в самом деле все было столь естественным в ней, что давалось без усилий, не могу подтвердить с точностью, но впечатление, оставлявшееся ею, было именно впечатлением простоты, которая распространялась и на Ивана Егорыча и облегчала общение с ним. Она знала за ним тот недостаток, что в разговорах он обычно бывал несдержанно и во вред себе откровенен, но она ни разу не

прервала его, а лишь, глядя на него от дверей, передавала свое беспокойство, и после ее появления всякий раз Иван Егорыч вдруг начинал словно сбиваться с темпа, понижал тон и формулировки его уже не звучали так вызывающе дерзко, как могли бы, я чувствовал (без этих предупредительных сигналов), звучать в его устах.

— Ах, как они все зашевелились, эти мельничные завсегдатаи, — с какой-то желчной будто досадою проговорил он после очередного появления в дверях Людмилы. Но, вспомнив, видимо, что я только что из Москвы (как в первую минуту встречи вырвалось у меня), и что слова «мельничные завсегдатаи» могли быть непонятны мне, тут же принялся пояснять, что атмосфера столичной литературной жизни в том же, если не в более извращенном виде, перенесена сюда, и что если я еще не знаком с обычаем здешней наезжей публики устраивать сборища на старой мельнице, то, может быть, следует даже просто из любопытства сходить туда. — Ведь это явление, — сказал он. — Они шумят о своей прогрессивности, даже выступают будто бы против существующего порядка вещей, тогда как вся их так называемая деятельность — это лишь нива, с которой они кормятся. Чем хуже для народа, тем вольготнее им, потому что есть кого защищать, то есть в кого рядиться и шуметь, кормясь за счет этого шума. Подобные люди не только не страшны, но даже полезны властям, потому что не затрагивают корневых вопросов жизни. Ведь чтобы обрядиться в защитника, надо по крайней мере иметь кого защищать, а благополучный народ, он ведь не нуждается в защите. Получается вроде заколдованного круга, где все сцеплено и сцементировано и связующей смесью, если хотите, как раз и выступает (в веках!) то общественное мнение, то есть та третья сила, о которой я говорил. Стоило мне лишь прикоснуться к понятиям «народ» и «народная жизнь», чтобы посмотреть, как эти понятия соотносятся сегодня с действительностью, лишь прикоснуться, заметьте, а как встрепенулся, как ощетинился весь этот осиный рой «заступников» и «правдолюбцев»!

— Но ведь есть интеллигенция и интеллигенция...

— Да, — с живостью перебил он. — Но истинная интеллигенция, как правило, разобщена, она не приемлет стадности, ей унизительно, противно само это чувство, и этой разобщенностью ее, этой ее слабостью и пользуются всякого рода псевдорадетели. Возьмите историю, ведь у нас что ни десятилетие, то новый взрыв либо западничества, либо славянофильства. И те за народ, и другие, а разобраться, каждый только и делает, что тянет на себя одеяло.

— Ну, так можно перечеркнуть и всю нашу деревенскую литературу. Разве она мало сделала для народа?

— «Мало», «много» — это не мерка. Если не мало, то где плоды, где улучшение жизни или хотя бы намек на улучшение? Мы призываем народ к нравственности, а столбик безнравственности вот-вот подымется на градуснике до критической отметки, да и поднялся уже; мы расписываем, как красив деревенский труд и как все ладно было в старой деревне, а миграция людей из сел в города не только не приостановилась, но нарастает с каждым годом; мы изображаем почти неистовую любовь русского человека к земле, к могилам предков, а наши исконные пахотные земли тем временем зарастают кустарником и деревенские кладбища в большинстве своем стоят заброшенными, потому что — до кладбищ ли теперь людям? А это уже драматизм иного порядка. Но похоже, и нам не до этого драматизма, и не случайно, видимо, ни хваленые наши деревенщики, ни еще более захваленные западники — никто не хочет затрагивать главной проблемы, которая одна только, если разрешить ее, могла бы принести благополучие и достаток народу, — это проблема земли и землепользования. Мы даже не представляем себе, какая огромнейшая сила заложена в нравственной связи человека с землей.

— «Нравственная»... Ведь это термин. Почему не «социальная»?

— Именно нравственная, духовная. По тысячам причин, тысячам, но, может, всего лишь и по одной, заложенной в нас от природы, о которой сразу даже и не скажешь, что это такое, и не объяснишь. Человек — существо общественное, но он же и существо, если можно так сказать, индивидуальное, и общественное проявляется в нем только лишь через индивидуальное восприятие жизни. Чем больше он удовлетворен лично,

тем значительней от него отдача обществу, но вот тут-то и возникает вопрос: а что нужно, чтобы он был удовлетворен лично, и даем ли и готовы ли дать ему это удовлетворение? Городские условия быта, дворцы культуры, музыкальные или чуть ли не балетные школы, но все это побочное, наживное, а не главное и потому не дает и не даст результатов. Если бы спросили у меня, что нужно деревенскому человеку, я бы ответил, что ему нужна земля и свобода действий на ней, чтобы у него была возможность проявить себя. Ведь смысл жизни не только в труде, потому что труд может быть и сизифов, а в результатах его, приносящих и достаток, и духовное, то есть нравственное, удовлетворение.

— Выходит, колхозы — это ошибка? Но не все они создавались насильственно, и мечта о коллективном труде — это тоже не пустой звук.

— Ошибка не ошибка, но давайте смотреть в корень: зерно и мясо закупаем, деревни пустеют, земля зарастает. Равенство условий для проявления каждого мы подменили уравниловкой во всем и умертвили тем самым святая святых в человеке — инициативу. Для чего трудиться? Вы послушайте, что крестьянский люд говорит: для чего трудиться? Все равно заберут. Так ли, иначе ли, а найдут способ и заберут. Есть определенная шкала заработка, и тут ты хоть умри, а перешагивать эту шкалу не смей. Да как мы не можем понять, что не для того человек приходит в сей мир, чтобы только передать в наследство детям свой труд и мечту о будущем. Жертвенность — дело святое, но пожертвовать собой могут одно, два, ну от силы три поколения, да и пожертвовали, а дальше что, перманентность?!

Он на мгновение остановился, и в эту минуту мы (может быть, оттого, что оба почувствовали, что на нас смотрят), словно по команде, обернулись на дверь; там стояла Людмила, поджидая, пока можно будет вмешаться ей в разговор; она улыбнулась, как улыбаются, глядя на упоенно заспоривших мужчин, наперед зная, что от выясненной ими истины все равно ничего не переменится, и пригласила к столу.

— Прошу, — сказала она (более выражением лица и глаз, чем голосом), и я опять обратил внимание на ее моложавость, здоровье и силу, что само по себе уже вызывало расположение к ней.

Прерывать беседу, откровенно говоря, мне не хотелось; не хотелось этого, как я заметил, и Ивану Егорычу, и он, чуть помедлив (прикидывая, видимо, как поступить) и решив все же, что нельзя не уступить хозяйке, торопливо бросил: «Хорошо, за столом продолжим» — и двинулся к двери, приглашая и пропуская меня вперед с поклоном, как важного и почетного гостя. Я не стану описывать, сколь изысканным показался мне обед и как все смотрелось на столе, хотя вся изысканность заключалась лишь в простоте и натуральности того, что подавалось и было разложено на блюдах; чего стоил только вид свежих, с грядки, помидоров, огурцов, салата и лука, не нарезанных и не облитых ни майонезом, ни сметаной, а с капельками будто росы по изумруду, или вкус борща (из всего этого натурального и свежего), сейчас же задымившегося в тарелках, как только был принесен и налит; нет, что говорить, я убежден, что лишь в простоте и натуральности, а не в броских и искусственных нагромождениях заключена изысканность, и Людмила да и сам Иван Егорыч своей простотой и гостеприимством преподнесли мне в этот день и вечер еще один урок жизни; и если я о чем-то и жалею теперь, то лишь о прерванной беседе, которая, как нетрудно было догадаться тогда же, сразу, не могла возобновиться за столом с прежней откровенностью и силой. И не потому только, что присоединился третий человек, то есть женщина с несколько иными, с в о и м и интересами, с чем не считаться было нельзя (и что непременно должно было наложить свой отпечаток на разговор); мы оба: и я, и Иван Егорыч, как думаю теперь, — оба ощутили, что в высказываниях своих зашли куда дальше, чем можно бы, особенно Иван Егорыч, и хотя было ясно, что все произнесенное останется между нами, но перед внутренним контролером, перед теми стоп-сигналами, какие десятилетиями, как и во все общество, вкладывались в нас, деля жизнь на запретные и незапретные зоны, — перед этими стоп-сигналами нельзя было не затормозить и не остановиться. И ведь что удивительно, когда на лесной тропинке я слушал Игоря Максимовича, я ничего не боялся; передо мной был человек не только несогласный с моими убеждениями и взглядами, но несогласный со всеми общепринятыми нашими идеалами, и потому, сколь ни резки и ни прямолинейны (и сколь ни правдивы даже, если хотите, так как нельзя полагать, что противная сторона всегда основывается только на лжи) были его высказывания, они казались естественными в его устах; но в разговоре с Иваном Егорычем, с которым я мыслил одинаково и взгляды которого более чем разделял, — в разговоре с ним в какую-то минуту вдруг почувствовал, что втягиваюсь в какое-то большое и опасное дело, последствия которого (по недавней и свежей еще памяти в нас) могли оказаться непредсказуемыми. Теперь, разумеется, все это представляется смешным, и я не могу простить себе той минутной слабости; я был, конечно, на что-то готов (во имя улучшения жизни), но не настолько, чтобы пойти так далеко, как звал Иван Егорыч, и потому за обедом был молчалив и задумчив. Не знаю, верно ли понял причину моей задумчивости Иван Егорыч или ему тоже хотелось притушить остроту впечатления, но только он вдруг и с естественностью, свойственной интеллигентным людям, заговорил о Москве, о своих и общих наших знакомых, о делах которых, как оказалось, был куда осведомленнее, чем я.

XLV

После чая, пирогов и клубники, поданной на десерт, мы вновь перешли в кабинет. Жара спала, день клонился к закату, Иван Егорыч настежь открыл окно, выходившее во двор, и густой запах лета, свежесть приближающегося вечера и сам вид деревенской улицы, уходившей к полям и еще пустынной в этот час, не то чтобы были для меня внове, но вызывали чувство какой-то будто умиротворенности, словно не было и не могло быть среди этой красоты природы, когда все вокруг не просто живет, а кажется напоенным радостью жизни, ни зла, ни вражды, ни слез, ни горя. «Чего же еще нужно человеку, чего он добивается, чего ищет?» — подумал или только теперь кажется, что подумал, я, отходя от окна и усаживаясь в кресло. Иван Егорыч спросил, у кого я остановился в деревне, и, не дослушав ответа, предложил остаться у него в доме.

— Места хватит, да и Ляля будет рада. Мы же здесь как барсуки, — сказал он, тоже, видимо, находясь под впечатлением опускавшегося деревенского вечера. Для него э т о было привычным, он не фиксировал своих чувств; но оттого, что они повторялись, они не были слабее в нем, и казалось, что и в его душе происходило то же движение к умиротворенности, какое обычно так свойственно бывает людям после сытного обеда или ужина и располагает к контактам и откровению.

— Вы хотели познакомиться с моей работой, но я хочу дать вам прежде нечто более любопытное. — И он достал одну из тех новгородских тетрадей — исследования трех поколений Беспаловых, — знакомство с которыми оказалось роковым для его отца и затем круто изменило судьбу самого Ивана Егорыча.

Но до того, как он передал мне тетрадь, мы некоторое время еще сидели друг перед другом в креслах и говорили о деревне. Людмила, переодевшись во все обыденное и подхватив волосы косынкой, опять работала на цветочной клумбе, и сквозь открытое окно было слышно, как она рыхлила землю, выпалывая сорную траву; звуки этой работы почти до самой темноты сопровождали нашу беседу, доносясь то отчетливее, то глуше в зависимости от нашей увлеченности разговором. Теперь, когда Иван Егорыч говорил без заданности, без непременного желания убедить в правоте своих взглядов, он представлялся мне еще более интеллигентным, и минутами даже казалось, что мы сидим вовсе не в Лыкове и за окном у нас — не деревенская улица, а Москва с ее многоголосицей и шумом, ее вечно центрующими (и противозарядными) магнитами, вокруг которых, как и всегда, и столетия назад, вырабатывались основополагающие принципы жизни. Я не хочу затрагивать, каковыми были эти принципы, в пользу народа или против него (да, собственно, и могли ли быть в пользу народа?), а важно, что они были, то есть вырабатывались и утверждались, разрастаясь затем в незыблемые устои, и как ни оказывалась тяжела (главное, для народа) эта каменная глыба устоев, но — слаб человек! — разрушение одних сопровождалось возведением других, подчас еще более тяжелых и прочных, и если со стороны и без предвзятости по-

смотреть на наш разговор, то и в нем (и совершенно невооруженным взглядом) можно было увидеть эти самые элементы разрушения и созидания, в чем, собственно, как бы хотелось или не хотелось нам этого, и заключена жизнь.

— Даже у чиновника, вы понимаете, у любого простого чиновника, если он хоть чуточку инициативен, открывается перспектива подняться на ступеньку выше в общественном положении, а что в этом плане у деревенского человека? — не столько мне, сколько самому себе задавал вопрос Иван Егорыч. — У деревенского человека ее нет, а ведь не что иное, как эта перспектива рождает стимул к труду и жизни. Мы даем ему вымпел, красный флажок, а ведь это только кусок материи, пустой звук. Однообразие труда и однообразие оплаты — нет ничего более тоскливого, более угнетающего и более неприемлемого (в нравственном отношении) для человеческого естества. Да деревенский человек просто не хозяин своей судьбе, он, как крепостной, простите за сравнение, и, может быть, даже невольно, неосознанно бежит не от трудностей, а от нравственной неприемлемости существующего, с чем не может смириться его душа. Ведь миграция людей происходит не только из сел в города, но и из центра России к окраинам, на Север, где можно и заработать, но и прежде всего — проявить себя.

Мысли эти и мне не раз приходили в голову, и потому я не просто слушал Ивана Егорыча, а с пониманием и согласием, как если бы он и в самом деле высказывал не только свои, а общие наши взгляды на состояние современной деревни, на жизнь вообще, которая (в неуклонном оскудении своем) уже тогда и настораживала, и не устраивала многих.

— Возьмем Карпа, есть в Лыкове такой мужик, — продолжал Иван Егорыч, переходя (для убедительности) на конкретные примеры, то есть к тем своим наблюдениям, на основе которых и делал выводы и писал труд. — Жить, говорит, неохота. «Да почему?» — спрашиваю. «А и не знаю, — отвечает. — Интересу нет. Все вокруг вроде бы и то, и земля та же, а и чужая. Был Карп, да и вышел, идешь в поле, да вроде бы и не идешь, а так, по привычке, словно на барщину». Он даже сказать о себе как следует не может, а ведь был мужик, хозяин, и семья — семеро по лавкам, а подросли и разбрелись кто в город, кто на стройку. А взять Дмитрича, или Ивана, или Марью Кудрину, или Куличиху, или Дубровину? Я уж не говорю, что все они — солдатские вдовы, но будь хоть и не вдовами, какая перспектива? Надоила больше — флажок, еще больше — фотография на доске, а что для истинного удовлетворения? Ничего. И год от года — руки сами опускаются, а что до народного творчества, тут и говорить нечего. Потребляем, потребляем и потребляем, а ведь душа творит только от гармонии труда, свободы и основательности.

«Но ведь живут же, трудятся, производят», — можно было бы возразить Ивану Егорычу, как, впрочем, возражали тогда вообще на подобные разговоры; более того, возникало даже мнение, будто деревня «зажралась», что русский мужик только и умеет, что пить да спать, и что сколько ни давай сельскому хозяйству техники, сколько ни вкладывай в деревню (с точки зрения планирующих органов), все как в прорву, никакой отдачи; да, можно было и так посмотреть на деревню, если бы работали и жили в ней не люди, а механизмы; но там, как и в городах, жили люди со всеми их материальными и нравственными запросами, со своим (и естественным) желанием свободы и основательности, и потому — я был более чем согласен с Иваном Егорычем и к его высказываниям то и дело добавлял: то из своих впечатлений детства, то из тех общих впечатлений жизни, какие так ли, иначе ли, но, как и у всех, складывались и у меня. Нет, есть что-то удивительное в подобных неторопливых беседах о жизни, что-то самоочистительное, а ведь и всего-то, если суммировать наш разговор, речь шла о том, что не человек должен состоять при тракторе, при колхозе, при доме, семье или земле (как это в большинстве своем принято считать теперь), а напротив, все, и прежде всего земля, должно быть при человеке, и тогда — он и инициативен, и хозяин, и деятельность его будет приносить ему удовлетворение. «Чего же проще, чего проще? — спрашивал я себя. — Ведь стоит только понять э т о, и сами собой отпадут все ненужные надстройки и ограничения жизни, как отпадут и понукание, и необходимость в призывах, да и сама потребность в насилии

и власти». Я и теперь думаю, что если бы действительно все люди в мире стремились к добру и все заключалось бы лишь в п о н и м а н и и, то вряд ли потребовалось бы затрачивать человечеству столько усилий, сколько затрачивает оно (в веках, да и безуспешно!) на то, чтобы усовершенствовать жизнь; дело не в понимании или непонимании, а в сознательных и целенаправленных действиях, которым задавленная, угнетенная и запуганная бедность должна противостоять, и я только прочнее утвердился в этом мнении, когда, оставшись в кабинете один на один с переданной мне новгородской находкой Беспалова-отца, принялся просматривать ее.

О философской стороне этого почти столетней давности труда я уже говорил, и вряд ли стоит, даже если и в бо́льших подробностях, повторяться здесь, да и тогда, при первом знакомстве с рукописью, меня поразило совсем иное обстоятельство; со старых страниц на меня словно пахнуло той нашей страшной российской безысходностью, какую, мне кажется, мы и теперь не можем как следует осознать; в образах монастырских крестьян, так живо изображенных дотошным наблюдателем, в их поведении, поступках и мыслях, наконец, в их желаниях, казалось, было что-то настолько знакомое, что становилось не по себе, я вставал из-за стола, подходил к распахнутому окну и смотрел на деревню. Нет, я не проводил никаких параллелей, более того, даже от всякого подобного намека старался сейчас же уйти и освободиться, потому что — уже сама мысль о параллелях представлялась мне не то чтобы запретной, но неприемлемой и невозможной; но сколько я ни отходил к окну, сколько ни перебивал себя этим известным в о з р а ж е н и е м, что, дескать, эпоха эпохе рознь и время наше — это совсем иное время, что нынешний человек — это совсем другой человек, испеченный, как хлеб, на иных дрожжах и с иным припеком, то есть воспитанный, воспитанный и перевоспитанный на принципах коллективизма, — все разбивалось о само состояние жизни, и здесь, и в Москве окружавшей нас. «Иван Егорыч, Иван Егорыч... Да он не сказал и десятой доли того, что знал и мог бы сказать, — невольно и с удивлением (от такого открытия) воскликнул я. — Крестьянин без земли (монастырский ли, иной ли) — это не крестьянин; народ, лишенный основательности и корней, — это не народ, а стадо, предводимое вожаком и зависящее лишь от его приказов и действий, и понимаем ли мы это, понимаем ли?» — продолжал я, заходя в этих размышлениях своих куда дальше Ивана Егорыча (и позволяя это себе только потому, что все было во мне и не могло получить огласки). Да оно и понятно: когда рассуждаешь сам с собой, всегда безопасно; безопасно для себя и своих дел, но не для общества, потому что невысказанная правда — это шлагбаум, поднятый для лжи, да, да, иначе и не скажешь, и если представить, сколько подобных шлагбаумов, больших и малых (и на всех уровнях), было открыто нами же и во вред себе, если хоть на мгновение охватить взглядом только один этот ряд нашей общей, перед самими собой, преступности (по трусости ли или от малодушия, не все ли равно), то на кого же и жаловаться за состояние жизни, как не на себя самих, что не смогли выработать (за века, за века!) ни гордости в себе, ни смелости, ни желания и способности всем народом и разом пойти на риск и заставить считаться с собой и своими интересами. «Не выработали... А может, подрастеряли? — думаю я теперь. — Подрастеряли и гордость, и достоинство, и свободолюбие». Пожалуй, так даже вернее, потому что — что же переваливать все на предков, которые, очевидно, делали и сделали все, что могли, и, может быть, даже больше, чем могли, и теперь настала пора для наших исторических свершений, именно «наших»; и сейчас, когда я пишу эти строчки, мне действительно представляется все простым и ясным, и я не пугаюсь живой и одухотворяющей мысли, но тогда, в тот памятный уже для меня теперь вечер у Беспаловых, я постоянно оглядывался, боясь, что меня подслушивают, и на другой день, разумеется, был сдержан с Иваном Егорычем, как, впрочем, я чувствовал, и он был сдержан со мной, и мы, как по известной пословице, только и делали, что ходили (в своих разговорах) вокруг да около главного, что лишь одно только и было истиной жизни и требовало раздумий и действий.

Минутами, когда, стоя у окна, я вглядывался в черноту летней ночи (луна, желтая и круглая, поднялась лишь далеко за полночь), вдруг

и независимо от общего хода мыслей и даже на время будто заслоняя их возникала перед глазами вся та лыковская реальность, с какой так неожиданно и жестко пришлось столкнуться мне, и я видел перед собой то липовую аллею с ее ночными обитателями, наслаждающимися развратом и вольностью, то мельницу с дележом мнимой славы, то Анастасию Федоровну с ее крестьянской еще душой и не крестьянскими заботами, навязанными ей ходом жизни, то почти физически ощущал сырость той могильной ямы, что зияла у Ивана Егорыча в саду и говорила о непримиримости сил, от века и теперь ведущих ту же схватку за жизнь, и вся эта реальность, усиленная воображением, только острее возбуждала желание противостоять ей.

Когда спустя три дня я вошел во двор к Анастасии Федоровне, чтобы собраться и уехать в Москву, я с ужасом увидел, что колеса моей машины кем-то (предупредительно, как знак) были проколоты и спущены.

(Окончание следует.)

Юнна МОРИЦ

Горечь прежних пыток

* * *

Поэзия жива свободой и любовью.
На каторге, в тюрьме, в изгнании — жива,
на бойне, где народ причислен к поголовью
и меньшинство идет в желудок большинства.

Но всюду — тайники, убежища, укрытья:
то щель в глухой стене, то свет в чужом окне.
В сугробе, в сапоге, во рту, в мозгу, в корыте
спасаются стихи — в копне и в дряхлом пне, —

и спросит юный внук у бедного Адама:
— А где ты был, Адам, инструктор ПВО,
когда стерег Руслан[1] безумье Мандельштама?
— Я был, где большинство, а он — где меньшинство.

У черта на рогах, в трубе и в готовальне
спасаются стихи по воле меньшинства,
чтоб совесть большинства была еще кристальней,
когда промчится слух: Поэзия — жива!..

...когда примчится весть о меньшинстве великом,
которое сожрал кровавый людофоб,
усатый лилипут, с изрытым оспой ликом
и толпами рабов, его лобзавших гроб.

Ни мертвый, ни живой не прекратит свободу
поэзии, чей дух не брезгует бедой.
Поэты — меньшинство, дающее народу
дышать, дышать, дышать —
хоть в стебель под водой!

* * *

Страна вагонная, вагонное терпенье,
вагонная поэзия и пенье,
вагонное родство и воровство,
ходьба враскачку, сплетни, анекдоты,
впадая в спячку, забываешь — кто ты,
вагонный груз, людское вещество,
тебя везут, жара, обходчик в майке
гремит ключом, завинчивая гайки,
тебя везут, мороз, окно во льду,
и непроглядно — кто там в белой стуже
гремит ключом, завинчивая туже
все те же гайки... Втянутый в езду,

[1] Руслан — собака из повести Г. Владимова «Верный Руслан».

в ее крутые яйца и галеты,
в ее пейзажи, забываешь — где ты,
и вдруг осатанелый проводник
кулачным стуком, окриком за дверью,
тоску и радость выдыхая зверью,
велит содрать постель!.. И тот же миг,
о верхнюю башкой ударясь полку,
себя находишь — как в стогу иголку,
и молишься: о боже, помоги
переступить зиянье в две ладони,
когда застынет поезд на перроне
и страшные в глазах пойдут круги.

* * *

Весело было нам на моих поминках, —
пан студент напевал, молодой настолько,
что мы ходили с ним гулять
к розовым фламинго,
а Дудинцев подточил базис и надстройку!..

На поминках моих было нам весело, —
пан студент напевал...
А и то — благо,
что хрустело — хруп! хруп! — оттепели месиво
и еще не — хряп! хряп! — доктора Живаго.

Было нам весело на поминках моих, —
пан студент напевал, кавалер с форсом!
Был он парень — не мой,
был он многий жених,
но как вспомню про все — шевелю ворсом.

* * *

Два поколения изменят взгляд на вещи,
наш путь трагический в читальне пролистав.
И, содрогаясь, назовут еще похлеще
событий химию, их свойства и состав.

Нам выдирать пришлось бы вместе с потрохами,
чтоб разглядеть все эти язвы, все рубцы,
всю эту боль, кровоточащую стихами,
где наши странники живут и мертвецы.

Не тридцати-сорокалетним кавалерам,
увядшим в поисках, откроется оно,
а детям, отрокам, блуждающим по скверам, —
их одиночество прозреньями полно.

И, наши трепеты надежд воспоминая,
они печально улыбнутся нам вослед, —
как бы улыбкой милосердья пеленая
младенцев, Иродом порубленных чуть свет.

А непорубленный... Сегодня воскресенье
и прутья вербные в серебряной воде —
одно-единственное, может быть, растенье,
в котором теплится надежда, как нигде.

* * *

Лучше я выгляжу в худшие дни,
краше — когда я синим

горю огнем и мои ступни
по раскаленным бегут пустыням,
бешено перегребая ритм,
как песок, засасывающий паденье
и превращающий, господи, метеорит
в толстое произведенье, —
(ради которого каждый день
просыпаться и вылезать из коек?!
Мне для этого — даже одеться лень,
и уж точно жевать и курить не стоит!)

Есть одна драгоценность, о ней и речь
смертельна!.. Когда она затвердела,
когда ее можно в слова облечь,
все кончено — вынос тела,
зачехленье зеркал и со-
болезнованье!.. О боже,
все, кроме этого, будет? Все —
кроме этого дна и дрожи?
Раскачивай мглистый, пьянящий стыд
в моих косматых очах, —
этот грех прекрасный мне больше льстит,
чем лавровый венок на плечах.

Изгнанье Данте Алигьери

Это сочинение в четверг 16 марта 1978 года было посвящено Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской.

Спасайся, музыка! Спасайся все, что пело,
ручьями, струнами во мраке серебрясь!
Опять зачавкала, вскипела, захрипела
зловонно выползающая грязь.
Трясина громко чмокает трясину,
дерьмо губами тянется к дерьму.
История не учит ничему,
а только тянет медленно резину.
Вся мерзость в том, что здесь ничто не ново,
молчанье — золото, оно же — гной и грязь.
А Слово — Бог, но Бог распят за Слово,
ручьями, струнами во мраке серебрясь...

Сжимая челюсти решеток и оков,
трясина гнойная глотает то и это,
суля эпоху небывалого расцвета
помойных ведер и ночных горшков.
На животе ползут, вихляясь, черви —
гнойник цветущий воспевать, живописать!
И каждый червь мечтает выйти первым,
чтоб золотой в награду гной сосать.

Спасайся, Дант, — и никаких вопросов!..
Судом помойных ведер и отбросов
под зад пинком ты выдворен, гигант,
и этому изгнанью имя — Дант.
...Казенный червь, начинка смрадной щели,
меня спросил:
— Изгнанью имя — Дант?..
— Конечно, флорентийский комендант,
мне в этом имени поют виолончели —
Дант — двери ада — хлоп! — и эмигрант!
Изгнанью имя — Данте Алигьери.

Вся мерзость в том, что здесь ничто не ново,
молчанье — золото, оно же — гной и грязь.
А Слово — Бог, но Бог распят за Слово,
ручьями, струнами во мраке серебрясь...

* * *

В единый миг прозрачной стала тьма —
видны деревья, дальние дома,
велосипед, журчащая колонка,
вопит петух, разлаялся кобель,
взбесились осы, плачет колыбель
голодного и мокрого ребенка.

И мне отрадны образы вокруг, —
о матерь божья, только не паук,
животное, которое — я помню —
в конце времен изловит солнце в сеть
и будет нескончаемо висеть,
дыру своей симметрией заполня.

Монолог Винтика

...теперь выходит, мы убили больше,
чем было надо для Такого Дела,
но кто бы смог сработать это лучше
и так же быстро, крепко и добротно,
как мы?.. как мы, я говорю, имея
в виду не нас, людей, а времена,
когда такие громыхали гири,
такие грандиозные событья,
раскачивая землю и народы
на чашах исторических весов.

...а если б мы тогда убили меньше,
чем было надо для Такого Дела?!
а если б мы чуть-чуть недотянули,
великое обжулив и обвесив
на несколько десятков миллионов?
Великое нельзя удешевить!
Великое не может быть Великим,
не проглотив Великое Число.

...а если б мы убили ровно столько,
я говорю, не больше и не меньше,
чем было надо для Такого Дела?..
и ровно сколько для Такого Дела
убить нам было надо?.. и кого?..

...теперь выходит, мы убили лучших,
точнее, лучших мы убили больше,
а худших мы тогда убили меньше,
чем было надо для Такого Дела.
Хотя не все убитые считали,
что все они убиты справедливо,
и каждый думал, что другой убит
гораздо справедливее, чем он, —
для них была единственно бесспорной
огромная одна несправедливость:
что далеко не все еще убиты
из тех, кого убить без промедленья
необходимо для Такого Дела!

...мы, несомненно, не добили худших,
а их число уму непостижимо,
несметно, необъятно... и выходит,
намного меньше мы тогда убили,
чем было надо для Такого Дела.
Настолько меньше мы убили худших,
что лучшие, которых мы убили, —
число микроскопическое, ноль.

...но хуже то, что кончились титаны,
перевелись гиганты, исполины,
гераклы мысли, прометеи духа, —
я говорю, — гераклы нашей мысли
и нашей силы духа прометеи.
Колоссы, великаны, великанши...
Когда-то их водилось даже больше,
чем было надо для Такого Дела,
мы кой-кого из них тогда убили,
но был вполне достаточный запас,
его на шесть хватило поколений!

...теперь, когда все мерзко измельчало,
я говорю, — растлилось, развратилось,
с одной мне мыслью страшно умирать:
что далеко не все еще убиты
из тех, кого убили мы когда-то!..
их надо вновь убить без промедленья —
и ровно столько, сколько их убито, —
я говорю, — не больше и не меньше,
чем было надо для Такого Дела!
Великому — великая цена.
Не может быть великою держава,
ее простор не может быть великим,
ее народ не может быть великим,
и дух его не может быть великим,
не проглотив Великое Число.

...выходит, был я винтик в мясорубке?
в такой негосударственной машине?
в простейшем допотопном механизме,
выходит, я вертелся и молол?
Но, если б мы убили ровно столько,
не худших и не лучших, — говорю я, —
а всех, кого убить необходимо,
чтоб ежедневно убивать убитых,
ведь главное — убитых убивать...
тогда бы, свято веря в идеалы,
я был бы вновь к великому причастен,
и даже я, мельчайший из мельчайших,
сказал бы: вот я, скромный, незаметный,
я — винтик, я — не больше и не меньше,
чем было надо для Такого Дела.

Детства тихая улочка

Вышла из поезда в сумерках —
странно, все поезда из Москвы прибывали в Киев
по утрам, в крайнем случае — днем.
Однако сумерки были, сумерки,
осенние, сладкие, теплые, и очередь на такси,
и крестьяне с корзинами, с ведрами,
с яблоками, с укропом, и ворона переходила
площадь с трамвайными рельсами,

грамотно так озираясь!..
За полтора рубля доехала я до клена,
до подоконника нашей комнаты,
прошла сквозь подъезд во двор,
где было темно и душно, —
огромные трубы ТЭЦ и запах жареной рыбы,
свернула в подъезд направо, открыла дверь коммуналки —
осторожно! — ступеньки вниз, нащупала выключатель,
в желтых, сырых потемках
по скрипучим, щелястым доскам
прошла в конец коридора — белая дверь направо,
крючок изнутри, снаружи — две скобки, замок висячий,
не заперто, кто-нибудь дома...
Вероятно, дверные петли как раз накануне
были смазаны постным маслом —
при входе ничто не скрипнуло,
и двадцать четыре метра южной предношной тьмы
расступились, как волны моря.
Там сидел мой слепой отец,
окруженный мешками с чем-то,
с чем-то мелким, и это нечто
он нанизывал друг на друга
и облизывал свои пальцы,
напевая «Реве та стогне».
Одинаково он не видел при свете и в темноте.
На щелчок выключателя — выдохнул: ты приехала! ты приехала!
Шесть мешков мешали ему до меня дотянуться, дотронуться,
шесть мешков английских булавок,
английских булавочек мал мала меньше,
их вдевают одна в другую слепцы в артели,
на ощупь нанизывают, пальцы от крови облизывают,
чтобы к нищенской пенсии
тридцать рублей заработать, —
потому что великой индустриальной державе
все простится, когда наступит светлое будущее,
а наступит оно не раньше, чем все мы выплатим
великую пенсию — всей мозговой полиции,
всем извергам, всем грабителям и садистам...
— Молчи! — отец затыкает мне рот ладонью. —
Молчи! — он шепчет. — Здесь не Москва, а Киев! —
И пальцы его в малюсеньких каплях крови
вокруг моих губ оставляют пять отпечатков
мал мала меньше, и в беременный мой живот
кто-то колотит, как в колокол,
воды мои раскачивая и свое одиночество,
чтоб выплеснуться сюда,
где пьяная вишня бродит в бутыли на подоконнике,
и пахнет рекой огромной
детства тихая улочка,
и мой старик замечательный
думает: вот приехала бедная моя девочка,
счастье мое и золотко,
моя благодать господня.

Чудное мгновенье

В комнате с котенком,
тесной, угловой,
я была жиденком
с кудрявой головой,

а за стенкой звонкой,
молоды и стары,
спали под иконкой
крещеные татары,

было их так много,
как листвы в аллее,
всем жилось убого —
а им веселее!

Они голых-босых
татарчат рожали,
и в глазах раскосых
пламенья дрожали.

Там была чечетка,
водка с сухарями,
парни с якорями,
клен в оконной раме,

под гитару пенье,
чудное мгновенье —
темных предрассудков
полное забвенье!

Неуязвимость

И эти люди, объявленные преступниками перед своим народом, не были судимы или лишены гражданства? Нет, они спокойно доживают свой век в бесплатных роскошных дачах и цинично получают огромные пенсии от тех самых вдов и сирот «невинно погибших товарищей». Но они имеют право жить и умереть на своей земле.

Галина Вишневская.

Пытали, грабили, казнили, —
чтоб окровавленным скребком
очистить родину от гнили
и всю планету — целиком!
И были целые народы
на гибель согнаны, как скот, —
во имя счастья и свободы
огнем очищенных пустот...

А вот и счастье — срок расплаты
истек!.. И ныне без затей
ни в чем таком не виноваты
костей дробители, ногтей,
разрубщики людского мяса,
вождей похабных денщики,
а мы — их пенсия, сберкасса,
мы, недобитые щенки,
от счастья пашем, пишем, пляшем,
платя за их геройский труд,
чтоб хорошо убийцам нашим
жилось, покуда не помрут.

А вот и он, в кровавых пенах,
свободы выстраданный плод —
вопи на площадях и сценах,
никто не затыкает рот,
из-за крамольной писанины
никто не гонит в лагеря,
у многих — сердца именины,
у кой-кого — большая пря!
И от невинно убиенных,
от леденяще откровенных
творений —
капает в казну...
Иссякли сроки для расплаты,
палач и жертва — виноваты.
А вот и — «Эх, споем, ребяты,
кончай дебаты и возню!»

* * *

Раскаленные булыжники,
лето жаркое-жаркое.
Старики идут, как лыжники,
в гору шаркая, шаркая...

Даль простукивают гулкую
палкой, посохом, подпорками —
вьется лето скользкой шкуркою,
скользко пахнет — корками.

Пыль седая, лица — в трещинах,
в конопатой гречке.
Вещи теплые на женщинах,
в мыслях — крест и свечки.

Скользко, скользко — гололедица,
раскаленные булыжники,
а трамваям все не едется,
а старики идут, как лыжники,

а жарища — невозможная,
номера домов двоятся...
Почему они мороженое
не едят?.. Чего боятся?

Эдгар По

I

К чащам кровожадным,
к непроглядным безднам,

где морозит ужас
холодом железным,

К лицам — небылицам
с тайною печаткой,
с нежною зверьчаткой,
с глазом — душелазом,

К речи с подоплекой,
с ямою глубокой,
духовой и струнной,
солнечной и лунной,

К выси ненасытной,
к низи беззащитной,
к гибели бессмертной,
к истине сокрытной —

Вожделело Нечто
в мрачном просветленье.
Им написан «Ворон»
в этом вожделенье.

II

Взломали дверь. Убили топором.
Содрали обручальное кольцо.
Нашли рубля четыре серебром
и в колыбели спящее лицо.

Премерзок был хозяйкин гардероб,
бог знает, в чем ее положат в гроб.
Жила на инженерные гроши.
Зато на полках книги хороши.

Бальзака взяли, Лондона, Дюма,
переступили труп и вышли вон.
На улице мело, была зима.
Но подошли трамваи с двух сторон.

Разъехались. По молодости лет
могли попасть в колонию.
    На след
не удалось напасть. Закрыто дело.
Зарыто тело. Так судьба хотела.

Есть безысходность. Плавает она
свободным ужасом
над миром гнезд, скворешен...
На этом чувстве гений весь замешан
Эдгара По. И мрачные тона —
не бред ночной, не мистика, не мнимость,
не тривиальная приманка для глупцов,
а хорошо запрятанных концов
    ...неуязвимость...

III

Глаза горят, он бродит по лесам,
пророческим он внемлет голосам
корней, ветвей и чернокрылых птиц...
Посредственность жестока к чудесам
и обожает респектабельных тупиц.

Когда он трезв и голоден, как волк,
а плащ дыряв и грязен блузы шелк,
ему кричат: «Ты — пьяный попрошайка!»
И медяка ему не верит в долг
упитанной посредственности шайка.

Откуда же лавровые венки?
И чьи воспоминанья, дневники
нам воскрешают образ из обломков?
Посредственность в свободные деньки
записывает сплетни, пустяки
и пару анекдотов для потомков.

Памяти Андрея Тарковского

I

Ностальгия по умершим от ностальгии,
по тарковской погоде, по хлябям разверстым
    над пожарами —
    ярче горим под водой! —
это — русское время, мои дорогие,
это — русское действо и русское место,
русский дух, испытуемый русской бедой.

Ностальгия по умершим от ностальгии,
по тарковской свече, возжигаемой столько,
    сколько раз угасаема...
    Хлещет потоп —
только Ной это знает, мои дорогие,
он — ковчег, и ему одиноко, и горько,
а голубку не шлют... и не хочется в гроб.

Ностальгия по умершим от ностальгии,
по тарковской тоске на московском бульваре,
    ностальгия по у-у-у-у!
    ностальгия по а-а-а-а!
по беззвучному стону, мои дорогие,
когда он выплывал, а его убивали,
и по зеркалу кровь ностальгии текла.

II

Горе стало воском,
воском для свечи,
прикипело к доскам
и горит в ночи,
ореол священный —
над его столбом,
бьется тень о стены —
лбом, лбом, лбом!..

III

...и горечь прежних пыток —
лишь привкус лебеды
под всхлипы у калиток
заоблачной воды,
в которой наши слезы
прощальные текут
и белизну березы
из провидений ткут.

IV

Однако же! это — как раз то немногое,
мглисто прозрачное, строгое,
лиственно водяное,
таинственное, родное,
ноющее в потопе и в Ное,
независимое
и звездно висимое,
то возлюбленно невыносимое,
на чьи дождевые всхлипы
ноет в глухой берлоге,
поскрипывает в дороге
медвежья нога из липы.

Толкование Евангелия

Когда бы Он пошевелил перстом
для своего телесного спасения —
остался б магом, но не стал Христом
и не объял бы Тайну Воскресения.

О фокусе мечтал Искариот!..
О низости публичного показа
доступных для желудка и для глаза
чудес, увеселяющих народ.

Гвоздями он прибил сей рабский путь
к Его запястьям, над землей простертым!
Но маг Исус предстал Иуде мертвым,
а Бог воскрес — и в этом жертвы суть.

И в этом суть иудина греха,
взыскующего магии от Бога
и доказательств, коих всюду много,
что есть над нами тайные верха.

Ступени сна

Только в миг содроганья, когда, спотыкаясь о мраки,
заплетается речь, волоча одинокое тело
по горам и лесам, сквозь ущелья, кусты и овраги —
к пустоте, где последней ступенькой во льду затвердело
соскользанье в ничто, в никуда, в потаенную прорубь,
в прорву,
в пропасть,
в провал,
в промежуток надежды и взлета,
в эту прорезь для всхлипа, для ветви, с которою голубь
сросся вестью благой, в этот клюв, где лазурь, позолота
не зазубрены кистью и ластятся клекотом, стоном,
сладкой мякотью слез, образующих лук, и папайю,
и огромную жалость, что, даже летя за балконом,
только в миг содроганья, о господи, я засыпаю!..
только падая ниже своих предыдущих рождений,
инфузорий из памяти мглистой, слоистой, текучей, —
вниз лицом и, зарывшись на дно, где трава сновидений...
только там обретается жизнь как единственный случай.

* * *

К своей благодати
нельзя принуждати...
Из всех положений
(земля ему пухом!)
Ван-Гогу блаженней
с отрезанным ухом.

Ни перса с гаремом,
ни Ромула с Ремом —
нельзя принуждати,
ни чью-нибудь душу,
ни море, ни сушу
к своей благодати.

Ни мужа, ни сына,
ни друга, ни брата,
ни кума, ни свата
нельзя принуждати
к своей благодати —
это чревато!..

Трамвай-убийца

Не помню имени. Когда — не помню — где?..
Мучительная пантомима.
Но мускулы, которые в воде
неутомимо
дрожащую раскатывают ткань
зеркальных отражений, —
во мне сработали!.. И, хрустнув, как стакан,
распалось вещество,
(с которым жить блаженней!)
беспамятства, забвенья вещество —
за ним ужасное клубится.
Я вспомнила — когда и где... И что с того?!
Передо мной трамвай. Трамвай-убийца,
суставчатый, запущенный с горы,
науськанный на запах мысли,
он гнался и давил, он из любой дыры
выслеживал, его колеса перегрызли
так много человечины, что спрос —
какой? с кого? с трамвая? с рельсы ржавой?
с дуги? руля? рубильника? с колес,
раскрученных великою державой?

Я назвала тебя... И что теперь?
За всех раздавленных —
научно углубиться
в твои колесики, косящие на дверь?..
в колесики твои, трамвай-убийца,
по всем законам неподсудный зверь?

Интермедия

За окнами катится липовый пух,
тучи точат ножи.
Речь говорящий — как тесто, распух,
играя дрожжами лжи.

Голенький, с луком тугим божок
целится с потолка.
Кто-то вздремнул и диван прожег
окурком «Явы» или «Дымка», —

любопытные приоткрывают дверь,
своей участи чуя запах.
На них председатель рычит, как зверь,
стоящий на задних лапах.

Председатель ключом по графину бряк-бряк,
дно — навыворот, летит оскольчик.
Вышла голая вода из графина:
— Дурак,
купи себе колокольчик!

Из дневника

Любил Котлов сидеть в котельной,
пары поддерживать в котле,
рассказы в папочке отдельной
читать, блаженствуя в тепле.
Там были острые детали
и много смелой колбасы —
в те дни крамолою считали
писать про брови и усы, —
маразм крепчал, как тот мороз,
боялись правды, как заразы,
когда соленые рассказы
Котлов в котельную принес.
Их сочинил один приятель,
ему открыли светофор —
и заключил один издатель
с ним настоящий договор!
Да, мой приятель и Котлова
рассказы эти сочинил
без хохотанья удалого
и симпатических чернил, —
что было ново для тогда!
И, в общем, автор вышел с рыбкой!
Барахтался в пучине хлипкой —
а вышел с рыбкой из пруда.
Уже вторая корректура,
вот-вот «сигнал», банкет и юг.
И автор ходит, как Вентура, —
но тут как раз ему каюк!..

В котельную стучится дворник,
привел он ангелов троих.
Котлов, в трусах, большой затворник,
со всех сторон волнует их.
Он ест. Огромный синий лук
и в собственном соку горбушу.
Они Котлову лезут в душу,
а там — Котлов, он ест.
И вдруг —
рассказы в папочке отдельной
они хватают со стола
и вылетают из котельной
варить великие дела:

набор рассыпан, автор понят,
по всем статьям разоблачен,
его до лучших дней хоронят
под очень толстым кирпичом,
он не дается, кроет матом,
творить он хочет день и ночь, —
ведь даже очень мирный атом
из саркофага рвется прочь!..
Но тут к нему подходит некто,
большой и пламенный, как печь,
на пустыре в конце проспекта
произнося прямую речь:

— Купи, любезный, три квиточка
на всю семью в любую даль.
Катись! Не то пришьем — и точка!
И, бога ради, не скандаль, —
чтоб там по пьянке одинокой
в окно не выйти кверху дном.

...Что ищет он в стране далекой?!
Что кинул он в краю родном?

Читая греческий кувшин

Вся она ходит за ним, вытянув личико лисье,
робкой вздыхая душой, шелком зеленым шурша.
Он же — склоняется весь к бегственной, чувственной мысли,
юношу подвиг влечет, славы большая лапша!
В море гудят паруса, флот уплывает во вторник,
даже поэта берут, чтобы украсить войну, —
видя широкую кровь, пусть вдохновится затворник.
Вся она ходит за ним, плавную стелет волну...
Дева предчувствий полна, он возвратится не скоро,
будет измызган тоской, играми резвых богов,
язвами рабских галер, беженством, нищенством вора, —
будет орать он во сне... голеньким ртом без зубов.
Вся она ходит за ним, пряча улыбку возмездья.
Весь он на месте стоит, в свой путешествуя ад.
Странствует только душа, все остальное — на месте,
в чем убедится с лихвой, кто возвратится назад.

Купальщица

Вышла из полотенец,
переступила — за.
Зеркало, как младенец,
смотрит во все глаза.
Она на него дышит,
ладонью стирая мглу.
Оно ее всю слышит,
видит в любом углу
рот ее приоткрытый,
шелест ее босой,
пахнущий мятой, мытой
ливнями и росой.
С гривы струятся волны
света, и в каплях — грудь.
Господи, это горло,
длинное, словно путь,
перетекает в зеркало.
Вся она в нем висит
на стене, где оно, посверкивая,
в глуби свои косит:
нет ли такого стебля,
чтоб она приросла, пока —
раскачивая, колебля
стулья и облака, —
на меня выдыхает нечто
и насылает — из
тайны, глядящей млечно
вдаль и куда-то вниз.

Черепаха

Нечто высшее, нечто такое,
не сводимое к свету и тьме,
подперев подбородок рукою,
в нашей видит она кутерьме.
Ей, потомку древнейших династий,
труден поиск обычных вещей —
и приносит ей девушка Настя
витамины в лице овощей.
Принимая дары драгоценны,
светлой деве кивает главой
героиня трагической сцены,
боль и горечь души мировой —
черепаха, прекрасная дама
с неземными чертами лица,
ее родина — классика, драма,
пыль веков и мгновений пыльца...

* * *

Бездны холодок под хлопком,
в часиках — вода,
время близится к раскопкам
страха и стыда,
где преджизненные неги
вглублены во мрак,
как подснежники — под снеги,
ландыши — в овраг.

Прежде жизни — эта сырость,
прежде глаз и уст,
все в ней отрокам навырост —
платье, вербный куст,
лодки мглистая глубокость,
ни по чьей вине
после близи — одинокость
на дощатом дне.

* * *

В апреле бывает нашествие
отроков со стихами.
Тихое сумасшествие
плавает в их мозгу,
превращая простые мысли
в нечто обросшее мхами,
хвощами дочеловеческими
на девственном берегу.
Я берегу их души,
нервы и самолюбье,
делаю голос глуше,
делая замечанья, —
потому что их бедные уши
в эти дни вырастают из глуби,
где предчувствия, равные смерти,
долбят скорлупу молчанья.

Десять отроков на неделе
приходят ко мне в апреле.
Я надеваю белое,
к свету сажусь лицом.
В этом священнодействе —
их мечта о вселенском семействе,
о таинстве чтенья мыслей —
столбцом!

* * *

Лауреат луны, молчащей в тучах,
зари, сокрытой в предрассветной мгле,
о наихудших днях и наилучших
поэт оставит память на земле.

Порвутся деньги, устареют бомбы,
но мир поэта будет вечно свеж,
как синь цветка на месте гекатомбы,
как жизни благодательный падеж.

Его наследство не прокормит близких —
так плотно сжат поэзии язык.
Дай бог, чтоб не был в ваших черных списках,
во гроб сходя под черни волчий рык.

●

Борис ВАСИЛЕВСКИЙ

Урна с прахом

РАССКАЗ

Двоюродная моя сестра как жила непутево, так и умерла. Вечером, только я вернулся с работы, позвонил мне сосед ее по квартире и сказал, что Валю нашли рано утром мертвую во дворе соседнего дома, а накануне видели с какими-то ребятами. Ребят этих уже забрали в милицию. Теперь все решит экспертиза. «Конечно, ее убили», — сказал сосед.

Я сразу начал было звонить маме, но, не набрав до конца номер, положил трубку. Всего несколько месяцев назад умер мой отец, и она до сих пор не отошла, не оправилась от этого, если вообще от этого можно оправиться, а теперь еще Валя. Но назавтра, когда я все же позвонил ей, выяснилось, что она тоже знала, только, в свою очередь, не решалась сказать мне. Мало того, она даже ездила в морг с теми родственниками.

— Но я им сказала, — плача, говорила мама, — я сказала им: я дам денег на похороны, только вы, пожалуйста, делайте все сами, а у меня просто нет сил... Ты слушаешь?

— Да, да.

— Они хотят в крематорий, я сказала: как знаете, а я сейчас просто не в состоянии что-то делать...

— Ну, конечно, — сказал я.

Но все-таки ничего не делать мама не могла, ездила отбирать одежду для Вали — «а то выберут, что похуже, да взяла несколько фотографий, а остальное пусть все берут...»

Те родственники были мать и братья первого Валиного мужа, сидевшего уже лет десять в колонии, где-то в Архангельской области, да лет пять ему еще оставалось. Он был настоящий уголовник и сел за свои темные дела. От него у Вали была дочка. Потом она еще раз выходила замуж, но и второму ее мужу не повезло: ему дали год за драку — из-за нее же, Вали. В том мире, в котором она жила, из-за нее часто дрались.

Мир этот, когда я был подростком, а Валя взрослой женщиной, казался мне загадочным, романтичным и даже привлекательным. Помню, как я, уже довольно большой, зашел к ней зачем-то, а потом мы вышли вместе и пошли по улице, где я и один ходил сколько раз и без всяких приключений, но теперь, когда шел я с Валей, из спокойного потока пешеходов вынырнула какая-то личность, которую я никогда не заметил бы раньше, и что-то быстро сказала моей сестре, и я не понял, что, но неуловимое движение головы в мою сторону расшифровал, как: «Не отшить ли этого?», и, видно, правильно расшифровал, потому что Валя воскликнула: «Да что ты, это мой брат!», и личность тут же, не взглянув более на меня, растворилась, и снова перед нами был спокойный поток пешеходов...

Сколько я помню, она всегда работала официанткой: в пору расцвета и везения в больших ресторанах, потом в ресторанах похуже, в шашлычных и других забегаловках, а в последний год — в буфете заводской столовой. Никого она не обманывала — разве что недодавала мелочь какому-нибудь пьянице — напротив, ее обманывали и обворовывали, и часто приезжала она домой пьяная, без часов, без кольца, без сумочки, а то и не добиралась до дома, и с утра мать начинала ее искать по уже известным ей в окрестности квартирам.

Мать Валина, тетя Нюра, когда-то приехала в Москву из деревни, устроилась на фабрику и проработала там всю жизнь, и всю жизнь про-

жила в маленькой комнатке на Пресне. Мебель в этой комнатке — буфет, диван, комод, кровать, стол — как была однажды поставлена, так и стояла, не переменяя места. Тетя Нюра была старшей дочерью в большой крестьянской семье, а следовательно, и нянькой младших сестер и братьев, и это наложило на нее свой отпечаток: среди всей нашей родни была тетя Нюра самая терпеливая, самая работящая, с нехитрыми, но твердыми правилами жизни. И дочь свою она старалась научить этим правилам, да так и не научила, умерла...

И вся наша родня учила Валю жить «правильно», кроме разве меня: во-первых, я был лет на десять ее моложе, а во-вторых, мне всегда казалось, что это бесполезно, я-то видел, что не нашего она племени и красота ее необычна для нашей семьи: огромные, черные, нерусские глаза и тонкий точеный нос — и строгие понятия о жизни, свойственные нашей семье, не передались ей от тети Нюры, а передались другие, от погибшего на фронте отца — рассказывали, весельчака, пропойцы и доброго малого.

Потом, когда я повзрослел и обзавелся семьей, я всегда испытывал перед Валей какое-то чувство вины, но не оттого, что не учил ее, как другие, жить «правильно», а оттого, что сам жил «правильно». Иногда я заходил к ней на очередную ее работу, она приносила мне стопку водки или коньяку и, подмигнув, говорила одобрительно: «Ты молодец, понимаешь обе стороны жизни». И в глазах ее появлялась та самая, не исчезающая при всех несчастьях бесшабашная веселость, из-за которой она всегда оставалась для меня прекрасной и молодой, и, только посмотрев на нее мертвую, с закрытыми глазами, я вдруг увидел женщину сорока лет с располневшим, опухшим лицом...

Экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти, а установила смерть от инфаркта. Те родственники позвонили нам и сказали, на какой день и час назначена кремация. В этот день мы поехали с мамой в морг — я помню, что недалеко от Новодевичьего монастыря — а оттуда в автобусе с теми родственниками и гробом в крематорий. Рядом с матерью и братьями первого Валиного мужа (второй, отсидев, навсегда исчез из ее жизни и не подавал о себе вестей, радуясь, наверно, что так счастливо, так дешево отделался) сидела Валина дочка, девочка лет тринадцати. Ей не сказали подробностей смерти матери, но она, видимо, догадывалась — лицо ее было испуганным и диким. Она училась и жила в школе-интернате, но теперь, рассказывала мама, старуха собиралась забрать ее оттуда и хлопотать о досрочном освобождении сына, упирая на то, что девочка осталась сиротой. Еще из провожающих был позвонивший тогда Валин сосед.

Когда мы приехали и собирались вытащить гроб из автобуса, подошел кто-то и сказал подождать. Я с одним из братьев, наиболее серьезным и деловым, отправился в какую-то комнату оформить документы. Там мне выдали квитанцию, по которой я мог получить прах в течение года. По истечении же года прах не сохранялся более, а предавался захоронению — не помню точно, как там было сказано: «в общей могиле», что ли, ну, словом, ясно. Женщина, выдавшая эту квитанцию, спросила, будем ли мы заказывать музыку. «Да, конечно», — ответил я. За музыку полагалось пять рублей, и я заплатил.

Когда мы вернулись, уже можно было нести гроб. Мы вытащили его из автобуса, внесли внутрь и поставили недалеко от входа на стол. Теперь я понял, чего мы ждали — навстречу нам выходили люди, проводившие своего покойника, а в глубине зала, на возвышении стоял другой гроб, который только что перенесли туда со стола — следовательно, мы ждали, пока стол освободится. Звучала музыка, но не наша, а чужая — для того покойника. Потом она смолкла, и, посмотрев туда, я увидел, что гроба на возвышении больше нет и толпившиеся там люди идут к выходу. Сейчас была Валина очередь, но мы почему-то медлили, чувствовали, что еще не пора, и мама со старухой поправляли цветы вокруг Валиного лица.

Но вот снова зазвучала музыка, уже наша, и хотя никто не говорил нам, что при музыке надо нести — мы так и поняли, подняли гроб и понесли к возвышению за барьерчиком из белого мрамора. Музыка смолкла. Мы постояли немного, потом женщина, работавшая тут, за барьерчиком, сказала негромко, но твердо: «Прощайтесь». И мы стали прощаться, обходя гроб по специально оставленной между возвышением и барьером

дорожке и целуя Валю. Гроб накрыли крышкой. Музыка возобновилась, и тут до меня дошло, что музыканты — я разглядел двух со скрипками — исполняют «Элегию» Массне, и я вспомнил, как поет ее Шаляпин: «О-о-о...» — и потом неразборчиво, а дальше слова: «Все унесла ты с собой: и солнца свет, и покой», а потом опять «о-о-о...». Под эту музыку возвышение с гробом медленно стало уходить вниз, а из глубины поднялись и сомкнулись над Валей черные, обитые бархатом створки... Нечего было нам тут больше делать, мы вышли из крематория и пошли цельной еще кучкой по аллее, до выхода из ворот, а здесь те родственники остались ждать автобуса, а я взял такси и увез маму домой.

Схоронить Валю мы решили в деревне, где уже были похоронены дед, бабушка и дочь их, тетя Нюра. Ехать туда я собрался в мае, на День Победы, за которым следовали в этом году суббота и воскресенье, и всего, таким образом, получалось три выходных дня. За это время я вполне успевал обернуться. Перед отъездом я отправился в крематорий за прахом.

Теперь-то я мог как следует, не торопясь, рассмотреть это здание, его подчеркнуто прямые углы и серые гладкие стены. Такие здания я встречал и раньше в разных углах Москвы, и всегда казались они мне вывернутыми наизнанку. Над основанием из прямоугольников высилась прямоугольная же узкая башня со сплошным вертикальным рядом окон, а по сторонам башни было две трубы, справа такая же гладкая и серая, но с трещиной, а слева новая, свежей кладки. Из обеих шел дым. Справа, внизу здания, в подвале была уборная, а слева, симметрично ей, в таком же подвале «выдача прахов». Прямо над входом в крематорий я разглядел обыкновенные, круглые, вделанные в стену часы, какие привыкли мы видеть на улицах. По бокам крематория располагались колумбарии, а еще дальше, как на обычном кладбище, памятники, только стояли они погуще. Кладбище было обнесено красной кирпичной, не гармонирующей никак с крематорием, а видимо, оставшейся от какой-то церкви стеной.

Рассмотрев все это, я вошел внутрь. У входа, на столе — как я почему-то определил для себя, в «притворе» — стоял гроб. Вокруг толпились провожающие. Территория эта была отделена от главного зала сдвоенным рядом низких удобных кресел, вроде тех, которые бывают в залах ожидания, в аэропортах. Между креслами в центре был проход. В глубине зала, где тускло блистал орган, на знакомом уже возвышении тоже стоял гроб, и вокруг него тоже была толпа.

Я прошел между кресел и свернул за колонны — как я снова почему-то определил, в «приделы». Оказывается, все стены здесь были закрыты урнами, урны стояли и в застекленных шкафах, по сторонам органа, и эти, в шкафах, особенно напоминали экспонаты в музее. Я походил вдоль стен, читая имена сожженных, гадая, избранные ли это или просто первые, успевшие на свободные места. Но, видимо, это все же были избранные, и почетное место среди них, слева от входа в большой зал, занимал, как следовало из мемориальной надписи, создатель крематория — некоторое время я разглядывал его гордую голову с гордой надписью: «ARCHITETT».

Началась музыка — теперь я увидел не двух, а четырех оркестрантов, да еще женщину за органом — и не Массне, как тогда, а что-то другое, незнакомое мне, но тоже медленное и печальное. Гроб опустился, толпа отошла, а музыканты ушли за шкафы. После непродолжительной паузы они вышли и заиграли снова, и люди, ожидавшие в «притворе», как и мы тогда, поняли, что можно нести своего умершего. Несли они его, как и выносили из дома, ногами вперед, а тут надо было наоборот, головой к органу, ногами к выходу, и женщина из-за барьерчика показывала им, чтобы они перевернули. Тогда они на ходу стали разворачивать гроб, занося вперед голову, и оттого, что это было под музыку, казалось, что они совершают с гробом медленное па. Я забыл уже, как мы сами несли и делали, нет ли такое па с Валей.

Теперь я смотрел на женщину, работающую за барьером. Под рукой у нее стоял аккуратный деревянный ящичек с гвоздями. Я заметил, что гвозди эти она взяла заранее и в продолжение всего времени, пока провожающие смотрели на своего покойника и прощались с ним, сжимала их в правой руке — три гвоздочка, а в левой у нее был кружочек с номером. Когда прощание закончилось, кто-то в толпе — тоже без всякого напоминания и команды — понял, что нужно накрывать крышкой. Теперь женщина

взяла молоток и забила свои гвоздочки — два со стороны головы и один в ногах, посередине. Кружочек с номером она оставила на крышке. Потом она вернулась на свое место, в углу барьерчика, и тут же начала повторяться музыка. Стоя по-прежнему лицом к гробу, женщина завела руку за спину и нажала вделанную в барьер кнопку, обыкновенную, круглую, какие бывают в лифтах, и гроб медленно ушел вниз, а над ним сомкнулись знакомые черные створки. Провожающие, вернее, проводившие, помедлив еще, двинулись к выходу, а там уже стоял новый гроб.

Я остался, и каждый раз все было то же: та же музыка, и медленное па с покойником, и гвоздочки, и подъемник — да и подъемником его не назовешь, потому что только опускал, — и створки. Медленно толпа отходила, я оборачивался ей вслед, а там уже ждал новый гроб, и, хотя знал я уже, что будет он ждать, каждый раз это меня неприятно поражало.

Наконец с очередной толпой я вышел из крематория и сел в стороне на скамейку. Дымок из трубы был едва заметен, не дымок даже, а прозрачный, дрожащий от тепла воздух. Но вот он сгустился в черный и валил несколько времени, пока опять не стал прозрачным. Потом опять сгустился. К музыке, па, гвоздочкам, створкам, внутри, здесь, снаружи, добавлялись еще периодически сгущающийся дымок и выходящая толпа.

Все это не походило на обычные, виданные мной на кладбищах похороны — там были вопли, стенания, а здесь тихие всхлипывания. И еще я заметил: провожающие — я имею в виду тех, которые плакали, — очень быстро, как только закрывались створки, успокаивались, точнее, это было не успокоение, а растерянность, да, растерянность я читал на лицах выходивших оттуда, и эту растерянность я определил бы в словах: «Где же он (или она)? Над чем теперь плакать?» На кладбище — другое дело, там хотя и гроб заколотили и засыпали, но вырос холмик, единственный, и точно обозначает место, где он, и можно сюда приходить и плакать. Над чем же здесь? Над черными закрывающимися створками — частью машины? Или выбегать и плакать над дымком, на мгновение, ну не более как на четверть минуты сгущающимся над трубою? И к какой трубе бежать, мелькнуло у меня, ибо здесь сразу же усопшие разделяются «одесную и ошую»?!

И тут на меня напал смех — все это действительно же было очень смешно: чередование покойников, короткого, механически пресекающегося изъявления горя, одной и той же музыкальной вещицы за пять рублей, дымка ужасной печки и, наконец, то, что человек, создавший эту жуткую пародию на церковь, тоже оказался здесь, да еще на самом почетном месте. Я вдруг увидел все это как бы сверху и смеялся — то есть смех мой был, конечно, внутренний, а наружно я оставался молча и спокойно сидеть на скамейке. Но тут же пришло мне в голову, что ведь и сам я — потенциальное топливо и, смеясь, даю повод для еще большего смеха тому, кто может (почему бы не предположить такое?) оказаться гораздо выше меня. Впрочем, подумал я, о н и наблюдает, наверное, дольше, так долго, что е м у уже не смешно, и, может, я вызову у н е г о лишь кривое подобие улыбки, а может, и ничего не выразится на е г о лице — насмеялся в свое время...

Я поднялся со скамейки и направился было за прахом и тут — поистине в одном шаге от смешного — увидел трагическое. Это был барельеф на стене соседствующего с печкой колумбария, серый барельеф на серой стене, и с первого же взгляда понял я, что вещь эта по крайней мере необычная. Я снова вернулся к скамье, откуда он был хорошо виден, и сел разбираться в своем впечатлении.

Каждый, кому пришлось побывать здесь, наверное, обращал внимание на барельеф, но я все-таки опишу его. Под горизонтальной чертой, означающей землю, не на спине, как обычно, а на боку, лежал умерший, одной рукой обхватив голову, а другую положив на грудь, где сердце. Он был наг — тут я вспомнил слышанное мною в детстве от деда нехитрое изречение: «Наг человек родился, наг и сойдет в землю». Над чертою слева направо стояли: мальчик с зажатым в руках кривляющимся Петрушкой, молодая женщина, в ужасе закрывшая лицо руками, мужчина, которого я посчитал сыном лежащего, и пожилая его мать, жена умершего патриарха. На руках у нее сидел младенец, внук. Тут же, рядом с бабушкой, прямо из тела мертвеца вырастало дерево, на ветвях которого висели

яблоки, и младенец, сам налитой, как яблоко, глядя перед собой бессмысленными дырками глаз, тянулся к плоду — сорвать с древа познания, которое «не есть древо жизни», и самому начать этот круг. Да, это был круг, нигде не прерывающийся, не размыкающийся никуда, и глазу было задано следовать по этому кругу: по стоящим рядом фигурам, по стволу дерева, вдоль распростертого тела, и снова по фигурам, каждая из которых, кроме разве младенца, по-своему выражала горе.

Ближе, понятнее всего мне была скорбь стоявшего в центре мужчины со сцепленными внизу руками и как бы отвернувшегося: голова его была повернута к плечу и наклонена. Недавно умер мой отец, и сам я чувствовал такую же скорбь, и еще чувствовал, что стою теперь первый в этой непрерывающейся цепи. Смерть сверстника не поражала, не производила такого впечатления, потому что была с л у ч а й н о й, смерть деда подобна была отдаленному раскату грома — к этому раскату прислушался на мгновение мальчик с Петрушкой, а смерть отца я сравнил бы с ударом молнии рядом с вами, смерть отца — з а к о н о м е р н о с т ь, и с нею вы начинаете понимать, что этой закономерности подвержены и вы, и теперь в этой цепи вы первый. И вот это томление духа, а не только конкретную скорбь, казалось мне, понимал я в позе стоявшего над чертой мужчины.

И — гениальная мелочь: старуха была босая. Мне кажется, что во всякой великой картине должна быть вот такая гениальная мелочь, которая и делает ее окончательно великой. Например, во врубелевском Демоне, искушающем Тамару, такая мелочь — согнутые пальцы Демона. Рука его сделала движение к Тамаре, но пальцы согнуты — это и есть завершающая гениальная мелочь, а вот если бы и ладонь была раскрыта и простерта, это был бы не Демон, а какой-нибудь прапорщик... Да, вот так, и мужчина и женщина, и мальчик стояли е щ е в обуви, а старуха была у ж е босая, и этим как бы подчеркивалась ее обреченность земле, ее готовность теперь, после смерти хозяина, за ним следовать. Но я бы сделал, чтобы все они были босые — в одежде, но босые, и тогда все было бы правильно. Да, отец мой не похож был на патриарха в неполные свои шестьдесят лет, и лежал он, как принято, на спине, одетый в строгий костюм, со строгим выражением лица, а, оказывается, он лежал наг, обхватив голову рукой, а другой схватившись за сердце. Над ним стоял я, в одежде другого, чем на барельефе, покроя и других, не столь грубых ботинках, стояла моя жена, в модных ныне лакированных туфлях на низком каблуке, и трехлетний сынишка мой в сапожках, и мама, уже не знаю, в какой, но в темной вдовьей обуви, а оказывается, все мы стояли босые!

Изображение это как бы примирило меня с комедией всего происходящего — да, подумал я, оно необходимо здесь, как общий символ длящейся вечно скорби, именно здесь, где скорбь эта в каждом отдельном случае так быстро и так искусственно прерывается. И с этим примиренным чувством я пошел за прахом.

Я выстоял короткую очередь, подал свою квитанцию. «Где будете хоронить?» — спросила женщина, выдававшая «прахи». «В деревне», — ответил я, полагая, что этого достаточно, но она переспросила, в какой. Я назвал. Она записала и выдала мне справку — разрешение хоронить на ...ском кладбище. Я осторожно взял белый закрытый сосуд, похожий на усеченный конус. На крышке его карандашом был написан, не помню какой, но помню, что четырехзначный номер. Я думал, что это и есть урна, но здесь узнал, что белый сосуд называется капсулой, а урны — несколько образцов — стояли тут же, в витрине. Рядом висела табличка с предложением приобретать урны, так как они способствуют дольшему сохранению праха. «Дольшему сохранению, — подумалось мне, — а для чего, с какой целью, ибо для полного идеала этому праху не хватает только как можно быстрее перемешаться с землей...» При мне был свежий номер «Литературной газеты», я отделил прочитанную страницу, завернул в нее капсулу и пошел прочь уже без каких-либо определенных мыслей.

Дома я замешкался, ища, где бы поставить урну, то есть капсулу (всё я путал, потому что уже было во мне откуда-то и устоялось это сочетание: «урна с прахом»). Будь это другой предмет таких же размеров, я сразу бы нашел ему место, а здесь я выбирал и сомневался...

В деревню я поехал с Казанского вокзала, через Зарайск. В Зарайске

был у меня дядя, я намеревался у него переночевать, а наутро ехать в деревню, до которой от города оставалось километров двадцать. Ношу мою я положил в авоську. По-прежнему завернутая в газету, она выглядела совершенно безобидно и, если бы не скошенная слегка, как у цветочного горшка, форма, совсем походила бы на обычную банку с каким-нибудь соленьем. Я уже привык к ней и, войдя в электричку, не размышлял особенно, а сразу повесил на крюк у окна, над головой какой-то женщины, но сетка опускалась слишком низко, и женщина посоветовала укоротить ее, захлестнув сверху узлом, и даже сама это сделала. Тут возникла во мне мысль, как бы эта женщина повела себя, если б узнала, но я лишь мгновение усмехался этой мысли, да и то как-то вяло, а потом раскрыл купленный на вокзале журнал и читал всю дорогу. Через три с половиной часа я был в Зарайске.

Дядя жил недалеко от базарной площади, в старинном, бывшем купеческом доме — теперь общежитии педучилища. Он был учителем всю жизнь, кроме военных лет. С самого начала войны он пропал без вести и только в 45-м прислал письмо: оказывается, находился в концлагере, в немецком плену. Письмо это, по семейному преданию — сам я не помнил, — дал мне почтальон, когда играл я на речке с ребятами, и дед с бабушкой всегда потом, вспоминая, ужасались задним числом, как я не заигрался и не потерял его. Перебывала у нас тогда вся деревня, и начинали утирать глаза сразу же после обычного: «Здравствуйте, дорогие Мама и Папа, пишет Вам сын Ваш...» и т. д. А дальше там было: «Но костлявая рука смерти не тронула Вашего сына», — и тут уже плакали навзрыд. Потом дядя сам приехал, и опять собирались и плакали, слушая его рассказы...

Жена его, думая, что он погиб, вышла замуж и уехала, и дядя женился в другой раз — на местной учительнице. Бабушка осталась недовольна его выбором — по ее рассказам, была ему тут лучше невеста: и «поглядеть» хорошая, и веселая, и петь, и плясать, и работать ловкая. А дядя взял вот эту, болезненную, нервную, в свою очередь, оставленную мужем женщину, да еще с ребенком. Много лет спустя, когда я был уже взрослым, мы с бабушкой перебирали хранившиеся у нее фотографии и письма, и среди них то — самое дорогое. Снова бабушка ужаснулась, что мог ведь я и потерять его, а потом сказала, подавая фотографию: «А это вот он только с плена вернулся». Тут припомнила она и женитьбу его, и возобновила свои нарекания: «Што не по ей, сейчас ее оморок шибает», — а я, рассматривая худое дядино лицо и суровый, какой-то помертвевший и обращенный внутрь себя взгляд недавнего узника, казалось мне, понял, отчего он не женился тогда на веселой... Вскоре после женитьбы он перебрался с семьей в Зарайск и снова начал учительствовать. Сейчас они с женой уж год, как были на пенсии.

Из письма мамы дядя знал о Валиной смерти. Жена его, с головой, туго обвязанной полотенцем — действительно, сколько я ее помнил, столько помнил и это полотенце на голове, — собрала на стол, но сама не села, ушла. Мы помянули Валю, и я рассказал дяде немногие, какие знал, подробности. «Вот, везу хоронить, — сказал я и подтвердил выразившуюся в его глазах немую догадку, — да, вот тут, в сетке, под стулом...» «Ты Маше, смотри, не проговорись», — предостерег он, и я пожал плечами с неприятным чувством. Желудок дядин навсегда был испорчен в лагере, и вторую стопку я выпил уже в одиночестве.

Из-за перегородки вышел заспанный мальчик лет пяти. «Проснулся, Сереженька, внучек?» — тотчас занялся с ним дядя и с гордостью объявил мне, что внук его очень любит: «Чуть что — деда, деда!» Мальчик этот был сыном того, приемного. Раньше я как-то не придавал значения таким вещам, а вернее, не размышлял о них, твердо веря, что тот, кто воспитал, и отец, и дед, но теперь, припомнив то изображение на стене, подумал с грустью, что когда дядя ляжет под чертой, стоять над ним будут, хотя, может, и в искреннем горе, но, в сущности, чужая жена, чужой сын, чужой внук...

Дядя обратил мое внимание на то, как они по-новому перегородили комнату и переставили мебель: стало у них теперь гораздо просторнее. Я не увидел, чтобы стало просторнее — как раньше негде было повернуться в этой маленькой комнате, так и сейчас. Дядя был хотя и уважаемым человеком в городе, а жилья приличного за двадцать пять лет работы ему все равно не дали. Но, полный надежд, рассказывал он, что уступили им, учителям, правда, с боем, даже в газету пришлось писать, вот эту территорию — он показал в окно на разрушаемый по соседству каменный сарай — здесь будет четырехквартирный домик, в котором и ему обещали секцию. Да и хорошо, что тут, рядом, потому что вскопали они с Машей во дворе грядки — помнишь, в углу, на месте конюшни — и теперь у них все будет свое: и лучок посадили, и огурчики, и помидорчики, и даже картошки немного. И, рассказывая все это, он то и дело перебивал себя, лаская мальчика, обращаясь к нему: «Ведь Сереженька кто? — и сам же отвечал: — Он мой внучек... Он без меня никуда, почему? Ведь я ему дедушка...» И всякий раз при этом вспоминал я тот барельеф и с досадой уже думал: «Да что ж он все твердит, ну, сказал бы раз, и ладно, а то: внучек, дедушка... Не понимает, что ли?»

Я вдруг увидел, как он переменился. С годами исчезла та, запечатленная на фотографии помертвелость взгляда, но суровость и сосредоточенность оставались, и этот трагический дядин облик я любил, а теперь, поймав его, устремленный на мальчика размягченный взгляд, увидел я, что действительно превратился он в доброго, сентиментального дедушку. И разговоры его о квартире, помидорчиках, огурчиках показались мне легкомысленными и даже оскорбительными для Вали, наверное, из-за того неприятного, вызванного дядиным предостережением, чувства. И я тут же решил не ночевать здесь, а ехать в деревню.

Собственно говоря, всякий раз так и получалось, когда ехал я через Зарайск: всякий раз менял я свое намерение переночевать у дяди, и потом уже предвидел заранее и следил только, в какой момент это произойдет. То выходил я во двор, где когда-то играл с ребятами в «прятки», «колдунчики» и прочие игры, и, мгновенно оглядев этот, ничуть не изменившийся, но какой-то опустевший двор, пожимал плечами и говорил себе: «Да тут и спрятаться-то было негде», — и тут же понимал, что было, тогда было, где спрятаться, и становилось грустно, и от этой грусти хотелось поскорее уехать. То шел я по улице, и вдруг в просвете между домами, с высокого обрыва открывался вид на реку и низкий противоположный берег, и там далеко можно было проследить дорогу, уходящую мимо полей и перелесков в нашу деревню. И, постояв и поглядев на эту дорогу, я возвращался и говорил: «Пожалуй, поеду...» Теперь же причина поспешного отъезда была, как я понимал, в грустном впечатлении от дяди да еще в этом неприятном, никак не проходившем чувстве.

«Маше, смотри, не скажи», — предупредил он, но мне казалось, что и в нем самом было какое-то напряжение. «Поеду, не поздно еще», — сказал я, и дядя не отговаривал меня, как обычно, а когда искал я на вешалке свою куртку, вдруг заторопился и выдал себя. «Ты не забудь — там, под стулом-то...» — быстро проговорил он, и я увидел в его устремленном в ту сторону взгляде детское, боязливое любопытство, какое помнил у себя и своих товарищей, когда хоронили кого-нибудь в деревне, а мы, мальчики, околачивались сбоку процессии, одинаково желая и страшась взглянуть в лицо мертвеца...

«Да, странно: дядя... — размышлял я уже в автобусе, держа на коленях свой сверток, — был на фронте, в плену, столько смертей видел, да и не в таком пристойном, даже и на смерть не похожем виде...» — и еще раз поразился происшедшей с ним перемене, но потом вспомнил я, что не только мальчишки, но и виданные мной недавно в крематории старики и старухи с таким же любопытством, страхом и напряжением заглядывали в разверзающуюся под гробом яму, словно там уже был потусторонний мир, словно оттуда мог блеснуть им хоть бы намек на то, что уже знал или вот-вот должен был узнать умерший их сверстник, и что в скором времени предстояло узнать им самим...

В деревне, куда я ехал, жили когда-то мои бабушка с дедом, и здесь же родились все их дети — одиннадцать человек, — и я сюда приезжал каждое лето, до четырнадцати годов, пока не умер дед. Тогда дом продали на своз, а бабушку мы взяли к себе в Москву, но, когда и она умерла, привезли и похоронили, как она хотела, рядом с дедом. Теперь у нас оставались здесь только дальние родственники: сын бабушкиной сестры, стало быть, мой двоюродный дядя, с женой. Иногда мы приезжали сюда, вот так, как я сейчас, на день, на два, проведать могилы. После того, как

от Зарайска до Каширы, как раз мимо нашей деревни, проложили шоссе, ездить стало очень удобно...

Игнат с Паней жили на краю деревни, противоположном тому, где останавливался автобус. Я прошел по улице, отмечая происшедшие с прошлого раза перемены: новый магазин со стеклянной передней стенкой и железные будки возле некоторых домов... Наш дом стоял отдельно от других, на бугре за речкой, и за деревьями, насаженными когда-то дедом и его сыновьями, видна была из деревни только часть крыши. А теперь там ни дома не было, ни деревьев — по всей усадьбе стояли тракторы, комбайны и прочая техника, и земля в палисаднике, где собирал я грибы, покрыта была неистребимыми пятнами мазута. Раньше, приезжая в деревню, я навещал нашу усадьбу, но в последнее время нет, и сейчас, проходя, только взглянул в ту сторону...

Игнат сидел на скамейке перед домом. Он издалека заметил меня и молча мне улыбался, пока я подходил. Сетку свою я повесил на заборчик, мы пожали друг другу руки, и я сел рядом с ним.

— Ну, как там у вас, в Москве? Что нового? — спросил он.

— Ничего, — сказал я, сразу устав при мысли, что вновь придется объяснять про Валю.

— Как мать?

Он не спросил «мать-отец», значит, о смерти отца уже слышал.

— Известно, как. А у вас?

— Живем помаленьку.

Я спросил его, что это за будки стоят перед домами — оказалось, что для газовых баллонов. Уже и двухконфорочные плиты установили в домах — вот-вот привезут газ.

— У меня тоже стоит, — сказал Игнат, — только со двора.

— И магазин у вас современный. Хорошо живете.

— Соломенной крыши уж не увидишь, — подтвердил он.

Первый раз за весь день вспомнил я о сигаретах, закурил, и мы посидели еще немного. Была пора сумерек, так странно действовавшая на меня в детстве: прогнали уже по деревне скотину, и бабушка с дедом во дворе — она доит, а он помогает ей, держит за рога нашу старую, с норовом козу Белку, и не держит даже, а просто стоит рядом, слегка касаясь рукой покатого волнистого рога. Я сижу у раскрытого окошка с книжкой, но букв уже не различить, только серые полоски строчек, а оглянешься: в избе еще темнее. Сумерки гнетут меня и обволакивают, как нечто вязкое, и я слабо сопротивляюсь им и чувствую, что и все живое вокруг сопротивляется, но безуспешно. Звуки сквозь сумерки доходят медленно и тут же глохнут: чей-то разговор на деревне, взвозившиеся на ветлах грачи, громкий, на всю избу, и обрывающийся стук ходиков, и странно далекий голос деда со двора: «Ну, ступай, ступай...» И, мне кажется, продолжайся без конца это наступление ночи — так бы и сидел я у окошка неподвижно, в каком-то оцепенении. Но вот в сенях слышатся шаги, входит дед, обтирает ноги и замечает сердито: «А ты все глаза ломаешь?» Он проходит к лампе, гремит спичками, зажигает ее, не сразу, а постепенно отвертывая фитиль, давая нагреться стеклу, и тут на улице окончательно становится темно, а я оживаю со светом в избе... Сейчас ничего подобного я не испытывал, просто сидел, наслаждаясь попеременно то сигаретой, то похолодавшим воздухом, в котором отчетливо с наступлением вечера различались запахи близкого леса.

— Ну, пошли в дом, — сказал Игнат.

Дом у него был хороший, новый, с застекленной террасой — может быть, и подобротнее нашего, но я всегда вспоминал и любил только наш, сравнивая его с другими: не так располагались комнаты, не там была печка, и кухня была другая, и по-другому стояли в ней ведра, чугуны, ухваты, и запах был не такой, как в нашем доме, — нет, не мог я простить дядьям, что согласились тогда на его продажу...

С прошлого лета — я не знал, но мама предупредила меня — были наши родные на нас в обиде за то, что когда приезжали ставить на могилу плиту, якобы торопились и не зашли. Но Паня встретила приветливо — стало быть, обида прошла. Не сказав сразу про Валю, я так почему-то и решил: до завтра не говорить. За ужином Паня стала спрашивать об отце, укорив, что не сообщили — это вот недавно Игнат был в Зарайске, узнал, потом о матери, и напоследок — я еще подивился наивности своего решения молчать — о Вале.

— Ну, а Валя там как?

Про Валю всегда почему-то спрашивали в последнюю очередь и с особенным, не таким, как про всех, выражением, и всегда это меня раздражало, и сдержанно я отвечал, что живет она хорошо. И я ощутил даже какое-то мрачное удовольствие оттого, что сейчас это выражение с Паниного лица исчезнет и никогда больше, при упоминании о Вале, не появится.

— Умерла, — сказал я. И понял еще, что нанес новую обиду.

— Ой, да когда же?

— В марте еще.

— Отчего же она умерла-то, ведь она молодая?

— Инфаркт... Сердце у нее было больное, — пояснил я, уж не рассказывая подробно, при каких обстоятельствах случился этот инфаркт.

— Ну, скажу я тебе, — Паня положила ложку, — обижалась я на вас, и правильно. Совсем нас за родных не считаете. Отец умер, не сообщили, теперь Валя...

Вины я никакой не чувствовал, но из приличия надо было оправдаться.

— Да разве все в таких случаях упомнишь? — сказал я.

— Ну, ты был на похоронах-то? — спросила Паня с тем, хорошо мне уже знакомым, напряженным интересом к таинству и подробностям смерти.

И тут мне снова стало смешно, но это был не тот, овладевший мной тогда в крематории, натужный смех, а легкое, бесшабашное, какое знал я у Вали, веселье. «Да и что в конце концов мы можем противопоставить ей, этой тупости и однообразию, с которым она нас поглощает, кроме вот такого, пусть даже цинического веселья?» — подумал я и, засмеявшись, но не про себя, а вслух, ответил:

— Нет еще. Еще не был.

Игнат и Паня молчали, и я увидел, что слово «еще», хотя и дважды мной подчеркнутое, для них пропало, не поняли они, что это слово означает, но их сбил с толку мой смех и они теперь вообще не знают, о чем спрашивать. Тогда я объяснил, что Валю кремировали, сожгли, а урну с прахом я привез и похороню здесь, в деревне.

— Да где ж она, урна-то? — спросил Игнат.

— А вот в сетке-то, — напомнил я. — На террасе я ее оставил...

При этом я, наученный печальным опытом с дядей, особенно внимательно вглядывался в их лица — как будут реагировать они на «урну». Но Паню взволновало совсем другое.

— Да что ж вы ее сюда-то не привезли?! — воскликнула она. — Уж мы бы тут и поплакали над ней, и отпели, и помянули. В Гремячеве жив еще батюшка-то...

— Устали все от тех еще похорон, — объяснял я, успокоившись и с благодарным чувством. — Да и вас то и дело беспокоим. То с бабушкой, то с тетей Нюрой...

— А как же? Свои ведь... — снова, но уже миролюбиво напомнила Паня...

Спать мне предложили на выбор: в избе или на террасе, и я предпочел террасу. Ночи еще были холодные, и поверх одеяла Игнат дал мне тулуп. Я разделся, и тут мелькнула у меня мысль: взять урну, отнести ее на кладбище и поставить там на могиле до утра — исполнить какое-то подобие обряда — но снова одеваться не хотелось, да и не был я уверен, что найду в темноте могилу. Я лег и мгновенно заснул, а утром, часов в шесть, так же мгновенно проснулся, чувствуя себя совершенно выспавшимся...

Я захватил свою сетку, Игнат лопату, Паня кое-какую еду, и мы пошли. Кладбище было при церкви, на этом же конце деревни. Судьба церкви была самая обычная: уже на моей памяти крутили в ней картины, потом хранили зерно, потом хозяйственная нужда в ней отпала, и архитектурных достоинств она не имела, и стояла теперь разоренная, но в покое... Ограды вокруг кладбища не было, а только ровик, обсаженный акациями. Ближний к церкви угол густо зарос деревьями и кустарником, и превратился как бы в кусок обычного леса, и только едва заметные продолговатые бугры указывали, что здесь тоже могилы. Противоположный, соседствующий

с домами, конец кладбища был гол, и всегда паслась здесь чья-нибудь коза, привязанная к колышку, и ходили куры.

— Вон она, могила,— сказал Игнат.

Наша могила выделялась среди прочих крашеной железной оградой и новою белою плитой.

— А вот тут наш Миколай. С днем-победою тебя, Миколай,— поздравил Игнат, сняв с лысой головы кепку и пристукнув по темной деревянной ограде.

Я не помнил Миколая и не помнил, кем он нам приходился... Холмик на нашей могиле был сделан общий, больше в ширину, чем в длину, и на плите были три надписи, одна под другую. Перед плитой торчали засохшие стебли цветов.

— Мы ходим, ображиваем,— сказала Паня.— Вот новых цветов надо будет посадить.

— Вставай, бабка Дуня, вставай! Внучек приехал! — неожиданно прикрикнула она деловитым будничным голосом, как будто бабушка прилегла отдохнуть на кровати за ситцевой занавеской в нашем доме, там, на бугре.

С осени налетела в ограду палая листва. Паня начала выбирать ее, но листьев было много, и Игнат пошел в ближний дом за граблями. Я выпростал урну из сетки, не разворачивая, поставил ее на землю и побрел между крестов. В зарослях наткнулся я на знакомый с детства большой черный камень, обтесанный в форме часовенки, только раньше лежал он в траве, а теперь кем-то был поднят. «Под камнем сим покоится крестьянин дер. Болотино Гурий Дмитриевич Коновалов (1820—1899), жития ему было 79 лет, и супруга его Прасковья Федоровна Коновалова (1826—1895), жития ей было 69 лет...» — читал я старинную сдержанную надпись, и лишь в конце ее прорывалось исступленное: «Господи, прими души рабов твоих!» И эту надпись я вспомнил...

Вернулся Игнат с граблями, и с ним подошла пожилая женщина. Лицо ее мне было знакомо, но я забыл, кто это. Она же меня узнала.

— Никак Андрея Яклича внучек? — спросила она.— Ну, как мать-то, горюет?

И ей было известно про нашего отца.

— Передай, что у тетки Пелагеи тоже горе, сын помер,— сказала женщина с таким значением, будто мать мою это могло утешить.

— Небось, помнит она Краюшкину-то Пелагею?

Теперь и я ее вспомнил, вернее, сына ее, Витьку Краюшкина, за сокрушительную напористость в драках прозванного «Колуном». Был он на год, на два постарше меня.

— Отчего ж он помер? — спросил я.

— Возом его придавило. Похворал с полгода и помер...

Игнат выгреб листву, и я стал копать яму. Я решил вырыть ее в центре холмика, против плиты. Паня рассказывала про Валю.

— Всех, всех созывает к себе Андрей Яклич,— заметила Пелагея.— А я тут бабку Марью видела. Обижается она. Все, говорит, помирают, одна я никак не помру. Уж больно ей помереть-то хочется...

Я прислушивался к этим простым словам, и они не удивляли меня: этой простоты наслушался я еще от бабушки, в последние годы ее жизни. То она вспоминала, как умирал дед. «Он все боялся, говорил: «Мать, нуко, я помру — буду нехороший?» А я ему говорю: «Нет, дед, ты будешь хороший». И правда, в гробу-то он лежал такой хороший...» То начинала рассуждать, когда лучше помереть. «Летом-то лучше: тепло, и дороги хорошие — вам забот меньше...»

Тетка Пелагея взяла ненужные больше грабли и ушла, и Паня вдогонку пожалела, что не догадалась пригласить ее. Я выкопал достаточную, по моему мнению, на черенок лопаты, яму, развернул газету, встал на колени и, опустив глубоко руку, поставил там белый усеченный конус. Землю на этом месте я выровнял.

— А я тут цветов посажу,— снова пообещала Паня.

Она расстелила газету, разложила вареную картошку, яйца, лук, сало, хлеб. Игнат достал бутылку с самогонкой.

— Надо бы водочки, да магазин закрыт нонче,— сказал он, как бы оправдываясь.

— Да ничего.

— Ну, помянем Валю. Отмаялась,— сказала Паня и утешила,— здесь-то ей повеселее будет...

Мы выпили, не чокнувшись.

— Да, скоро, скоро ее мать на руки приняла,— заметил Игнат.— Нюру-то когда хоронили?

— Года три уж...

— Нет, вы как хотите,— решительно заявила Паня,— а батюшку гремяченского я позову!

— Ладно тебе,— сказал Игнат. Он был членом партии и каким-то руководителем в совхозе.

— Да ведь не ты позовешь-то!

Мы помянули еще моего отца, а потом и всех родных, кто лежал здесь. Перед тем как уходить, Паня накрошила на могилу остатки еды, а Игнат вылил к плите малость недопитую самогонку.

— Деду Андрею,— пояснил он.— Он ведь тоже, бывало, не отказывался...

И как в Зарайске я знал, что не останусь ночевать, а в тот же день потянет меня в деревню, так знал и в деревне, что возвращаться буду не обратным, через Зарайск, путем, а пойду пешком на станцию нашей дорогой, как мы ходили, когда не было еще здесь шоссе.

Простившись с Игнатом и Паней, я почти сразу вошел в лес, ощутив знакомый его запах, не запах леса вообще, а запах именно э т о г о леса, потому что помнил его с детства, и с закрытыми глазами, лишь по запаху мог бы угадать любой из лесов, окружающих нашу деревню: и Руднево, и Морозовский, и Болотненский, и Дубакинский край. И дорогу я знал наизусть: за лесом будет поле и деревушка, а потом овраг, и все время по этому оврагу, вдоль ручья, и только перед самой станцией снова поле, и отсюда уже видно бурую кирпичную водокачку и тополя, закрывающие вокзальчик. Идти всего было верст семь, но я всегда ухитрялся растянуть эту дорогу часа на три и более: не торопясь, брел по лесу, миновав стороной деревушку, раскиданную по буграм, оглядывался и долго смотрел на нее, на совершенно безлюдные ее дворы и проулки, так что начинало мне казаться, что и в избах-то никого нет... Я любил эту дорогу за уединение — никто не нагонял меня и не попадался навстречу — и за то действие, которое она всякий раз на меня оказывала: был ли я угнетен, озабочен или рассеян, размышлял о чем-либо или просто шел, но неизменно успокаивался и сосредоточивался. И через Зарайск я, наверное, ездил в деревню для того, чтобы эту дорогу оставить себе напоследок...

Теперь же я знал, что буду думать о Вале. Все мне не давало покоя одно зародившееся еще в крематории сомнение, вернее, зародилось оно не в крематории, а позже, когда я с прахом возвращался домой. Из крематория я вышел без каких-либо определенных мыслей и потом понял, что под этим отсутствием мыслей была твердая уверенность, что сестра здесь — в этом белом сосуде. А то, что она здесь, или, точнее, наоборот: то, что здесь,— она, подтверждал усвоенный еще в школе «закон сохранения материи». «Материя не исчезает и не возникает вновь, она только из одного состояния переходит в другое и наоборот, в равновеликих количествах»,— разучивали мы на уроках физики и химии, и быстро, привычно, будто решал задачу, я разложил, что часть материи, именуемой моей сестрой, превратилась в тепловую энергию и ушла на нагревание окружающей среды (печки, воздуха и т. п.), часть, в виде мелких частиц копоти и дыма, осела в дымоходе и улетучилась через трубу, а остальное в виде праха заключено здесь, в урне, и если сложить все это вместе, то и получится «равновеликое количество». Вот о чем я тогда — не думал, но если бы спросили меня, где Валя, таков примерно был бы мой ход мыслей. И тут случилась одна — поколебавшая этот ход не доводом, но чувством вещь. Подходил мой трамвай. Завидев его, я по московской привычке побежал, чтобы успеть, и остановился пораженный: в урне г р е м е л о. Прах, пепел гремел, а я-то представлял его почему-то почти невесомым, как пепел сигареты, как пепел, подлетающий от сильного жара над прогоревшим костром. И вдруг мной овладело искушение р а з б и т ь и п о с м о т р е т ь, и в первое мгновение я было испугался, но тут же успокоился и некоторое время еще позволил себе созерцать это искушение, потому что понял, что незначительного, словно нажатие кнопки усилия мне стоит, чтобы оно ис-

чезло, провалилось бесследно, и тут же сомкнулись бы над ним створки твердого знания, что я этого ни за что не сделаю.

Я медленно перевернул сосуд и опять услышал — но на сей раз не гремело, а с шорохом сыпалось вдоль стенки. «Да, но почему ты решил, что там сгорает дотла?» — сказал я себе, объяснив тем самым звук, но все равно: был он мне неприятен, и дальше я шел уже осторожно, стараясь, чтобы урна не встряхивалась и не поворачивалась. И вот тогда-то, мне кажется, и усомнился я, что в урне — сестра: то есть в легком, чистом, на грани исчезновения пепле я еще мог ее представить, но не в том, что там обугленное, обезображенное гремело...

Тут припомнил я и барельеф на стене крематория, примиривший меня с комизмом происходящих там церемоний, но припомнил теперь по-новому, с каким-то злорадным чувством. Мысленно убрал я лежащее внизу, под горизонтальной чертой, тело и поставил на его место маленький белый предмет. И сразу же застывшие наверху фигуры, их полные скорби позы стали нелепыми. «Вот это и есть самое подходящее, самое уместное там изображение», — подумал я.

Да, но, следовательно, ни к чему было и мое грустное чувство на кладбище: вот мы сидим здесь, вокруг еды, говорил я себе, деловито пьем и закусываем, и под конец Игнат даже рассказал что-то смешное, какой-то анекдот из деревенской жизни, а все оттого, что привез я и похоронил этот абстрактный, геометрической формы предмет. А вот если бы привезли мы Валю, как и бабушку ее, и мать, обязательно собралась бы вся деревня, и бабы всплакнули бы, и жалостливая Паня поголосила. Ведь не оттого же она сейчас не плакала, что спрашивала про Валю всегда в последнюю очередь и с особенным выражением — ведь от этого она бы еще пуще плакала... И я теперь уже не сомневался, а окончательно знал, что Валя не здесь.

Да где ж она? — спросил я. Я вспомнил, какие по этому поводу существуют суждения — человек остается в делах, которые он совершил при жизни. Отчасти, может, это было и верно, были великие люди, совершавшие великие добрые и великие злые дела, о которых все помнят, и, следовательно, они в этих делах. Но то великие, а где ж остальное большинство обыкновенных, совершавших в основном добрые, но весьма обыкновенные дела? Где, например, мой дед? Вот он жил здесь, трудился на земле, построил дом, посадил деревья, народил детей и отошел. Но следы его добрых дел разрушаются: вместо дома яма, заросшая крапивой, деревья порублены, земля пропиталась мазутом, дети умирают, и когда все это окончательно исчезнет, исчезнет и дед?

А добрая и безалаберная моя сестра не совершала и обыкновенных добрых дел и даже, напротив, разбавляла коньяк, и мужиков у нее было полно — так, стало быть, она теперь, сразу же после смерти — нигде? «Скоро, скоро ее мать на руки приняла», — вспомнил я слова Игната, и меня озарило: на руках у матери, вот она где! И мне предстало ослепительное видение. «Вострубит архангел Гавриил в день Страшного суда в серебряную трубу, и все мертвые восстанут, — рассказывал когда-то дед, и я увидел, как все они восстают, и среди них наши — дедушка, бабушка, тетя Нюра — держатся друг друга в толпе, и в этом невыносимо голубом, пронизанном золотыми стрелами свете, на руках у тети Нюры сияет маленький белоснежный предмет — ее дочь, которой восстать было уж не из чего по зову Гавриила. «Но это — Гавриила, — утешил я себя, — а там-то, когда дойдет очередь до тети Нюры, уж решат, как быть с этим предметом. Так не оставят...» Да, это было соблазнительное, успокаивающее чувство видение, но не для ума, и я отогнал его и продолжал думать серьезно.

Вот у дяди нет своих детей — не оттого ли именно он и твердит без конца: «внучек мой, внучек»? — но он всю жизнь воспитывал и учил чужих и, бесспорно, останется в этих детях. «Но всё это «в»: в делах, в детях, в памяти, — возразил я себе, — а сам-то он где будет? Ведь учить мог бы и кто-нибудь другой, немного хуже, немного лучше — кто заметит разницу? — и, следовательно, то, что останется «в», — это только часть дяди, общественная его суть, которой он похож на массу других учителей. А сам по себе он где будет? Та, важная для всех нас, незаменимая его улыбка, глаза, голос — нигде? А раз нигде, то, стало быть, и ценность ты имеешь не сам по себе, а только в массе, как вот эти листья», — убеждал я себя, глядя на прошлогодние листья, приподнятые, но еще не сброшенные молодой травой. «Мама, посмотри, сколько листьев, и ни одного одинакового!» — кричал мой сын, играя в сквере, и жена говорила: «Правда, тонкое для его лет наблюдение?» Да, наблюдение тонкое, но с возрастом поймет мой сын, что из этого наблюдения, оказывается, ничего не следует, не следует ценность каждого отдельного листа, потому что только в массе они служат дереву, и украшают его, и дают тень... «Остается общее, а отдельное, неповторимое умирает, — еще раз сказал я себе. — Чем больше в тебе неповторимого, тем больше подвержен ты смерти». Выходило так. Выходило, что сестра моя с прекрасными ее глазами — теперь нигде. Но с этим я не мог согласиться. Я попробовал еще размышлять, но скоро увидел, что мысль моя не развивается, а снова, с самого начала перебирает все эти, известные точки зрения и снова не находит ответа. Не было его ни в «законе сохранения материи», ни в овладевавшем мной смехе, ни в деревенской простоте суждений о смерти, ни в картине вечно обновляющейся природы. То есть ответ был: нигде — но с ним я не мог согласиться... И вдруг я понял, что мне сейчас нечего и пытаться так, сразу разрешить этот вопрос, а довольно пока того, что он мне открылся, и довольно пока того, что я не согласился с ответом. Может, когда-нибудь откроется мне и другой ответ — верный, если не для всех, то для меня одного, но и этого будет довольно.

В сущности, продолжал понимать я, вопрос этот и есть ответ — какой-то итог всей моей предыдущей жизни. И всякий раз, как он еще явится мне, мое отношение к нему тоже будет итогом и ответом.

Незаметно для себя я миновал лес и вышел в редкий березняк на опушке. Передо мной была большая прогалина, а дальше опять перелесок. Весна была поздняя и холодная, но издали лес уже зеленел — не листьями, а обновившейся корой молодых деревьев. На прогалине, недалеко друг от друга, стояли два почернелых перезимовавших стога, с продавленными, как у старых лошадей, спинами. Между стогов, как в раме, виднелся кусок поля и леса. Казался он почему-то необычным — более далеким и заманчивым, чем те же лес и поле вокруг, — и мне захотелось туда дойти. Начиналось знакомое действие дороги. Я сошел с проселка и побрел к стогам.

1970 г.

М. ГЕФТЕР

Судьба Хрущева

ИСТОРИЯ ОДНОГО НЕУСВОЕННОГО УРОКА

Сказать, что человек состоит из силы и слабости, из разумения и ослепления, из ничтожества и величия,— это значит не осудить его, а определить его сущность.

Д. Дидро.

1

Жизнь Н. С. Хрущева окончилась почти незаметно. О былой известности его, кроме титулов, упомянутых в официальном уведомлении, свидетельствовали факты, так сказать, косвенного порядка: задержка сообщения на сутки, вызванная, надо полагать, потребностью в тщательной отработке и согласовании формулировок, а вероятно, и расчетом: не успеют еще люди, которые из чувства признательности или любопытства захотели бы присутствовать на похоронах, сообразить, где и как узнать о времени и месте погребения, а оно уже произойдет (так и случилось).

Однако не следует строить иллюзии, что, прояви преемники Хрущева немножко гуманности и простого такта, который был бы не безвыгоден им самим, мы стали бы свидетелями массового изъявления добрых чувств и благодарности в адрес покойного. Скорее, наоборот. Даже в среде образованных людей к Хрущеву относятся либо иронически, либо, что чаще, равнодушно. На это есть свои причины, которые лишь кажутся очевидными. В действительности они весьма сложны. Каковы они, я попробую показать дальше. Пока же отмечу, что, кроме этих «персональных» причин, есть причины и более общего свойства. Мы настолько привыкли к тому, что человек — функция своего места, значительная в меру значительности втого места, что с утратой последнего перестаем интересоваться и личностью того, кто данное место занимал. Такое отношение, разумеется, не просто дурная привычка. Оно имеет реальные основания, притом не только во множестве фактов, показывающих, что отсутствие интереса объясняется отсутствием л и ч н о с т и. Но само отсутствие ее, когда оно становится едва ли не нормой, тоже нуждается в объяснении.

Причины, если вдуматься, не только вне, но и внутри нас. Среди них — вошедшее в плоть и кровь желание перемен и улучшений по мановению чьей-то руки, которая и неизменно уполномочена, и неизменно в силах эти перемены производить. Наверное, в самом глухом уголке самой религиозной страны на нашей планете не встретишь такого упования на чудо, как в великой державе, в которой атеизм многими десятилетиями служил одиой из непременных опор государственного мировоззрения. «Ни бог, ни царь и ни герой...» — давно уже только слова из гимна, разжалованного Сталиным. Значит ли это, что у нас нет инициаторов, искателей, фантазеров и смельчаков, нет людей, готовых любой ценой добиваться успеха правого дела, людей, способных работать, не считаясь со временем, в азарте штурма, ради благородного почина или нужд коллектива? Спору нет, такие люди есть, и их не так уж мало. Эпоха революции, изживания разрухи и отсталости породила их в числе, трудно поддающемся подсчету; но со временем потребность в них не то чтобы исчезла, она менялась в самом существе своем: чем больше их становилось (если держаться определенного набора признаков), тем дальше уходила в прошлое первоначальная естественность той человеческой разновидности, которую можно назвать собирательным именем «энтузиаста». Мы говорим «собирательным», поскольку наличие общих черт и сходство проявлений не исключали множества различий, порождаемых прежде всего тем очевидным обстоятельством, что поток революции захватил и понес самый разный человеческий «материал», создав в результате столь мозаичную картину, что по сравнению с ней экономическая многоукладность могла бы показаться однообразной.

Доказано, что чем разнообразнее любое сообщество, чем больше оттенков внутри даже одной человеческой разновидности, тем более они жизненны: имеют больше стимулов к р а з в и т и ю. В этом, кстати, коренное отличие общности от стада — состояния, из которого, считалось, вышло человечество и к которому (теперь это чересчур хорошо известно) оно способно возвращаться при непредсказуемых условиях и в весьма цивилизованных странах. Огромное сообщество энтузиастов, рожденное революцией, как бы его ни судили спустя полвека, не было стадом. Однако и в этом первичном состоянии оно содержало зародыш иного; само разнообразие его несло в себе собственный надлом. Пестрота характеров и побуждений, привлекавшая да и ныне еще привлекающая людей искусства, стала помехой, когда возникла — и не в один присест — нужда в п о д в и ж н о й с т а б и л ь н о с т и о т н о ш е н и й с о б с т в е н н о с т и и в л а с т и. Нужду эту можно было удовлетворить, в свою очередь, сугубо поразному, но считать ее искусственно привнесенной было бы отклонением от истины. Достижение такой упорядоченности в главной сфере жизни стало проблемой еще при Ленине и составило наиболее глубокую подоплеку всей последующей внутрипартийной борьбы, втянувшей в себя страну и соподчинившей себе жизни миллионов. Проблема же была не только теоретической и деловой, она вдобавок — и это, быть может, самое важное — была человекосущностной, «антропологической».

Что и говорить, опасность анархии множества воль, вкусивших от свободы самоутверждения, опасность растворения мозгового авангарда в стихии эгалитарности, распределительного коммунизма, ищущего себе кумиров и накладывавшего свою печать на слова и дела даже самых мыслящих, самых рафинированных лидеров революции,— эта опасность была вполне реальной. Не менее реальным был и ее близнец-антипод: опасность эксплуатации неосознанных (не доведенных до уровня саморефлексии, самоконтроля, самоограничения) социальных устремлений и импульсов человеческой толщи, эксплуатации их честолюбцами, уверенными в своей способности подчинить стихию, именно: не овладеть стихией, а подчинить ее себе, встав над разными волями и интересами в качестве их верховного арбитра. Как вырастали одна за другой обе тенденции, как вторая из них губила и впитывала в себя первую, еще предстоит изучить и понять. Тогда яснее станет, мог ли энтузиаст-преобразователь удержаться в исходном, «неиспорченном» виде. Может ли он вообще где-либо удержаться, если его стихийная разнородность не замещается разнообразием личностей: более стойкими различиями, вырастающими в обстановке повседневного «институциализированного» социального творчества? Современный челове:, оглядываясь на опыт истории, вправе усомниться в этом. Но если возможность эта существует, то первейшее условие ее — демократизм, пропитывающий все сферы публичной и частной жизни, и действенное равноправие, охраняемое обществом. Однако откуда взяться т а к о м у демократизму и т а к о м у обществу? Они, в свою очередь, созидаются людьми и требуют определенных человеческих свойств и наклонностей, а не только «объективных предпосылок». Круг замыкается на личности.

Это, вероятно, самая сокровенная тайна постоктябрьской истории: судьба энтузиаста, сплетенная из подвигов и падений. Она и мартиролог, и список людей, окруженных по сей день загробными и прижизненными почестями. Частью этот человеческий тип выродился в чудака, одинокого искателя истины и справедливости, в подавляющей же своей части усреднился. Жизнь разделяла его по роду занятий и по месту во все более сложной, разветвленной системе руководства и подчинения: «Каждый сверчок знай свой шесток». Но именно потому, что каждый должен з н а т ь свой «шесток», он неприметно и неумолимо превращался в стороннего для других «сверчков» — и все выравнивались по отношению к отделенной от человека цели, которая, сужаясь кверху, воплотилась в конечном счете в Единственном. И энтузиазм рассредоточивался по ступеням этой персонификации, переставая, по сути, быть энтузиазмом — двуединством добровольности и бескорыстия. Разумеется, не в один присест это совершилось. Были и откаты, и новые взлеты. Да и весь процесс, ведущий к тому, что отлилось в сталинизме, был асинхронен. Не забвение ли этого — одна из причин, в силу которой нам по сей день не дается понять, и не столько даже откуда взялась «дьяволиада», а почему не встретила отпора, отчего так неприметно легко заполнила наше бытие? И двуединство изначального энтузиазма не миновало этого подспудного переиначивания. В исходном пункте большевик-функционер и им движимая масса были едва ли неслитны, нераздельны. Дальше же — расщепление, которое касается и того и другой. Функционерство растет в номенклатуру, рядовой энтузиаст — в «знатного человека». Что это — расцвет индивидуальности, уходящей от коллективного самоотождествления в революции? Частью так. Но в еще большей мере подспудно нарастающая и в конце концов всеохватывающая атомизация. Характерная деталь: автор «Броненосца «Потемкина», вернувшийся на Родину после всемирного успеха и долгого заграничного вояжа, не принял «Чапаева». Отчего же? Оттого ли, что Сергей Эйзенштейн расходился с молодыми в эстетике кинематографа, в принципах монтажа? Вероятно. Но причина глубже: изменилась аудитория, менялся и обращавшегося к ней художника. Новое кино утверждало отдельно взятого человека в «отдельно взятой» стране. Героический пафос не исчез, но он становился все более направляемым в единственное русло, каким ставились в н е и с т о р и и другие человеческие русла;

и сама отечественная история, которой в 1930-е годы вернули, казалось, права гражданства не просто «национализировалась», она также делалась направляемо избирательной, «освобождаемой» от всего, что н е н у ж н о, что помеха обновленной державности.

Замечал ли эти превращения вокруг себя и в себе самом энтузиаст? Тиражируемый искусством, печатью, школьным и внешкольным воспитанием, вытесненный из «большой политики», он все более нуждался для своего сохранения и воспроизведения в материальных подпорках и административно-пропагандистских инъекциях. Именно нуждался, был заинтересован в них, заинтересован не из одних эгоистических соображений (хотя чем дальше, тем в большей мере из них), но также и даже раньше всего из интересов дела, которое и н а ч е н е м о г л о д е л а т ь с я. Война поставила под вопрос законченность описанной метаморфозы. Она сделала и необходимыми, и возможными действия вне регламентаций и субординаций «мирной» предвоенной жизни. Более того — вопреки им: в трагических испытаниях войны возродился — вместе с чувством личной ответственности за судьбы отечества — и личный взгляд, вернее, зародыш личного взгляда на то, каким ему, отечеству, надлежит стать уже сейчас и тем паче в будущем. Не этого ли так боялся Сталин, когда со свойственной ему проницательностью во всем, что касалось потенциальных угроз его власти, принялся раскалывать поколение победителей и, подавив вспышку «личностного» загнал его в привычное русло догматического послушания и инициативы в исполнении?

Удивительно ли, что и с м ы с л (смысл как таковой) стал у нас крамолой из крамол как раз тогда, когда ход общечеловеческого развития уперся в потребность перемен, затрагивающих коренные начала всей прежней жизнедеятельности? Этот сюжет также ждет еще своей разработки. Были ли, в частности, памятные «дискуссии», проработки и разгромы конца сороковых — начала пятидесятых годов лишь новым проявлением безумного страха властителя, добравшегося и до сфер, далеких от политики, или то обстоятельство, что сами сферы эти стали внушать ему опасность, равносильную «покушениям» на его жизнь, свидетельствовало о том, что патологии власти не чуждо своего рода перевернутое опережение?!

Но там, где новейшая инквизиция вершит суд и расправу над жаждущим независимости и сеющим сомнение духом, там не на что и надеяться, кроме как на чудо... но там и нет места для «чудотворцев»: правило, подтверждаемое исключениями. Что может быть убедительнее и драматичнее в этом отношении, чем судьба Хрущева, особенно если к началу ее возвратиться от ее конца?

В течение одних суток человек, ареной деятельности которого был чуть ли не весь мир, превращается в пенсионера, чей кругозор ограничен забором персональной дачи. Никаких промежуточных ступеней, ибо их нет, не существует вообще. Вчера еще каждое его слово тщательно изучалось дипломатами всех держав и комментировалось журналистами всех направлений. На другой день ему некому и, главное, нечего сказать. Мемуары его, судя по дошедшим до нас отрывкам, представляют собой пестрое собрание экскурсов в прошлое, где существенное перемежается со случайным и мелким в еще большей степени, чем в его публичных выступлениях с теми красочными вставками «от себя», которыми он обильно оснащал связывавший его натуру заготовленный текст. Лишенный власти, о чем он размышлял и способен ли был разглядеть горизонты времени, близ центра и в самом центре которого находился десятилетиями? Говорят, что в последние годы Хрущев много читал и, вкусив от настоящей литературы, открыл для себя, что это не только хороший отдых, но и нечто большее, и заключил из этого открытия, что его руководство отечественной словесностью было далеким от совершенства; в особенности же жалел, что поддался искушению или внушению учинить гражданскую казнь над Б. Л. Пастернаком.

Хрущевский «фольклор» изобилен. Приведу лишь один из отрывков его, поскольку он тоже касается отношения Хрущева-отставника к литературе. Томящийся от одиночества, столь болезненного для него, по сравнению с эйфорией его недавней деятельности, он искал встреч и, выходя на прогулку, вступал в разговоры с отдыхающими в пансионате, расположенном недалеко от его дачи. Одна из случайных собеседниц рискнула навестить его и на дому. У них завязалась беседа о недавно прочитанном, в частности о произведениях, посвященных войне. Я записал тогда же, в пересказе, две любопытные реплики Хрущева. «Это все вранье,— сказал он,— я не читаю, вот Нина Петровна, та читает. Симонов лучше других, но и он врет». Вторая реплика в ответ на рассказ гостьи, только что освоившей текст, где живописалась в деталях измена Власова: «А что мы знаем о Власове? Это темное дело». В подтверждение услышанного — фрагмент из воспоминаний Хрущева. Рука правщика не касалась этого текста, и запечатленная магнитофоном орфоэпия — примета подлинности: «...Сталин поднял вопрос вдруг, значит. Почему, говорит, да, вот Власов предателем стал? Я говорю: да теперь уже бесспорно, что предателем. А вот вы его хвалили, говорит. Вы хвалили его, вы его и выдвигали, значит. Я говорю: верно. Я его и выдвигал, назначил его командующим 37-й армии, и была ему поручена защита Киева, и он блестяще справился со своей задачей. И немцы Киева не взяли, значит. А Киев пал уже в результате окружения войск,

и значительнее восточнее Киева. Это и потом Власов, я говорю, вышел, значит. И я его действительно хвалил и вам <...> Но потом, значит, я говорю, сколько раз вы его хвалили? Вы его награждали, я говорю, товарищ Сталин, за Московскую операцию. <...> Вы, я говорю, мне его предлагали, когда, значит, Сталингр... подбирали Сталинградский, командующего Сталинградским... Вы от меня требовали, чтобы я назвал командующего фронтом, но тут же говорили, что если бы вот или же Еременко, который в госпитале больной, или Власов... Я бы Власова, говорит, рекомендовал, он Власова бы назначил. Но Власова нет». Читатель! Надеюсь, смех, порожденный хрущевскими междометиями и словесным шлаком, застрянет в горле при чтении этих строк. Абсурд? Да, разумеется. Но и абсурд не простой, не от склерозированной памяти, переставляющей события местами. И не один абсурд, а два, дополняющих, догоняющих друг друга. Абсурд, воплощенный в Сталине, в этом абсолютном солипсисте, для которого все вокруг, все на белом свете — это то, что он принимает за действительное, принимает или уничтожает и, вычеркивая из жизни, возвращает вычеркнутых в свой сценарий, которым живет сам и жить которым принуждает других. Хрущев уже привык к этому, если к этому можно привыкнуть. Спустя без малого три десятилетия ему также не хватает слов, как не хватало их тогда, в том странном и страшном, «воландовом» разговоре. Он оправдывается — и он отстаивает себя, не боясь вернуть упрек упрекающему, не страшась сказать: «Я говорю, не раз говорил о его (Власова.— **М. Г.**) достоинствах, значит»... А мы с тобой, читатель, отважились ли бы на это заикание, на это «значит»?

Предоставим будущему неторопливому, взыскательному биографу проверку достоверности этих и других признаний и свидетельств, слухов и легенд, окружающих деятеля, который, что бы ни говорилось о его манерах и стиле поведения, способах выражаться, как и способе действовать, был нестандартен и, оставаясь в пределах с и с т е м ы, раз за разом выпадал из той жестко регламентированной и в то же время все более безумной официальности, которая представлялась неотъемлемой от «советского образа жизни»,— и всем, что он делал (во благо и даже не во благо), нанес ей едва ли поправимый урон. Парадоксально, однако, что многие современники Хрущева не склонны чересчур высоко ценить этот итог. И еще в меньшей мере улавливают и принимают они связь между изменением обстоятельств собственной жизни и индивидуальной «мутацией» Хрущева. Напротив, как раз индивидуальность эта была и остается поводом к активной враждебности со стороны одних и к скептическому равнодушию других. Нечего уж говорить о тех сравнительно немногих, для кого деятельность Хрущева была бы неприемлема в любой форме и окраске, о тех, кто не может не жалеть о режиме, который приносил возможность командовать и насильничать во имя вящей государственной необходимости, просто по привычке и из шкурного рвения. Правда, никто не считал, сколько было Волковых и Русановых; возможно, произведи такой подсчет лет тридцать назад комиссии, составленные из людей, прошедших пыточные тюрьмы и каторжные лагеря, то изуверов неограниченной власти оказалось бы больше, чем представляется нам. Хочется думать, однако, что тип эсэсовца по призванию и вдохновению все-таки не укоренился в благоприятной атмосфере сталинского апогея. Этому как-никак мешали и нравственная традиция России, и традиция завоевания свободы, неотделимая от трех русских революций.

Можно возразить, конечно, что любая традиция, если ее не уберечь обновлением, угасает и может вовсе отмереть, тем более что многовековая история России создала и совсем иные, противоположные традиции, в свой черед влившиеся в русло, проложенное насилием самой революции (остающееся насилием со всеми атрибутами, психическими сдвигами и нравственными утратами даже в том случае, когда доказана его историческая неизбежность). Спор об истоках т о й и э т о й трагедии, столь же упорный, как и спор о средствах и силах для предотвращения новой, непохожей и вместе с тем родственной прежним,— по сути, один и тот же спор с несводимым воедино предметом. Я не собираюсь вторгаться походя в этот страстный спор, где каждая сторона слышит лишь себя, хотя я понимаю, что обойти его вовсе значило бы уклониться и от заявленной темы.

Не сбрасывая со счетов тех, у кого самое имя Хрущева вызывает скрежет зубовный, тех, у кого он вырвал сотни тысяч оставшихся живыми жертв, но не лишил «права» вторгаться в повседневную жизнь советских людей, калеча либо вовсе обрывая ее,— нам следовало бы уберечься от соблазна отнести всех, кто так или иначе, полностью или частично не приемлет наследства Хрущева, к разряду сталинистов. Прямодушным из них (прямодушным в кавычках и даже без оных) и впрямь сдается, что у них едва ли не миллионы единомышленников, что с ними по крайней мере всякий, кому близко к шестидесяти или свыше того. К этому бреду, однако, примешана явь. Что-то весьма земное заставляет немалое число людей, переживших страх и кровь, творить миф о добром старом времени. Но разве до конца свободны от этого и люди, мироощущение которых, казалось бы, исключает приверженность к любым мифам?

Лукавый, обряженный в правоверного

марксиста, подсказывает им: так это ж яснее ясного — рассечь целое, о котором речь, на две неравные «половинки», из каких одна будет соответствовать историческому закону, неумолимо прокладывающему — сквозь все и вся — путь к совершенному финалу, а другая, заведомо меньшая, будет как раз состоять из временных отклонений на этом пути, которые тоже естественны, поскольку также находятся во власти этого самого закона («читайте мудрого Гегеля!»). Такое философское рассечение могло бы умиротворить и даже воодушевить, если бы не особые свойства — кровь и могилы «отклонений», размер и стойкость того, что «по дороге» к финалу,— всего, что заставляет усомниться в самом законе и искать объяснения за его пределами. Может, Марксу, который как истинный ученик оспаривал учителя, и удалось бы написать другую дилогию — из «Классовой борьбы», но уже не во Франции, а в России, и из нами подсказанного «Восемнадцатого брюмера». Может, он поставил бы эпиграфом к такому исследованию-памфлету (или уже и исповеди?) собственные, оброненные некогда слова: «Нынешнее поколение напоминает тех евреев, которых Моисей вел через пустыню. Оно должно не только завоевать новый мир, но и сойти со сцены, чтобы дать место людям, созревшим для нового мира». Однако небезынтересно, как бы прокомментировал он в середине либо в конце советских 1920-х эту свою мысль: признал бы химерой самую готовность поколения «завоевателей» по доброй воле уступить место непохожим на них наследникам и продолжателям или повторил бы свое пророчество, лишь отдалив сроки исполнения его?

...Сцена, правда, очистилась, но вот вопрос: для кого и в каком отношении к ним находится искомый *новый мир*? Впрочем, Сталин дал ответ на вопрос прежде, чем он возник: дал своим «Кратким курсом», призванным разъяснить и затвердить в качестве непреложного итога совпадение в одной временной точке кульминации измен социализму с кульминацией его завоеваний, принадлежащих народу. Поверит ли кто в эту «истину», кроме фанатиков и властителей, запутавшихся в старо-новых проблемах и ищущих заново козлов отпущения? Однако не выдумка, а действительный и тяжкий для сознания факт — совпадение апогея убийств, жертвой которых стали в первую очередь «руководящие», но далеко не только они (особенно если отодвинуть границы времени и назад и вперед),— и все-таки совпадение: «внезапного» террора — с выходом наружу и вверх! — целого пласта вчера еще руководимых людей, вкусивших поздние плоды революции. Если же спуститься еще ниже и даже туда, где недавно бушевал смерч «сплошной коллективизации», то и там совпадение нескончаемого потока гибелей с гигантским выбросом из полупатриархальной, еще (и заново) общинной деревни миллионов людей, заполнивших, хотя и не сразу, но все-таки в небывало короткий срок все поры индустриальной, городской, политической и культурной жизни. Не самый ли это прихотливый и трагический из парадоксов нашей истории? Фактическая отмена Декрета о земле, уничтожение результатов аграрной революции, разграбление деревни на свой лад закрепили ее же, революции, социальный и психологический сдвиг, навсегда покончивший с делением на «белую» и «черную» кость, в том числе и в самой притягательной сфере: знания, образования, художественности,— сдвиг, который тогда, в двадцатые и тридцатые, потрясал самых достойных людей на земле и делал их поэтому равнодушными ко многим нашим бедам и страданиям. На стороне Сталина был результат — один из наиболее могущественных и безжалостных идолов «прогрессивного человечества»; ведь *результат* — это не в последнюю очередь признание его «результатом» под действием ли пропагандных усилий или в результате самовнушения, себе заданной близорукости.

Жуткая вещь — метафизика «осознанной необходимости»! Ее следствие не один лишь революционный конформизм (да, да, есть и такой), но и производное от него бессилие перед непредвиденным, которое обрекает на поражение в одиночку, на гибель без следа и ответа. Разве не это случилось с целым поколением марксистов до- и послеоктябрьской поры? С юности уверовавшие, что пролетарская революция шагнет разом за порог «предыстории человечества», что действительности отныне надлежит совпасть с предначертаниями теории, с тем единственно возможным ее толкованием, по отношению к которому другие толкования не что иное, как ересь, как извращение; убежденные — и в этом они опять-таки были едины,— что любые напасти могут и будут преодолены волей «железных диктаторов рабочего класса», то есть суммой решений, правильных в данный момент, а если они оказываются неправильными в следующий, то всегда правильны в принципе, поскольку исходят из одного истинного источника,— что они могли противопоставить словам, которые произносили сами, когда эти же и им подобные слова вошли в лексику обвинительных актов и всенародных проклятий?! Сталинская мифология «совершенного государства»[1] потому и взяла

верх над диалектической словесностью действительных и мнимых его противников, что в глазах последних данная, от Октября идущая действительность была наперед больше, чем одно лишь из «мгновений» человеческого существования, чем один из отрезков прямой, проходящей сквозь всю человеческую историю. А усомнись они в той самой «прямой», что сквозь все эпохи и судьбы, усомнись в природе этой *прямизны*, сложилась ли бы иначе их собственная судьба, их и наша?

Если поверить еще одной версии или легенде — о без малого трех сотнях голосов, которые были поданы против Сталина на XVII партсъезде (и могли быть поданы в таком числе и в то время лишь в результате сговора всемогущих на местах, в областях и республиках, первых секретарей),— поданы в момент коллективно устроенного всей иерархией апофеоза Сталину (маскировка? стремление подчеркнуть единственность политики, осуществлявшейся совместно?); если подумать, что съезд этот в соответствии с этой версией смог бы закончиться смещением Сталина, а не близкой гибелью всех без малого участников апофеоза, то нельзя не спросить теперь уже не их, а себя: а дерзнули ли бы те, а способны ли были они, завтрашние мертвецы, действовать по-другому? Знали ли такой путь (вперед!), такой «возврат к ленинскому наследию», который после событий, равносильных геологической катастрофе, не был бы, уже не мог быть простым возвратом к мысли, превращенной, как и тело, в освященную мумию? И в сталинской ли редакции этого канона будущие беды и трупы или они в каноне как таковом, в «процедуре» его освящения?! Оттого Сталин и преуспел на этом поприще, взяв верх над более искушенными и талантливыми. Оттого и удалось ему подменить Ленина саморазвития, *движения к себе и от себя и снова к себе, другому*, Ленина нэповской «парадигмы» и последнего выбора на пороге смерти, этого Ленина подменить иным, неизменно верным себе и однозначно систематизируемым. Систематизацией преемник-ненавистник и взял верх, втеснив ее в сознание графической твердостью контура, членением целого на равномерные и непротиворечивые составляющие, доступностью и... тиражами «Основ ленинизма», которые сыграли не меньшую, если не большую роль в эпопее самоутверждения (и самоуничтожения!) эпигонов Ленина, чем та роль, какую для новобранцев партии в разгар революции сыграла напрочь забытая «Азбука коммунизма» Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского.

Есть нечто символическое и наличное в этой подмене «коммунизма», рискнувшего *начать* и зовущего всех, к нему влекомых, адаптированным «ленинизмом», сразившим врагов (и оппонентов!) и требующим преданности затверженному составу идей... Что же находилось в запаснике тех, кто спустя десятилетие решился бы заменить Сталина? Тот же канон? «Живой» опыт искоренения уклонов? Усилия сохранить остатки «коллективного руководства»? Но, может, и личное мужество и еще — раскаяние в совместно содеянном? Если бы последнее, если бы оно — вслух, вслух!!

Правда, и новое знание, и решимость к самоперемене приходят, когда в них остро нуждаются. Правда, началам (ежели они начала) свойственно творить собственное продолжение. А в середине тридцатых еще был жив человек земли и процесс обезлюживания душ еще не достиг тогда своего края, как и выглаживание местных различий, национальных своеобразий. Одно лишь восстановление институтов Советской власти, одна лишь отмена «исключительного положения», на котором находилась страна со времен коллективизации, одно лишь устранение препон свободному социалистическому слову,— осуществи и то, и другое, и третье, такие деятели, как Киров, Орджоникидзе, Куйбышев, Рудзутак (при активном или даже только пассивном поначалу содействии остальных), могло бы послужить, если не *возвратом без повторения*, то хотя бы исходным пунктом к нему.

Могло бы или нет? Открытый вопрос. Открытый по сей день. Сталин опередил. И хотя вероломному действовать много проще, чем честному, кто объяснит вероломством целую эпоху?

2

Надобно быть человеком, а не флюгером Это — важная вещь, это, быть может, важнейшая вещь в истории.

Н. Чернышевский.

Тем более не знал, тем более не помышлял о том, чтобы открыть или хотя бы приоткрыть дверь в другую эпоху, человек, которому суждено было это сделать спустя двадцать с лишним лет. Можно, правда, сказать, и не без основания, что не Хрущев открыл эпоху, а она нашла его и подтолкнула, прошептав на ухо: смелей, смелей, теперь уже другое время, теперь получится!

В истории, как на войне: погибнуть можно и от недолета, и от перелета. Разница лишь в том, что на войне лучше не размышлять об исходе; история же настраивает на противоположный взгляд — она сурово обходится и с неспособным думать о последствиях, и с не желающим рисковать. Ее недолеты и перелеты к тому же не вычислишь заранее. И всегда останется предметом ретроспективного спора: все ли из наличных и будто наличных возможностей перешло в действительность или там, позади, в остатке нечто весомое, нужное (и даже самое нужное!), что еще ждет своих открыва-

[1] Ср.: «История так же, как и познание, *не может* получить окончательного завершения в каком-то совершенном, идеальном состоянии человечества; совершенное общество, совершенное «государство» — это вещи, которые могут существовать только в фантазии». Так смотрели из прошлого в будущее те, кого называют классиками марксизма; в данном случае — Энгельс, которого нескрываемо недолюбливал Сталин. Впрочем, может, приверженность к троице подталкивала его к устранению четвертого «лишнего»?

телей и воплотителей?! Наконец, и сам спор входит внутрь «эпохи», продлевая ее либо обрывая...

Смерть Сталина как будто за пределами такого спора. Внезапность этого события, как и последовавших за ним — вплоть до XX съезда, могла бы служить едва ли не самым сокрушительным опровержением предустановленности в делах исторических. Конечно, взгляд назад способен усмотреть в последних годах сталинского владычества если не приметы назревавшей катастрофы, то, во всяком случае, такую степень вырождения и обессмысливания власти, какая не могла не привести к саморазрушению. Но какой ценой досталось бы это саморазрушение нашей стране и человечеству? Так или иначе серьезность намерений Сталина упростить не поддающийся упрощению послевоенный мир и увековечить свое господство над всем «лагерем социализма» с помощью новых судорог вряд ли может быть поставлена под сомнение. Правда, Сталин умел и отступать, но до какого предела?

Своим наследством он не успел распорядиться. Да и пришло ли бы это в голову человеку, равно страшившемуся смерти и убедившему себя, что его-то она обойдет? Его сподвижники, представлявшие собой лишь наиболее высоких по положению, но также обреченных на исполнение аппаратчиков, внезапно оказались вынужденными сами решать, решать все. Можно было, конечно, просто влачиться в прежней колее, следуя заведенному, но ничего не менять было невозможно. На руках осталось «дело врачей» и лишь едва зашпаклеванные с помощью антиюгославских и антисемитских процессов трещины в социалистическом лагере, явно назревший раскол в коммунистическом движении, которому — после политических и духовных перемен, рожденных Сопротивлением, и после тяжелых испытаний, выпавших на долю антифашистского единства в первые же послевоенные годы,— грозила в начале 1950-х новая и, не исключено, окончательная изоляция внутри воскресающей Европы. К этому следует добавить открытый (и неизбежный) кризис в отношениях с Китаем Мао. О том, что делалось в глубинах собственной страны, вероятно, ведал лучше других в силу своего положения Берия. Весьма возможно, что он был единственным, кто не только радовался смерти Сталина, но и имел план действий на этот случай. Для других же именно Берия, активно и поспешно действующий Берия, был наследством, от которого следовало раньше всего освободиться.

Шли ли помыслы Хрущева дальше этой ближайшей цели, сказать трудно. Во всяком случае, он не побоялся взяться за ее осуществление. Взявшись же, оказался вынужденным делать один шаг за другим. И будем справедливы: не только вынуждался к этому «извне», что бесспорно, но каждый следующий шаг делал со все большим азартом и с уверенностью, которые приходят в настоящем бою. И тут открылась маленькая тайна сталинской иерархии: в ее среде удивительным образом сохранилось подобие *человека*. Может быть, то, что Хрущев сохранился во время прошлых «чисток» и как будто не намечался в новые жертвы во время явно подготавливаемой Хозяином и уже в чем-то близкой к осуществлению перетасовки в верхах, было причудой Сталина; он любил соединять несоединимое, а как иезуит властвования нуждался в том, чтобы в его окружении постоянно клубились интриги и конфликты, питаемые предчувствием разности в судьбах.

На первый взгляд Хрущев мало отличался от других соратников. Как и другие, и в меру занимаемого им положения, он был во многом повинен, в том числе и прежде всего в человеческих жертвах (Сталин зорко следил, чтобы никто из его окружения не уклонялся от законов круговой поруки и связанности сообща содеянным). А то, что отличало Хрущева до 1953 года, могло бы даже рассматриваться как недостатки его по сравнению с другими, более высокопоставленными членами иерархии. Он не был теоретиком и даже не в состоянии был казаться им. В качестве первого секретаря ЦК Украины он, правда, подписывал дежурные статьи о сталинской дружбе народов, но ни малейших новшеств себе не позволял по сравнению, например, с Берией[1]. Хотя Хрущев был хитер и искушен в правилах аппаратной игры, эта хитрость все же не убила в нем непосредственности, которая не принадлежала к числу качеств, позволявших подняться на самый верх. Хрущев был, безусловно, смелым человеком, но и это качество казалось избыточным в политике, пока не пришел его, хрущевский, час.

...Карьера Никиты Хрущева развернулась сравнительно поздно. Его место в номенклатуре находилось где-то между деятелями, поднявшимися накануне революции или в начале ее и достигшими достаточно высоких постов во время «войны диадохов» после ухода Ленина,— и совсем новыми людьми, взращенными в тиши сталинских аппаратов, а то и взлетевшими наверх в одночасье 1937-го. Это его срединное положение многое объясняет. Родословная большевизма, если и не была ему вовсе не известна, однако и не сливалась полностью с его собственной биографией, потеснив, но не вытеснив до конца ее «беспартийные» страницы и воспоминания. Вместе с тем он успел пригубить от романтики первых постреволюционных, военно-коммунистических лет. И его позд-

[1] Имеется в виду статья Л. П. Берии «Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма», опубликованная в день 70-летия Сталина (1949); особое внимание привлек тогда раздел, посвященный национальному вопросу, он слыл творческой новинкой.

нейшая ностальгия по общежитиям вряд ли была только словесным украшением его градостроительных прожектов. Различие между ним и остальными из ближних бояр состояло в том, что он — и не только в силу занимаемых постов (в Москве и Киеве),— но и по самому складу принадлежал к категории массовиков. Таковых к началу 1950 годов осталось не слишком много среди партийных деятелей высокого ранга, но их было немало в толще низовых кадров, и им Хрущев всем своим обликом был ближе, чем вельможи-холопы старого закала и типичные карьеристы третьего призыва.

Сказанное выше, разумеется, далеко не портрет Хрущева. Для портрета нужно неизмеримо более близкое знакомство с натурой. Но спросим, добавит ли оно что-то принципиально новое, нечто особое и исключительное в его человеческие свойства, что способно было бы само себе разъяснить ту роль, какую ему довелось сыграть после 5 марта 1953 года? Я сомневаюсь в этом. Остается если не загадкой, то, во всяком случае, темой для философско-исторического размышления: почему при данных обстоятельствах простота или даже простоватость (либо то и другое в прихотливом сочетании) сумели стать детонатором событий, которые отнюдь не обязательно должны были получить такой именно разгон и тем более такой масштаб?

Началось же, как известно, с того, что Хрущев бросил вызов Берии. Вероятно, он хотел поначалу немногого: отвести опасность от самого себя и себе подобных. Но становится ли меньше подвиг солдата, который на поле боя спасает свою жизнь, поворачиваясь при этом к противнику не спиной, а лицом? Тут же, на кремлевском поле боя, в считанные месяцы после смерти Сталина, было не до диспозиций. Сторонники вербовались на ходу и далеко не по идейным признакам, само же действо способно расположить нас к себе лишь результатом. Поучительно бы сегодня перечесть обвинительное заключение против Берии — документ, в котором крохи кошмарной правды соседствовали с очевидной напраслиной: в разряд преступлений, например, была зачислена попытка посредством контакта с Ранковичем замириться с Югославией; что уж говорить о таких пикантных подробностях, как вменявшееся в вину Берии покровительство «англофилу» Майскому, находившемуся тогда в заточении. Впрочем, чему удивляться: ведь спустя несколько месяцев давнишнему союзнику и пленнику Берии — Георгию Маленкову, сыгравшему немаловажную роль в самоосвобождении от него, будут инкриминировать уже не наспех изготовленный букет разоблачений, а нечто по-своему цельное и этой цельностью характеризующее господствующее умонастроение в нестройном «высшем эшелоне» тогдашней власти. В вину Маленкову вменялся не столько былой комплот с Берией, сколько идейное и политическое отступничество в считанные месяцы его (Маленкова) премьерства: тут и стремление развивать группу «Б» в ущерб группе «А», и демагогические уступки крестьянству, и, наконец, или раньше всего, антимарксистский тезис о том, что в атомной войне не будет победителей. Многим ли в таком случае отличался Хрущев от своих обезвреженных врагов и соперников, да и в лучшую ли сторону, если взять в расчет и конечный результат его деятельности? Этот вопрос неприятен, но законен. Можно бы (в ответ) указать на то, что в первую послесталинскую пору Хрущев не мог действовать один, а, стало быть, должен был, дабы добиться успеха и просто не погибнуть, сообразовывать свои шаги с образом мыслей и намерений других соучастников. Надо бы добавить, что он сам еще тогда не дозрел до *исторического* Хрущева, а когда дозрел, то стал быстро терять *самого себя*.

В этой добавке суть, и у этой сути есть хотя и сравнительно скоротечное, но свое развитие, а у развития — своя исходная фаза. Если не с самых первых шагов, то уже, во всяком случае, в разгар борьбы, начальным эпизодом которой явилось уничтожение Берии, Хрущев стал добиваться освобождения еще живых политических узников и восстановления доброго имени погубленных — почти всех (на всех, включая имена, которые поколениями зазубривались в качестве губителей революции и социализма, Хрущева не хватило ни тогда, ни позже).

Спустя годы «реабилитация» видится почти самоочевидной. Последующие события отодвинули ее — и эта акция, беспрецедентная в рамках всей советской истории, в глазах многих ограничена лишь переменами в судьбе людей, большинство из которых уже ушло, теперь навсегда. Между тем речь шла о завтрашнем дне всех, хотя, быть может, *так* это воспринималось скорее противниками задуманной меры, чем ее автором. Собирался ли вначале Хрущев лишь ответить ударом на удар все тому же Берии, который, возглавив вновь органы безопасности, начал с демонстративного и весьма эффектного прекращения «дела врачей» — последнего из преступлений Сталина? Не располагая необходимыми документами, не станем руководствоваться поздними заявлениями и воспоминаниями самого Хрущева, рассчитанными на публику. Попробуем рассмотреть факты, доступные нам.

У «дела врачей» были конкретные виновники: конечно же, Рюмин был не единственным, как у «ленинградского дела» не был единственным виновником Абакумов. Ответственность же за все бесчисленные жертвы десятилетий сталинского террора нельзя было взвалить на одного-двух-трех или даже на много большее число непосредственных осуществителей: за это «наверху» отвечали без исключения все (не исключая и мно-

гих погибших) — все, ставившие свои подписи на списках обреченных, все, произносившие речи-призывы к расправе. Немедленная и поголовная реабилитация означала открытое признание этой общей ответственности. Она не могла обойти, разумеется, Сталина, а назвать его вслух и связать его имя с убийствами без причины и повода означало не только свергнуть кумира. Это значило также рассекретить систему, обнажив ее сокровенные механизмы, из которых механизм тайны был не менее основополагающим, чем механизм страха. Поэтому лидерам, только что успевшим распределить между собой ключевые посты, любые шаги Хрущева в этом направлении должны были казаться опасным сумасбродством.

В сложившихся условиях добиться своего можно было, лишь *овладев всей властью*. Нам могут сказать: а не наоборот ли было? Не было ли действительной целью овладение всей властью, а реабилитация только решительным средством, чтобы это сделать? Пусть так. И в этом случае правота на стороне Хрущева. Допустим даже, что Хрущев поначалу хотел лишь освободить тех, кого помнил, кому когда-то был обязан. Но железные соратники Сталина не дали бы ему сделать и этого, во всяком случае, открыто.

Чтобы освободить немногих, надо было освободить всех. Чтобы освободить всех, надо было действовать напролом.

Восстановить законность можно было только вопреки юридическим нормам и процедурам — «просто» открыв ворота лагерей[1]. То, что сделал Хрущев, было уже не очередным или даже не внеочередным дворцовым переворотом, а революцией, хотя и облеченной в привычную — верхушечную, распорядительную — форму. Впрочем, привычную весьма условно, если вспомнить, что «секретный» доклад на XX съезде оглашался на беспартийных собраниях — от гигантских заводов до домоуправлений — и тут же был переброшен за границу, сделан достоянием всего, в том числе «враждебного», мира.

Многое и даже решающее в действиях Хрущева было вызвано упрямым и жестким противодействием таких полусоюзников, полупротивников, каким являлся вначале (до казни Берии и свержения Маленкова с премьерского поста) кремлевский старожил Молотов. Кто ныне осмелится сказать доброе слово о Молотове, а между тем и он не был начисто лишен желания отступить от безумия сталинского финала. Вернувшись в дом на Смоленской площади, он стал осторожно приоткрывать дверь в Мир. Не исключено, что он без колебания согласился с антибериевским замыслом. И также не исключено, что избирательная, закрытая, постепенная реабилитация не противоречила его намерениям. Впрочем, выяснение индивидуальных оттенков в замкнутой групповой политике требует особых, «интимных» источников (сохранилась ли, например, пресловутая записная книжка Шепилова, в которую тот заносил наиболее выразительные из высказываний Хрущева, пущенные в ход во время летней схватки 1957 года?). Но кое-что просочилось. Сам Хрущев обожал детали, а стенограммы пленумов ЦК, по крайней мере в первые послесталинские годы, зачитывались вслух в избранных парторганизациях. Из них-то мы знаем, что Хрущев вначале держался близко к Молотову, и вряд ли только из антибериевских расчетов. Маленков выговаривал ему: что вы все смотрите в рот этому старику? Речь шла в данном случае о берлинских событиях 1953 года; после расправы с демонстрантами и с целью предотвращения повторов Берия и Маленков внесли в Президиум ЦК проект решения, которым осуждался курс на строительство социализма в ГДР (!). Молотов, естественно, не возражал против того, что будущее Восточной Германии решается строчкой московской резолюции; он внес единственную поправку, предлагая осудить лишь *форсированное* строительство социализма. Большинство, включая Хрущева, приняло его сторону.

Однако вскоре расстановка сил изменилась. Хрущев с каждым днем чувствовал себя все уверенней. Молотову же и присным просто не могло прийти в голову, что столь обязанный им Первый секретарь осмелится предъявить заявку на полноту власти. Но у этого просчета был и более широкий фон. Молотов считал себя теоретиком и слыл таковым в глазах других. Ему, конечно же, претила самодеятельная семантика Хрущева, и хотя он сам произносил в те смутные времена речи, в которых попадались фразы вроде *наука старше марксизма*, помыслить о приведении ортодоксальной веры в соответствие со всеми опытами и уроками, в числе которых миллионы жертв, было бы сверх всяких его сил и возможностей. Отказ от публичной ответственности, таким образом, не только поощрялся великой буквой, но и служил своего рода доказательством преданности ей. Парадокс это или, напротив, жестокий закон: в эпохи кризисов догматизм не только перестает быть доброкачественной опухолью, но и со сказочной быстротой перерастает в канцер. Презренная же эклектика, если в упряжке с ней физическая смелость и толика человечности, может, оказывается, принести не только добро, но и свет.

Если схватка с деятелем, которому он

[1] Конечно, решения, принимаемые в Кремле, диктовались не только расстановкой сил внутри правящей группы. Когда будет воссоздана во всей полноте картина тех месяцев и лет, яснее станет и связь между хрущевским поворотом и подземными толчками, исходившими из преисподней Сталина: нарастающим сопротивлением в лагерях, которое достигло своего пика в трагически упорном и вероломно раздавленном Кенгирском восстании (лето 1954 года). Могло ли это остаться без последствий?

еще вчера «смотрел в рот», не была для Хрущева полной неожиданностью, то менее всего он был готов к переносу ее на почву догмата. В том, что касалось «буквы», он, мало сказать, не был силен. Он был верен ей всей душой (и, надо думать, не из одних лишь практических соображений двинул в ход список обвинений, предъявленный Маленкову). Теперь пришла его очередь.

На обвинения в расшатывании основ Хрущеву следовало ответить чем-то утвердительным. Впрочем, к этому в не меньшей степени обязывала его и искомая и тем паче завоеванная полнота власти. Оглядываясь назад, мы вправе сказать, что по крайней мере дважды — сразу после XX съезда и особенно сразу после XXII — Хрущев мог сделать все. Действительно мог или это только мнится нам задним числом?

Ответить и на этот вопрос непросто. Ведь, даже обретя монополию решений, Хрущев не сделался самодержцем (где такие сейчас, разве что в джунглях). Его ограничивало прежде всего окружение, оставленное Сталиным, а затем и созданное им самим. До известной, но не слишком большой степени его ограничивали и наличные ресурсы. Гораздо сильнее, хотя, быть может, и не столь заметно, сдерживали и мифы, и реалии коммунистического единства (с Китаем ли, как во времена венгерских событий, или против Китая, но в любом случае все-таки не в одиночку). Однако самые сильные ограничители разместились внутри него самого, причем не в качестве даже специальных стоп-кранов, не в виде сомнений, а, напротив, в оболочке непререкаемых истин и почти безусловных рефлексов.

В тот момент, когда Хрущев овладел властью, овладел в результате разоблачения Сталина и противопоставления ему, перед ним — по самой сути вещей — возникла проблема: как уберечь обретенную власть, сохранив вместе с тем первоначальный пафос своей деятельности? Проблема эта, как обнаружил последующий ход событий, была неразрешимой — и для него ли только? Она, собственно, еще не доросла до проблемы, а постольку не могла и перекочевать с «проблемного» поля в сферу *задач*, поддающихся распределению во времени,— с прикидкой последовательности отдельных действий и их предварительным взвешиванием. Всякая попытка одолеть сталинское наследство при помощи этого же наследства, главным в котором оставались бесконтрольность и «идеальность» властвования, должна была либо вернуть вспять и нового лидера и страну, либо завести его и ее в тупик. Однако, как это ни странно на первый взгляд, именно сочетание этих несовместимых начал и *открыло* эпоху, ныне связанную с именем Хрущева. Именно оно и позволило, отчасти благодаря собственной его воле, а отчасти и помимо нее, в конце же концов даже против его действий и воли, совершиться разительным переменам: не только в политике и даже не столько в политике, сколько в психологическом климате нашей страны, а благодаря ее месту в мире — и мира.

Это последнее утверждение может показаться спорным. Оно действительно спорно в свете ближних итогов, а о дальних, каких еще нет, говорить ли историку? С поправкой на это позволю себе высказать лишь некоторые соображения.

Деятельность Хрущева начиная с 1956 года была чересполосицей разных стимулов, менявшихся местами причин и следствий. Многое диктовалось обстановкой, потоком событий, телеграмм, входящих бумаг. Немало перешло в наследство от программы Берии — Маленкова, которую легко было осудить, но непросто отбросить. Сомнительно, правда, чтобы вопрос стоял именно так: что «оставить», а что «отбросить». Здесь нам, кроме догадок, особенно бы нужны документальные свидетельства. Мы не знаем, например, когда и как совершился переход от югославской инвективы в адрес Берии к собственным хрущевским примирительным шагам, в свою очередь, сделавшим неизбежным открытый разрыв с Молотовым. (Перечень подобных вопросов мог бы быть, разумеется, продлен; в конечном счете он охватил бы подоплеку без малого всех событий того времени. Ужаснуло ли бы нас такое узнавание или, наоборот, приободрило картиной упущенных и возобновимых возможностей?)

Во всяком случае, мы обладаем достаточным правом предполагать, что Хрущеву было чуждо *полицейское государство благоденствия*, какое для Берии (и Маленкова?) являлось единственно возможной заменой сталинскому тоталитаризму, точнее, сохранению тоталитаризма без Сталина и даже с отлучением его. Сделав же следующий шаг, начав расшатывать самое «систему», притом в наиболее незыблемом ее пункте, воспрещающем сострадание к человеку, Хрущев оказался перед дилеммой: поставить во главу угла человека же с его утраченной, но не исчезнувшей вовсе потребностью (жаждой!) распорядиться собственной жизнью и судьбою или же унаследованный комплекс могущества с его жесткими правилами, диктующими каждому народу и каждому человеку место и границы дозволенного, и с его иллюзиями, позволяющими миллионам находить смысл и даже счастье в несвободе?! Почти все прошлое Хрущева тянуло его ко второму из мыслимых решений. Но все-таки не все прошлое, поскольку существовал феномен реабилитации, звавший к продолжению, но уж за пределами сталинских лагерей, и поскольку вместе с обретенной властью Хрущев сам впервые почувствовал себя свободным человеком. Вскоре выяснилось, что он был едва ли не единственным («при Хрущеве»), кто располагал

свободой, и уже одно это делало сомнительной и недолговременной его собственную свободу. Но пока он пользовался ею всласть.

Человек, каждый шаг которого находился под надзором пекшейся о его безопасности охраны, открыл для себя целый мир. Его заграничные вояжи далеко не всегда диктовались политической нуждой, но и в этом последнем случае он явно нарушил традицию: бронированные поездки Сталина в Тегеран и Потсдам наперед исключали общение с кем-либо, кроме жрецов высшей власти. Хрущев же рвался ездить и смотреть. Он не скрывал удовольствия от своих путешествий по Европе, Азии и Америке. Он не просто раскланивался и произносил подобающие случаю речи, он еще и искренне поражался: древностям Индии, равномерному благоденствию Франции, масштабам американской предприимчивости. Он сделал открытие, капитально важное для нашего общества,— признал *непохожесть* нормальным состоянием, притом сделал это опять-таки в форме, наиболее отвечавшей его натуре.

Поистине символична стычка его с Молотовым, комическая окраска которой лишь заостряет значительность смысла. Посетив Финляндию, Хрущев позволил себе воспользоваться баней и — о, ужас! — вместе с премьером Кекконеном. Кроме вежливости (приглашен ведь был), тут, несомненно, сработала и хрущевская любознательность вкупе с постоянной прикидкой мастерового человека: что бы там, у других, позаимствовать, будь то та же финская сауна или секрет оконных рам (посещению Хельсинки мы обязаны в числе прочего упразднением форточек во всесоюзных Черемушках). Но одно дело — державные забавы в жанре Петра Великого и совсем другое — столь легкомысленно нанести «урон» советскому первородству. Мог ли проглотить это без осуждения непроницаемый и скучный Молотов?

Когда я вспомнил этот эпизод, фигурировавший в баталиях одного из тогдашних пленумов, на память невольно пришла совершенно другая сцена. Дело было в конце мая 1942 года, Молотов находился с визитом в Соединенных Штатах. Поездка была сугубой важности, заинтересованность в Рузвельте — максимальная. Кроме деловых разговоров, устраивались, само собою, и обеды, и завтраки. На одном из них Рузвельт поинтересовался впечатлением, какое на Молотова произвел Гитлер,— из всех присутствующих советский наркоминдел был последним по времени, кто общался с фюрером. Сэмюэл Кросс, профессор славянских языков в Гарвардском университете, служивший переводчиком президента, записал: «Молотов подумал минуту и затем сказал, что в конце концов договориться можно почти со всеми». Он добавил также, что ему ни разу не приходилось иметь дело с более неприятными людьми, чем Гитлер и Риббентроп. Биограф Молотова мог бы расценить его ответ как образец дипломатического совершенства, особенно если учесть, сколь деликатен был сам сюжет (Берлин, осень 1940-го, советско-нацистский альянс, утряска территориальных вожделений, прерванные там и возобновленные затем в Москве и длившиеся многие месяцы переговоры о разделе мира, об условиях присоединения СССР к «антикоминтерновскому пакту»). Однако Рузвельт, похоже, ни на что подобное не намекал. Вероятно, он хотел понять нечто, что могло бы быть принято во внимание как психологический «фактор» при глобальных политических и военных решениях. Скорей же всего его занимал — сам по себе — вульгарный антихрист, которому удалось невесть каким образом поставить человечество на грань самой страшной из исторических катастроф. Он спрашивал о том человеке (каков бы он ни был) у человека же и не вполне сознавал, что такая плоскость общения наперед исключена для деятеля, к кому он обратился с этим вопросом.

Описавший позднее этот случай Р. Шервуд, автор замечательной книги «Рузвельт и Гопкинс», замечает: «...Рузвельта вовсе не пугала новая и необычная для него проблема в области человеческих отношений, какую представлял собой Молотов. Напротив, это было для него вызовом, заставившим Рузвельта не щадить усилий, чтобы найти общую почву, которая, как он не сомневался, должна существовать». Молотов тоже искал общую почву и тоже, надо полагать, не жалел сил для этого. Но являл ли Рузвельт для него «проблему в области человеческих отношений»?.. Согласиться с этим было бы равносильно тому, чтобы признать, что для Молотова, как и для его патрона, антигитлеровская коалиция представлялась непредуказанной попыткой преобразования характера всей человеческой истории, а не только известного рода необходимостью, наподобие неудавшегося или только частично удавшегося сговора с Гитлером. Правда, в 1942 году об этой частичной удаче, резко продвинувшей границы СССР на Запад, говорить не приходилось; шла война не на жизнь, а на смерть, и от исхода ее зависела и возможность вернуть доставшееся без «своей» крови в 1939-м и 1940-м; путь к возврату лежал через победу, для которой требовался теперь совсем иной союз. Чему удивляться больше: тому, что Сталин, едва вышедший из прострации памятных июньских дней, оказался готовым к коалиции с ненавистными западными демократиями, или тому, что Черчилль, не теряя ни минуты, первым протянул руку России, которая еще вчера наполняла своей нефтью баки немецких бомбардировщиков, бравших курс на Лондон и Ковентри?! Английский премьер не страдал отсутствием честолюбия. Британская империя и «я» являлись для него едва ли не синонимами, но вряд ли он подписал Атлантическую хартию лишь оттого, что к этому вынуждало его партнерство с Рузвельтом. В сталинском же «я» свежая страсть мирodержавия и исконное презрение к людям сплетались с приспособленным к себе марксизмом, который и в исходной, и в ленинской версиях не мыслил полноты осуществления цели иначе, как в масштабах мира. На это нетрудно возразить: между Лениным и Сталиным — пропасть, на дне которой превеликое множество трупов. Пропасть — да. Но все-таки особенная, с мостками, которыми пользовались так или иначе все из выживших единоверцев. Немаловажное, сугубо немаловажное *так или иначе*, но дотягивает ли оно даже в лучшем случае до отклонений императива борьбы «двух миров — двух систем»?

Этот вопрос может показаться наивным лишь задним числом, да и сегодня он не реликт. Помудрев по части форм борьбы с мировым капитализмом за всемирный социализм, переступили ли разноязычные коммунисты (по крайней мере в то время, о котором наш рассказ) рубеж ее сущности? Бесспорно, они уходили от сталинского переиначивания того исконного, легендарного образа-зова: разрушить до основанья «весь мир насилья», от переворачивания его в образ-приказ: уничтожить все, что не *мы*, что не *наше*,— от этого уходили, но к чему шли, уходя? К новой ясности или сначала к новой неясности, проясняемой и запутываемой тактикой, злобой дня, схватками с противниками «справа» и «слева»?.. Казалось, и выученный войною Сталин отрекся от былого «социал-фашизма» и т. п., осознав если не ценность, то силу «буржуазной демократии». Не станем обманываться. Уходили одни слова, приходили другие. Место прежних перевертышей занимали другие. Неизменным оставалось одно: мир — это *поприще*, а раз так, то могут ли быть (внутри самого себя) другие барьеры, чем соотношение сил в данный момент, чем искусство использования его в своих интересах?! К тому же Сталин обожал игру в близость с любым, в ком нуждался, и до той поры, пока в нем нуждался, был виртуозом этой игры и уже по тому одному роль эту не собирался перепоручать даже самым доверенным из тех, кто рядом; в лучшем случае им позволялось подыгрывать.

Хрущев заведомо не входил в их число. В делах внешних он был к 5 марта совершенным профаном. Легко допустить, что закордонный мир представлялся ему поначалу чем-то вроде ушестеренного своего, только с тем отличием, что тамошние «секретари обкомов» иначе одеваются и по-другому говорят. «Мы считали,— выразился он как-то в 1955 году,— что это очень сложно — заниматься дипломатией, а оказалось, что совсем просто». Переменил ли он впоследствии свой взгляд? Вероятно, переменил, но не столь радикально, как это диктовалось обстоятельствами. Не так легко переходить от изъяснений с «домашними» секретарями к разговору, регулируемому протоколом, но еще труднее согласовывать «марксистско-ленинский» словарь с общением в финской бане: человеку как-то неудобно видеть в другом голом человеке всего лишь персонификацию навсегда чуждого мира...

Если вдуматься поглубже, речь идет о самой краеугольной проблеме конца XX века. Эту проблему можно сформулировать по-разному, с разной степенью неточности, поскольку она не поддается строгому определению. Говорят ли о «сосуществовании» или о «конвергенции», взывают ли к нравственности либо к реализму в международных делах, по сути, имеют в виду (конечно, когда не притворствуют, не словоблудят) невозможность достижения даже скромных, но все же продвигающих вперед результатов без установки на максимум: на избавление человечества от совокупной геополитики с ее незыблемым от века составом подходов и приемов. Слов нет, такое негативное определение выглядит и недостаточным, и непрактичным. В самом деле, допустимо ли решать сначала «чего делать нельзя», не выяснив предварительно, что именно и как именно надо и можно делать? Поскольку же последний вопрос заранее предусматривает в корне отличные ответы (сколько миров, столько и ответов), то не безрассудно ли пытаться найти *всеобщее «чего не делать»*?! Кажется, что выхода из этого нет, если не считать выходом вселенское самоубийство. Но при более пристальном рассмотрении выход все-таки обнаруживается — и как раз в той самой «проблеме из области человеческих отношений», которую, по мысли Шервуда, пытался некогда решить для себя Франклин Рузвельт. В частных случаях он, по всему видно, достигал поставленной им задачи, в более широком смысле также обречен был на неуспех. Время узнавания человека — в иных, в других (во всех иных и во всех других!) — не пришло тогда ни для кого из власть имущих. Ибо преградами на этом пути служат не одни только профит и амбиции, милитаристский зуд и рвение доктринеров, но и преждевременность, и беспрецедентность замещения прежних социальных и национальных стимулов международной политики вовсе новыми: *непосредственно* исходящими от человека и ориентированными *прямо* на человечество. Нет эпохи, когда эта надежда (и иллюзия) представлялась бы насущней, чем в эпоху, ведущую свой отсчет от 1945, 1953, 1968 годов. И, кажется, нет эпохи, когда она таила бы бо́льшие опасности. Человек «вообще», бросающий вызов политике «вообще», обречен сегодня либо на отшельничество или даже на гибель в одиночку, либо на то, чтобы поджечь невзначай бикфордов шнур.

Правда, люди издавна научились запрягать телегу впереди лошади, неизве-

данным образом опознавая еще не открытую ими цель. Теперь, однако, стало рискованно открывать цель неиспытанным способом. Вот отчего столь злободневен ныне «наивный» вопрос-критерий: дано ли (и кому первому?) отказаться от себя вчерашнего во имя завтра, которому уже не быть (никогда!) только своим?! Держась этого критерия, надо бы заново рассмотреть все аспекты внешнеполитической деятельности Хрущева, не ограничивая себя лишь рамками «его» десятилетия, ибо узлы, завязанные тогда, стали развязываться позже или, напротив, еще крепче затягиваться в уже изменившихся условиях и при других персонажах.

Сам Хрущев унаследовал от Сталина не только границы и застойные конфликты, но и неуходящие замыслы и средства, способные решающим образом влиять на ход мировых дел. Сталин, к счастью, не дожил ни до «своей» водородной бомбы, ни до первого спутника, начавшего космическую одиссею. Он не дожил и до критических рубежей в самораспаде колониальных империй, и до появления «Острова свободы» в считанных милях от США. Его преемнику фортуна явно благоприятствовала. Она избавила его от ограничений, которые накладывала на внешнюю политику СССР американская атомная монополия, тем самым открыв возможность активизации этой политики в направлении, противоположном сталинскому. Игре в опасность он мог отныне противопоставить добрую волю силы. Мы вправе сказать, что разрядка появилась на свет именно тогда, когда она только и могла появиться. Но за первыми ее шагами (и как результат их) вставал вопрос: прологом к чему явится — и не только в ближнем, но и в конечном счете — сама разрядка? Задавался ли этим вопросом Хрущев? Едва ли.

Если в качестве путешественника он позволял себе открыто восхищаться и удивляться, а в роли премьера не очень считался с дипломатическим ритуалом (своими экстравагантными выходками повергая одних в удивление, а других даже восхищая, особенно в Штатах, где политическая экзотика котируется выше, чем в странах Старого Света), то от главы державы, только что обретшей средства, способные уничтожить жизнь на Земле, требовалось большее. Много большее. Формально говоря, Хрущев располагал программой внешней политики. Достаточно перечесть для этого его доклад на XXII съезде КПСС (1961), задержавшись на разделе «Коммунизм и прогресс человечества». Перед «лицом всего человечества» он заявлял именем партии, что «она видит главную цель своей внешней политики в том, чтобы не только предотвратить мировую войну, но и навсегда исключить уже при жизни нашего поколения войны из жизни общества». Впрочем, это мог сказать, только менее категорично и менее патетично, и Сталин (что он и сделал на XIX съезде). Что уж говорить о последующем, спустя несколько абзацев, и столь же клятвенном заявлении Хрущева: «Если империалисты бросят нам военный вызов, мы не только без колебания примем его, но и со всей присущей коммунистам беззаветной отвагой и мужеством обрушим на врага удар всесокрушающей силы»! Тут, кажется, нет нужды делать и поправку на стилистику — перед нами предвоенный Сталин. Ему ли по инерции вторил Хрущев или припомнил казус Маленкова, его «кощунственную», «пораженческую» фразу, уравнявшую судьбы капитализма и социализма в ситуации «удар на удар»? Нет, полагаю. Это было для него уже позади. Теперь — всевластный — он мыслил коммунизмом при собственной жизни и этой меркой мерил все приходящее и противостоящее. К тому же то, что он торжественно провозглашал, вся эта смесь несовпадающих и несовместимых лохмотьев догмы и «собственных» его новаций была в его глазах писаниной, которую он охотно зачитывал, в делах же склоняясь к тем импровизациям, какие и раньше составляли его натуру, а теперь получили поистине безграничный простор с тем только отличием, что во внешних сношениях он был не сам-один и существование других действующих лиц и сил не могло не накладывать печать на принимаемые им и им же переиначиваемые решения. Понятно, что для последовательности тут так же не оставалось места, как и в «программных» текстах. Так же, но все-таки на другой лад.

Абстрактный спрос дурен тем, что он крепок задним умом. Представим в роли действующего Хрущева кого-то более последовательного из тогдашних деятелей или тех, кто был на подходе, и мы, вероятнее всего, придем к выводу: «последовательный» был бы еще ближе к эпохе, которая, оборвавшись в событиях, еще продолжала (и продолжает) жить в людях. Прикинув же эти pro и contra, скажем: Хрущев хотя бы был непоследователен. Еще вчера он высмеивал «ничего не понимающего в политике» творца водородной бомбы, предлагавшего раз и навсегда прекратить ядерные испытания, опасные сами по себе для Земли и ее жителей, но пришел день, и «сахаровский» договор (запрещавший эти испытания в атмосфере, космическом пространстве и под водой) стал реальностью, войдя в актив Хрущева-миротворца. И так во многом другом. Можно сказать, что Хрущев был последователен в своей непоследовательности. Он был верен себе, обещая снабдить Мао секретами атомного оружия, и верен себе, воздержавшись выполнить это обещание. И так же был верен себе, когда то взбадривал, то слегка осаживал друга Насера, когда поощрял манию величия Сукарно и словом, и оружием (в том числе сбывая ему устаревшие военные корабли) и тем самым невольно соучаствовал в его недалеком падении. Собственный закат

Хрущева, хотя и не связанный прямо с крахом третьемирного романтизма, полагаю, находится с ним в той окольной связи, какая выдвигает подчас на мировую арену более или менее однотипные фигуры. Звездные часы послевоенной харизмы, не исключая и европейской (де Голль!), как будто уже позади. Но можем ли мы назвать их звездными? И вправе ли, зная много дурного о тех ушедших в небытие людях, именовать их флюгерами?

Будущему биографу Хрущева не миновать главы, где заглавной фигурой станет другой человек — по имени Джон Кеннеди. Американо-советские отношения не входят в мою тему, за исключением все той же «области человеческих отношений», вне которой нет ни Хрущева-зачинателя, ни Хрущева-банкрота. С этой точки зрения можно сказать, что все «великое десятилетие», если смотреть на него, держа глобус в руках, ведет к Карибскому кризису, к этому предфиналу, который мог бы стать и новым началом. Но раз ведет, значит, был и пролог. В пролог же входит и Женевская (1955 года) встреча в верхах бывших союзников, а затем жестких противников в холодной войне: эпизод, вселивший надежду на взаимное умиротворение (и рядом с Хрущевым — маршал Жуков, боевой сподвижник президента Эйзенхауэра времен всемирной схватки с нацизмом). Но пять лет спустя произошло иное свидание: первомайская встреча отечественной ракеты с американским самолетом-шпионом, окончившаяся торжеством «советских воинов, с честью выполнивших приказ своего правительства и лично Н. С. Хрущева» (из речи маршала А. А. Гречко на заседании Верховного Совета СССР 6 мая 1960 года). И в том же году, после срыва второй встречи в верхах, начался сенсационный вояж в Нью-Йорк турбоэлектрохода «Балтика» с Хрущевым и многочисленной свитой на борту («корабль надежды», как его уже при отплытии нарекла услужливая команда журналистов). На этот раз Хрущев оборачивался «лицом к лицу» уже не одной Америки[1]. Теперь — с трибуны ООН — он адресовался всему миру и в первую очередь только что освободившимся странам. Современникам, правда, это событие больше запомнилось колоритными репликами «лично Н. С. Хрущева» и не имеющей, вероятно, прецедента обструкцией, учиненной им при посредстве собственного ботинка. Однако этот рубеж, а это был рубеж, имел и куда более существенное значение. То был «год Африки» — уходили в прошлое самые заповедные из колоний, и уже стучалась в дверь завтрашнего и более далекого дня проблема из проблем: всеобщность суверенитета. Чем станет она, с неожиданной силой прорвавшаяся наружу из вековой мысли и векового сопротивления? Шагом к истинно человеческому, «утраченному» равенству или источником нового и самого опасного взаимного отторжения? Тогда на этот вопрос не только не было ответа, но и самый вопрос, если бы кто-то прозорливый и задал его себе, оказался бы в резком диссонансе с чувствами, которые испытывало множество людей в самых разных уголках мира.

Я склонен предположить, что то, что происходило тогда, то, что звучало в ооновских речах людей, подобных Кваме Нкрума, задело если не юношеские, то по крайней мере раннефункционерские струны в душе Хрущева. О «мировой революции» он прямо не говорил; дома, за закрытыми дверями, строил сугубо державные планы, выслушивая советчиков соответствующего покроя, но фон принимаемых им решений был все же сродни песням и лозунгам, которые хранила его цепкая память. Казалось: старая, времен II Конгресса Коминтерна, идея движения к заветной социалистической цели, минуя эпохи, переступая ступени,— эта идея зажила новой, второй, притом невиданной по размаху жизнью (подстрекая его к тому, чтобы и дома переступать ступени).

Со спазматической быстротой меняющийся мировой пейзаж и средства, которые превосходили всякое воображение,— достаточно было проскочить между ними той или иной искре, и мы ощущаем приближение Карибского кризиса. Деталь, которая была бы, вероятно, чисто текущей для былого мининдела и его питомцев, но не для Хрущева: тогда, осенью 1960 года, состоялась в Нью-Йорке первая его встреча с Фиделем Кастро; впечатление, надо полагать, было незабываемым: Фидель излучал силу, которая спустя считанные месяцы подтвердилась драматической схваткой с эмигрантским десантом. А в качестве контраста этому впечатлению пришло — с некоторым запозданием — иное, но имевшее поистине историческое значение: поселившееся в сознании Хрущева представление о слабости, более того, никчемности молодого американского президента. Объяснил ли нашему лидеру кто-либо из его советников, что самый исход операции Плайя-Хирон был вызван нежеланием Джона Кеннеди вводить в действие американские силы, а то, что только вступивший в должность, он принял на себя ответственность за эту неудачу, служило свидетельством если и не мужества его, то по меньшей мере понимания психологии соотечественников, отдавших

[1] «Лицом к лицу с Америкой» — заголовок летописи визита Хрущева в США осенью 1959 года, которая давно пылится на полках библиотек (если не сдана в макулатуру). Между тем поучительная в некотором смысле книжка в длинном, подобном ей ряду. Не могу не вспомнить, как тогда же отозвался об этом шедевре мой покойный друг, прекрасный человек и превосходный журналист-международник (он заведовал отделением ТАСС в Нью-Йорке) Леонид Григорьевич Величанский, иронически переназвавший произведения А. Аджубея, Н. Грибачева, Ю. Жукова, Л. Ильичева и др.: «Гулливер среди лилипутов».

ему предпочтенне на выборах?! Думаю, что, если бы такой советник у Хрущева и нашелся, он бы воспринял его предупреждение так же, как сахаровскую инициативу в момент зарождения ее. В качестве косвенного доказательства я позволю себе поделиться маленьким воспоминанием. Дело было, вероятно, поздней весной 1961 года, во всяком случае, после кубинской осечки Штатов и до венской встречи Хрущева и Кеннеди. Академик Е. М. Жуков (мы были близки с ним со времен сотрудничества в подготовке десятитомной «Всемирной истории») только что вернулся из командировки в Японию. Там он встретился с американским коллегой, который оказался другом Джона Кеннеди еще студенческих или даже школьных лет. Он пригласил Жукова в ресторан и там «с откровенностью, свойственной американцам» (слова Жукова), рассказал ему, что собой представляет и к чему чувствует себя призванным его друг — президент. «Передайте своему руководству,— убеждал и даже умолял собеседника американец,— что Кеннеди действительно и больше всего хочет мира. После всего им пережитого в годы войны на Тихом океане он ненавидит кровопролитие. К тому же он умен и совестлив...». «Ну, и вы передали, написали?» — спросил я академика. С привычным выражением безразличия на лице он показал рукой на потолок своего кабинета и сказал: «Кому писать?» Меня это не столько удивило, сколько раздосадовало. Однако нельзя не признать, что Е. М. Жуков был прав, по крайней мере тогда.

Июньская встреча президента с Хрущевым вполне подтвердила это. Когда они остались наедине, Кеннеди сказал примерно то же, что его друг в Токио, и, судя по слышанному, с такой же прямотой. Он не только заверил советского премьера в своей приверженности миру, но и откровенно объяснил трудности своего положения и просил о встречном движении, которое бы помогло ему (не без выгоды и для советской стороны). Не читавши записи этого разговора, не станешь настаивать на дословности. И не столь наивен я, чтобы полагать, что сын своего отца, член своего клана и класса, Джон Кеннеди исчерпывался миролюбием. Да и Гарвард — вещь неоднозначная, впрочем, как и миролюбие. Мне трудно представить себе этого человека, симпатию к которому я испытывал еще до далласской развязки, говорящим вслух и даже наедине с собой: «Весь мир — тюрьма, а Штаты — одно из худших подземелий...» Не тот случай, не та роль. Не тот случай, но все-таки особый: индивидуальный и предвещающий «что-то», чему еще стать типичным, непременным. Но и хрущевский случай был по-своему особым, в том числе и по части миролюбия, что я пытался показать выше. Правда, он, даже сорвавшись с катушек и вымолвив невзначай (предположим такое), что «весь мир — тюрьма», об отечественном подземелье не помыслил бы либо в лучшем, и едва ли возможном, случае отнес бы его к «периоду культа личности». Однако еще считанные годы назад, во время одной из постсталинских схваток, где речь шла о возможности выделить Австрию из заведомо нерешаемой проблемы мирного договора, которым союзники решили бы сообща все вопросы, связанные с границами и статусом бывшего «тысячелетнего рейха», Хрущев в запале спора бросил Молотову довод-вопрос: «Ты за мир или против?»

Наивность вопроса (ну, кто такое спрашивает в кругу жрецов политики, ведь не на съезде они, не на встрече с избирателями, не на международной трибуне) оттеняла его точность. Именно так, только так надо было спрашивать. Только так проламывать непарадную дверь в жизнь людей без Гитлера и без Сталина, но с ядерным запалом, с ракетной доставкой, со всем тем, с чем еще нужно было (тогда еще н у ж н о было?!) сжиться политике, даже если не хотела она стать повторением и умножением человекоубийства. Отложим обсуждение вопроса: могла ли такая политика быть реалистической? Не станем тревожить тень Эйнштейна. До Эйнштейна ли Хрущеву даже лучшей его поры и даже Джону Кеннеди, реабилитировавшему Роберта Оппенгеймера?..

Но мы уже не в середине 1950-х, а в начале 1960-х. Крошечный отрезок времени; не только для астрофизика, но даже для историка — ничтожная вроде величина. И что переменилось? Нашему брату не пристало вводить в разбор, где властвует факт, пророческие совпадения, и, обращаясь к газетам прошедших лет, тем паче к тому, что в газеты (наши!) и попасть не могло, вычитывать там свое, родное и всемирное, «мене, текел, фарес»... Библейская притча сообщает о предзнаменовании, явившемся царю Валтасару: «персты руки человеческой» начертали на извести стены таинственные слова, которые смог разъяснить лишь пророк, слова, предвещавшие и конец, и раздел царства; среднее же из них гласило: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». В наше время как будто нет места пророкам, и если оно кем-то и чем-то занято, то на языке XX века это бы следовало назвать о б р а т н о й с в я з ь ю: лишающийся ее поистине «очень легок», любой сильный порыв ветра, нежданная буря способны свалить его с ног. Пишу это и думаю: поведай весной 1961 года Хрущеву пророчество Даниила как адресованное ему, он, вероятно, крайне бы удивился этой древней иностранщине, в лучшем случае рассмеялся. А зря — никакие ВЧ, «вертушки», ведь не заменяют «обратной связи», идущей и снизу, и сбоку и содержащей в себе не только то, что иначе не узнаешь, но и то, чему еще предстоит появиться — нежданным-негаданным, соединяя страшные истоки с не менее страшным предстоящим... Случайность ли, и если случайность, то только ли календарное совпадение, что на один и тот же год, разница только в три, три с половиной месяца, пришлись новочеркасская бойня, «местный» расстрел забастовавших рабочих, и планетарный карибский кризис? О первом из этих событий надо писать особо, не опуская подробностей и оглашая виновников расправы со стихийным протестом, который, возникнув на экономической почве («нормы» и цены!), был усугублен оскорблением человеческого достоинства рабочих и вдобавок окрашен открыто выраженной неприязнью их к Хрущеву как главному виновнику бед. Неужто самодельный плакат «Хрущева на мясо!» вызвал огонь по безоружным людям?

Так или иначе, но два события сошлись, хотя и не перекрестились. Исход был разным, но самое несовпадение этих исходов ждет анализа и размышления, достигающего сегодняшнего дня. Во всяком случае, историк вправе «поменять» фигуры, оставив в силе тот же вопрос: «Ты за мир или против?»

Оказалось — от осуществимой утопии всего лишь шаг до осуществимой антиутопии. Точнее бы сказать: социальная утопия в ее истинном объеме и смысле всегда неосуществима, всегда впереди, хотя ее долго видели покинутым раем, забытым равенством. Осуществимзя, она лишь на какой-то момент остается собою, чтобы затем с катастрофической быстротой, множа гибели и разрухи, превратиться в свое «анти». Меня спросят: и это надо доказывать — нам, после Сталина? Отвечу, вводя в ответ и свои заблуждения, и избавления от них (с заменой на новые? Может, и так). Отвечу: превращение это действительно не больше, чем момент, и шаг от одной к другой действительно один, но этот о д и н имеет свои непредуказанные сроки, и осознание его способно длиться много дольше самого «шага». Да и не просто в сроках загвоздка, а в сути. Суть же не в чистоте утопии, а в ее захватывающей душу возможности. Вера в осуществимость, вот она — суть, и только ли утопии, а может, и вообще человека? Отыми ее у него, чем станет он? Оставь его при ней, и снова тот же вопрос: чем станет он? Острие бритвы! И порезаться нетрудно, доступно и зарезать других. Но спасительно ли само по себе знание этого, пока оно не стало знанием, о т к р ы т ы м для всех?

Загвоздка, стало быть, в открывателе: он сам из кого? Из тех, кто презрительно отправляет утопию в бред наяву, или из тех, кто, пройдя испытание утопией, не утратил веру в то, что человек в силах еще сделать невозможное возможным, то есть сотворить из Невозможности новые, непредуказанные, очеловечивающие возможности? Оттого, видно, в самых пристальных, глубоких исследователях антиутопии люди, остававшиеся утопистами до последнего вздоха, как англичанин Джордж Оруэлл и русский Андрей Платонов. Другим же достался путь много длиннее — к о т к р ы т н ю о т к р ы т о г о. Тут и войны той не хватило, и Нюрнбергского процесса, и XX съезда. Атом помог? Ядерная смерть, постучавшаяся в дверь? Частный эпизод, какой перевел осуществимость антиутопии на диалект политики, дипломатических шифровок, на диалект двух Пентагонов или, что то же, двух Генштабов... и язык диалога «человеческих отношений»?!

Один шаг до осуществимой антиутопии — осень 1961 года. И этот шаг после мучительных колебаний осознанно отклонил Джон Кеннеди, дав возможность Хрущеву последовать его примеру.

Чтобы сказанное не повисло в воздухе, подкреплю его мемуарным свидетельством самого Хрущева, сохраняя опять-таки без поправок язык вспоминателя (как это и сделал издатель «избранных отрывков» В. Чалидзе). Рассказывая о том, как у него «возникла мысль» поставить на Кубе, ради превентивной защиты ее, ракеты с ядерными зарядами, способные «разрушить центры Америки», и как американцы, выявив это, сосредоточили «массу кораблей», авиацию, десантные средства и т. д., Хрущев продолжает: «Всё завертелось. Мы тогда считали, что американцы <...> пугают нас, а сами они не меньше, чем мы, боятся атомной войны. Когда американцы обнаружили наши ракеты, мы еще не успели всё туда завезти, и наши корабли шли на Кубу через эту армаду американского флота. Американцы их не трогали и не проверяли. <...> Мы поставили ракеты. Этой силы было достаточно, чтобы разрушить Нью-Йорк, Чикаго и другие промышленные города, а о Вашингтоне и говорить нечего. Маленькая деревня». Итак, их «маленькая деревня» могла в любой момент исчезнуть, оставляя на месте гору пепла и трупов. Вряд ли человек, которого осенила эта «мысль», собирался привести ее в исполнение, понимая, какая судьба ждет «большую деревню» по имени Москва. Он тоже хотел т о л ь к о напугать, а тут в с е з а в е р т е л о с ь: «нависла реальная возможность начала войны».

Но она еще не началась. Еще было время. Был шанс, но какой? «Нам писали, мы им писали. С нашей стороны <...> диктовал послания я. <...> Мы демонстрировали свое спокойствие, ходили в Большой театр. Мы хотели показать своему народу, своей стране, что мы в театре, оперу слушаем, значит, все спокойно». А тем временем в Штатах два брата, Президент и министр внутренних дел, не ходили в оперу. Может быть, потому, что их страна и их народ знали о происходящем? Советский посол, рассказывает далее Хрущев, сообщил начальству, что к нему пришел Роберт Кеннеди. «Он сказал, что уже шесть дней и ночей не был дома. Глаза красные, видно, что человек не спал». «Красные глаза» того человека так запомни-

лись, что мемуарист и дальше возвращается к этому эпизоду: «Он (Р. Кеннеди.— **М. Г.**) оставил послу свой телефон и просил звонить в любое время. Когда он говорил с послом, он чуть не плакал: «Я,— говорит,— детей не видел (у него было шесть душ детей) и Президент тоже. Мы сидим в Белом доме, не спим — и глаза красные-красные». Нам не узнать, вероятно, какого цвета были тогда глаза у членов хрущевского Президиума ЦК КПСС и виделись ли они в те дни со своими детьми. Еще невозможнее (чур, чур!) представить себе одного из тех, кто тогда правил нашей страной, объясняющимся с американским послом по собственной инициативе и хотя бы в половинную, да что там — во много меньшую, долю столь нестесненно, открытым текстом, как это сделал Роберт Кеннеди. «Он сказал: — Мы обращаемся с просьбой к тов. Хрущеву, пусть он нам поможет ликвидировать конфликт. Если дальше так будет продолжаться, то Президент не уверен, что его не могут сбросить военные и захватить власть. Армия может выйти из-под контроля». Отбросим смешное, по привычке, «тов.», вернемся к сути. Хрущев комментирует: «Я не отрицал такой возможности, тем более Кеннеди — молодой президент, а угроза — безопасности Америки». Он не отрицал, что «молодого президента» могут сбросить (о себе в этом смысле, конечно же, не думал). Он не отрицал и то, что безопасность США была под угрозой. А Советского Союза, если принять за достоверное, что отношение ядерных запалов было тогда 16 : 1 в пользу Штатов?!

В качестве историка я не притязаю этой выжимкой из воспоминаний отставного лидера исчерпать историю карибского кризиса как таковую. Меня занимает, мало того — мучает вопрос: что было бы, если бы у братьев Кеннеди не были красные от бессонницы глаза, что было бы, если бы Президент, склонившись к уговорам генералов, соблазнился реальной (и «оправданной» в глазах мирового сообщества) возможностью покончить одним ударом и с советскими ракетами, и с пригласившей их Кубой? Что было бы, если бы он, выученный поражениями — и своими, и тех, кто был до него, как дома, так и вне его,— не пришел в эти октябрьские дни и ночи 1961 года к совсем другой «мысли»: опасно и оттого недопустимо ставить другую сторону конфликта в столь унизительное положение, когда она, движимая унижением, способна пойти на самоубийство, которое неминуемо втянет в свою воронку всех на свете?! Иначе говоря: что случилось бы, если бы он, Джон Кеннеди, не был «генетически» готов *учиться поражениями*, переводя уроки их на язык политики, внятной и власть имущему, и тому, кто своими голосами превращает (на время!) гражданина в Президента?

Но мы ведь о Хрущеве. Да, о Хрущеве, который также сумел отступить — и кому помог отступить Джон Кеннеди, отступить без потери лица, мало того: помог обрести репутацию политика мирового класса и с этой репутацией не только уйти на недобровольный покой, но и сохранить ее в памяти... чуть не написал «целых поколений», но запнулся, ибо последнее было бы неправдой. Мы забывчивы, старый грех, в удержании которого есть также вклад, и немалый, самого Никиты Хрущева.

Судьба подготовила двум лидерам сверхдержав разный конец. Что предпринял бы Джон Кеннеди, которому в его, оборванное пулей, первое (и последнее) президентство не удалось провести через Конгресс ни одного из крупных законопроектов? Можно гадать, читая американских исследователей и мемуаристов. В отношении Хрущева гадания как будто бесполезны. Мировой лидер уходил с отечественной сцены банкротом. Но по сей день нам не хочется признать, что в его лице обанкротились мы сообща.

3

История не повторяется в каком-то простом круге. Она может, однако, не продвигаться вперед, а застыть на несколько более высоком уровне без всякой надежды достигнуть вершины.

М. Л. Кинг.

Классическая традиция призывает поверять внешнюю политику внутренней. Сейчас члены этой формулы по меньшей мере уравнялись. Если не натяжка — считать, что нестойкие дипломатические успехи Хрущева производны от «феномена XX съезда», то вполне правомерно задаться вопросом о влиянии его дальнейших действий в мировой сфере на развитие внутренних процессов и перемен. Бесспорно, что связь тут есть, но также бесспорны и ее неоднозначность, и ее хрупкость. И дело не в том, что сам Хрущев двулик; можно бы сказать: нет, в каждый данный момент — одно лицо, один помысел. И хотя он был хитер, а до поры до времени и расчетлив, коварным его не назовешь. Но двуликой и даже коварной была *хрущевская ситуация*: ситуация надлома, которому не дано было перейти в преодоление, ситуация монолога, неспособного собственным усилием превратиться в разговор равных, в сотрудничество равных. И мы, вероятно, приблизимся к ответу, если скажем, что в отличие от дел внешних, где темы были обозначены совокупным действием разномыслящих держав и народов, открытым драматизмом коллизий,— в делах внутренних все было изначально не так. И чем дальше, тем в большей мере *не так*.

Возвращение выживших жертв сталинских «чисток» осталось, пожалуй, единственным чистым достижением Хрущева. Остальное либо было споловинено,

подпорчено отступлениями и оговорками, либо представляло собою новый произвол, который, правда, был добродушней сталинской мизантропии (если произвол вообще бывает добродушен), но дорого обошелся только возникающему, делающему первые детские шажки обществу. Сказав, что индивидуальность была непредвиденным фактором перемены в обстоятельствах, мы не вправе забыть о той же индивидуальности, говоря о *незавершаемости* этой перемены — в людях. И опять-таки: где тут рубеж между виной одного и общей бедой?.. Если во всех своих проявлениях Хрущев предстает своеобразным гибридом прожектера и прагматика, то перед лицом внутренних проблем его страсть переворачивания, не сдерживаемая столкновением с достойными противниками-оппонентами, все чаще выступала как цель без цели, а его деловая хватка вырождалась в мелочность, навязываемую силой, какая не только сковывала, но и уродовала изнутри любую самостоятельность. Правда, и в этих рамках оставалось еще место для действий, подкупающих своей человечностью. То, что называют «хрущобами», конечно же, несет на себе след непродуманности и поспешности, примитива и уверенности в том, что архитектурные проблемы так же просто решать, как дипломатические. Но нельзя забывать, что «хрущобы» пришли на смену подвалам и баракам, что многие сотни тысяч семей стали впервые жить в отдельных квартирах (переворот в жизненном укладе, последствия которого уже сказались). И в иных замыслах Хрущева чувствовались щедрость и простор, противостоящие сталинскому сочетанию помпезности всех вещественных символов Державы с принудительным аскетизмом и серостью быта, предназначенного миллионам.

Но человечность, даже она, обречена быть недолгой, когда остается в первичном виде — стимула, движущего политиком, домогающимся власти и овладевающим ею. Известное выражение «власть губит человека» не лишено смысла. Мне возразят: все зависит от того, каков человек. Нет, не все. Далеко не все. Спорная тема: может ли быть политика человечной или многое, и самое, пожалуй, существенное, определяется тем — есть ли у человечности свое место вне политики, своя плоть, которая ставит предел и политике, не допуская ее включить в себя, обнять собою (надолго, «навсегда») все жизненные устремления и проявления человека?! Иначе говоря: человечности положено быть «абстрактной» и в этом качестве *оппонировать политике*, а для того иметь и свой статус, свое право, свою законную силу, активно препятствующую неудержимой экспансии неизменно конкретной политики. Это и есть демократия? Ничто не мешает сказать: *да*. Ничто, кроме того, что мы обсуждаем эту тему у себя дома, оглядываясь не только по сторонам, но и назад. Ничто, кроме того, что обязуемся ввести в обсуждение наше прошлое — с его удивительным своей повторяемостью отталкиванием демократии в той сугубо определенной (и даже единственной) форме, какая создана не-нашей историей, и с его не менее постоянными возвратами к собственной *недемократической человечности*. Странное словосочетание, не правда ли? Но, каюсь, иного не нашел, чтобы выразить свою мысль, не уклоняясь и от того, чтобы найти этой будто побочной теме место в данном тексте. Ведь не о детали речь и даже не об одном духовном течении среди многих; нет, она, недемократическая человечность,— самое общее для сугубо разных потоков. И именно оттого самое общее, что у этого «словосочетания», восходящего по меньшей мере к началу нашего XIX века, есть не только свое биение мысли, своя пульсация действия, но и свой замах, своя экспансия, притязающая отнять у власти, поставлена ли она Всевышним или законом истории, все российские человеческие души (дабы из живых не стали «мертвыми») — отнять их, противостоя власти, и отнять, апеллируя к ней, пытаясь и ее ввести в свою упряжку, притом не пристяжной даже, а коренником.

И что же — гордиться нам этой, нашими предками зачатой «недемократической человечностью», либо проклинать ее, либо вовсе иначе: принять за *данное*, перестав кланяться изъянам ее и... просчитав преимущества, дабы из такого обдумывания-спора вывести некую гипотезу, некий контур жизненного и политического устройства, которое, удовлетворив нас, нынешних, не стало бы оковами для потомков и не вызывало бы опасения и у ближних к нам, и у далеких от нас народов?!

Нет работы неотложней, но и нет трудности большей, чем взяться за нее, чем начать ее ныне. Разбуди ночью современного небезразличного соотечественника, задай ему эту задачу, и он сразу заговорит об упущенных возможностях, поставив в пример и бомбу Гриневицкого, разорвавшую вместе с Александром Вторым «почти» конституцию, и уж, разумеется, разгон Учредительного собрания; с другой стороны, будут вспомнены и пушкинское «Из Пиндемонти», и отказ Достоевского от любого всесветного прецедента (и *проекта*!) осчастливливания людей, ежели в цену войдет единственная слеза ребенка... Но зачем же так далеко уходить в воспоминаниях? Ближе, ближе, еще ближе. К совсем недавнему и столь на первый взгляд тривиальному эпизоду вековой российской трагедии, каков казус Хрущева.

Мы знаем, с чего он начал. Мы знаем, чем он кончил. Но что же было посредине? Тоже вроде бы известно; даже по памяти, не заглядывая в документы, нетрудно перечесть: и то, и другое, и пятое, и десятое. И пойдут беспорядочной чередой казахстанская целина со ска-

зочными первоурожаями и с предсказанно-страшными пылевыми (а затем — и соляными) бурями, повсюдная кукуруза, сплошная химизация, отмена обязательных займов и отказ от погашения прежних, то поощрение приусадебных хозяйств земледельцев, то урезка их, миллиарды, вложенные в животноводство, и отнятая у крестьянина корова, ликвидация МТС вместе с их поборами, обеднявшими и без того скудный трудодень, и разоряющее принуждение деревни к выкупу нужной и вовсе не нужной сельскохозяйственной техники, а еще и реформа школы, грозившая обезлюдить науку, и полусорвавшийся поход на саму Академию наук... Но многое ли мы извлечем из такого либо еще более обстоятельного перечня, если даже аккуратно разложим результат по полочкам, расставив отметки и сосчитав общее число «плюсов» и «минусов»? Нет ничего более противопоказанного историческому мышлению, чем арифметика подобного рода, и, кстати, далеко не невинная, плодящая на месте старого обмана обновленные обманы и самообманы с нарастающими издержками в мыслях и поступках.

Правда, сам Хрущев отдал дань этой домашней политологии. Да и как могло быть иначе? Человек, генеалогия которого весьма подходила бы для прямой демократии, просто напросто не знал, как «это» делается. Он не лицемерил, думая и утверждая что не «вы для меня», а «я для вас». Но как раз последнее уводило его все дальше от тех, выразителем чьей воли и надежд он себя считал от начала и до конца. Он обожал общение с «простыми людьми», но чем дальше, тем больше эти выезды в народ смахивали на спектакль, на плохо скрытое лицедейство; действовать же он умел (и мог!) только с помощью *нижестоящих*. Он осмелился единоличным решением «открыть» существование автора «Одного дня Ивана Денисовича», но считал себя вправе устраивать разносы людям искусства, чьи творения не совпадали с его вкусами, и хотя эти дебоши не менее тщательно подготавливались его ближним окружением, чем парадные доклады, сам он бывал и отходчив, однако его «меценатство» в заслугу ему не поставишь. По сути, он не успел дорасти даже до свыше даруемой демократии. Он открыл ворота лагерей, но закрыл министерство юстиции, оно показалось ему лишним. И впрямь — для чего оно нам?

«Закон, что дышло...» — это даже несколько старомодно. Во всяком случае, любившему народные поговорки Хрущеву эта вряд ли вспомнилась, когда в мае и июле 1961 года под его диктовку вышли в свет два указа, расширявшие применение смертной казни в СССР: один за хищения в особо крупных размерах, другой — за «нарушение правил о валютных операциях». Кто подсчитал, сколько жизней унесли эти указы, которые вправе, по ассоциации, поставить в ряд с незабываемым сталинским законом 7 августа 1932 года, в согласии с коим на тот свет мог быть отправлен голодный человек, срезавший колосок. Времена, правда, изменились. Не хлебный колосок имелся теперь в виду. Агония сталинской системы множила действительную уголовщину. Коррупция наглела, хотя до будущего, 1970-х годов, апофеоза ей еще было далеко. Но по силам ли было справиться с ней кажущемуся всесильным Хрущеву? А по нужде, по народной нужде, разрасталась и «теневая экономика», подчеркивавшая собою беспомощность власти и самой природой своей враждебная нутру человека, мечтавшего об агрогородах и строившего графики всеобщей бесплатности. Неудачи загоняли его в тупик, провоцируя на то, что всегда было под рукой,— запреты, расправы, тюрьмы, лагеря, «психушки». И подобно той бесконечной череде, которой шли его реформы и контрреформы, такой же чередой шли в преступники заядлые ворюги и деревенские бунтари, взяточники в мундирах и строптивые хозяйственники, бывшие соратники Берии и первые из диссидентов. И снова спросим себя: кто из советчиков, кто из идеологической обслуги осмелился бы остановить Хрущева, кто из них дерзнул бы сказать ему, что, кроме прав, есть еще и *право*, которое выше всякой власти и уравнивает неправые жертвы, будь то колебнувшийся демократ Имре Надь или провалившийся валютный король Ян Рокотов (к которому, как и к его подельнику, Хрущев велел задним числом применить поспешно установленную «законом» смертную казнь).

Отношение к смерти — основа основ человеческого поведения; им с тех времен, что обозримы современниками, люди определяли и переопределяли самое *жизнь*. В нашем случае речь именно об этом, хотя не так уж очевидна эта основа основ, особенно когда пытаешься перевести ее на язык реального действия. Что глубже, исходнее в том, что именуем мы сталинизмом, чем презумпция недоверия к человеку, прямо или неявно дотягивающая до смерти? Хрущев начал с того, что бросил вызов этой презумпции, но вскорости оказался захваченным ею в плен. Иногда он вырывался из него, чтобы снова вернуться туда же. Он назвал Сталина преступником, но не рискнул опубликовать доклад партийной комиссии, выяснявшей причастность Сталина к событию 1 декабря 1934 года,— документ, который сам по себе навсегда погубил бы имя Сталина в сознании народа, не прощающего подлого, трусливого убийства человека человеком, который еще недавно называл свою жертву «другом» и «братом».

Боясь излишеств открытости, Хрущев наносил ущерб самому себе. Ведь только открытость, вошедшая в привычку, изгладила бы из сознания прежний стандарт вождя, с которым соотносили его самого — к невыгоде и для него, и для его почина. Непосредственность и дозированная, но все же непривычная для нас откровенность привлекали, хотя далеко не всех, к Хрущеву, пока он перетряхивал реквизит прошлого, противостоя сиятельным доктринерам и бюрократам. Но когда, войдя в роль вождя, он решил, что она обязывает его к регулярному произнесению огромных речей, составленных из «нужных» слов, он стал смешон, и чем самоувереннее при этом держался, тем чаще и резче проявлялось снисходительно-ироническое отношение к нему, притом в самой разной аудитории, уже вовлеченной (им же) в неудержимую девальвацию прежних понятий, ценностей и слов. Смех был реакцией и на половинчатость освобождения, и — одновременно — на самую идею освобождения в ее хрущевской редакции. В этом смехе сошлись закоренелый догматик с рафинированным интеллигентом.

Нет, когда речь идет о внутренних делах, тут не скажешь: он хотя бы был непоследовательным. Не скажешь, имея в виду не фрагменты, а *целое*, которое, начавшись с вторжения человечности в политику, перестало в конечном счете быть и человечностью, и политикой. Да, и политикой! Ибо, допустив даже, что едва ли не в каждой из реформ Хрущева, особенно первых лет его лидерства, можно обнаружить тот или иной сиюминутно рациональный мотив, мы вряд ли доберемся до корня банкротства всех этих мотивов, вместе взятых, сделав упор на тщету скоропалительного исполнения, на очередной спазм вековой российской нетерпеливости. И это было, безусловно — и это. Но только ли оно? Или само оно — производное от отсутствия общей связи, сквозной идеи?

...Хотя человек, чья карьера началась на переломе 20-х — 30-х годов, человек, заменивший Мартемьяна Рютина на посту секретаря Краснопресненского райкома и прошедший политическую школу у Кагановича, должен был бы держать в памяти тот переворот в сознании и нравах, который предшествовал оргии пыток и убийств, самооговоров и чудовищного фарса показательных процессов,— похоже, что как раз пролога он не то чтобы не помнил, но скорее всего так и не понял до самого своего конца, как не понял и *роковую связку вождя и губителя*, которую «личность» Сталина передала нам неуходящим воспоминанием и вопросом: случайно ли сцепились эти две роли, и если даже сцепка эта не была изначально бесповоротной, то не такой ли стала и уже таковой досталась последующим властителям? В свете итога как не сказать — чем бы ни началось *это*: скоропостижным ли уходом Ленина и еще более скоропостижной схваткой преемников или чем-то более основательным, что сделало уход смертного человека и свойства всякого эпигонства режиссерами трагедии с многими миллионами участников, в любом случае *это* получило собственное движение, крепко осев и в строе, и в человеческих отношениях (да, и в них, и, поставив в кавычки слово «человеческих», мы далеко не уедем). И уже по тому одному от этого наследия не избавиться было ни свержениями монументов, ни другими жестами отлучения Сталина от «великих свершений». В свете происходящего... А в первый момент? Что упоительней первого глотка свободы? И кому поставить в укор иллюзию освобождения от Сталина, вышвырнутого из Мавзолея?

Хрущев — первый из проклинателей-наследников. Первый, но последний ли? Еще один вопрос без ответа. Да и можно ли ответить на него «заочно», не переживши тот изначальный опыт и не сделав его исходным пунктом любой попытки заглянуть в будущее? И оттого снова к тому пункту, который виделся центральным: отчего же и этот всполох человечности не перешел в политику, не стал ею? Рок ли российской истории это или, рассуждая более трезво, неизбежный возврат к прерванному ходу вещей после кажущегося полного разрыва и затмения? Чтобы вопрос не повис в воздухе, не миновать того, чтобы «вернуться» к Сталину, переадресовав вопрос ему. А у Сталина была ли *политика* или и с нею он покончил и ее прикончил? Да что, собственно, это значит: прикончить политику? Не его вроде лексика, не на то нацеливался в 20-х, в те считанные месяцы, когда все в его судьбе (и нашей!) зависело от того, заговорит ли Ленин. Не об институтах и учреждениях, не о профессионалах выработки и осуществления политики (где их взять и как с ними быть) думал тогда Сталин, а о себе. О себе, но в контексте того, что становилось (нэп!), запинаясь о самое себя и о все прошлое России — совсем близкое и дальнее, запинаясь и ища опору в том же прошлом ради своего (и всесветного!) будущего. Так приспособиться ли было ему, Джугашвили-Сталину, к этому прихотливому, запутанному, мужицкому и мозговому «контексту»? Приспособиться либо укоротить, упростить, подогнав «под себя»?

О человечности тут говорить не приходится с первого его шага, и Царицын гражданской войны заставляет вспомнить Лион Жозефа Фуше. Заполучив пост генсека, Сталин, однако, еще далек от себя самотождественного, да и если бы и был у него тогда рассчитанный на десятилетия инфернальный график, то был ли в силах он его осуществить? Разделенная власть популярные соперники — препятствие немалое, но главное ли? А искусство сталкивания противостоящих и даже не противо..., а просто стоящих на пути — преимущество очевидное, но опять-таки главное ли? Эпигоны получили в наследство от зачинателя победившую революцию и черновик жизненного устройства, позволяющего — по задумке Ленина — не только дождаться, когда сдвинется с места мир созревших для социализма наций, как и

мир народов, пробужденных к историческому движению вообще, но и двинуться навстречу им всем, двинуться дома, меняя для этого и ритм, и форму собственного первоначального рывка. Между двумя слагаемыми этого наследства — зазор: «механизм» перемены ритма и формы. Вопрос вопросов: кому под силу и кто вправе менять его? «Мы создали рынок»,— говорил на XII съезде РКП(б) Л. Б. Каменев. Трактовать можно по-разному, вкладывая разный смысл в слово «создали». Создали тем, что уступили мужику (и нэпману)? Или еще и тем, что сами вступили на рыночную площадь величиной в Евразию: вступили как хозяева главных средств производства и как власть — арбитр между разными социальными волями, власть — регулятор экономической стихии? Разные вопросы — разные ответы. Разные ответы — разные действия. Ибо рынок — непокорное созданье. Он жаждет развития (вширь, вглубь), делая свою заявку на соучастие в решении и собственно деловых, и общенародных судеб. И эта заявка р ы н к а не совпадала с заявкой р е в о л ю ц и и, жаждавшей — и также в людях — самопродления, самоувековечивания. Теперь модно (рука сама тянется) ставить перед коммунизмом прилагательное «казарменный». Оно, может, и справедливо в отношении второй, или исторически первой, стихии с ее уравнительной ностальгией, с ее добровольной тягой к бедности, к скоротечному порыву и самоотречению во имя Мира «без Россий и Латвий». Закрыть бы эту антинэповскую ностальгию, упразднить бы эту тягу, ибо не работала и мешала работающим,— так не давалась, тая сопротивление, прорывающееся в ненависть. А может, и имела право стать стороной диалога — коммунистической оппозицией к социализму производительного неравенства?

Тут и открывался предмет политики, которая тогда и политика, когда имеет дело с неодинаковыми, с разными. Кто ж к этому был готов? Кто из тех, кто выучился и привык лишь побеждать, быть в победителях, а не в побежденных? На многом споткнулся нэп: от неопробованности «механизмов» до неподготовленности человека у власти быть ч е л о в е к о м. Первое непосредственно переходило во второе. Это понял немой, бессильный Ленин. Об этом «догадался» вожделением власти Сталин.

В одиночку, заимствуя и перелицовывая на ходу идущие в е г о дело идеи? Нет, у него был союзник, готовый оборвать «развитие» во имя «продления». Вернее бы даже сказать — не союзник, а союзники: окольные и прямые. И недемократическая человечность, вовлеченная в осуществимую утопию, своей вовлеченностью (и саморастворимостью!) готовила вопреки себе осуществимую антиутопию. Но был и прямой союзник: функционер революции, не мыслящий себя вне политики. Исполнитель ее и «заказчик». Особый человеческий тип, закон бытия которого гласил: не щадя себя, не щадить других. Функционер чувствовал себя демиургом истории, в этом равным своему лидеру — кумиру. Сталин же не просто притворялся, соглашаясь с этим равенством и умело поддерживая видимость его, рождающую рвение (и беспощадность!). Самое равенство это входило в его «антропологию» генеральной линии, позволяя свергать соперников и загонять несогласных в гетто уклонов. Функционер, естественно, встал на сторону бухаринского «социализма в одной стране». Но столь же, если не более естественно, он воспринял импровизируемый Сталиным «правый уклон» в качестве своего главного антипода. «Дитя» Октября, «подросток» военного коммунизма, функционер принял нэп не по одной лишь ленинской указке, оставляя трупы свои на подступах к Кронштадту. Он смирился с нэпом-тактикой, смирился и воплотил себя в ней, но он перестал бы (в массе своей) быть собою, приняв нэп, как д р у г о й с о ц и а л и з м. К тому же этот человеческий тип был не сам по себе, а составлял ядро той более широкой и многоликой, множащейся формации энтузиастов, с которых мы начали размышление о судьбе Хрущева. Сужая тему, подходим к капитальной важности рубежу — году 1930-му, с его прологом и эпилогом, со всеми муками этого года и последствиями его, далеко выходящими за деревенскую околицу.

«Революция сверху», как назвал ее Сталин, «революция», острием своим направленная против середняка, против собственника-работника, навсегда вычеркнула из нашей истории этот коренной постоктябрьский социальный слой, руша тем и экономическую, и человеческую (российскую и — мировую в ленинском смысле) базу «строя цивилизованных кооператоров». В прологе — ступор нэпа, в финале — гибель функционера. А в эпицентре — последний взлет его. «Сплошная коллективизация», неотрывная от т е м п а (смысла жизни!), вернула его к своему первородству. Казалось, наступил момент, когда и Сталин получил возможность соорудить из функционерства краеугольный камень своего, своим замыслам и своей натуре отвечающего политического режима. Таков ли был его расчет? Утверждать трудно, предполагать допустимо. Но события внесли неожиданный корректив. Наступил час, когда равенство-рвение функционеров вернулось к Сталину бумерангом «перегибов». Разумеется, источником их был сам Сталин[1]. Но когда середняк стал брать в руки обрез, превращаясь в повстанца, автор генеральной линии, предупрежденный ОГПУ (другие не смели; члены Политбюро, разосланные по стране, молчали), столкнулся с непокорством функционеров. И х н е щ а д я с е б я, н е щ а д и т ь д р у г и х оказалось сильнее его телеграфных приказов остановиться на краю гибели. Тогда через головы «верховных» и «низовых» функционеров он обратился к мужику. Главный виновник катастрофы предстал единоличным вызволителем. Ощутил ли функционер в этом событии сигнал приближения своего конца?

[1] После публикации Б. А. Абрамовым материалов «комиссии Яковлева» («Вопросы истории КПСС», 1964, № 1) этот вывод, напрашивающийся сам собою, получил документальное подтверждение.

Я миную промежуток между 1930-м и 1937-м, который, конечно же, не состоял только из тщательной подготовки расправы. Тут не прямая, тут развилка. Я допускаю, что и Сталин 1930-го еще не «знал», что он уравняет творцов коллективизации, правофланговых темпа, уравняет их даже не с вчерашними мужиками, ныне барачниками, орудующими тачкой и лопатой, возводя гиганты индустрии,— уравняет их с погубленными голодом и холодом. Тем паче не готовились к этому и не были готовы к этому — телом и духом — люди в гимнастерках. Есть много догадок (и разгадок), вводящих нас в тайну 1937-го. Если откроются все архивы (когда — в XXI веке?), найдется ли там сокровенная запись замысла, сделанная самим Сталиным? Нет, в бездны его души историк может проникнуть, выслушав не только уцелевших современников, но и себя... Рискуя ошибиться, я тем не менее убежден, что с у т ь 37-го не в сведении счетов с былыми со-лидерами, с теми, кто имел право считать себя наследниками Ленина. Да, не простой декорум — погубление тех. Месть достигла эпигонов первого поколения и дома, и за его пределами. К сладости расправы примешивался холодный расчет: инсценированная домашняя «пятая колонна» примирит с террором «победившего социализма» левый и даже отчасти правящий Запад. И антифашистская завеса, и неисключенный, нащупываемый сговор с Гитлером — в одно и то же время. Два «Мюнхена» в 1938-м: тот, внешний, и бухаринский, рыковский квазисуд внутри. Хитрость ли это мирового духа или оборотня его — эта близость роковых дат? А миллионы растерзанных, заточенных в лагеря — не «перегиб» ли по шаблону 1930-го?

Есть основания для сопоставления: январский пленум того же 38-го, убравший в два присеста Ежов, либеральный доклад Жданова и либеральные жесты-послабления (жесты-возвраты одиночек) присланного на Лубянку и надолго задержавшегося там Берии. Своего рода «Головокружение от успехов». И параллель в итогах: там, при всех понятных шагах, необратимым оставалось уничтожение середняка, тут — уничтожение функционера. В сущности, не параллель — двуединство в судьбах. Функционер ведь не исчерпался уничтожением середняка; он еще и тем негоден и даже опасен стал главному функционеру, что стал опекать собственный результат, повернув свое рвение в сторону свежеиспеченных колхозов (и первые репрессии, коснувшиеся рядовых функционеров, и уже не в порядке одиночного исключения, не случайно падают на 31-й, 32-й годы, а «политотделы» — только ли против сопротивляющегося новому разорению колхозника были учреждены или также против райкомщика-опекуна?).

Трудный, требующий исследования вопрос: мог ли функционер середины 30-х дотянуть до с в о е й п о л и т и к и, переменив главного функционера? В чью пользу шли «разрядка», умиротворение, Конституция, акты на вечное пользование землей? То, что главный функционер стремился сбросить с себя веригу этой роли, бесспорно. Но то, что он хотел, он и мог. Из одной необратимости проистекала другая: атомизированный в виде ли колхозника, в виде ли новой рабочей массы вчерашний середняк тянул за собой в историческое небытие романтика и прагматика «великих переломов». На смену ему шел иной тип человека — иной, если даже в этом телесном обличье представал уцелевший функционер. Менее человечный? Да, хотя и не подряд, но чем дальше, тем непременнее в этом отношении, которое, в свою очередь, не просто по команде свершалось, не просто равняясь на высший эталон. Увядание человечности производно от отбора на безоговорочную исполнительность, неотъемлемую от «системы», отныне составляющей собственность Хозяина и осознающей себя таковой. «Ленин создал аппарат, аппарат создал Сталина» — слова Л. Д. Троцкого подкупают афористичностью, но так ли верны они? Так ли верны — и в отношении Ленина, и в отношении Сталина? Нет, полагаю я, аппарата Ленин не создал (и стоит ли так умиляться по поводу каждой из бесчисленных записок, касались ли они больших или совсем мелких дел, которые исходили от человека, привыкшего жить «письменной» жизнью, и не кажется ли странным, что, только когда смерть постучала в его дверь, задумался он о распределении обязанностей между своими замами?).

Аппарат — в том смысле, какой понятен без дальних разъяснений каждому, кто жил у нас и в тридцатые, и позже, вплоть до дня сегодняшнего,— детище Сталина. Отличие аппарата от функционерства не формальное, оно не в должностях и даже не в иерархии как таковой (тут близость). Коренное отличие — непричастность аппарата к п о л и т и к е. Конечно же, не в 1930-м появился этот псевдо-Левиафан. Как у всего на свете, и у него свой генезис. Но есть и точка отсчета, на расстоянии кажущаяся, быть может, наименее приметной, но не становящаяся от этого менее существенной. Напротив, она — из наиболее укоренившихся, ибо затрагивала, изменяя и переиначивая то, что суть человек: речь, семантику и лексику ее. Еще

вчера над всеми словами господствовали два, произносимые как одно: *генеральная линия*. Сегодня (середина, конец тридцатых) эти два слова уходят. Бесследно. Навсегда. Теперь и они — лишние, ибо ими все же подразумевалось нечто не-генеральное, но имеющее временное право на существование. «Сегодня» такого права нет ни у идей, ни у людей. И оттого нет больше нужды и в «уклонах», и в «уклонистах», даже покаявшихся. «Сегодня» есть и *могут быть* лишь двурушники, дозревшие предатели, затаенные и изобличаемые изменники.

Кодовые слова, слова, с тех пор управляющие речью, сознанием и судьбами: враги народа. Не белогвардейцы (класс!), не вредители (живые пережитки недоразвившейся российской буржуазности!), а именно — *враги народа*. Отсчет — от этих двух, произносимых как одно. От них — к народу. Отныне «народ» — это те, кто не враги, это то, что наперед и навсегда едино в своей единственной персонификации. И это уже не просто единство цели и средств, суммированных в политике. Это — «морально-политическое единство», возвещенное Молотовым в ноябре 1937 года (недаром соответствующее место из этой речи завершает последнюю главу «Краткого курса», а доклад к 20-летию Октября именуется там «историческим»). Черта под *равенством-рвением* подведена. Равенство — вне закона. А рвение меняется исподволь. Суть аппарата — посредничество между единственным вождем и единым народом. Оттого у аппарата как некоего целого нет и быть не может собственного прошлого, а стало быть, и собственного будущего. Он (аппарат) не бессилен. Отнюдь. Но он — эманация всесилия Одного и потому сам по себе безлик. Сказав это, мы имеем в виду родовую примету и конечный счет. По сути же было все сложнее и в индивидуальном смысле, и в общеродовом. Для полного искоренения племени функционеров, их свойств, их стиля требовались поколения. А на пути, до 50-х, была война. Катастрофа звала не только к рвению, но и к равенству — на этот смертельный час. (Два осколка из давнишних воспоминаний. В Ленинграде, у Адриана Владимировича Македонова, «Сократа» воркутян, встреча с женщиной, женой известного поэта, не только перенесшей, но и выстоявшей блокаду. Я допытывался: как же удалось, невзирая ни на что, выстоять? Понятно, говорило радио, слышался голос Ольги Берггольц, но в быту, в повседневности, как объединялись, через что проходила связь коченеющих, добиваемых голодом людей? Она минуту подумала, потом сказала: «Ну как, были ведь и домоуправы, и милиция, и райком»... А летом 45-го — незабываемая единственная встреча с Василием Семеновичем Гроссманом, коего возлюбил еще в студенческие годы, а фронтовые, естественно, закрепили это чувство. Встреча была случайной и недолгой. Говорили, в частности, о «Волоколамском шоссе». Я сказал: хорошо написано, но герой несимпатичен мне, а авторская симпатия к нему лишь усиливает отталкивание. Гроссман усмехнулся: «Вот и Поликарпов (тогдашний секретарь ССП) усмотрел у Бека эсеровщину». Разговор перекинулся на 41-й, на нашу — человеческую — неготовность к трагедии и на тех, кто сумел изготовиться уже в неравном бою (как герои повести Гроссмана «Народ бессмертен»). Он задумался и ответил: «Комиссары теперь ни к чему. Их пора на слом. Но в сорок первом они были на месте. Без них тот год непонятен».)

...Последующее — не только продолжение прерванного. Оно вносит и новое — в обман, в страх, в обесчеловечивание. Тот, уплотненный во времени, террор уже без надобности. Память о прежнем еще свежа, но и ее надо было подкреплять. Нужен был «страх перед страхом», как с лаконической точностью назвал эту отечественную психопатологию Василий Гроссман в своем посмертном (для нас) романе. Сталин не Макбет и даже не Иоанн Четвертый, его не преследовали тени убитых. Призрак, одолевавший его, вознесенного народом до небес,— возрожденное войною *равенство*. Равенство в страданиях, в потерях, не обошедших почти ни одну семью; равенство тех, кто победил, двигаясь по вражеским и собственным трупам с востока на запад, и тех, кого мы называли тогда «союзниками», и кто с много меньшими, но также с потерями и горем пришел с запада на конечный Запад. Равенство внутри победившего антифашизма и продление его в биографиях вчерашних мальчиков, вступающих мужами в неведомо новую жизнь,— не этот ли Бирнамский лес виделся Сталину, уединившемуся на озере Рица, чтобы, отойдя от *той* войны, открыть новую, также народную? Вторая половина сороковых, начало пятидесятых — война против воскресшего равенства, еще не опознавшего себя, поселившегося в Образе и не дотянувшего до Понятия. Безумная стратегия или стратегия безумия — обрубить навсегда самые корни этого чувства, этой тяги, пробравшейся даже в аппарат? Ближний расчет был верен. Под стягом *Своего*, которому грозит *Чужое* (именно потому и тем грозит, что оно «чужое»), шло невидимое переиначивание стимулов жить, подымаясь вверх. И аппарату предстояло стать инструментом новой внутренней войны — и, само собой, возрос спрос на годных к «промыванию мозгов», и хотя поначалу шло скорее перетряхивание аппарата, чем чистка его (хотя в малых размерах и она также), но где-то маячило уже и замещение в более широких масштабах, замещение «приводных ремней» от единственного вождя к единому народу — теми, кто в этом же качестве вкусил и от неравенства по крови. Новые обстоятельства — новая семантика, управляющая судьбами: не из одного ли гнезда «космополиты» и «прогрессивное войско опричников» (кто, кроме Сталина, сподобился бы на такое словосочетание?!).

Правда, процесс этот был еще далек от завершения, когда смерть Сталина приостановила его. Однако мы вправе спросить себя: сколь достижима была в конечном счете обновленная сталинская антропология? А конечный счет — это исчезновение историчности в человеке, вовлеченном в последний виток преступной власти. Конечный счет — уничтожение политики, поскольку, имея дело с «вечной» однозначностью, с одинаковыми людьми и сведенными к одинаковости народами, этносами, цивилизациями, политика лишается *предмета* (и *смысла*!), место которых, однако, не должно пустовать, заменяясь их суррогатами, рассчитанными на удержание и возобновление *той же* одинаковости, *того же* «всеобщего знаменателя». Вопрос не праздный. Это мост от Сталина к Хрущеву, от Хрущева к сегодняшнему дню. Удовлетворит ли общее, и в моих глазах не лишенное доказательности, рассуждение: если утопия оказалась в наш век почти осуществимой, то и у ее оборотня свое *почти*. Два «почти»: близнецы и антиподы. Первое продолжает жить в порах второго, стиснутое, притихшее, но не исчезающее вовсе. В какой-то момент вновь возникает близость недемократической человечности с «жаберными щелями» функционера. И тогда начинается новый акт трагедии, возобновляющий своим катарсисом (или также *почти* катарсисом) надежду на жизнь без убийства и страха. И... возвращающий к убийству и страху.

В конце 1952-го, к началу 1953-го стрелки часов на кремлевских курантах замерли на без пяти минут 12. Эти пять минут не давались Сталину. Иссякло ли его воображение, брала ли верх старость или в недрах аппарата заработал инстинкт самосохранения, побуждающий к «контригре» (доступной, конечно же, лишь тому особому аппарату внутри аппарата, который был сверхсобственностью Хозяина и потому обладал экстерриториальностью, опасной для него же, гонимого страхом в закуток бронированного существования)? Отдавая должное детективу, я все же склонен слышать в финале шаги Немезиды. Антиутопический абсолют гибелен для домогающегося его. Впрочем (повторю): к счастью для всех на Земле, Сталин не дожил до «своей», опередившей Запад, водородной бомбы.

Хрущеву предстояло заново привести в движение кремлевские куранты. Согласимся, что это была непосильная ноша. Он выполнил *малую великую* часть ее: отодвинул стрелки назад. А дальше началась та аритмия Времени, которая наполняет все десятилетие его действительного и — одновременно — мнимого полновластия. Действительное, кажется, не требует доказательств. Мнимое обнаружилось финалом, но не фигура красноречия — зачислить самого Хрущева в авторы развязки. Мы возвращаемся здесь к проблеме, поставленной выше: если всякая попытка сделать своей программой «анти-Сталина» при помощи его же наследства (бесконтрольности «идеальной» власти) должна была вернуть вспять либо загнать в тупик Хрущева, а вместе с ним и нашу *страну стран*,— имеем ли мы право, держась фактов, настаивать на том, что не только начальный, но и общий результат «хрущевского» времени внес перемену в самое Время? Чтобы избавить вопрос от метафизичности, зададим себе испытательный тест. Освободимся от предвзятого балла, который принято ставить схватке 1957 года, из которой Хрущев, казалось, поверженный, вышел не только не утратившим власть, но и приумножившим ее. Из своего торжества Хрущев извлек, как известно, уроки разного рода, в том числе и в духе Сталина. Чего стоит лишь коварное «освобождение» от маршала Жукова, чьей поддержке он немало был обязан своей победой над комплотом старой гвардии и новых постсталинских деятелей?! Список грехов Хрущева не менее, если не более длинен, чем список его заслуг. Но ведь не числом и даже не умением, а смыслом стоит мерить итог. И если мы не отказываемся от предложенного теста, то по причинам, как раз относящимся к смыслу или, иначе говоря, к возможности (или невозможности?!) возврата к нему, равнозначному возврату к политике, *возрождению политики*.

Перефразируя давнишнее каменевское «Мы создали рынок», вправе ли был бы итоговый Хрущев сказать: «Мы (в единственном лице!) создали человеческое — социальное и культурное, мыслительное и трудовое — разнообразие, мы заново ввели многоукладность, наполнив ее новым, современным, в политику переходящим, политику определяющим и политикой определяющимся содержанием»? Не вправе, ибо не ввел. Не помышлял ввести. Не располагал для этого ни внутренними ресурсами, ни извне приходящими побуждениями. Был бы он у власти в 1968-м, принял ли бы сахаровский вариант домашнего и вселенского «общественного договора» или дал бы, подобно преемникам, команду: вперед на Прагу?! Хочется, естественно, предположить, что остановился бы перед вторым, но повернуть «конвергенцию» внутрь СССР, *внутрь социализма*, наверняка не только бы отказался, но и осерчал бы на свой манежный и иной манер. (Да и от Сахарова бы, на этот манер, скорее всего отрекся бы. Если «там» на место ослушника Оппенгеймера нашелся свой Теллер, то у нас, где талантов не меньше, чтобы заместить ослушника в высоком ученом ранге, кандидатов с избытком достаточно.) Но опять-таки в Хрущеве ли дело или в той самой неподатли-

вой, распятой, отлученной «многоукладности», от первой Голгофы и от вторичного хрущевского отлучения которой исходил и марш на Прагу, и лагерный диссидентский «марш», и многое из того, что составило домашние Семидесятые, зачавшись в славные, улыбчатые, фестивальные Пятидесятые?!

Однако вернемся к нашему тесту: к 1957 году. Отстранимся от нравственной стороны дела. Средства, примененные тогда, что говорить, не из лучших (на память приходят 1928-й, 29-й), но что делать было, если любое промедление, всякая щепетильность могли открыть шлюзы реваншу? Но так ли? Реванш ли грозил хрущевской цели или, напротив, возобладал бы *реализм задач*, лишь прикрытый флером цели, и был бы отодвинут в сторону отнюдь не безобидный мираж: «коммунизм к 1980 году»? Вопрос отчасти риторический (победил-то Хрущев), с другой стороны, требующий документального прояснения — чего в самом деле добивалось большинство в том анонимном верху, который на Западе именуют «Кремль» (и что, к примеру, подвигло на присоединение к этому большинству одного из соавторов хрущевского «анти-Сталина» — Д. Т. Шепилова?).

И все-таки рискнем обозначить эту развилку, предположивши, что она была именно развилкой: «местом», где заново появились первые побеги альтернативности. Не в Кремле появились, за его стенами, но не безотносительно к Кремлю. К хрущевскому Кремлю, как и к Кремлю его противников... Кому-то из зарубежных публицистов и исследователей, упорно старающихся понять нас (если не ошибаюсь, это Джузеппе Боффа), принадлежит афоризм: Хрущев пытался совместить в одном лице главу правительства с лидером оппозиции (результат очевиден!). Замечено метко, но чересчур по-европейски. Я бы рискнул отредактировать этот парадокс, заменив формальный пост на человека, желающего занять опустевшее место вождя, а «лидера оппозиции» — на последнего из функционеров. Можно было бы даже сказать — на последнего из коммунистов, если понимать под словом «коммунист» не принадлежность к правящей у нас партии, а привязанность к *конечной цели*, воспринимаемой им, «последним», в духе функционерского романтизма 1920-х: как то, до чего рукой достать, тем более если эта рука властвующая, обладающая возможностью (и правом?!) превращать желаемое в команду, за которой должно последовать исполнение и только.

«Круглый» 1980-й, конечно же, не был сколько-нибудь выверенным, обсчитанным, напротив, он путал все расчеты и сроки. А его распределительный пафос не нуждался ни в «Капитале», ни в «Государстве и революции», да Хрущев и не утруждал себя, намечая время и размер изобилия и бесплатности, какой-либо классической книжностью (этим занималась на госдачах пишущая обслуга). Он же был гораздо ближе к самому себе, когда выговаривал свою заглавную, а по сути, и единственную идею запомнившимися с детства простыми и звучными словами: «Будет вам и белка, будет и свисток». На расстоянии — сюжет для Аркадия Райкина. Однако кто тогда осмелился бы оспорить эту не невинную блажь и не то чтобы указать на ее частные несообразности (были люди, открыто говорившие об этом), но опознать в ней источник бед, включающих наряду с новыми приступами разорения народа и новые позывы вычеркивания людей из жизни?

Говоря об этом, хочу и тут избежать упрощений. Последний функционер все-таки был не одиночкой и окружен был, если выйти за пределы Кремля и госдач, не только людьми, смотревшими (теперь) в рот ему, не только этими слугами всех господ, которым у нас, на нашу общую пагубу, несть числа и по сей день. Увлечение идеей — догнать и обогнать чванливые, удачливые, разжиревшие Штаты, притом беря в расчет не только космос, ракеты, ядерные запалы (их как — «на душу населения»?), а считая то, что действительно положено не мертвецам, а живым: пищу, крышу, одежду по вкусу,— вот по этому, новому счету догнать бы и обогнать их, разве это дурно, разве не по силам оно? Тут уж не один лишь зарвавшийся лидер в виновниках, тут даже не обман, а самообман, а *эпидемия самообмана*. И в заболевших, и в «болельщиках» мы обнаружим и самих себя, пригубивших от самого горького опыта и самых невозвратимых потерь. А может, именно потери эти, военных и послевоенных лет память, память-победительница, память-нищенка влекла и нас к «белке и свистку»? Не обойдем и действительных мужей совета. Перечитываю книжку С. Г. Струмилина «На путях построения коммунизма», вышедшую в 1959 году. Покойный академик был достойнейшим человеком, не боялся защищать травимых и умел, любил работать — считать без подручных. «...Элементарный расчет показывает,— писал он в названной книжке,— что при заданных условиях (то есть исходя из темпов роста на пятилетие 1950—1955 гг.— М. Г.) СССР обогнал бы США по объему всей продукции уже в 1962 г., а из расчета на душу — еще через два года, не позже 1964 г.» И в заключение — с полной уверенностью: у нас вскоре будет обеспеченная основа, «чтобы уже в течение примерно 5 лет после 1965 г. или несколько раньше догнать и превысить уровень производства в США на душу населения». Или несколько раньше! Тут уж Хрущев способен показаться более осторожным. Меня озадачили тогда эти расчеты, и я обратился за разъяснениями к крупному экономисту А. Е. Пробсту, который к тому же был в близких

отношениях с престарелым ученым. Несколько смущаясь, Абрам Ефимович сказал: «Он убежден... и в том особенно, что ему самому удастся дожить до коммунизма». Поистине нашими благими намерениями устлана дорога в ад. И только ли *была*?

Так не лучше стало бы, если бы взяла верх «антипартийная группа», вернувшись к заклейменной первоначальной программе Маленкова? Ни белки, ни свистка. Малая целина и никакого рязанского эксперимента. Группе «Б» скромное, но неустанное развитие. И, конечно же, космос, совершенствование средств человекоуничтожения, хотя, может, и без ракет на Кубе. Вероятно, и без хрущевских пенсий старикам, но, может, и без хрущевской «тихой» девальвации. Без самочинного кремлевского дара Украине — передачи ей Крыма, но и без региональных экономических правительств, перешагивающих границы и пределы раз и навсегда установленной державной власти (ибо, если вдуматься, чем иным могли бы стать хрущевские совнархозы, удержись они надолго,— чем иным, как не началом перекройки на рациональных и суверенных основаниях территориального деления, завещанного Сталиным, и прежде всего — началом превращения громадины РСФСР, каждый регион которой по необходимости восходит к Москве, в связанную целостность независимых республик — земель и цивилизаций, иначе говоря: чем иным, как не прологом к другой жизни, социалистической, но другой?!).

Думал ли об этом сам Хрущев? Более чем сомнительно. Но за него «подумали» противники, и опять-таки не в качестве голых реваншистов, а в роли блюстителей социализма и стражей равновесия, трезвых и расчетливых модернизаторов, не забывающих и соотнести — по шкале непременного, но не скорого мирового переворота — внутреннюю устойчивость с внешними катаклизмами и переменами. Оттого и знаменитая «хрущевская» триада — из мирного сосуществования, мирных форм революционной борьбы и многообразия вариантов «применения всеобщих истин марксизма-ленинизма в конкретных условиях»,— и она, не исключено, могла бы войти в обойму допустимых новаций и при ином составе правителей. Рискнули бы они включить в эту обойму «общенародное государство»? Отчего бы нет. Ведь все дело здесь в тех самых «конкретных условиях», на какие напирал основоположник, а уж его имя безусловно склонялось бы не реже, чем при Хрущеве и его, хрущевских, преемниках. Общенародное — значит, включающее *весь* народ, неотделимый от власти в любой из своих жизненных ипостасей, равно публичных и частных. Единство народа оттого и было бы по-прежнему незыблемым и соответственно — поддерживаемым и охраняемым. Пожертвовав «жаберными щелями» последнего функционера, взявшее верх большинство, само собой, не посягнуло бы на аппарат. Не стало бы тревожить его непредсказуемыми перестройками (стабильность, стабильность!), но не давало бы ему и распуститься, своевольничать в том, что сохранило бы этикетку «политика», оставляя в силе подспудный императив аппарата: *без собственного прошлого, без собственного будущего*. И это двойное «без» могло бы даже раздвинуться, минуя шумные эксцессы, но и не рискуя особыми послаблениями, вроде публикации «Теркина на том свете»,— раздвинуться вширь, включая в себя, в соответствии с традицией и идя навстречу веяниям времени, домашнюю технократию, врастающую в аппарат, в иерархическую субординацию с неотделимой от нее добровольно-принудительной идеологической дисциплиной. И в этом случае зачем бы, например, «почетному академику» Молотову ссориться с Академией наук, да еще вопрос: он ли, Молотов, задавал бы тон, ведь могла бы произойти и перегруппировка сил, например — блок Маленкова и Шепилова с Первухиным, Косыгиным и им близкими духом. А останься на своем посту прославленный, любимый народом маршал Жуков, то весьма возможно, что и он, даже именно он, сыграл бы самую весомую роль в последующей кремлевской перегруппировке, как и в технократизации всей системы, в приучении номенклатуры к требованиям ядерного и компьютерного века и не в последнем счете — в подтягивании «работяг»...

Близко ли к цели было все перечисленное? Соблазнительно сказать — нет. Не проверишь ведь. Я также склонен к «нет», затрудняет же меня объем и существо этого отрицания. То, что любой из наследников Сталина вынужден был бы отвести назад стрелки кремлевских курантов,— это бесспорно. Спорно же — пришли ли бы в любом случае эти часы в движение. Продолжим наш рискованный «тест», сказавши: аритмия Хрущева была если не абсолютно единственным, то близким к этому способом вернуться в лоно Времени. Его «анти-Сталин» быстро захлебнулся, и XXII съезд только кажется более высокой точкой, чем Двадцатый. Но к *не-Сталину* не было вообще прямого пути. От дальних и близких следствий опустошения в хозяйстве и культуре, в нравах и душах не было прямого пути к *другой жизни*. Особенно — от опустошений в душах. Впрочем, и это может показаться метафизикой, если не попытаться перевести сказанное, хотя бы в самом сжатом виде, на язык истории, заодно выверив самый язык, каким мы при этом пользуемся... Итак, шаг назад, даже шаги, ибо не один ведь шаг вел к почти осуществимой антиутопии. Еще раз: «Мы создали рынок». Не слышится ли в этом «создали» приговор нэпу, пролог к катастрофе 1930-го, а от нее и через нее — к

введенному социализму 1936-го, 1937-го? А от него, от его «введенности» (потребовавшей жертв без числа) — минуя трагический взлет и окровавленный последыш войны — *куда?* К ширящемуся все дальше на Запад и Восток пространству без душ? Конечный код сталинской державы: не средства, какие превыше цели, а цена, которая превыше всех наличествующих средств и исключает все известные людям цели. Цена как таковая. Единственность Цены — и Он в качестве ее единственного воплощения.

От этого наследия в 1953-м не был свободен никто. И никто не мог от него освободиться разом, как никто не мог от выравнивания смертью вернуться разом к равенству, воплощенному в человеческом достоинстве *каждого*, в способности *каждого* вернуть свое человеческое призвание: быть (стать!) собою. По законам «системы» — законам ее саморазрушения — вырваться из ее объятий значило либо объявить себя вне ее законов, либо попытаться встать над ними, открыто заявив себя противником «единственного воплощения», противником призрака его, его загробной власти над мыслями и поступками. Но встать *над* — значило остаться в пределах отрицаемого. Та же агония системы, те же законы ее саморазрушения влекли к еще одной попытке «введения». Последней ли? Ответом — судьба Хрущева. Вся — от освободительного первого шага до конечного минусового баланса. Признаем: не только первый шаг нам дорог. Но и минусовый баланс — общее приобретение. Нужное нам всем, не исключая никого.

Поэтому я отдаю предпочтение «великому десятилетию» с его новыми утратами и болями, с мучительными для всех шараханьями из края в край, с безумствами финала,— отдаю предпочтение перед предположительным, не исключенным, медленным скольжением и «рационализацией» сталинского наследия, какие могли бы проистечь из торжества «антипартийной группы». Рискованный тезис, я понимаю это. В некотором смысле — бездоказательный. Можно бы указать в виде аргумента на последышей Хрущева, но и этот аргумент слабый: ведь это его люди, им же отобранные, его вкусам отвечавшие. Это его, ожегшегося на Шепилове, ставка на затаенных иезуитов сталинской выучки типа М. А. Суслова либо на безгласных, но не безопасных ничтожеств вроде Ф. Р. Козлова, Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного (которого даже его не менее сильные партнеры по «забиванию козла» называли «пусто-пусто»); это его, хрущевская, эйфория мнимой цели, его судорожные попытки заполнить открывшийся со смертью Сталина простор отсутствия, заполнить чем-то, что было бы не менее масштабным, державным, «великим»; это его желание, сохранив в себе последнего функционера, удержать Мономахову шапку вождя,— это все, отозвавшись в людях, движимых сугубо разными помыслами, сделало одних из них его активными ненавистниками, а других — равнодушными свидетелями его падения. Ненависть, совокупившись с равнодушием, вывела нас всех на новый виток агонии сталинской системы. Достижение? Провал? Не те слова. Ибо агония — это не тихое умирание. На пороге смерти — всплеск жизни.

Его, хрущевской? В буквальном смысле — нет. Повстречайся с ним в последние опальные годы некто, не ведающий всего, что произошло в нашем отечестве между 5 марта 1953 года и 14 октября 1964 года, этот условный пришелец не обнаружил бы в Хрущеве ни созерцателя, подводящего итоги себе и времени, ни деятеля, лелеющего планы расширения круга сторонников и единомышленников. Нужно признать, что политиков в этом смысле, происходящем опять-таки из самого понятия «политика», у нас давно уже нет. Самому Хрущеву вряд ли приходило в голову, что убежденный коммунист может иметь *своих* сторонников, если не занимает положения, позволяющего иметь таковых. Что допустимо в сфере, очерченной иерархическими границами, недопустимо, а стало быть, опасно, а потому должно быть наперед объявлено вне закона — по ту сторону этих границ! Этого правила он нарушить не мог. И тем не менее преступил его — однажды, в тот решающий момент своей жизни, не будь которого, у нас не было бы и оснований его поминать, а преемникам его не пришло бы в голову (у страха глаза велики) окружать Новодевичье кладбище двойным кордоном милиционеров и солдат, оснащенных рациями. Чего, собственно, они боялись — изъявления добрых чувств или чего-то большего, о чем гласит старинная пословица: «Дурной пример заразителен»?

И впрямь: *против течения* редко когда остается в единственном числе. Чем дальше уходил Хрущев от своего начала, тем больше становилось людей (перефразируя Чернышевского, мы бы сказали: новых новых людей), готовых не только не допустить возвратного движения, но и сделать шаг вперед по сравнению с готовым — хрущевским началом. Шаг или, точнее, шаги. Шаги — открытия, притом, что открывалось ими не только то, что в отечественном и мировом запаснике, но и то, чему еще нет прецедента. Разные и не вполне согласуемые шаги. Спотыкающиеся на том самом месте, где споткнулось все хрущевское Дело — на переходе от анти-Сталина к не-Сталину: к иной жизни. Но это уже, как сказано другим русским классиком, «тема нового рассказа». Раскрывая его страницы, непременно поставишь все тот же мучающий поколения вопрос: неужто, как заведено у нас в России, так и задано нам менять себя чередой взлетов и падений?

Сегодня, оглядываясь на Пятидесятые и Шестидесятые, и то, что из них выросло, и то, на чем они оборвались, как будто бы нетрудно и ответить. Но это только — как будто бы. Ответ еще ждет развернутого смысла вопроса, накладывая запрет на «благородные умолчания»: несбывшихся надежд и замученных людей. Да и вопрос не один, а ответов заведомо будет много больше. И не попеняешь, что Образ, как и раньше, опережает Понятие — и набросками вопросов, и черновиками ответов. Ответ ли или только вопрос, поставленный Эрнстом Неизвестным,— памятник на Новодевичьем кладбище, где отливающая позолотой голова Никиты — освобождающего, Никиты — властвующего, Никиты — топчущего им начатое, Никиты — карибского и Никиты — новочеркасского, стоит на бело-черных, разделенно-единых подставках-остриях, стоит, открывая тот пестрый ряд, который завершает могила Александра Твардовского?!

И опять же не состязание, а вопрос, ответ которому дает длящаяся жизнь, чьим именем справедливее назвать ту оконченную, но не завершенную эпоху — именем Никиты Хрущева или именем Александра Твардовского? Именем первого ослушника сталинской системы, не сумевшего совладать со Сталиным в самом себе, или именем человека, которому первый дал возможность превозмочь Сталина в себе: ту возможность, которая родила раскрепощающее Слово — дверь из смерти в жизнь?!

PRO DOMO SUA

Почему я выбрал старинную латынь вместо более привычного послесловия? И вообще — зачем вдогонку тексту, у основного состава фактов и мыслей которого более чем пятнадцатилетняя давность, направлять строки, навеянные заботами сегодняшнего дня?

Одна причина вполне естественная. Взяв в руки текст, пролежавший годы в ящике моего письменного стола, я не мог удержаться от того, чтобы не привести рукопись хотя бы в некоторое соответствие с переменами, которые произошли во мне самом. Рубцы «родословной», вероятно, будут замечены читателем и поставлены в справедливый упрек автору, которому остается лишь сказать, что поскольку это *его* рубцы, они ему так же дороги, как и соображения, пришедшие в голову при доделке.

Но все-таки не ради одного этого — заключительные строки и латынь в заголовке. Pro domo sua буквально значит: «за свой дом». Тут вместе личное и общее — и сам дом, и отстаивание своего права (и долга!), следуя уже отечественной традиции, связывать былое с думами, узнанное и добытое исследованием с тем, что пришлось пережить — по собственной ли доброй воле или по «чужой» недоброй. Историк к тому же — не больше, чем посредник. Не больше, но и не меньше. Без него не быть тем *встречам без встреч*, которые показаны человеческой жизни, как одно из непременных условий того, чтобы она длилась и была *жизнью*. Всякое правило подтверждается исключениями. На беду нашу, у нас их накопилось слишком много, этих несостоявшихся «встреч без встречи». Слишком много оборванных нитей, на полуслове прерванных начал, преддверий, которые состоят не столько из бьющих в глаза совпадений прошедшего с нынешним, сколько из неприметных на первый взгляд уроков, какие один человек способен сообщить другому, лишь глядя в глаза и обходя тома с закладками. Вот и человека, о ком в этой статье идет речь, уже нет. И я не уверен, что он смог бы внятно изложить другому свой урок. Скорее наоборот — не смог бы, и это также входит в его судьбу.

Трудно соединить живые и мертвые руки, еще труднее — сблизить слова, когда утрачен словарь. В качестве посредника я не отождествляю себя с Хрущевым. На исповеди бы сказал, что, имей я даже хрущевский статус 1953—1956 годов, вероятнее всего не дерзнул бы решиться на первый — бессмертный хрущевский шаг. Но, зная это, знаю и иное: в той судьбе, когда читаешь ее от начала и до развязки, содержится не только неотвратимое поражение, там еще и кровь и грязь. Если я скрою это, я буду лжецом, которому не простится.

Ныне мы живем у себя дома под знаком разрастающихся перемен, тяги к очищению и обновлению. Но не смеем забыть — живем и после Чернобыля, и после Сумгаита. Кому дано наперед измерить, что весит больше? Вспомним еще раз пушкинское: ум человеческий не пророк, а угадчик. Угадывание же требует, чтобы ум был озабочен не только собою — глаголящим, взывающим. Даже если это взывание честное, без павлиньего хвоста, даже в этом случае уму-угадчику как не озаботиться о других: чтобы поняли они, чтобы приняли «угадку» за *свою*. Нет сейчас нужды важнее. Она и день вчерашний, и день завтрашний. Вчерашний свидетельствует: начиная с нэповских 1920-х, мы терпели поражение за поражением, уходя и не доходя от братоубийственных схваток к гражданскому миру — не идиллическому, но продуктивному, к миру-работнику, работнику-хозяину.

Завтрашний же день настаивает: мы все сообща, все поколения, все языки и «уклады», должны научиться выходить из домашних невзгод и неудач непобежденными, дав ради этого зарок — отныне не должно быть ни одного человека, ни одного народа, повергнутого ниц, затоптанного и терзаемого, оставленного в одиночестве.

Только так.

1971, 1988.

Ст. РАССАДИН

После потопа, или Очень простой Мандельштам

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса...

О. Мандельштам. 1910.

Русский поэт застыл перед армянской церквушкой... Впрочем, нет, вначале голос его вовсе не трепещет от благоговения:

«Аштаракская церковка самая обыкновенная и для Армении смирная. Так — церквушка в шестигранной камилавке...»

По описанию судя, речь о Кармравор, о церкви VII века в Аштараке, а ежели так, то поэт обсчитался: барабан ее купола — о восьми гранях. Хотя верней — и важнее — сказать: не поэт, но повествователь Мандельштам, автор прозаического «Путешествия в Армению». Поэт же, автор цикла «Армения», точен математически и не единожды отметит особенность древнеармянского зодчества: «Раздвинь осьмигранные плечи мужичьих своих крепостей...», «Держа в руках осьмигранные соты...»

Однако продолжим цитировать прозу:

«Дверь — тише воды, ниже травы. Встал на цыпочки и заглянул внутрь; но там же купол, купол!

Настоящий! Как в Риме у Петра, под которым тысячные толпы и пальмы, и море свечей, и носилки!»

Дальше, кажется, некуда. «Обыкновенную», «смирную» сельскую церковку да сравнить с собором святого Петра, центром всемирного католичества, шедевром Ренессанса, украшенным Рафаэлем и Микеланджело,— это уж, воля ваша, предел, апогей, перехлест в лести!

Но, оказывается, Мандельштаму и этого мало:

«Там углубленные сферы абсид раковинами поют. Там четыре хлебопека: север, запад, юг и восток — с выколотыми глазами тычутся в воронкообразные ниши, обшаривают очаги и междуочажья и не находят себе места».

«С выколотыми... тычутся...» Бедный святой Петр! И пойди пойми, ради чего приспичило для возвышения одного — армянского — архитектурного чуда унижать сожалеющей снисходительностью другое, итальянское!

Не поймем, не учтя, что архитектура была для Мандельштама не просто облюбованным «матерьялом»; он казался почти демонически одержим ею... Да почему «почти»? «Демон» ее, так прямо и скажет он, «сопровождал меня всю жизнь». Он писал о пирамидах и об Айя-Софии, о лютеранских кирхах и Казанском соборе, об Исаакии-гиганте и невысоких — «с квадратными окошками» — рядовых петербургских домах, всякий раз — не формулируя, нет, но обнажая исторические пристрастия, устои и перемены мироощущения. В молодости, в книге «Камень» (1916), сквозь эстетическую целесообразность Адмиралтейства Мандельштам, пристрастно любуясь, видел молодую державу Петра («Он учит: красота — не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра»), хотя, возможно, в особенности восхищал его парижский Нотр-Дам:

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть...

«Душа готическая» занимала тогда Мандельштама, и «камень», который дал заглавие первой книге («Кружевом, камень, будь и паутиной стань...»), был камнем готики, а она сама — повторюсь, умозрительным устоем тогдашнего мироощущения.

Он писал в статье «Франсуа Виллон»:

«Кто первый провозгласил в архитектуре подвижное равновесие масс и построил крестовый свод — гениально выразил психологическую сущность феодализма. Средневековый человек считал себя в мировом здании столь же необходимым и связанным, как любой камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление соседей и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил».

Прервемся: о чем это? О готическом «ихнем» средневековье? Или же о нашенском классицистическом XVIII веке? Во всяком случае—и о нем тоже, тем более что и он притягивал Мандельштама: то был самый расцвет иллюзий относительно сотрудничества лучших людей страны с самовластительным государством, и сами лучшие, Фонвизин, Княжнин, Дашкова, по самоощущению именно таковы (одно из немногочисленнейших и оттого броских исключений — Радищев, белая ворона, «камень», выломившийся из общей кладки).

Как бы то ни было, «готическая» цитата не расходится с азбучной социологией искусства. Да, готика с ее целесообразностью, выражающейся и в том, что были устранены части каменной кладки, не обусловленные механической необходимостью, с ее сочетанием эстетики и инженерного расчета не случайно же возникла в конце XII — начале XIII века, в пору усиления больших монархий, спада феодальных раздоров, образования городского самоуправления. Рационализация государства невольно хотела выразиться через рационализацию искусства.

Сквозь готику, благодаря ей Мандельштам захотел увидеть в раннем средневековье особый смысл, особую прелесть. Даже создал образ идеализированного, показательно разумного мироустройства.

То было наивно? Еще бы! Однако не более, чем многие из поэтических утопий. Ретроспективная мечта Баратынского о золотом пастушеском веке как противостоянии веку железному — или мечта Хлебникова о всеобщем пантеистическом равенстве, абсолютном настолько, что: «Я вижу конские свободы и равноправие коров».

К Баратынскому тут, впрочем, ближе, чем к Хлебникову: у Председателя Земного Шара его утопия пока что всего лишь несбывшаяся (пока — вдруг да уже сбудется!), у Баратынского же с Мандельштамом она давным-давно безнадежно опровергнута, и вольно ж упрямым поэтам ретроградно цепляться за нее, не принимая опровержений.

Цепляться, замечу, долго, всю жизнь — вот написанное в самом конце ее, вот утопия и идиллия, донесенные аж до самого 1937-го:

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд.
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид...

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

«Рядом с готикой жил...» А попадался вариант: «Ладил с готикой...» Ладил? Ой ли? Конечно, чего не насочинишь в пику отвратительной, по Мандельштаму, некромании египетских гробниц, воплощения строя, наделявшего «всячиной» только мертвых и оставившего памятники смерти, а не жизни,— но больно уж вызывающе неуживчив реальный люмпен Вийон, чья судьба на любом слуху, чтобы взаправду жить рядком и ладком с тогдашней да и всякой иной государственностью. Слишком утопична идиллия, идиллична утопия, чтобы выглядеть не понарошку...

Да, может, уже и не стремится выглядеть — после собственных зрелых и горестных осознаний?

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

Это стихи 1931 года; несколькими годами раньше проза представит все это несколько иначе: «...Самая архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм. Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов...» Представит, как видим, куда менее драматически (на гвардейцев, выходит, глядел вовсе не исподлобья, а во все сияющие глаза), представит даже с залихватским преувеличением, если взять за меру правды стихи, — а ими, как жизнеописанием души, и тут все нужно мерить. И сама по себе мандельштамовская державность, его надежда ужиться (как Вийон?) то ли в вымечтанном сверхразумном готическом средневековье *, то ли в державе, основанной и определенной Петром,— эта надежда была порождена «косноязычьем рожденья», разночинной обделенностью выходца из «инородческой», еврейской семьи, мучительным и безысходным желанием ощущать себя не подкидышем истории, а ее законным наследником.

Потому безысходность осознáется полной мерой, и хотя в позднем, знаменитом, трагическом «Я вернулся в мой город...» с первой строки будет семейно заявлено: «мой», а историческое имя города станет повторяться, как заклинание: «Петербург, я еще не хочу умирать... Петербург, у меня еще есть адреса...» (речные фонари, бытовая, скоропреходящая деталь, оставлены сиюминутности, по-сегодняшнему названы «ленинградскими», а имя города обращено в историю и возвращено ей),— все равно стихи полны обреченности на расставанье. С Петром, с городом, с жизнью, со свободой.

Это 30-й год. А до того очень долго все будет совсем не так, напротив. Правда, тень непричастности — или полупричастности — к государству печально мелькнет еще в предрубежном 13-м в «Петербургских строфах», в заключительном их двустрочии, но то будет мельканье беглой тени — тени мандельштамовского двойника, «чудака Евгения», отверженного городом и Петром персонажа «Медного всадника». Однако до этого промелька вопреки любым оговоркам и ущемленностям в стихах успеет великолепно и величаво запечатлеться город — пока что поистине «мой», центр и краса державы, к которой поэт

* «Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг» — вот оно даже как!

Мандельштам ощущает себя все-таки кровно причастным. У поэтов такое случается и получается — вопреки родословной.

Над желтизной правительственных
зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель...

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Город, воспринятый уж никак не «чудаком Евгением», мелюзгой, изгоем,— сама поэтика, не умеющая в отличие от деклараций ни притворяться, ни самообманываться, свидетельствует о том безапелляционно.

И вдруг... Да нет, совсем не вдруг, спустя годы и годы, а все же до неожиданности резко этот обаятельный, парадно-фасадный антураж изменит свое гордое назначение.

О порфирные цокая граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня...

Вновь цикл «Армения» — и не надо обладать особенной чуткостью, чтоб расслышать: «государственный» камень на сей раз в роли как бы невинной, однако помехи, заставляющей спотыкаться лошадку армянского мужика, коей тут и сочувствуют. Милая Мандельштаму «порфира» утратила возвышенную парадность, а «цоколь», принадлежность «правительственных зданий» Санкт-Петербурга, мало того что фонетически приземлен перекличкой с «цоканьем» клячонки, так еще и очевидно снижен непочтительнейшим эпитетом «лысый».

И — понимаешь: да это же *памятник*! Не буквально он, но его подобие: немонументальный монумент. Не скакун Петра Великого вздыбился на Гром-камне, не битюг Александра Третьего раскорячился на «комоде» — маленькая мужичья лошадка, цокая и спотыкаясь, трудно утверждается на уготованном ей природою пьедестале.

Бог упаси высматривать ненавистную Мандельштаму символику, однако чтобы он *так* увидал привычный армянский ландшафт и не увлекся, как в пору «Камня», лестной монументальностью сравнений, ему надо было стать иным. Иным решительно, принципиально, настолько, что возникла уж такая, казалось бы, несправедливая потребность язвительно противопоставить собору Петра «смирный» аштаракский храм, чьи создатели малыми средствами добились великого результата:

«Кому пришла идея заключить пространство в этот жалкий погребец, в эту нищую темницу — чтобы ему там воздать достойные псалмопевца почести?»

Совсем немного нужно для беседы с Богом (с природой, с самим собой), и «жалкий», «нищая» — слова не уничижения, а высшей из похвал.

Вольно — или скорее невольно — мысли Мандельштама откликнулся в повести «Добро вам» Василий Гроссман:

«Мне кажется, что древние армянские церкви и часовни построены совершенно. Совершенство всегда просто, всегда естественно, совершенство есть самое глубокое понимание сути и самое полное выражение ее, совершенство есть самый короткий путь к цели, самое простое доказательство, самое ясное выражение. Совершенство всегда отмечено демократичностью, совершенство общедоступно».

Вот! Слово найдено. Именно *демократизм совершенства* почувствовал, выразил и принял как собственный, трудно искомый и мучительно воплощаемый идеал приезжий поэт Мандельштам:

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечьми осьмигранными дышишь
Мужицких, бычачьих церквей.

Точность этого — «мужицких, бычачьих»,— от которой дух захватывает у повидавших армянские храмы, рождена не просто наитием. За ней и реальность, жизнь, быт. За ней — история, уж бог весть как ухваченная пришельцем. *Мужик и бык*, крестьянин и вол — самые начала бытия: не зря же в фольклоре Армении к волу обращаются с лаской и мольбой, называют другом и братом. Эта пара, вол и мужик, слитна, нераздельна (даже армянский «Судебник» XIII века перво-наперво, строго-настрого запрещал отбирать за недоимку именно волов); она — само воплощенье труда, где не до стараний выглядеть красиво, где условия работы — скупость движений, рациональность, «самый короткий путь к цели».

Давно зацитировано толстовское: дескать, писать стихи — то же, что пританцовывать за сохой. Но и вправду трудно найти более несовместимое, чем самоограничение пахаря и необремененные движения танцора, высвободившего свои избыточные силы.

Армянские церкви для Мандельштама (и для Гроссмана) — пахота, а не танец. Поэтому они «мужицкие». Потому «бычачьи». Труд наделил их собственной строгой эстетикой.

Однако не чересчур ли я размахался? «Демократизм»? «Естественно»? Даже — «просто»? А вдобавок, кажется, мелькнуло и вовсе дикое словцо «общедоступно»? И все это — применительно, как весомо считается, к элитарнейшему из стихотворцев? Смутному? Зашифрованному? И чем дальше от «Камня», от поэтической молодости — тем зашифрованнее, смутнее?

Да наконец (законный вопрос), почему разговору о петербуржанине-акмеисте, соратнике Гумилева и Ахматовой, невольничья жизнь которого поносила его по российской провинции, а закончилась страшно и глухо, в неразличимой бездне ГУЛАГа,— почему разговору о нем предпослан краткий эпизод его инонациональных впечатлений?

На последний вопрос ответим, не откладывая: стихи об Армении — *первое*, что написал Мандельштам после более чем четырехлетнего молчания... То есть он не молчал: писал прозу, статьи, переводил, но за собственные стихи не брался, не мог, не удовлетворяясь собою прежним и не находя себя нового: «Я сейчас нехорошо живу. Я живу, не совершенствуя себя, а выжимая из себя какие-то дожимки и остатки».

Это — из черновиков «Путешествия в Армению», и трудно не вспомнить схожее недовольство собою Блока, высказанное им в дневнике также в предощущении рубежа и перелома (как оказалось, далеко не только личного, но — общероссийской революции): «На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал».

Так получилось — почему, об этом надо писать отдельно,— что встреча с Арменией прорвала плотину. Начался — резко, разом — совершенно особенный период поэзии Мандельштама, с моей точки зрения, безусловно высший и даже, решусь сказать, творчески самый счастливый... Да, да! Разумеется, вместе с раскрепощающим душу прикосновеньем к простым («мужицким, бычачьим») первоосновам жизни возникнет и четкое осознание трагизма существования: «Петербург, я еще не хочу умирать...». И больше того, сама трагическая трезвость придет благодаря раскрепощенности — но именно благодаря! Для поэта и такая возможность самовыявиться и излиться — счастье...

По видимости мандельштамовский путь показательно противоположен схеме, согласно которой *должен* развиваться всякий поэт. Ведь говорим же, что смолоду сложные, «трудные» поэты (Пастернак, Заболоцкий) приходят в конце концов к «простоте», «ясности», «прозрачности» — хорошие эти слова ставлю в кавычки лишь потому, что за ними прячут еще одно: легкодоступность. (Которую я отнюдь не смешиваю с упомянутой прежде «общедоступностью», как не стоит смешивать угождение публике с завоеванием ее вкуса, удовлетворение первоначальных потребностей — с движением к идеалу, который, если он идеал, а не что иное, недостижим.)

А у Мандельштама — на тебе, как есть все наоборот! К какой там еще ясности и прозрачности надо стремиться от стихов, скажем, 13-го года? «Кинематограф. Три скамейки. Сантиментальная горячка. Аристократка и богачка в сетях соперницы-злодейки»,— ну, чистый Евгений Винокуров, наш с вами современник, его отчетливая, логически выверенная поэтика: «Кино немое. Здесь победа жеста. Неистовство трагического рта! Как он кричит! Похищена невеста. Фиакр. По грязи тянется фата»... И от этакой-то завидной, «неслыханной простоты» уйти через десяток лет в нечто не переводимое на человеческий язык, в «бессмыслицу скомканной речи», в «щебетанье щегла», как корил Мандельштама тот же «опростившийся» Заболоцкий?

Раскидать бы за стогом стог —
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.

Что — прошу прощенья за каламбур — сей «сон» значит?..

Упрямая субъективность Мандельштама, отчего-то вдруг расхотевшего подчиняться нормальной логике, ставила в тупик даже тех, кто любил его при жизни (нельзя сказать, чтоб таких было много), и тех (их еще меньше), кто понимал. Семен Липкин, знакомствовавший с ним в 30-е годы, вспомнил недавно — в журнале «Литературное обозрение»,— как озадачился, прочитавши строки 1917 года о супруге Одиссея: «...Не Елена, другая,— как долго она вышивала?» Ведь, рассудил он, вся штука в том, что у Гомера Пенелопа не вышивает, но ткет, затем тайком распуская сотканное,— а как незаметно распустить вышивку?

«Мандельштам рассердился, губы у него затряслись:

— Он не только глух, он глуп,— крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю,— продолжает Липкин,— рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: «В ваших словах был резон. Он не хотел исправить их упрямства».

Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама зиждилась на тогда мне неизвестных да и сейчас не всегда мне ясных основаниях».

Впрочем, признавшись в бессилии разобраться и понять, Липкин, думаю, здесь же предлагает — или хоть подвигает поближе к нам — ключик от мандельштамовского «шифра».

Когда пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык.—
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

«...Дальнейшие строки этого раннего стихотворения,— я продолжаю цитировать липкинские воспоминания,— вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса, мы не припоминаем именно те страницы, где веселых клерков каламбуры не понимает Домби-сын, или где клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь, но все стихотворение в це-

лом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию...»

Да, без сомнения: «скорее... восприятие». Но очень и очень важно, чье именно. Покуда — «*наше*». Не сугубо индивидуальное, ио соборное, что очевидней всего в книге «Камень». А уж далее Мандельштам, уходя от своей (нет, повторим, «нашей») ранней смысловой ясности, забираясь поначалу в дебри и кущи, из которых, надо признать, и впрямь не всегда сыщешь выход, идет тоже к ясности, к простоте, к гармоничности. Но уже — *к своим*.

Идет в глубь себя. Попросту — к себе. А ежели так, то, выходит, от нас, от «нашего»?

Нет. Не выходит — хотя легче легкого решить именно так.

Вот еще одни воспомииания, также напечатанные (у нас) недавно. Ирина Одоевцева. Ее рассназ, как Мандельштам в 1920-м читает ей стихотворение «Я слово позабыл...» и на строке: «Я так боюсь рыданья аонид...» сам себя обрывает вопросом:

— «А кто такие аониды?»

Выясняется, что это в ту пору уже весьма мало распространенное второе наименование муз он, не вникая в смысл, просто-напросто взял у Пушкина, но на совет своей юной собеседницы заменить их, коли уж так, Данаидами,— уж про тех-то по крайности точно известно, кто они таковы и отчего рыдают, наполняя свои бездонные бочки,— отвечает отказом:

« —Нет. Невозможно. Данаиды звучат плоско... нищий, низкий звук! Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее «ао». Разве вы не слышите — аониды? Но кто они?..»

К многому в воспоминаниях Одоевцевой, кажется, следует относиться с осторожностью (и, конечно, прежде всего к опровергнутому утверждению, будто Гумилев был «настоящим» заговорщиком), но этот курьезный случай, думаю, чистая правда — уж очень он «мандельштамовский». И чем курьезнее, *тем* «мандельштамистее».

Забыв в минуту творчества — да и после не сразу прнпомнив,— кто же они, треклятые эти аониды, то есть назвав их в стихотворении как бы бессмысленно, он безошибочно знает или хотя бы чувствует: они, именно они, а не рифмующиеся с ними Данаиды необходимы ему... Для чего? Представьте себе, как раз для смысла. Для «*нового смысла*»,— на сей раз закавычиваю затем, что слова не мои, а Юрия Тынянова.

Тынянов в статье «Промежуток», говоря о среднем периоде Мандельштама (двадцатые то есть годы), замечал, что «он больше, чем кто-либо из современных поэтов, знает силу словарной окраски, — он любит собственные имена, потому что это ие слова, а оттенки слов. Оттенками для него важен язык...»

В самом деле: «Я научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита...» «Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея». Или все то же: «Я так боюсь рыданья аонид, тумана, звона и зиянья»,— дело, стало быть, не в одних собственных именах. Мандельштам вообще полюбит такие звукоряды, где смысл сочетаемых слов ежели и явен, то явен странно, противоречиво, где одно слово вполне может опровергнуть другое, соседнее,— как оно и есть в стихах на смерть Андрея Белого: «Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!.. Непонятен — понятен, невнятен, запутан, легок... Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец».

Здраво-то рассуждая, нужно что-то одно: либо «учитель», либо «дурак». И, сказавши «студентик», зачем, объясните, бестолку добавлять: «студент»?

Это — словно обнародованный собственный черновик, ну, вроде того, как Пушкин в «Путешествии Онегина» подыскивал эпитет поточнее: «И в дрожках вол, рога склоня, сменяет...» Кого? Какого? Быстрого? Гордого? Пылкого? Легкого? Слабого, наконец? Ба! «...Сменяет хилого коня»! Да и у самого Мандельштама, если взять варианты гениального стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков...», впору поразиться, до какой же степени на ощупь, вслепую шел автор к последнему и единственному выбору. Что до строки «Потому что не волк я по крови своей...» — она-то определилась сразу и навсегда, а вот ее завершение не давалось долго. «...И за мною другие придут». Нет. «...И лежать мне в сосновом гробу». Нет. «....И во мне человек не умрет». «...И неправдой искривлен мой рот». Нет, нет. Пока не выбралось, не определилось: «...И меня только равный убьет».

(Хотя — что ж поразительного, если мучительно-неуверенный поиск означал не стилистическую шлифовку, а способность бесстрашно назвать по имени собственную судьбу, с открытыми глазами встречающую прыжок «века-волкодава».)

Но «Россия, Лета, Лорелея» или «тумана, звона и зиянья», где слова полупонятно, однако, несомненно, связаны и сращены,— дело особое.

Итак, «*новый смысл*» — вот к чему, согласно Тынянову, приходит мандельштамовский стих, идя «от оттенка к оттенку». Что ж, попробуем читать — не изучать, не вгрызаться, не расшифровывать; читать:

«Тому свидетельство языческий сенат,—
Сии дела не умирают!»
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

«Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!»
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

«Декабрист», стихотворение 1917 года,— итог лучшего, что было в раннем Мандельштаме. В нем — и детская крупность, первоначальность, и широта театрального жеста, и веселая откровенность книжных ассоциаций, выуженных на золотой полке отрочества: чубук, халат, пунш, гитара. «...В первом книжном шкапу всякая книга классична...» Но от лучшего, будущего Мандельштама тут лишь последнее четверостишие с его неповторимой сбивчивостью, которая и сама по себе подтверждает: да, «все перепуталось», с его чарующей, «сладкой» финальной строкой.

Почему Россия — тут что объяснять? Почему Лета? Это высокий стиль той эпохи,— а может, раздумья о забвенности декабристских деяний? Лорелея — пароль романтиков. И воплощение женственности. Вспомним к тому ж и «подругу *рейнскую*»...

Но мы-то ведь собрались не копаться в стихе — читать. А вычитали — больше того, что накопали: легкость декабристов, их ясность, когда все просто, хоть и опасно, когда сама жертвенность не разночинно-натужна, не надрывна, не патетична, но естественна, как естествен выбор, делаемый товарищеской, гвардейской, дворянской честью.

«Россия, Лета, Лорелея»... Перечитывая, замечаешь: сквозной звук «л» словно фиксирует эту завидную *л-л-легкость*.

А — «тумана, звона и зиянья»?

Эти стихи, напротив, полны ужаса. Ужаса неуслышанности, непонятости, невоплощенности:

А смертным власть дана любить
и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,—
И мысль бесплотная в чертог теней
вернется.

Ко всему здесь еще и Стикс, река в царстве мертвых, и все те же рыдающие аониды, и «мертвая ласточка», и загробная безысходная тишина: «Не слышно птиц. Бессмертник не цветет».

«Туман» (продолжаем догадываться) — это то, что застилает взор? Да, вероятно, что-то подобное: туман забвения, предсмертный туман — в любом случае это такое понятие, чьи эмоциональные границы достаточно определены. «Зиянье»? Но уж это образ, с детства мучивший Мандельштама: «Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья и между мной и веком провал, ров...» Наконец, «звон». Может быть, погребальный? Может быть. Но не это мне, читателю, важно. Совсем не это.

Вновь соображаю, дочитав стихи и продолжая в них вслушиваться. Это слово, «звон», по звучанию своему — вроде бы срединное, переходное от «тумана» к «зиянью». В его «з» и «н» еще откликается «туман» и уже нарождается «зиянье». И вдруг оказывается, что именно это слово, логическое обоснование которого в данном контексте наиболее шатко, зыбко, предположительно,— оно-то и завладевает строкой. Становится ее опорой. Череда согласных (не считая, понятно, глухого начального «т») создает словно бы физически ощутимую иллюзию звона: м — н — з — в — н — з — н...

Зачем мне это — именно это — нужно? А кто его — меня — знает. Просто я слышу и почти осязаю, как этот неясный мне «звон», неуловимое слово, которое вместе с соседними, эмоционально значимыми словами «туман» и «зиянье» вправлено (вернее, вплавлено) в нераздельный, только в этом соединении и существующий ряд,— это слово тем самым ушло, отключилось от прежнего своего словарного значения. И мы с вами теперь начисто избавлены от необходимости раскумекивать, что ж это, наконец, за звон, погребальный ли он или благовествующий, а может, еще какой,— важно одно: слово обрело особую жизнь *внутри* мандельштамовского стиха. Получило и отдало нам то, что мы незатейливо именуем «настроением»...

Я пустился в стиховедческие тонкости? Боже меня сохрани! Тем более, что эти самые «тонкости» чаще всего, напротив, оказываются грубостями — стиховеды, как правило, заносчиво-бесцеремонны в обращении с деликатным веществом (существом) стиха и, отважно его препарируя, мало заботятся о том, чтоб не потревожить тайну, загадку, чудо. А я — о другом. И ради другого.

Вот истина или, если угодно, банальность. Одна из естественных, подразумевающихся задач поэта — возвращать слову, которое мы, непоэты, безбожно затерли и затаскали в обыденном словоупотреблении, его первосвежесть, первосилу, первозвучание. Восстанавливать звуковую и смысловую цельность языка. Воскрешать этимологические связи.

Мандельштам делает именно это... и не совсем то. Он воскрешает и восстанавливает — о да, но по сугубо собственному проекту, предоставляя своим субъективным слуху, смыслу, ви́дению права строгой объективности...

Твердо знаю, что убедил далеко не всех. Знаю хотя бы уже потому, что стихи 1920 года с «туманом, звоном и зияньем», равно как и с неясного происхождения «аонидами», отнюдь еще не финал, не вершина поэтических мандельштамовских обретений.

Итак, то был 20-й год. В 30-м, все в том же цикле «Армения», возрастут и сложность, и простота стиха. Одновре-

менно — что, понятно, не парадокс. Усложнится, развиваясь дальше и подчиняя себе не отдельные строки, а уже всю плоть стихотворения, принцип построения «нового смысла» — и вместе с тем все меньше будут у нас возникать попытки логически, «по-людски», с точки зрения (вспомним) «нашего восприятия» объяснять необходимость того или иного слова. Потому что народилась своя ясность. Ясность — но только своя. Только своя — однако же ясность, которой не нужны ни разгадки, ни даже комментарии.

Прочтем:

Ах, Эривань, Эривань, иль птица тебя
 рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя,
 из цветного пенала?

Или:

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

О происхождении нескольких образов внятно, как добросовестный комментарий, говорит «Путешествие в Армению»:

«На балкончике вы показали мне персидский пенал, крытый лаковой живописью, цвета запекшейся с золотом крови. Он был обидно пустой. Мне захотелось понюхать его почтенные затхлые стенки, служившие сардарскому правосудию и моментальному составлению приговоров о выкалываньи глаз».

Вот он откуда, «цветной пенал», лаковая живопись которого, может быть, содержала в себе фигуры льва и птицы (обычная роспись персидских мастеров); вот откуда «рыжебородые сардары» и «казнелюбивые владыки». Вот по какой ассоциации появились они в стихах. Но разве ассоциация — это не более (впрочем, и не менее) чем родовспомогательное средство? Разве не ограничивается ее роль тем, что она пробуждает в поэте нечто заветное, до поры таящееся — и помогает ему стать явным?

Яркая чистота красок Армении, библейская, первородная, детская четкость, обходящаяся минимумом оттенков («с полдюжины карандашей» — больше не требуется!), — все это доверено рисовальщикам, которым в общем-то вовсе нет нужды переходить в стихи с поверхности некоего подвернувшегося пенала (а если б не подвернулся?). Их появление естественно до неизбежности. «...Иль птица тебя рисовала, или раскрашивал лев...» — и добавлено: «как дитя».

Замечательно, что и Василий Гроссман, восхищаясь демократическим совершенством «мужицких, бычачьих», то есть народных и природных, храмов, писал: «Кажется, ребенок сложил эту церковь из базальтовых кубиков, так по-детски проста и естественна она». «...Как детский рисунок, просты», — еще раньше определит свою меру красоты Мандельштам.

Да! Зверь, птица и ребенок — только и именно они, по его поэтическому допущению, могли быть творцами столь совершенных красок и линий. «Только дети, звери и народ», — скажет другой поэт, перечисляя тех, кто близостью к первоосновам огражден от многоликой пошлости; поэзия в этом единодушна.

...На страницах своей превосходной книги «В сто первом зеркале» В. Виленкин вспомнил об Ахматовой следующее:

«Она с явным удовольствием рассказывала, как однажды в больнице, куда она попала с тяжелейшим приступом аппендицита, санитарка, присевшая ее в постели, вдруг ей сказала: «Ты, говорят, хорошо стихи пишешь» — и на ее вопрос, откуда она это взяла, ответила: «Даша, буфетчица, говорила».

Ни один настоящий поэт не получает удовольствия от сознания своей элитарности и недоступности «простолюдинам»; он не видит в непризнанности повода для заносчивости. Каждому хочется быть народным, а если это не получается (имею в виду широту признания), не спешит обвинять непосвященных. «Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает...» — с такой словно бы запальчивостью писал Мандельштам в 1924 году и тут же обрывал сам себя, обнаруживая, что запальчивость — деланная: — «Да ничего он не заслуживает — пожалуй, просто ему не до них. Но какая разница между чистым незнанием народа и полузнанием невежественного щеголя!»

«Элитарный» поэт Мандельштам на деле не более элитарен, чем сама поэзия — если, конечно, не претендовать на уверенность, что Пушкин нам понятен до точки, не менее, чем Демьян Бедный; если не полагать, что лучшее у Некрасова не «Современники» или «Рыцарь на час», а «Размышления у парадного подъезда» и что из Есенина достаточно петь под гитару: «Ты меня не любишь, не жалеешь», не затрудняя себя чтением «Черного человека» и уж тем паче «Пантократора». И если вообще, читая поэзию, мы сумеем отдаться воле ее естественного потока, не самоутверждаясь и не муча отсутствующего автора вопросами, отличающими добросовестных дураков: а это что значит?.. а это про что?.. а это как понимать?..

Мандельштам не элитарен — ни в пренебрежительном, ни в снобистском смысле этого неоднозначного слова. Больше

того, он демократичен, народен — и в главных опорах, на которых держится его поэзия и поэтика, и тем более в нравственных ориентирах. И не стоит ломать голову над мандельштамовским «шифром». Надо лишь найти ключ — не отмычку, — надо войти, нащупать выключатель, повернуть его, и то главное, что предназначено для нашего понимания, само — изнутри — озарится ясным и ровным светом.

Само. Изнутри себя. Посторонний, да хоть бы и авторский комментарий, еще раз скажу, не нужен, не обязателен (это в данном случае), а очень часто он даже мешает чтению. И не одного только Мандельштама.

Понимая, на что замахнулся, объяснюсь.

Сдается, мы вообще слишком разобъяснили и задокументировали поэзию. Мы не перестали читать, но перестали или перестаем быть читателями, только читателями, просто читателями, и чуть не всякая, допустим, пушкинская строка обременена (и затемнена — вместо того, чтоб, по идее, наоборот, осветиться) биографическими подробностями, на фоне которых она родилась, а то и историческими реалиями, в ней воплощенными.

Иной раз крамольно подумаешь, в каком выгодном положении перед теми, чей каждый шаг учтен и описан, а поступок наколот на музейную булавку, такие творцы, как Гомер, Шекспир, армянин Наапет Кучак, тем более — авторы «Песни Песней» и «Слова о полку»; то есть те, о ком подчас неизвестно даже, кто они и сами ль сочинили свои шедевры. И захочется — в умозрительном смысле и в экспериментальных целях — некоего потопа местного значения, который смыл бы все, что «сверх программы», то бишь сверх, наряду и помимо творчества того или иного писателя. Его «души в заветной лире». Может, тогда, оставшись наедине с созданным им, с его «душой», мы сами бы поразились: таким, глядишь, неожиданным он предстал бы пред нами без свиты свидетелей, документаторов, толкователей. Предстал бы в своем истинном (оттого и неожиданном) виде, — ведь как бы то ни было, но подлинный облик писателя можно вызнать и вычитать только у него самого. «Остальное второстепенно» (Пастернак).

Пушкинское письмо Вяземскому, где Александр Сергеевич радуется потере интимных записок Байрона, — не мечта ли как раз о таком несмертельном потопе?

Любой добросовестный комментарий бесценен — но (по отношению к тому, что комментирует) и самоценен; даже, к примеру, такой прекрасный, как лотмановский к «Онегину», — впрочем, чем прекраснее, тем самоценнее. Может, и самоцельнее?.. Нет. Разумеется, нет. Он бесконечно полезен как путеводитель — но путеводитель скорей по эпохе, нежели по роману в стихах (читать роман, поминутно сверяясь с комментарием, — значит не прочесть его). А, скажем, набоковский — еще и путеводитель по самому комментатору, по его родословной, что законно и интересно, и Корней Иванович Чуковский был, полагаю, неправ, негодуя, что Набоков, встретив в романе имя адмирала Шишкова, не преминет упомянуть о своем с ним родстве по материнской линии или доложит, что гувернер и его, в точности как маленького Евгения, водил гулять в Летний сад.

Чтоб создать иной комментарий, Набокову надо было бы перестать быть Набоковым (а зачем?), — да и в любом случае подмога, которую следует ждать от комментария, направлена главным образом не на постижение произведения, которое он взялся комментировать. Напротив. Произведение, став бок о бок с комментарием, оказывается в схожей с ним роли, превращаясь в такое же — то есть утилитарное — орудие постижения эпохи, ее быта и нравов, того, что участвовало в создании произведения, но никак не больше того. Его поэтическая сила, прелесть и нестареющая новизна могут восприниматься только сами по себе, в том виде, в каком дошли до нас, — восприниматься нередко даже и вопреки дотошному комментарию. Ведь он, что там ни говори, есть обратный перевод с языка искусства, гармонически преобразившего сырую действительность, на язык непреображенной эмпирики.

Кропотливо, точно, многообразно комментированный Мандельштам — в будущем, хорошо, кабы недальнем, ибо уж его-то стихи, перенасыщенные необщеизвестными именами, приметами изощренной эрудиции, ассоциациями, часто упрятанными в подтекст до полной неразличимости, нуждаются в комментарии больше, насущнее многих и многих. Нуждаются — для изучения; к читателю Мандельштам пришел сам, каков он есть, сказавши нам все, что захотел и сумел, не меньше, не больше, — читайте!!!

Тем более (я тут вполне серьезен) отчего б не воспользоваться условием момента, даже обделенность свою — в данном случае толковым историческим и текстовым комментарием — попробовав осознать как преимущество? Да несерьезным и трудно быть, потому что потоп, который мы вообразили предположительно и полушутя, для судьбы Мандельштама не был, увы, только метафорой и смыл из памяти поколений его стихи и его имя...

Александр Кушнер недавно («Литературная газета», 1988, № 35) с печальным сарказмом заметил, что в некотором смысле «не повезло», скажем, Иннокентию Анненскому, скончавшемуся «всего лишь» от сердечного приступа в 1909 году. Или Михаилу Кузмину, умершему в предрубежном 1936-м от воспаления легких: «Вот если бы он прожил еще год-полтора и был репрессирован, как его ближайшие друзья, — тогда дру-

гое дело». Ибо — вот особенность нашей нынешней ситуации: «...Самоубийство, гонения, трагическая гибель входят в... комплекс представлений о судьбе поэта... отвечают читательскому спросу и готовности к сочувствию, состраданию и трагическому катарсису в конце. Тут уже не до стихов. Знают, понимают и любят не столько поэзию, сколько трагическую судьбу».

Мандельштам с лихвою хлебнул этого страшного «везения». Но сострадательное внимание, щедро подаренное ему любителями стихов (не издателями), именно в силу своей прекрасной сострадательности и его облик подвергло — нет, разумеется, не забвению, но изрядному перетолкованию. А ведь — так мне по крайней мере кажется — мир его поэзии часто оказывается неузнаваемо непохож на тот, какой мы способны себе представить, исходя из обстоятельств его тяжелейшей жизни, из смертной доли, которую он разделил с миллионами.

Обстоятельствам, доле упрямо противостояла душа.

Мой щегол, я голову закину,
Поглядим на мир вдвоем.
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Это пишет — в 1936-м, в Воронеже — смертник, таковым себя и ощущающий; а стихи (вероятно, как раз те, что вызвали сердитую иронию Заболоцкого, услыхавшего в них «щебетанье щегла» взамен отчетливой российской речи) полны... Чего? Надежды? Неутраченного уменья радоваться жизни за то, что она жизнь, а щеглу — что он «щегловит»?.. Впрочем, довольно сказать: полны. Наполнены. Полносущны, как сказали бы в старину.

В одиночестве и в забросе ссыльный поэт ищет товарища — да хоть в щегле, почему бы нет? — который мог бы сказать о мире нечто лучшее, чем способен сейчас он сам: «Так ли жестк?..» То есть и в минуты, когда особенно худо, он еще надеется объяснить колючесть и жесткость мира ущербом своего зрения.

Мир ему тяжелей обвинить, чем себя самого.

Мандельштам — поэт надежды. Поэт р а д о с т и, которую отнимали и убивали, но даже убивая не отняли.

В книге «Zoo» Виктор Шкловский пророчил Пастернаку: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».

Угадка, к несчастью, не подтвердилась — в том, что касается избалованности и любви (предполагалось: общей). Но тем удивительней — или для поэта естественней, нормальней? — что озлобления в самом деле не наступило.

Мандельштам не явился на свет изначально счастливым. «Косноязычье рожденья», «знак зиянья» — вот с чем, припомним, входил он в мир, не обладая с первых шагов той полноценностью самоощущения, какую получил в подарок от судьбы Пастернак, плоть от плоти интеллигент, художник, избранник, сын знаменитого живописца, ученик гениального композитора. Уж не говорю о его дальнейшей судьбе, рядом с которой печальное пастернаковское отщепенство покажется не меньшим подарком: о гибели в лагере и о том, что ей предшествовало и что, вероятно, было страшнее смерти. «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер» — так, по воспоминаниям Ахматовой, повторяла после его окончательного ареста жена, Надежда Яковлевна.

И то, что он — он! — не только не заболел озлоблением, но даже по-чеховски преодолел ущемленность своей «неполноценной» юности,— как это еще назвать, если не подвигом самосовершенствования?

«Мандельштам был активным строителем» (также слова его вдовы). Он «строил себя». Вопреки всему...

Доверчивая, простодушная, детская интонация очень долго сопровождала и перемежала одические тона «Камня», книги, в которой он изо всех сил хотел — и умел — казаться «державным»: будто северный, неуверенный, хилый вьюнок вился по колоннам санкт-петербургского ампира. «Дано мне тело — что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить кого, скажите, мне благодарить?» Или: «Как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня! Чужие люди, верно, знают, куда везут они меня».

«Куда везут...»? Через четверть века, в 1935-м, спецпоселенец Мандельштам ответит-откликнется себе двадцатилетнему:

Так я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне,

И со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала —
трех конвойных везла,

а продолжатся эти воронежские стихи желанием, насчет неистребимой наивности которого — только руками развести:

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Что это? Стремленье во что бы то ни стало доказать свою лояльность — вплоть до того, что арестант готов (выразимся жестко) сменить цивильную одежонку на шинель конвойного-вохровца?..

Вопрос не из фальшиво-риторических, не тот, в ответ на который припасено безмятежное восклицание: «Конечно, нет!» Стихи, написанные только из страха перед физическим уничтожением, были и у Мандельштама: «Мне хочется сказать не Сталин — Джугашвили». Или же: «Будет будить разум и жизнь — Сталин». Как были они у Ахматовой, надеявшейся

с их помощью вырвать из лагеря сына, но она же сама написала о воронежском мандельштамовском житье: «А в комнате опального поэта дежурят страх и Муза в свой черед». Да, случались часы, когда «аонида» уходила, была изгоняема страхом.

Такие — очень немногие — стихи Мандельштама б е з д а р н ы. По каждой из строк видно, что писались они мучительно, вернее сказать, вымученно, ибо то были не возвышающие муки слова, а унизительные муки страха. Быть может, и совести *.

Поэтика, сказал я, не умеет притворяться — в отличие от деклараций, и безумное стремление Мандельштама вопреки очевидному верить «чужим людям» («А я вверяюсь их заботе...») и, как сказано в начале 20-х годов, «тянуться с нежностью бессмысленно к чужому» — это стремление было искренним и свидетельствовало прежде всего о неисчерпанных ресурсах доброжелательности. Когда действительность 30-х холодно обходила его протянутые к ней руки или раздраженно била по ним, он долго еще надеялся, что его поймут. Надеялся, не надеясь.

Иногда ему казалось, что с его глаз вот-вот падут шоры (а то и пали уже) и приобщение к тому, чем так бравурно жила страна, зависит только от него самого:

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу,— и люди хороши...

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разлучили. А теперь, пойми,
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!

«А теперь, пойми...» Или, как было: «И хотелось бы тут же вселиться, пойми...» Это и впрямь как руки, протянутые за пониманием в последней надежде («перед смертью», когда даже словцо «хорошея» не звучит утешением, а обозначает необратимость умирания: известно же, что кончина нередко облагораживает черты лица). Но назовет он стихи: «Стансы», и пушкинское здесь не только название, не только «юноши тепличные», явно происходящие от «юношей архивных»,— тут и пушкинская доверчивая открытость иллюзиям. Та, которую невозможно, несправедливо оскорбить снисходительностью. Та, за счет которой стыдно самоутверждаться, кичась своей необольщающейся трезвостью, достоянием посредственности.

Если и дальше не избегать проясняющих аналогий, то, пожалуйста, вот и еще одна: принц Гамлет. Его горькое: «Век вывихнул сустав», the time is out of joint, и сопровожденное вздохом осознание собственной миссии: «О злосчастье, что я был рожден его вправить». Аналогия, впрочем, не менее законная, чем с Пушкиным или иным творцом,— самим же Мандельштамом и узаконенная: «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, и Гете, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами...»

Да от этой аналогии никуда и не денешься; сам поэт, конечно, крепко держал в памяти слова принца, когда писал в 1922 году:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

И еще оттуда же: «Тварь, покуда жизнь хватает, донести хребет должна, и невидимым играет позвоночником волна». «Позвонок», «позвоночник», «хребет» — эти однокоренные или синонимические слова на какое-то, притом долгое время станут у Мандельштама как бы пробой его духовного состояния, мерой отчаяния или надежды. Как, замечу, произойдет и со словом-понятием «век», предстающим многосмысленно и многообразно, но не случайно прошедшим череду превращений. У молодого поэта он «век мой, зверь мой» — «мой», состоящий с ним в дружестве или родстве, да и зверь-то, без сомнения, дикий, вольный,— совсем не то, что после переродившийся, кем-то прирученный и обученный «век-волкодав», бросающийся на плечи и ломающий хребет...

Связь, сочленение, восстановление — мания Мандельштама и его боль, так или иначе отзывающаяся в идущем «от оттенка к оттенку» образе-наваждении. Для грядущего поколения, в коем он подозревает равнодушное отвращение к прошлому, он найдет метафору: «Дети играют в бабки позвонками умерших животных»; в минуту отчаяния воскликнет: «Но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век!» (разбит — стало быть, уж не склеить, не вправить, поздно): в порыве жадной веры скажет, гля-

* Вспоминаю свой давний — в 60-х годах — разговор с Н. Я. Мандельштам.
Она прочла мою тогдашнюю работу о поэзии Мандельштама, писаную «для себя», без надежд и претензий быть напечатанной, и, столкнувшись с вышеприведенным суждением, заметила не без ревности:
— А вы знаете, что у него был и другой вариант: «Прошелестит спелой грозой Ленин... будет г у б и т ь разум и жизнь Сталин»?
— Надежда Яковлевна! — что называется, возопил я.— Да какая разница? Что плохо, то уж плохо, этого никакой фрондерской правкой не спасти. Да ведь кроме того — это же в похвалу Осипу Эмильевичу, что т а к и е его стихи бездарны, что ему омерзительно было их писать, что он в этот момент даже мастерство свое утрачивал.
Н. Я. засмеялась и согласилась... Впрочем, рискну сказать, что стихи Мандельштама, оказавшиеся, как нынче выражаются, «судьбоносными», а главное, действительно сильные: «Мы живем, под собою не чуя страны... там помянут кремлевского горца...» и т. д.,— даже они, причем по схожей причине, не вполне достойны их автора.
От эпитета «сильные» нисколько не отрекаюсь, но скажем так: чтобы написать их, надо было чувствовать нестерпимую боль, гнев, ненависть, обладать огромным талантом,— но не обязательно быть только и именно Мандельштамом.

дя на «татарские сверкающие спины» молодых дорожных рабочих:

Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два...

Мандельштам хотел стать костоправом времени, его мостостроителем; он «строил» не только себя самого, не только в себе преодолевал «знак зиянья». Его гамлетическая роль была им осознана как величественная — при его-то стихотворных самоуничижениях: «старик и неряха», «щелкунчик, дружок, дурак». Дружелюбно, едва ли не умоляюще протягивая руки «могучему некрещеному позвоночнику», он готов был в общем стремлении к «перековке» предлагать и просить: «Измеряй меня, край, перекраивай...» (как и Пастернак, взывавший к эпохе: «Переправляй, но только ты»), однако им обоим не хватало полноты самоотречения. Куда последовательнее был, скажем, Луговской: «Возьми меня в переделку и двинь, грохоча, вперед»,— потом, позже он смягчит просьбу: «И вечно веди вперед», но ранняя редакция выразительней. «Двинь, грохоча» — как харьковский трактор с конвейера, а трактору и отлички от подобных ему не нужно, разве что порядковый номер: «Хочу позабыть свое имя и званье, на номер, на литер, на кличку сменять».

Кому тогда думалось, что метафора оденется плотью и многие, а среди них Мандельштам, действительно сменят имя на лагерный номер?..

Мандельштам тоже благодарно, зависимо ощущал себя обретающим новые силы вместе с временем: «Мы учились не говорить, а лепетать — и лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык». Но себя, своей личности, «имени и званья» он не мог уступить веку — хотя бы и, как считалось, ради него. Отверженному, многократно униженному, Мандельштаму в высочайшей степени было свойственно чувство самоуважительной самоценности (а как иначе? «...Поэзия есть сознание своей правоты»). «Я с веком поднимал болезненные веки»,— скажет он в стихах 1924 года и даст в соседствующем стихотворении переиначенный вариант: «Кто веку поднимал болезненные веки...» Самоощущение человека одной судьбы с веком — и больше того: вершителя этой судьбы. По крайней мере одного из вершителей.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом океан деля.
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

«Ну что ж, попробуем»,— сказано с физическим усилием человека, который будто бы принял решение «попробовать» лишь по некотором добросовестном размышлении (дело, дескать, серьезное) однако приняв, не станет откладывать («ну что ж...»). И эпитет «скрипучий» — как бы подтверждающий след личного, трудного, шкиперского прикосновения к рулю. К повороту истории, к которой Мандельштам, как он полагал, имел основание ощущать свою прямую причастность. Даже — ответственность.

Тютчевскую любовь к роковым, поворотным минутам истории он воспринял еще в юности, сохранив до конца: «Прообразом исторического события — в природе служит гроза. Прообразом же отсутствия события можно считать движение часовой стрелки по циферблату. Было пять минут шестого, стало двадцать минут». Объектом стойкой его неприязни был эволюционный прогресс, «при котором улетучивается дух события», и — даже! — сама по себе теория эволюции в природе.

Он спорил с Дарвином. Спорил и с «романтическим» предшественником дарвинизма Ламарком. Тут, правда, спор вышел странным...

Был старик застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Здесь — как часто у Мандельштама — тоже не обошлось без прозаических (как бы) черновиков.

«У Ламарка басенные звери»,— насмешничал он, имея в виду способность приспосабливаться к условиям жизни. «Лафонтен, если хотите, подготовил учение Ламарка. Его умничающие, морализующие, рассудительные звери были прекрасным живым материалом для эволюции» — и вдруг полемика нелогично оборачивалась признанием в любви:

«Ламарк боролся за честь природы со шпагой в руках»... (Вот он, «черновик», первый набросок того фехтовальщика, почти д'Артаньяна, в которого прихотливо преображен почтенный натуралист. И дальше: «...По-моему, стыд за природу ожег смуглые щеки Ламарка. Он не прощал природе пустячка, который называется изменчивостью видов.

Вперед! Aux armes! Смоем с себя бесчестие эволюции...

Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда».

Если тут нужны пояснения, вот они. Жан Ламарк (1744—1829) располагал все живые организмы в их развитии от простого к сложному — по принципу лестничного восхождения. Но, объясняя постепенное возрастание организмов влиянием среды, этим не ограничивался. По словам Энгельса, «истинным стержнем теории Ламарка является признание необъяснимого для него «стремления организмов к совершенствованию».

«Необъяснимого»... Таинственного.. Вот этот-то «фехтовальный» романтизм и оказался мил Мандельштаму — в пику строжайшему дарвиновскому рационализму.

Так что ж — стало быть, научная полемика в стихах? Самоновейший Лукреций? Но вот тут-то и расходятся — разительным и решительным образом — мандельштамовская «вторая реальность» и ее прозаическое подножие, комментарий к ней, способный не прояснить дело, а сбить и запутать нас

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

Тут, впрочем, расхождения еще нету: «В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данте. Низшие формы органического бытия — ад для человека». И старик Ламарк, как тень Вергилия, ведет поэта по ступеням и кругам своей преисподней, все ниже и ниже:

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: «Природа вся в разломах,
Зренья нет,— ты зришь в последний раз».

Он сказал: «Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил».

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех.

Кто тут — Ламарк? Этот стыдливый эволюционист? Да при чем он здесь вообще? Он ведь не угрожал человечеству движением вспять, он честно прослеживал мерный путь к совершенствованию,— это разве лишь воспаленная поэтическая фантазия отчего-то, будто крутя кинопленку обратно, ударилась в этакую мрачность.. * Нет. Уж если надо искать истинного оппонента непременно в среде натуралистов, так это, скажем, Кювье с его теорией катаклизмов, разрывов в жизни природы, гибели всего предыдущего, предживущего. «И от нас природа отступила... И подъемный мост она забыла, опоздала опустить...» От спокойно констатирующего «забыла» к отчаянному, паническому «о-по-здала» — это ужас покинутости «на том берегу», тот самый «знак зиянья», которым Мандельштам самолюбиво мучился с детства, но уже разросшийся до апокалипсических размеров. А подключая наш нынешний опыт, еще не во всем доступный Мандельштаму, можно сказать: до реальных размеров и ненафантазированной бесповоротности атомного финала. Ядерной зимы. Или, может быть, до состояния некоего идеального концлагеря, совершенной тюрьмы, где с помощью нравственной лоботомии люди доведены до крайней обезличенности и обесчеловеченности, превращены в низшие организмы, погружены в «глухоту паучью»... Но это уже расшифровка, производимая читателем не столько Мандельштама, сколько Замятина, Оруэлла или Василия Гроссмана (см. в «Жизни и судьбе» гимн, пропетый чекистом-подследственным Каценеленбогеном лагерям — низшей форме организации человеческого общества, которую тот вдохновенно пытается выдать за наивысшую).

Хотя и читателем Мандельштама — тоже.

О «современности» произведений прошлого, пусть и недавнего, надо говорить с осторожностью, и если я о ней все же ответственно говорю, то лишь потому, что к этой «современности», которая ныне всем очевидна, в прежние десятилетия и века прорывались наиболее сострадательные из художников: призрак глобальной трагедии для них витал и над тем, что у их современников не рождало решительно никаких печальных ассоциаций. Как здесь — всего-то подумаешь, над натуралистской схемой-кривой, над ламарковской «лестницей», утешительно рисующей путь наверх.

Эта, казалось бы, всего лишь простительная причуда поэтической фантазии — проявление уникально чуткого гуманизма в его *нынешнем* нервно-тревожном качестве. Гуманизма, сознающего, что он сам и мы на краю катастрофы, последнего из «разломов»,— *мы* в самом глубинном, истинном, широчайшем смысле: не выборочные «мы», противостоящие «им» по, скажем, сословному, национальному, государственному признаку, да даже и не в зависимости от реальных личных достоинств, а в том многострадальном гуманистическом смысле, который так долго, презрительно и нелепо именовался «абстрактным».

И — куда более обоснованно — христианским.

Ад, преисподняя в воображении человека и человечества — всегда воплощение того, что наиболее страшно и противоестественно. В «антиутопии» Мандельштама, в его индивидуальном апокалипсисе самое страшное — обделенность не чем-то особенным, отличающим особь от особи, пусть даже самым достойным, «элитарным» в ничуть не оскорбительном смысле, но *нормаль-*

* Правда, спустя месяцы после окончания статьи я обнаружил: так сказать, танцуя совсем от другой печки, к схожим, однако все же иным выводам приблизился Юрий Карякин (см. «Иностранную литературу», 1988, № 8). Он цитирует замечание Ламарка, сделанное словно скользь, в сноске: «Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания»,— и пораженный сверхсовременностью старинной цитаты, говорит, что Мандельштам, по-видимому, ее не знавший, с тем большей чуткостью «уловил страшную тревогу всей мысли Ламарка». Довыявил именно ее. Возможно, во всяком случае, интересно — хотя, думаю, мысль поэта и здесь не нуждалась в чужой, сторонней опоре

ным, всечеловеческим, попросту — человеческим.

От своей собственной, частной ущемленности и ущербности сквозь иллюзии и соблазны, сквозь муки непризнания и гонений (муки трагические, но все-таки связанные с личной, отдельной судьбою) — к единению, братству, соборности с людьми, определенными лишь тем, что они — люди. Народ. Человечество. Иных резонов не нужно. Иные, те, что кажутся высшими, как раз недостаточны. Недостойны.

Словом, именно таков путь Мандельштама, при всей его резкой своеобразности органично вошедший в общее русло классической российской традиции, неуклонно демократической по своим устремлениям и ориентирам — в совершеннейшей независимости от частных проблем поэтики, «легкой» или «трудной», и связанным с ними указателем популярности, большей или меньшей.

Единение, братство, соборность — «всего лишь» в трагедии, да! Но это и есть, быть может, главнейшее из единений, ибо в нем больше всего сказывается высокий инстинкт нравственного самосохранения (синоним чего — искусство, поэзия).

Процитирую напоследок из «Батюшкова»:

Он усмехнулся. Я молвил «спасибо»
И не нашел от смущения слов.
Ни у кого — этих звуков изгибы...
И никогда — этот говор валов!..

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства...

Братства!

...И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
«Я к величаньям еще не привык,
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык».

А процитировав, припомню:

— Если бы я нашла Оськину могилу,— говорит мне Надежда Яковлевна Мандельштам, — ...

(Каюсь с улыбкой: спервоначалу, по глупости меня слегка шокировала эта домашность: словно она не имела права называть его таким образом, как и другого близкого ей великого поэта: «Анька — озорница!»)

— Если бы я нашла могилу, я написала бы на плите: «...Только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык».

Уж она-то знала, что говорила. Дело не только в том, что это поразительное стихотворение — тайный автопортрет, запечатленный облик, которому Мандельштаму очень хотелось соответствовать. В самом этом двустрочии — ну, не весь, но «главный», решительно неповторимый Мандельштам, именно он, только он. Его непрошедшая удивленность от редкой, сумасшедшей, «случайной» удачи: родиться на Земле человеком и вдобавок — вот уж везение из везений! — поэтом. «За радость тихую дышать и жить кого, скажите, мне благодарить?.. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло».

Георгий АДАМОВИЧ

Владимир Набоков

От публикатора

Творческий путь Георгия Викторовича Адамовича (1894—1972) начался в Петербурге, где он, студент университета, стал членом «Цеха поэтов» — кружка акмеистов, возглавляемого Н. С. Гумилевым. В 1916 году в издательстве «Гиперборей» вышла его первая книга — «Облака», одним из читателей которой был А. А. Блок, пославший автору письмо со сдержанно-отрицательной оценкой стихов, искупавшейся, впрочем, дружественным тоном, «вернее — наставительно-дружественным, от старшего к младшему, проникнутым той особой, неподдельной человечностью, которая сквозит в каждом блоковском слове», как писал Г. Адамович впоследствии.

В 1922 году вышла вторая поэтическая книга Г. Адамовича — «Чистилище». В это время он работал переводчиком в созданной А. М. Горьким редакции «Всемирная литература», активно участвовал в литературной жизни послереволюционного Петрограда. В 1923 году Адамович уехал за границу. Он продолжал писать стихи — в 1939 году в Париже вышел его сборник «На Западе», а в 1967 году он выпустил маленькое «избранное» — книгу «Единство. Стихи разных лет».

Но с годами Г. В. Адамовича все больше и больше привлекала литературная критика. Здесь он нашел свое второе и, вероятно, главное признание. Его перу принадлежат многочисленные статьи и рецензии, публиковавшиеся в различных периодических изданиях русского зарубежья; в течение ряда лет Г. Адамович вел литературный отдел в газете «Последние новости».

И. А. Бунин называл Георгия Адамовича «лучшим критиком в эмиграции». Думается, в этих словах нет преувеличения: все, что писал Г. Адамович, отмечено огромным литературным талантом, страстным исканием правды, верностью и нелицеприятностью литературных оценок. Он выработал особый, «эссеистический» тип критических статей и мемуарных очерков, позволяющий ему рассматривать явление литературы с разных сторон, оставаясь при этом субъективным, пристрастным в своих непосредственных оценках.

Критическое наследие Г. Адамовича велико по объему. Часть его вошла в три книги: «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955), «О книгах и авторах» (Мюнхен — Париж, 1966) и «Комментарии» (Вашингтон, 1967). Г. В. Адамович — автор литературных мемуаров, в том числе об А. А. Ахматовой и И. А. Бунине (воспоминания о Бунине написаны по просьбе редакции «Литературного наследства», но в выпущенный в 1973 году «бунинский» том не вошли и опубликованы А. Бабореко в журнале «Знамя», 1988, № 4; это — единственная публикация критического наследия Г. Адамовича в СССР).

Предлагаемая читателю статья «Владимир Набоков» вошла в книгу «Одиночество и свобода». Следует иметь в виду, что она написана до выхода в свет и книги «Другие берега», и знаменитого романа Набокова «Лолита» (с которым вскоре познакомится и советский читатель). Но, думается, при всей пристрастности и субъективности оценок Г. Адамович увидел то главное, что составляет стержень и своеобразие творчества Набокова, и честно отдал ему дань.

В переписке со мной Г. В. Адамович неоднократно говорил о своем отношении к творчеству Набокова, говорил, быть может, резче, чем в статье, предназначенной им для печати. Так, в январе 1968 года, вскоре после переиздания романа «Защита Лужина» (ныне пришедшего к советскому читателю), Георгий Викторович писал: «Защита Лужина» написана Набоковым давно, лет 35 тому назад. Этой осенью (1967 года.— И. В.) роман был переиздан с моим предисловием (и переводом авторского предисловия к английскому изданию). <...>

Что Вам сказать об этой книге? Набоков, бесспорно, замечательный писатель, и я, нисколько не покривив душой, написал в предисловии, что это, вероятно, самый талантливый современный русский романист (теперь, к сожалению, пи-

шущий по-английски). Но есть что-то леденящее, мертвящее в его даровании. Не случайно он считает своим учителем Гоголя. Да, Гоголь в нем есть, но без гоголевской духовной драмы, без гоголевского конца. Все у Набокова куда-то летит, но будто мимо цели. Очень странное явление, для западной литературы, м[ожет] б[ыть], и характерное, но ничем не связанное с Россией. Если и Гоголь, то гораздо больше от «Носа», чем от «Шинели».

В марте этого же года в следующем письме он вернулся к «набоковской» теме:

«Нравятся ли мне стихи Набокова? У него есть несколько стихотворений замечательных. Но именно только несколько, написанных как будто в минуту просветления и отказа от «литературы», в дурном смысле. В целом я его стихов не люблю. В сущности, не люблю и его романов, но это мое личное дело, м[ожет] б[ыть], даже мой недостаток: талант у него редкий. «Лолита» удручительна для меня тем, что в этом романе, где как будто все о любви, именно любви-то и нет...»

...В феврале 1972 года Ю. П. Иваск написал мне: «22-го февраля получил печальное известие о внезапной кончине Георгия Викторовича Адамовича. Грустные дни». И сразу вспомнились слова, написанные Георгием Викторовичем в одном из писем: «...Сказать Вам хотелось бы многое. Как знать, может быть, когда-нибудь встретимся?»

Надеюсь, что вскоре состоится встреча советского читателя с прекрасным поэтом и тонким критиком Г. Адамовичем, верное и честное слово которого будет услышано на Родине.

Игорь Васильев.

О Владимире Набокове могут возникнуть какие угодно споры. Невозможно отрицать лишь одного: того, что он писатель исключительно талантливый.

Утверждение это вынесем, как говорится, за скобки. Все дальнейшие рассуждения с ним связаны, до известной степени на нем даже и основаны. Набоков, вне всякого сомнения,— явление необыкновенное, а если дальше и не обойтись без многозначительного словечка «но», то не потому вовсе, что бы мне лично его писания были не по душе. Критикам следовало бы помнить, что их личные симпатии или отталкивания, их личное «нравится» или «не нравится»,— не говоря уж о каких-либо счетах или обидах,— имеют значение лишь в тех случаях, когда за ними есть нечто общее, по крайней мере в их представлении. Обыкновенно людям, а критикам в особенности, нравится в искусстве то, что более или менее на них похоже или им соответствует,— как и раздражает то, что в духовном смысле против них обращено. Но вправе ли мы требовать этого сходства, этого соответствия? Вправе ли сетовать на его отсутствие? Нет, конечно. В мире есть тигр и есть райская птица, есть дуб и есть репейник, все живет, все по-своему совершенно или по-своему слабо, и «критиковать» тигра можно бы только за то, что он плохой, неудавшийся тигр, никак не за то, что он кровожаден или не умеет летать... Набокова я даже не собираюсь и критиковать. Мне хотелось бы только его понять, самому себе объяснить. Читаешь его — и восхищаешься: как искусно, как блестяще! Но тут же и недоумеваешь, чуть ли не пожимаешь плечами: к чему этот блеск? неужели в настоящей литературе нужен блеск? что за ним? к чему — в особенности — это постоянное, назойливое стремление удивить? откуда эта сухая и мертвящая грусть, которой все набоковские писания пронизаны? Что-то в этом редкостном даровании неблагополучно. Что именно?

Разумеется, найти Набокову в нашей литературе место и приклеить к его творчеству ярлык было бы нетрудно. Дитя эмиграции или «певец беспочвенности», или поэт еще чего-либо,— почему бы не успокоиться на одной из таких формул, решив, что дело сделано и остается лишь развить основное положение? Достаточно, однако, после очередного упражнения в формулах раскрыть любую из набоковских книг,— например, «Отчаяние», лучший, мне кажется, его роман,— чтобы убедиться, что схема, представлявшаяся приемлемой и правильной, существует «сама по себе», а сомнения и недоумения Германа или Цинцината — тоже «сами по себе», и ничего общего между тем и другим нет. Предлагаемое толкование как будто и логично, и разумно, а Набоков — нечто столь причудливое, что о логике не приходится и говорить. С понятием эмиграции — т.е. с понятием отрыва, разрыва — он может быть и связан, но связан лишь в плоскости состояния, а не в плоскости темы. А в творчестве важна ведь именно тема, то есть преодоление состояния, победа над унизительной и, к сожалению, для всего внетворческого неумолимо-верной марксистской формулой о бытии и сознании.

Для творчества показателен, главным образом, его строй, или — по-другому — его тон, звук, окраска, то, что выражает самую сущность замысла, то, чего автор не в силах ни придумать, ни подделать. Придумать фабулу можно ведь какую угодно,— как в стихах можно нагромоз-

дить сколько угодно возвышенных мыслей и соображений без того, чтобы стихи стали поэзией: для оценки, для понимания надо вслушаться в стихи или в прозу, не следует слишком доверять голословным притязаниям на те или иные чувства! В набоковской прозе звук напоминает свист ветра, будто несущего в себе и с собой «легкость в мыслях необыкновенную». Упоминание о гоголевском герое не совсем случайно: ключ к Набокову — скорей всего у Гоголя, и если — как знать? — суждены ему какие-нибудь творческие катастрофы или перерождения, то, вероятно, это будет случай гоголевского типа, основанный в сущности своей на жажде тепла, света и жизни.

Да, жизни... У Гоголя «Мертвые души» начинаются со знаменитого, незабываемого разговора о колесе, одной из удивительнейших страниц всей русской литературы. «Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет» — «А в Казань-то, я думаю, не доедет?»—«В Казань не доедет»... Кажется, что ничего живее и быть не может, и если таково начало, то что же будет дальше: ведь это только виньетка на обложке, намеренно однотонная и карикатурная, а живопись настоящая вступит в права позднее. Автору для будущих чудес картинности как будто придется сделать лишь самое незначительное усилие, нажать «чуть-чуть». Но дальше автор нажимает не «чуть-чуть», а вовсю, неистовствует, расточает неслыханную роскошь средств,— и все-таки, все-таки жизнь уходит от него, как черепаха от Ахиллеса, и расстояние в какое-то неуловимое «чуть-чуть» остается. Порой думаешь даже, что он перечертил, переусердствовал,— иначе невозможно понять, почему у Собакевича или у Ноздрева, освещенных лучами в тысячи, в десятки тысяч свечей, все-таки нет крови в жилах, как у ничтожнейшего из толстовских персонажей, еле-еле, вскользь намеченных. И все без исключения гоголевские люди таковы, даже Акакий Акакиевич, даже старосветские старички!» Их создателю недостанет ощущения разницы между организмом и вещью, у него как будто нет животворящей влаги в образах.

Впечатление, оставляемое Набоковым, приблизительно такое же, и пример Гоголя доказывает, что эта природная сухость может сочетаться даже с истинной гениальностью. Оставив «Отчаяние», где по самому замыслу все двоится и отбрасывает фантастически-зловещие тени, напомню, что некоторые рассказы Набокова требуют как будто самых обыкновенных эмоций. Однако и тут герои его внушают не сочувствие, а скорей любопытство... Люди, о которых рассказывает Набоков, очерчены в высшей степени метко, но — как у Гоголя — им чего-то недостает, чего-то неуловимого и важнейшего: последнего дуновения, или, может быть, проще — души. Оттого, вероятно, снимок так и отчетлив, что он сделан с мертвой неподвижиой натуры, с безупречно разрисованных и остроумнейшим образом расставленных кукол, с какой-то идеальной магазинной витрины, но не с живого мира, где нет ни этого механического блеска, ни этой непрерывной игры завязок и развязок.

Гоголь был писателем трагического склада, и если бы даже не существовало «Переписки с друзьями», можно было бы и по «Мертвым душам» догадаться, каким камнем лежало на нем его восприятие мира... Трагедий никому не следует желать, и дай Бог Набокову обойтись без них! Но удивительно все-таки, что камень у него обернулся какой-то пушинкой и что сочиняет он роман за романом, один другого страшнее и «отчаяннее», с видимым удовольствием и без всякого внутреннего препятствия. Редкостная его плодовитость сама по себе законна и естественна, но отчасти и подозрительно-показательна, ибо обнаруживает какую-то механическую сущность набоковского творчества, развивающегося будто в безвоздушном пространстве. Считать Набокова, как это иногда делается, просто «виртуозом», техником, человеком, которому все равно, что писать, лишь бы писать,— глубоко неправильно: нет, у него есть тема, он ею одержим, сам того не вполне, может быть, сознавая. На поверхностный взгляд должно бы показаться, что основное творческое видение Набокова связано с ужасом перед будто бы неизбежным соскальзыванием человечества к уравнительным социальным формам, к насильственному «всемству». Ужас такой Набоков, по-видимому, действительно владеет. Но как у Франца Кафки — с которым у автора «Отчаяния», вопреки распространенному мнению, лишь очень немного общего,— истинная сущность его писаний все же иная.

Обезжизненная жизнь, мир, населенный «роботами», общее уравнение индивидуальностей по среднему образцу, отсутствие невзгод и радостей, усовершенствованный «муравейник», одним словом, довольно распространенное сейчас представление о будущем: тема эта Набокову, пожалуй, близка. Один из его романов — «Приглашение на казнь» — ей и посвящен. Но не думаю, чтобы существовал писатель, у которого фабула отчетливее отделялась бы от содержания, не совпадая с ним, не покрывая его. И «Приглашение на казнь» — пример такой двойственности. Фабула романа не вполне самостоятельна и оригинальна по замыслу, на ней лежит налет стереотипности, сразу понятной и знакомой, почти что вульгарно-злободневной. Фабула эта достойна бесчисленных романов-утопий, печатаемых в популярных журналах,— и если в те времена, когда Достоевский писал о «шигалевщине», она требовала острого ума и прозорливости, то теперь, разжиженная и измельчавшая, она не требует ничего. Эти нарочито «кошмарные» картины будущего,

с людьми под номерками, с чувствами, разделенными на реестры, с регламентированными страстями и прочим, и прочим,— все это стало литературным «ширпотребом», а главное, сколько бы все это ни было занимательно в качестве страшной сказки или кинематографического сценария, пророческая ценность подобных видений крайне сомнительна. Неужели уравнительные веяния так неодолимо сильны, что должны без остатка уничтожить многовековое, могучее, вечно обновляющееся разнообразие мира? Неужели наши личные, на протяжении нескольких десятилетий сложившиеся опасения можно распространить на судьбы всего человечества? Плохо в это верится, «нас пугают, а нам не страшно». Плохо мне верится и в то, что Набоков, инстинктивно или сознательно, дальше бы такой темы не пошел.

О чем же тогда он пишет? Боюсь, что дело гораздо хуже, чем если бы речь шла о водворении ультра-коммунистических порядков в тридцать шестом или семьдесят втором веке и что, не произнося ее имени, Набоков все ближе и ближе подходит к вечной, вечно-загадочной теме: к смерти... Подходит без возмущения, без содрогания, как у Толстого, без декоративно-сладостных, безнадежных мечтаний, как у Тургенева в «Кларе Милич», а с невероятным и непонятным ощущением: как «рыба в воде». Тема смерти была темой многих великих и величайших поэтов, но были эти поэты великими только потому, что стремились к ее преодолению или хотя бы только бились головой о стену, ища освобождения и выхода. У Набокова перед нами расстилается мертвый мир, где холод и безразличие проникли так глубоко, что оживление едва ли возможно. Будто пейзаж на луне, где за отсутствием земной атмосферы даже вскрикнуть никто не был бы в силах. И тот, кто нас туда приглашает, не только сохраняет полное спокойствие, но и расточает все чары своего дарования, чтобы переход совершился безболезненно. Разумеется, «переход» здесь надо понимать фигурально, только как приобщение к духовному состоянию, перед лицом которого даже былые сологубовские сны показались бы проявлением здорового, кипучего юношеского энтузиазма.

Еще одно замечание, в подтверждение тех же мыслей: если эрос — в высшем, очищенном смысле слова — есть основа, сущность и оправдание всякого творчества, то антиэротизм Набокова, его замыкание в самом себе, духовная безысходность его писаний наводят тоже на тревожные догадки. Ему как будто ни до чего нет дела. Он сам себя питает, сам к себе обращен. Он скорее бредит, чем думает, скорее вглядывается в созданные им призраки, чем в то, что действительно его окружает... Легко было бы принять одну из готовых, наставительных критических поз и в качестве нового Добролюбова преподать один из стереотипных советов: ну, скажем, побольше веры в человечество, побольше работы над собой! Но советы редко доходят до адресатов, а до такого адресата, как Набоков, не дойдут ни в каком случае. Да и кто вправе был бы их ему давать? Отчаянием, однако, жить нельзя, и даже в изощреннейших словесных узорах нет от них убежища.

Не раз, впрочем, Набоков к будущему «муравейнику» возвращается. Очевидно, представление это все-таки очень его занимает или задевает,— я хотел было написать «тревожит», но не режет ли слух такое слово в применении к Набокову? — и, например, рассказ его «Истребление тиранов» мог бы оказаться вставной главой в «Приглашение на казнь». Это вариант на ту же тему, с теми же, пожалуй, прорывами в какую-то более страшную, темную сущность.

Блестящий и странный рассказ! К тирану, Набоковым изображенному, едва ли кто-нибудь почувствует хоть какую-нибудь симпатию. Но и то вызывающе-индивидуалистическое, демонстративно-аристократическое, тот безмятежно-заносчивый душок, которым рассказ проникнут, смущает и коробит. Если именно *это*, только *это* тиранству должно быть противопоставлено, стоит ли вести борьбу? Много ли *это* лучше, нежели то, над чем Набоков так талантливо издевается? Если действительно предстоит борьба, если она уже происходит в мире, не окажется ли игра проиграна из-за отсутствия смысла в ней, из-за невозможности вдохновения в борьбе при такой ставке на будто бы справедливой, праведной, взывающей к общечеловеческому сочувствию стороне? Вопрос остается без ответа. Но лично для меня по крайней мере в размышлениях о Набокове без тысячи вопросительных знаков не обойтись никак.

Набоковский тиран — самый средний, заурядный человек, и рассказывает о нем человек тоже средний, бывший в юности его приятелем и товарищем. Рассказчик вспоминает его поступки, его слова и содрогается от бессильного презрения. Он доходит до галлюцинаций. Он готов на покушение и заранее отчетливо видит «потасовку», которая последует, он видит «человеческий вихрь, хватающий меня, полишинелевую отрывочность моих движений, среди жадных рук, треск разорванной одежды, ослепительную краску ударов и затем (коли выйду жив из этого вихря) железную хватку стражников, тюрьму, быстрый суд, застенок, плаху, и все это под громовой шум моего могучего счастья». От злобы у него мутится сознание. Ему кажется, что вернейший способ покончить с тираном — убить самого себя, «ибо он весь во мне, упитанный силой моей ненависти». Но его спасает смех. Тиран не страшен, тиран смешон — и потому бессилен над теми, кто это поймет.

Нравоученье сводится, значит, в рассказе к тому, что все на свете может быть обезврежено смехом. Что же, дай Бог, чтобы это было так: тогда приходить в ужас не от чего! Расхохочемся в нужную минуту, и все угрозы и страхи исчезнут. Но едва ли Набоков в самом деле убежден, что это так. Есть в его рассказе кое-что от «Записок из подполья», кое-что от «Зависти» Юрия Олеши, а, по существу, это, пожалуй, новейший вид дневника новейшего «лишнего человека», в бессильном отчаянии протестующего против оглупения и огрубения мира. Нарицательный, собирательный «тиран», с чертами не то сталинскими, не то гитлеровскими,— однако, несомненно, глупее обоих исторических «тиранов»,— изображен скорей карикатурно, чем портретно. Но карикатура ярка и метка, и один эпизод с приемом старухи, вырастившей двухпудовую репу, чего стоит! «Вот это поэзия,— резко обратился он (тиран) к своим приближенным,— вот бы у кого господам поэтам поучиться!» — и, сердито велев отлить слепок из бронзы, вышел вон».

Да, тиран ничтожен и отвратителен. Облик его зловещ. Набоков прав в своем отталкивании... Но еще раз: что он ему противопоставляет? Свободу? Свободу для чего? Спрашиваю об этом без малейшей иронии, без всякого намерения указать, что если нечего противопоставить, то не надо и обличать. Нет, обличать надо. Отталкиваться надо. Искать приемлемого решения всех неурядиц и кризисов надо. Но что думает Набоков о возможности решения? Думает ли он вообще? Благоволит ли думать? После галереи «свиных рыл», не менее ужасных, чем Собакевичи и Плюшкины, хоть нередко и драпирующихся в какие-то поэтические складки, остается ли он многоуспешным литератором, или смутит его в конце концов то, что созданию Собакевичей и Плюшкиных придало глубину и смысл: ночь, камин, дотлевающие листки рукописи о «душах» уже не «мертвых»... Набоков — большой русский писатель. Есть же все-таки в нашей литературе какая-то особая сила, обязывающая большого русского писателя согласоваться с ее особыми основными законами!

«Дитя эмиграции»... В самом начале этого очерка я эти слова написал в порядке ироническом, не придавая им значения. Но не только в романе или поэме, а и в самой обыкновенной статье нельзя предвидеть, к чему мысль, цепляясь одна за другую, придет,— и, высказав несколько соображений о Набокове, я в качестве вывода и заключения готов себя спросить: а не в самом ли деле он — дитя эмиграции?

Эмиграция — явление сложное, с многочисленными разветвлениями, политическими, житейскими, национальными, бытовыми, и можно, конечно, по-разному сущность этого явления отразить или выразить. Несомненно, однако, что эмиграция связана с убылью деятельности, с убылью сознания и чувства, будто в мире каждому человеку есть дело и есть место, несомненно, что эмиграция, так сказать, «ущербна» по самой природе своей и, значит, может художника, особенно чуткого, выбить не то что из колеи, а как бы и из самой жизни... Выбить куда? Если бы мы знали, куда, то не было бы и «ущербности», которой, кстати, и не ощущают люди, увлеченные вопросами насущно-практическими: сегодня одно заседание, завтра другое, сегодня доклад, завтра контр-доклад и так далее... Для художника, в особенности художника набоковского склада, ответ другой: в «никуда». И не то чтобы он об этом именно и писал, нет,— но он в том состоянии пишет, в котором, кажется, что ничего ниоткуда не вышло и никуда не идет. У него все связи оборваны. Он играет в жизнь, а не живет в том, что пишет. Он не проверяет слухом жизненной правдивости своих писаний потому, что жизненной правдивости для него нет: все, что о ней сказано,— для него пустяки, притворство, все это выдумано тупыми бездарностями, вроде Чернышевского, на которого с таким капризным легкомыслием обрушился он в «Даре»! Это, между прочим, удивительная и как будто глубоко не-русская набоковская черта: беззаботность в отношении «простоты и правды» в толстовском смысле этой формулы или во всяком другом, щегольство, скольжение, отсутствие пауз и внутренних толчков, резиново-бесшумная стремительность стиля, холощенно-холодный, детски-дерзкий привкус, ребячески-самоуверенный и невозмутимый оттенок его писаний.

Но если «дитя эмиграции», то не это ли именно сын эмиграции и обречен был выразить? Догадка правдоподобнее, чем на первый взгляд кажется. С догадкой этой становится вдруг понятно, как могло случиться, что большой русский писатель оказался с русской литературой не в ладу. Могло ли быть иначе? — если гипотезу эту принять. Пришлось ли когда-либо прежней русской литературе жить в безвоздушном пространстве? Могло ли одиночество ни в ком не вызвать безразличия или даже ожесточения, ни у кого не отразиться в видениях, в общем складе творчества, до нашего времени неведомом? Нет ничего невозможного в предположении, что Набоков именно в его духовной зависимости от факта эмиграции, как следствие этого факта, и найдет когда-нибудь национальное обоснование.

Несколько слов о стихах Набокова.

Он, несомненно, единственный в эмиграции подлинный поэт, который учился и чему-то научился у Пастернака. О вли-

янии Пастернака у нас говорят постоянно, однако большей частью ссылаются на него механически, без разбора: если стихи не вполне вразумительны, значит, автор идет по стопам Пастернака,— и суждения такие приходится не только слышать, но и читать.

Школы Пастернака не существует. Пыталась перенять некоторые его черты Марина Цветаева, но на этом и сгубила свое когда-то очаровательное дарование. К чему ей был Пастернак? Набросилась она на него с той же безрассудной поспешностью, как когда-то бедный Кольцов на Гегеля, и результаты получились довольно схожие. Цветаева, начитавшись Пастернака, «влюбившись» в него после нескольких других своих литературных влюбленностей, стала ежеминутно, в каждой строке сбиваться, спотыкаться, задыхаться. Речь перешла в сплошные восклицания и вскрикивания, непрерывно уснащенные «анжамбанами». Не говорю о других цветаевских особенностях, с годами усиливающихся: было и гениальничанье, была и истерика, правильно отмеченная Святополк-Мирским, но это к Пастернаку отношения не имеет. Он-то, во всяком случае, нервам своим воли никогда не давал.

Пастернак неясен как поэт, т. е. не ясен в целом. Стихотворные его приемы ничего загадочного в себе не таят. Несомненно, стихи его по сравнению, например, со стихами блоковскими возникают из словесных сочетаний, которые в момент возникновения ни с какими эмоциями и чувствами связаны не были. Слова у него рождают эмоции, а не наоборот. Блок определил стихи свои, как «мало словесные» (предисловие к «Земле в снегу»). Стихи Пастернака густословесны и то и дело доходят до подлинного буйства слов, образов, звуков, метафор, будто толпящихся и подгоняющих друг друга. В этом буйстве поэту некогда в образы свои вглядываться — куда там! — что и приводит к тому, что, если в некоторых стихах нарушить ритм и прочесть их как прозу, ахинея получится невероятная. В стихотворении, посвященном Анне Ахматовой, например, сообщается, что поэтесса «испуг оглядки приколола к рифме столбом из соли»,— и чудовищную цитату эту я привожу почти что наудачу, их можно было бы сделать тысячи. Здесь нет нарочитого разрыва с логикой, как у многих западных поэтов, здесь логика в сцеплении понятий, по-видимому, соблюдена, но через какие испытания приходится ей, несчастной, пройти! Пастернак к ней безжалостен и безразличен, он мчится, несется, вместе с ним мчатся, несутся, кружатся, даже будто куда-то ввинчиваются его стихи, и нельзя не признать, что порой порыв их неотразим. Пастернак — один из немногих современных поэтов, к кому можно без улыбки применить слово «вдохновение». Звуки? Звуки вполне варварские, и столкновение пяти-шести согласных Пастернака нисчуть не смущает (например: «как кость взблеснет костел...»). Звуки скорей всего державинские, если и не по интонации строки, то по стремлению согнуть, скрутить стих так, чтобы, худо ли, хорошо, все нужные слова в нем утряслись.

Когда-то Пушкин восхитился строкой Батюшкова:

> Любви и очи, и ланиты...

— и отметил ее волшебную итальянскую легкость. С тех пор, за сто с лишним лет, это итальянизированное сладкозвучье поблекло и выдохлось и, как обычно бывает в искусстве, стала неизбежна реакция. Если воспользоваться для несколько грубого, но образного сравнения цитатой из «Плодов просвещения», можно сказать, что поэтов «потянуло на капусту», и, в частности, Пастернак затосковал о державинской мощной, но уже Пушкину казавшейся безнадежно устарелой неразберихе. Как Державин не останавливается перед тем, чтобы нарушить строй фразы, переставить куда вздумается слова, как Державин в азиатском упоении свирепствует над своей поэзией, так и Пастернак мнет, жмет, калечит свои стихи, нагромождает нелепости и неистовствует, особенно в области сравнений. Еще пример и опять наудачу: юность у Пастернака «плавает в счастьи, как наволока в детском храпе». До чего неверно, до чего возмутительно произвольно, какая грязная работа! — хотелось бы воскликнуть... если бы только не чувствовалось в этом потоке бессмыслицы какого-то трагического вызова рассудку, вызова ясности, стройности, пушкинской дивной, но оскудевающей, ссыхающейся поэтической почве. Если бы не было очевидно страстное, напролом идущее стремление эту почву по-новому взрыхлить. И если бы не было тут подлинной поэтической одержимости, если бы не слышалось раскатов высокой, хоть и еще невнятной, музыки, глухого подземного ее гула. Иногда, впрочем, все, что казалось смутным, проясняется. Иногда Пастернак в своем косноязычье доходит до пафоса, в котором руда его поэзии плавится и начинает светиться — как в удивительных, величавых заключительных строфах сбивчивого в общем «Лета», с причудливым сплетением тем платоновских и пушкинских. Или как в «Никого не будет в доме...» (из «Второго рождения») — стихотворении обманчиво простеньком, полном смысла, чувства и прелести, одном из тех, которые в сокровищнице русской поэзии должны бы остаться навсегда.

Но я увлекся Пастернаком, хоть и не думаю, чтобы увлечение это не было оправдано. Без Пастернака трудно к набоковской поэзии подойти, да и вообще, говоря о стихах, как о Пастернаке не вспомнить, а вспомнив, как на нем не задержаться?

Некоторые из сравнительно ранних набоковских стихов звучат настолько

по-пастернаковски, что иллюзия возникает полная:

> Такой зеленый, серый, то есть
> весь заштрихованный дождем,
> и липовое, столь густое,
> что я перенести — Уйдем!
> Уйдем и этот сад оставим...

Здесь перенято все: и приемы, и интонация, эти строки кажутся выпавшими из «Второго рождения» или из «Поверх барьеров». Но стихи эти писаны двадцать лет тому назад, а с тех пор Набоков от заимствований освободился и нашел в поэзии себя.

У него на мой слух меньше романтической музыки, чем у Пастернака, который при всем, что есть в нем спорного, все-таки пленителен в общем своем облике. Что там ни говори, как над некоторыми его фокусами ни морщись, Пастернак — «поэт до мозга костей», только в стихах и живущий, только ими и дышащий. Набоков, подобно ему, не боится ни словесных излишеств, ни словесных новшеств, а мираж окончательной, недостижимой простоты,— некоторых современных поэтов подлинно измучивший,— никакой притягательной силы в себе для него не таит. Его вдохновение не силится подняться над словом, а, наоборот, с упоением в нем утопает: он ворожит, бормочет, приговаривает, заговаривает и все дальше уходит от того, что можно бы назвать поэтическим чудом, от двух-трех волшебно светящихся строк, к которым нечего прибавить, в которых нечего объяснять. По всему тому, что в писаниях Набокова позволяет о нем догадываться как о человеке, забота о будущем должна быть ему чужда. Предположить, что Набоков хотел бы потрудиться на «ниве русской словесности», можно было бы лишь с намерением заведомо юмористическим. Между тем, сознательно или невольно, он как будто вспахивает почву для какого-то будущего Пушкина, который опять примется наводить в нашей поэзии порядок. Новый Пушкин, может быть, и не явится. Но ожидание его, тоска о нем останется, потому что едва ли кто-нибудь решился бы утверждать, что вся эта ворожба, эти бормотания и недомолвки, все это следует отнести к свершениям, а не к опытам и поискам.

Однако Набоков — поэт прирожденный, и сказывается это даже в поисках. Некоторые стихи его прекрасны в полном значении слова, и достаточно было бы одного такого стихотворения, как «Поэты» или «Отвяжись, я тебя умоляю...», чтобы сомнения насчет этого бесследно исчезали. Как все хорошо в них! Как удивительно хороши эти «фосфорные рифмы» с «последним чуть зримым сияньем России» на них! Здесь мастерство неотделимо от чувства, одно с другим слилось. Натура у автора сложная, и в качестве автобиографического документа чрезвычайно характерно и длинное стихотворение о «Славе», где все прельщающее и все смущающее, что есть в Набокове, сплелось в некую причудливую симфонию.

Поэзия эта далека от установленного в эмиграции поэтического канона, от того, во всяком случае, что в последнее время стали называть «парижской нотой» (до 1939 года другой общей «ноты», пожалуй, и не было, слышались только отдельные голоса, волей судеб разбросанные по белу свету: литературная жизнь сосредоточена была в Париже). Набоков к этой «ноте» приблизительно в таком же отношении, в каком был Лермонтов к пушкинской плеяде,— и подобно тому, как Жуковский, столь многому эту плеяду научивший, над некоторыми лермонтовскими стихами,— не лучшими, конечно,— разводил руками и хмурился, так недоумевают и теперешние приверженцы чистоты, противники всякой риторики, враги позы и фразы над сборником стихов Набокова, лишь кое-что в нем выделяя... По-своему они правы, как по-своему — но только по-своему! — был прав и Жуковский. Однако в литературе, как и в жизни, умещаются всякие противоречия, и никакие принципы, школы или методы — а всего менее «ноты» — не исключают в ней одни других. Не методы и не школы одушевляют поэзию, а внутренняя энергия, ищущая выхода: ее не расслышит у Набокова только глухой.

Время кадровой революции

•

Анатолий Рыбаков. Тридцать пятый и другие годы. Роман. Книга первая. «Дружба народов», 1988, №№ 9—10.

•

«Дети Арбата» принесли Анатолию Рыбакову успех. Успех — это и тысячи читательских откликов, и десятки, если не сотни интервью, и тиражи, и переводы, и чувства добрые — и чувства злые. Последних хватало: на роман нападали яростно и планомерно, объясняя миру и городу, что «Дети Арбата» есть книга: во-первых — антиисторичная, во-вторых — малохудожественная, в-третьих — антипатриотичная, в-четвертых — безнравственная... Все это, как говорится, входит в стоимость путевки. Нет успеха без попутного поношения, причинам которого можно (да и следовало бы) посвятить отдельную работу: не все там просто. Сейчас же речь об ином.

Успех подлинный — это выработанные художественные принципы. Выработанные — значит выстраданные: у настоящего писателя иначе не бывает, а я убежден, что Рыбаков — писатель настоящий, иначе бы за рецензию не стал садиться. Выработанные принципы обладают инерцией, они ведут за собой автора, ведут властно и в определенный момент становятся для него испытанием. Ибо писатель должен говорить новое, а новое не говорится по-старому. Самоповторение невозможно: здесь каверзность всякого «романа с продолжением», здесь сложность и драматизм, с которыми столкнулся Рыбаков, выстраивая свой роман.

Роман «Тридцать пятый и другие годы» похож и не похож на «Детей Арбата». Похож — потому что перед нами те же герои, потому что автор сохранил жесткую и сухую интонацию, столь отличную и от мнимо наивного монолога трилогии о Кроше, и от густой вязи «Тяжелого песка», потому что прежним — на первый взгляд! — осталось композиционное решение: чересполосица фрагментов, посвященных разным судьбам, разбегающаяся галактика сюжетных линий, сдерживаемая единством тона, постоянными перекличками мотивов и конечной установкой на будущие встречи-соединения героев. Не похож — потому что изменился (незаметно, но решительно) предмет художественного отображения.

Впрочем, так ли уж незаметно? Или мы по-прежнему не хотим читать то, что написано, а читаем то, что предполагаем прочесть? Заглавие — визитная карточка книги; так давайте сравним: «Дети Арбата» — «Тридцать пятый и другие годы». В первом случае внимание направлено на героев и их общий, рушащийся дом — Арбат. Во втором — на время, время, которое знать не хочет ни детей, ни Арбата. Первый роман был о скрытом, неясном даже для самого героя единоборстве его со Сталиным и о не менее скрытой — до поры до времени — любви Саши и Вари. Второй роман (насколько можно судить по опубликованной первой книге и впечатляющему названию) — о сталинской кадровой революции.

В «Детях Арбата» Саша Панкратов действовал, пусть вынужденно — ибо в начале романа он меньше всего предполагает попасть в историю в любом смысле этого слова. Он был романным героем, и перипетии его бытия вкупе с мучительной перековкой его сознания составляли главный интерес. Может ли человек выдержать? Может ли не забыть о человеческом в себе, а стало быть, наперекор очевидности неслышно и бессмысленно (с точки зрения «отца народов») настаивать на сохранении человеческих норм во всем — политике, экономике, культуре, бытовых и семейных отношениях? Может ли человек — хотя бы для себя самого и своих близких — не стать частью той машины, не творцом, но лишь наиболее законченным символом которой в рыбаковских книгах является Сталин?

Рыбаков ответил: может. И сделал при этом ряд весьма важных оговорок, показал, что лишь сцепление случайностей и удач уберегло Сашу от самого страшного — превращения в «одного из многих». Когда критики «Детей Арбата» торжественно объявляли, что Саша — лишь отражение Сталина, они черпали «компромат» на героя *в самом ро́мане*. Да, сложись обстоятельства иначе, и вполне мог бы Панкратов не «сгореть» в 1934 году, и дров бы нарубил порядочно — и сгорел бы куда страшнее в 1937-м. Да, он мог бы еще какое-то время казаться сталинской машине «своим», и зла от него можно было бы ожидать, но Шароком он бы не стал, а значит, и «кадровой революции» не пережил бы. Ссылка в Мозгову спасла Панкратова и от злого в себе, и от несравненно более страшных событий — тех, что разворачиваются в новом романе и к нему отношения *не имеют*.

Из 32 глав романа Саша появляется лишь в шести: первой, второй, шестой, семнадцатой, восемнадцатой и тридцать второй. Показательна и динамика появлений: начало, середина (между семнадцатой и восемнадцатой главами проходит раздел в журнальной публикации), конец повествования. Саша не герой, но *свидетель*, далекий и не слишком осве-

домленный свидетель кадровой революции: он не действует, а рефлекторно откликается на грозные события в стране. «Подальше от политики, Варя, подальше»,— предостерегает героиню романа уютный старый холостяк, сосед-статистик Михаил Юрьевич, человек, который очень много знает, очень многое понимает и вполне резонно всего боится. «Люди есть люди, человек есть человек»,— роняет в разговоре с Сашей ссыльный философ Всеволод Сергеевич, оправдывая овладевший массами психоз — общенародные требования расправы над обвиненными в убийстве Кирова. Саша ерепенится, спорит, его не устраивает решение Всеволода Сергеевича: он не хочет (все еще не хочет) быть *вне* политики, чего требуют от него — и от всего народа — Сталин и сталинская машина. Но ведь вопроса-то перед ним, ссыльным, не стоит. Он уже *вне* политики, *вне* истории. И в финальной главке его, как выразились бы в иные времена, «правозащитные» порывы («человека нельзя держать в заключении ни одного дня дольше положенного срока») разобьются о философский пессимизм умудренного уполномоченного Алферова Три года ты, по сути дела, был защищен,— как бы говорит Саше Алферов, но именно *как бы*: говорит-то он о другом — о Сашиной бесцветной прозе, о советских законах, об опасности обращений к истории Великой французской революции; и не столько Саша, сколько читатель, знающий из «Детей Арбата» об Алферове многое и умеющий в отличие от героя угадывать за словами скрытый смысл, понимает: самое страшное впереди.

«Саша не знал, что уже два дня в Москве идет новый грандиозный процесс над Пятаковым, Радеком, Сокольниковым, Мураловым и другими видными деятелями большевистской партии.

А вот Алферов знал.

Этим процессом начинался 1937 год».

Так заканчивается рыбаковский роман без героя. Герою же предстоит возвращаться в жизнь, то есть в кровавую мешанину года, при едином упоминании которого и через полвека вздрагивают. Мимо него прошел один только акт исторической трагедии.

Метафора эта впаяна в рыбаковский текст. Сразу после того, как отправили Лидию Григорьевну Звягуро, былую троцкистку, для подготовки к первому процессу, Саша встречает в лесу лыжников-красноармейцев, участников пробега «Байкал — Баренцево море», одного из тех славных событий, о которых пишут газеты (наряду с информацией об ударной работе НКВД). Красноармейцы изумлены: встреченный ими бородач грамотен, газеты читает и даже уверяет, что знает слово «марафон». И они поощряюще наставляют «охотника»: «Запомни, отец! Исторический момент. Своими глазами видел великий северный марафон». Так история проходит мимо огорченного Саши.

Он пытается вернуться в нее: пишет — достаточно неожиданно для читателя — письмо Сталину, остановленное умным, циничным, в ожидании своего конца размышляющим о Декарте Алферовым. Письмо это, задуманное в шестой главе после спора с Лидией Григорьевной, ясно видящей, к чему пришла страна и что ждет ее впереди, отправленное в семнадцатой после того, как Саша решил стать писателем, дабы укрыться за историей французской революции от надвигающегося будущего, и превратившееся в ничто в финальном разговоре с другом-врагом Алферовым,— письмо это должно было бы стать замко́м, держащим свод романной конструкции.

Должно было... И Рыбаков блестяще разработал то, что связано с письмом, с этим криком из бездны, в котором слилось старое и новое, чистота Саши и его готовность пожертвовать чистотой, признать случившееся. Слилось невольное и бессмысленное (ибо не облегчило оно, но утяжелило бы многократно участь ссыльного, что как дважды два четыре растолковал Алферов) предательство, капитулянтство — и убежденность в том, что никакого предательства нет. Слились падение и взлет, выразились жажда жизни, страсть молодости и таланта к поступку — в условиях, поступок исключающих.

И не только психологически история письма наиболее ярка и достоверна. Она тесно связана со многими глобальными темами Рыбакова — скажем, с его счетом к «творческой интеллигенции» тридцатых годов (почему-то критики «Детей Арбата», вовсю муссирующие мотив «элитарности» в книге, равно как и тот факт, что автор был в свое время награжден Сталинской премией за роман «Водители», в упор не замечали ни образа Вадима Марасевича, ни жутковатой сцены суда над драматургами, не пишущими пьес о женщинах; участники этой «веселой» игры во время чумы очень скоро узнали о следствиях без суда). Мечтая о писательстве, Саша отправляет письмо Сталину: писательство предстает как форма «приватного» бытия. Но писательство никогда не сможет быть делом частным.

От Вадима Марасевича потребуются не только лихие статьи, не только умение бодро разворачиваться на 180 градусов, как в эпизоде с Камерным театром,— от него потребуется и осведомительство. Собственно полицейские и литераторские функции сольются при этом воедино: «Я, нижеподписавшийся гражданин Марасевич Вадим Андреевич, обязуюсь сообщать органам НКВД о всех действиях и разговорах, как устных, так и печатных, наносящих ущерб Советской власти. *Также по указаниям органов НКВД обязуюсь рецензировать для них произведения литературы и искусства*» (выделено мной.— **А. Н.**). Хорошо смотрится: для них. А разве то, что сочинял Марасевич, было не *для них*? Для кого же? Для кого — не для народа же — соз-

давались бессовестная критика и выморочная словесность, расцветшая пышно и страшно в тридцатые годы, которые кое-кому кажутся апогеем советского искусства? Для них писал Марасевич, для них писали Эльсберг и Ермилов, чьи имена прозрачно зашифрованы Рыбаковым,— «славные» литераторы, успешно сочетавшие «разные» профессии и тем самым обеспечившие себе место в памяти людской. Нет, не зря свел Рыбаков Марасевича с ними (виноват, с Эльсбейном и Ершиловым), не зря они — а не только уехавшая в Париж сестра-проститутка — подвели его к новой «правильной» статье об избиваемом Камерном театре и к сотрудничеству с органами. Там ему самое, кстати, место: следователь Альтман недаром ценит перо критика Марасевича.

Саша Панкратов, разумеется, не хотел бы стать таким литератором. Он хотел быть иным: «Писатели! Совесть народа! На Руси писатели всегда считались совестью народа — Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов...» — думая так, Саша читает писательские отклики на первый процесс, читает призывы Ивана Катаева и Артема Веселого, Алексея Толстого и Агнии Барто — уничтожить «врагов народа».

«Значит, писатели верят! Значит, знают, что это правда, что подсудимые действительно убийцы и шпионы...» И с абзаца, словно после раздумья, тяжелого и долгого, слова нынешнего автора рассказов о Великой французской революции — окончившейся, как напомнил Алферов, диктатурой Наполеона,— будущего члена Союза советских писателей Панкратова А. П.: «Может быть, это на самом деле так?!»

Впрочем, какой там будущий член Союза? Невнимательно читал Саша газеты — Рыбаков ввел в свой монтаж блестящую реплику Вс. Вишневского: «События... ставят вопрос о коренной проверке состава Союза советских писателей. Надо знать (подчеркнуто в тексте.— **А. Н.**), с кем имеешь дело. Надо знать все 3000 членов нашего ССП (тех самых, что призывают «истребить гнездо убийц и поджигателей», как писал замечательный прозаик Иван Катаев; скоро, очень скоро истребят и его.— **А. Н.**). Тщательно придется изучить (!) все звенья нашего Союза и его аппарата».

Кадровая революция. Она сметет не только старых партийцев, перетрясет армию или НКВД (тщательно прописанные в романе и реализованные в действительности планы Сталина), она сметет все — и «творческая интеллигенция» не будет исключением. Письмо Саши, кроме всего прочего,— знак его неосознанной готовности к кадровой революции.

В той же семнадцатой главе, где письмо «поплыло... вниз по Ангаре в Москву, в Кремль, к товарищу Сталину» (как тут не вспомнить финал «Васьки» С. Антонова с его горькой иронией, подчеркнутой реминисценцией из чеховского «Ваньки»), говорится, что Саше «ходить к Лидии Григорьевне надоело — вечные споры». Общается он теперь с Федей, сельским продавцом, собирающимся делать карьеру: «Для Феди... единственными были интересы собственные, он искренне считал это само собой разумеющимся. Откуда такое? Неразвитость, малограмотность или признаки чего-то нового, новый тип активиста, черты которого Саша уже видел в Лозгачеве и Шароке, они казались ему тогда единичными, а они, оказывается, приобрели массовый характер, создается новый общественный тип».

Вот она, кадровая революция. Шарок будет бить Лидию Григорьевну, спорить с которой Саше надоело. А его двойника Федю Саша принимает «таким, каков он есть». Бедные критики «Детей Арбата», как вам хотелось доказать, что в рыбаковском романе вся вина за беды страны взвалена на одного Сталина, что роль его наивный писатель преувеличил, что не понял он логики всемирно-исторического процесса. Как ловко и тщательно обходили вы Шарока, без которого нет Сталина (справедливо, впрочем, и обратное). Так вот, пожалуйста: растет «новый тип» на ангарском берегу. И «вопросик» крупного энкаведешника Гая — резиновая милицейская палка — появляется на свет божий до сталинского разрешения пыток. И убийств без суда требуют — вполне единодушно — стахановцы, колхозники, писатели. И Будягина, все лезущего со своими «соображениями», одергивает его умница-жена. И что из того, что палачи завтра станут жертвами,— их вырастил Сталин, а они вырастили Сталина и «новый общественный тип», который готов принять Саша Панкратов. Кадровая революция рождается не только в семинарских мозгах кремлевского горца — она нужна и Феде, и Шароку. Этим все на пользу — даже Ежова Шарок обматерил себе на удачу: будущий «железный нарком» одарил его пачкой «сталинских» папирос «Герцеговина Флор». И, думается, дар этот охранит Шарока от первой чистки НКВД: сообщая об уничтожении «авторов» первого процесса, то есть о переходе к «ежовщине», Рыбаков не говорит ничего о «мальчике с Арбата».

Письмо Саши — связка его «пассивной» линии и хроники первого процесса, что занимает восемь глав. Если же считать главы сталинские, вроде седьмой (митинг по поводу окончания строительства метро) или одиннадцатой (заседание конституционной комиссии), в которых Сталин формулирует для себя принципы «кадровой революции», то еще больше. Письмо Саши — мотор романа, но мотор, на мой взгляд, работающий не на полную мощность. Здесь-то мы и подошли к проблеме, обозначенной в начале рецензии: новый материал не вполне соответствует найденной прежде логике повествования.

Во второй половине романа хроника подготовки процесса подчиняет себе все. Слабеют мотивные переклички, случайным участником событий становится Шарок (постепенно и вовсе уйдя из поля зрения автора), выветриваются связи с другими героями. Идет напор фактов, писательской реконструкции событий.

История подготовки процесса смотрится изолированно. И именно потому воспринимается как скороговорка. Коли автор пишет политическую хронику, пусть и беллетризированную, необходим один темп, коли роман — другой. Рыбаков сохранил темп романа, но ослабил связи, мотивные переклички, тот контрапункт сюжетных ситуаций, что был главным достижением «Детей Арбата».

Конечно, Рыбаков помнит о необходимости «переходов» от одной темы к другой. И когда после описания мук Смирнова на следствии мы читаем о тяготах Софьи Александровны, о пытке в прачечной, это действует сильно. Точно так же немаловажно, что по-прежнему звучит тема детей: судьбой ребенка искушает Шарок Лидию Григорьевну, из-за дочери «ломается» Смирнов, арестом сына угрожают Каменеву; все это корреспондирует и с «детским садом», в котором нашла отраду лишенная сына Софья Александровна, и с ненавистью Сталина к любой форме семьи. Все так. Но подобных неожиданных рифмовок мало, и это явно обедняет роман, который словно бы разваливается на «частный» и «исторический».

Здесь же нельзя не сказать о явной пробуксовке других сюжетных линий: история отношений Вари с Игорем Владимировичем пошла по второму кругу, а зачем — неясно. Может быть, вторая книга одарит нас разгадкой этой коллизии, но пока Варина тема кажется лишь повторением пройденного. Эпизодичность ролей Нины и Лены Будягиной (здесь сделаем оговорку: очень важен мотив предполагаемого рождения ребенка, учитывая социальное положение матери и род службы отца) опять-таки ослабляет романную конструкцию. Читатель утыкается в хронику процесса, как в неизбежность. А про процессы он за последний год много что узнал: мера нашей информированности не та, что год назад.

Вот и написал я фразу, которой больше всего боялся. Мои оппоненты вправе хватать меня за руку и спрашивать: «Так, значит, ценность рыбаковских романов в информации, а нынче, когда мы, слава гласности, кое-что узнали, они не смотрятся? Мы ведь про то загодя говорили, а вы только теперь сознаетесь!» Отвечу: нет. И именно потому меня огорчают некоторые особенности нового рыбаковского романа. Коли уж на то пошло, я лично (как и многие из моих оппонентов) и до апреля 1985 года кое-что знал про тридцать четвертый и многие как предшествующие, так и последующие годы. Утверждать, что Рыбаков — первооткрыватель темы, можно было в горячечных интервью, а никак не в серьезном разговоре. Рыбаков силен, как и любой писатель, не фактами (это дело историков), а собственной художественной концепцией, мощной и наглядной в «Детях Арбата» и потесненной в новом романе.

Почему потесненной? Сложный вопрос, на который сейчас вряд ли можно дать точный ответ. Могу предложить рабочую гипотезу, хоть и рискую нажить с ней неприятностей. И все же. После успеха «Детей Арбата» Рыбакова торопили: письма читателей, интерес журналистов, высказывания критиков, шум, суета, чьи-то потуги учинить скандал и чьи-то потуги поставить при жизни памятник. Ситуация провоцировала спешку, независимо от доброй (чаще) или злой воли тех или иных ее участников. И Рыбаков поспешил.

На мой взгляд — трижды. Во-первых, начав публикацию, не дописав второй книги. Его роман требует большой формы, в рамках которой то, что сейчас кажется несбалансированным, может встать на подобающее место; те сюжетные линии, что кажутся брошенными или случайными, могут обрести развязки, и читательское недоумение будет снято. Во-вторых, решившись на публикацию первой книги, следовало бы все же рассредоточить «следственные» главы и обогатить их связями с тем, чем наполнены другие сюжетные линии. В-третьих, ни в коем случае нельзя было идти на предварительную публикацию глав в «Огоньке». Дробная структура романа требует единства восприятия; фрагментарная публикация камня на камне не оставляет от логики целого (я и вообще-то не люблю рекламных предпубликаций, а эта у многих вызвала заочную настороженность, которую не все преодолели). Итак, Рыбаков поспешил.

Ну и что,— задаю вопрос сам себе,— неужели ты предпочел бы жить последние месяцы без этой книги, недостатки которой исчисляешь с упорством, достойным лучшего применения? И сам отвечаю: нет. Ждали мы большего или не ждали — наше дело, а толкать писателя под руку нельзя. Ни тогда, в месяцы ожидания, ни сейчас, когда, осознав недочеты романа, думаешь о другом — о праве писателя сказать свое слово, пусть и кажущееся — не кому-то нехорошему, а лично мне, давнему почитателю Рыбакова,— в чем-то несовершенным. И о том еще думаешь, как много все же смог сказать «поспешивший» Рыбаков о времени кадровой революции, как убедительно связал он замысел Сталина и рождение «нового общественного типа», как глубоко раскрыл драму невольного капитулянтства и как сумел вопреки жесткой логике воссозданной им эпохи сохранить надежду. Надежду на то, что Саша, потерпевший поражение куда более страшное, чем в «Детях Арбата», стоящий на пороге еще более чудовищных испытаний, выдержит, не сломится и сможет рассказать о том, чему был явным или неявным свидетелем.

А. НЕМЗЕР

Отклик

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ Л. ЛАЗАРЕВА «ОСВОБОЖДАЯСЬ ОТ ВЕДОМСТВЕННОСТИ» («Октябрь», 1988, № 6), на мой взгляд, затрагивает одну из самых животрепещущих проблем современной литературы. Действительно, минувшая эпоха была временем пышного расцвета так называемой «ведомственной» прозы, «ведомственного искусства» вообще. Не это ли обстоятельство оказалось едва ли не главной бедой социалистического реализма? В его несколько расплывчатые конструкции «ведомственное искусство» вписалось весьма удобно, обустроилось, чтобы в конце концов, подобно кукушке, выбросить из гнезда все лишнее. Разливанное море всевозможных поделок и эрзацев, рассчитанных на массовое потребление, освещено по крайней мере двумя принципами: равнодушием к исследованию действительных жизненных коллизий и неудержимой эксплуатацией идеи известной песенки «Все хорошо, прекрасная маркиза». И сегодня еще миллионы телезрителей, приникнув к голубым экранам, следят за успехами ведомственных рыцарей в преследовании «овощей и фруктов», вместо того чтобы подумать о мафиозных корнях «фруктов» куда более внушительных масштабов. Постулаты ведомственной литературы настолько стали привычными, что никого не смущают речи с высоких трибун на тему «Писатели в долгу перед шахтерами!» (Почему бы не перед вахтерами и водолазами? И все ли уплачены долги колхозникам?). Духу «карманного» псевдоискусства вполне соответствуют и обнаруживаемые время от времени местные претензии добиться того, чтобы тот или иной регион упоминался лишь в хвалебных тонах. Рашидовская челядь вкупе со своими московскими соратниками неспроста так упоенно расписывала успехи и достоинства «своего» региона: ведомственная психология неизменно паразитировала на чувстве патриотизма, любви к малой родине. Стоит ли, однако, говорить о взглядах челяди? Тревожнее, когда серьезные люди из Сибири критикуют «Детей Арбата» А. Рыбакова за то, что в романе не теми де красками нарисованы сибиряки. Наверно, и Шаламову с Жигулиным можно предъявить подобные претензии — вне их внимания остались, скажем, успехи полярной авиации. Вряд ли могут обидеть серьезных северян слова известной песни «Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой». Как говорится, песня здесь не о Севере, а кое о чем другом... Нужно очень постараться, чтобы фальшивые песенки ведомственного искусства оказались спетыми раз и навсегда.

Л. В. КАЛАКУЦКИЙ,
член-корреспондент АН СССР.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Подписка на журнал «Октябрь» принимается всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи.

Премии журнала «ОКТЯБРЬ» за 1988 год




Н. Мордюкова



В. Зуев



М. Капустин



В. Балязин



Л. Сараскина

Нонна МОРДЮКОВА, народная артистка СССР. **Вот так и живем.** Записки актрисы (№ 7).

Владимир ЗУЕВ. **Правила игры.** Повесть (№ 2).

М. П. КАПУСТИН, доктор философских наук, профессор. **От какого наследства мы отказываемся?** (№№ 4, 5).

В. БАЛЯЗИН. **Возвращение.** К 100-летию со дня рождения А. В. Чаянова (№ 1).

Л. САРАСКИНА. **«Выходя из безграничной свободы...»** Модель «Бесов» в романе Б. Можаева «Мужики и бабы» (№ 7).

В ТЕЧЕНИЕ 1989 ГОДА «ОКТЯБРЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Сергей АБРАМОВ. **Стоп-кран.** Повесть.

Анатолий АЛЕКСИН. **Игрушка.** Повесть.

Игорь ВОЛГИН. **Родиться в России.** (Достоевский и современники: жизнь в документах). Книга первая.

Д. А. ВОЛКОГОНОВ. **Триумф и трагедия** (Политический портрет И. В. Сталина). Книга вторая.

Майя ГАНИНА. **Зимородок — синяя птица.** Роман.

Василий ГРОССМАН. **Все течет.** Повесть.

Руслан КИРЕЕВ. **Пир в одиночку.** Повесть.

Федор КОЛУНЦЕВ. **Свет зимы.** Роман.

Анатолий КУРЧАТКИН. **Веснянка.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Вот так и живем.** Записки актрисы. Часть вторая.

Михаил ПРИШВИН. **Дневники (1929—1931 гг.).**

Александр ЧАКОВСКИЙ. **Нюрнбергские призраки.** Роман. Часть вторая.

Очерки, статьи М. Зараева, Л. Иванова, М. Капустина, Б. Можаева, А. Никитина.

В планах редакции — произведения писателей русского зарубежья: Н. Берберовой, Н. Коржавина, А. Синявского, С. Соколова, А. Янова и других.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **Г В. БУДНИКОВ** (зам. главного редактора), **В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Д. Ф. КРАМИНОВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ** (первый зам. главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ, А. А. ПРОХАНОВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор И. П. Калачева.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора— 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 06.12.88. Подписано к печати 28.12.88. А 01732. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 380 000 экз. Заказ № 3495.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.